



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

5-6 (444)

2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Алексей Колчев. лубок к родине. <i>Стихи</i>	3
Андрей Черкасов. передать показать удалить: стихи, записанные на ходу	7
Станислав Шуляк. Квартира номер девять. <i>Роман с чертовщиной</i>	14
Олег Демидов. МММ. Тайный покупатель гороскопов. <i>Рассказы</i>	136
Алексей Порвин. «В горах» и др. <i>стихи</i>	142
Михаил Дынкин. «Скажи: “весна”...» и др. <i>стихи</i>	146
Заир Асим. «Мой внутренний сад» и др. <i>стихи</i>	150
Михаил Бару. Замок с музыкой	154
Дмитрий Филиппов. Галерная улица. <i>Рассказ</i>	190
Сергей Соловьев. Анна. <i>Рассказ</i>	200
Сергей Калашников. «Високосные звезды» и др. <i>стихи</i>	206

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Андрей Рябой. «Смерть светофоров» и др.	209
Николай Гранкин. «переменная облачность...» и др.	210
Юлия Елина. «Немота твоя ночует за кадыком...» и др.	211
Ольга Аникина. «Занырну в метро на Маросейке...» и др.	212
Борис Белкин. Из цикла «Метафизика»	214

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Евгения Риц. Есть свет	215
Андрей Пермяков. Мир как очень качественный костюм, пошитый на вырост	216
Виктор Иванів. Петли шарфа	219
Борис Кутенков. Не нарушая тишины	220
Александр Кузьменков. Одинокий голос человека	223
Наталья Черных. Потому что верую: о новой книге Николая Байтова	225
Сергей Трунёв. Российская литература: спасения нет	227

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Дом искусств.....	230
---------------------------------------	-----

Алексей КОЛЧЕВ

ЛУБОК К РОДИНЕ

русь стоит на семи холмах
трёх китах девяти царях
хоровод расписных рубах
перекошенных брюх и рях

затянись папироской вослед петру
поскреби подбородка плешь
вон пошёл сиволапый гундеть муру
трёх сосёнок плутать промеж

я-де мы-де весь не умру
хочешь режь меня хочешь – ешь

*угловатый как шагал
я по небу пошагал*

открывается картина
называется пейзаж
галка шествует картинно
тащит в клюве карандаш

ничего уже не ново
и приемы сочтены
неба синяя понёва
дыма чёрные штаны

важно выступает галка
свалка старая горит
«никого уже не жалко!» –
чорт иваныч говорит

Алексей Колчев родился в 1975 году в Рязани. Учился на факультете русского языка и литературы РГГУ и филологическом факультете МГУ. Публикации в антологии «Нестолничная литература»; альманахах «Чёрным по белому», «Бредень», «Василиск»; журналах «Дети Ра», «Другое полушарие», «Волга», «Воздух»; на сайте «Сетевая словесность» (спецпроект «Редакционный портфель Devotion») и др. Автор книги стихов «Частный случай» (2013).

игра

1.
что у вас за хохлома
красоты неизречённой
так и сводят всех с ума
кот печёный торт перчённый

сторож чем-то облучённый
берег чёрный ночь зима
2.
сторож светом облечённый
око полыни во льду
как кручёных заключённый
в воду чёрную войду

вот он вот большой учёный
золочёный зуб во рту

ветер мрак игра в аду

деревня

ни шумной советской славы
ни шумной подпольной славы
ни шумной посмертной славы
поэты одной державы
подтянуты и моложавы
другой – тяжелы и ржавы

накинь брезентовый пыльник
окинь окрестный багульник
анахорет молчальник
в кармане твоём напильник
под мышкой железный чайник
мимо пройдёт охульник

позвякивая заначкой
звонят топоры за речкой
звонят комары над бочкой
прозрачный дымок над печкой
бумаги больше не пачкай
обзаведись-ка дочкой

или хотя бы собачкой

возвращение

воротился солдат домой
воротился глухонемой
(или может хромой) зимой

когда всюду кругом снега
под ногами лукум нуга
на войне он убил врага
а с какой он пришёл войны
дома ждали жена сыны
три сестры четыре стены

он вернулся из дальних стран
в нём тринадцать глубоких ран
он теперь инвалид тиран
выползает навстречу дню
весь в огне я к чему клоню:
скоро вырежет всю родню
или ночью спалит собес
(сторож пьяным уснул балбес)
и поднимет бунт до небес

ты который пришёл сюда
где в колодцах черна вода
где не ведают век стыда
здесь не знает никто причин
той войны молодых мужчин
и какой у тебя там чин
здесь с утра на траве роса
птичьих из лесу голоса
(выйдет баба окликнет пса

отзовутся пять-семь волчин)
смерть и прочие чудеса

смотрит фетом ходит фетром
в чесучу и фетр одет
волоса ерошит ветром
смотрит фетом но не фет

здравствуй здравствуй до свиданья
сыр моржовый милый мой
там в провале мирозданья
соловей свистит немой

соловей свистит немой
между музыкой и тьмой
между вологдой и тотьмой
между кичкой и кормой

ветер ровный хлеб надбровный
над чухонской чухломой

подтвердите что вы не бог
поглядите что вынет бог
из сердца клубень из лба клубок

а наш-то бог – скоморох
веселие ему пити
иное – скакати

в бубен сыпать сухой горох
топочут его копыты
хохочут плакаты

а ваш-то бог – порох лузга порог
заветы его забыты
заповеди клокаты

заподвывернуты клыкаты
как правильно: твóрог или творóг
цуккини или цукаты?

на юру юродивый
на горе горбатый
с веточкой смородинной
с ниточкой порватой

с венчиком берёзовым
с молочаем розовым
с родинкой сопатой

местность оприродена
на горбу синица
тяжело же родина
по тебе катиться

рощеной горошиной
тощенькой субботой

что зовём мы родиной
что кричим мы родиной
что молчим мы родиной
надо бы – работой

Андрей ЧЕРКАСОВ

ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАТЬ УДАЛИТЬ: СТИХИ, ЗАПИСАННЫЕ НА ХОДУ

ощути многоцветие

гражданам России и СНГ
все цветы
все
мир Библии
или
боли зубной
новая кружка
предложение мясника
евросиб ледоруб
и губ
язык
без поручителей
и безработным

откройся счастью

«Но ведь был же какой-то знак».
Михаил Айзенберг

в любой ситуации
ты не один:
джинсы америки
рыба и мясо
15 поездок метро
в таре стеклянной
в десятке
всех видов
с любовью к себе
без ошейника –
последний день месяца
хватит надолго

Андрей Черкасов – поэт, художник. Родился в 1987 году в Челябинске, с 2007 года живет в Москве. Обучался на кафедре политологии Южно-Уральского государственного университета, закончил Литературный институт (2012, семинар Е.Ю. Сидорова), студент курса «Визуальный эксперимент» Открытой школы МедиаАртЛаб в Манеже. Автор книги стихов «Легче, чем кажется» (2012). Публиковался в журналах «Воздух», «Волга–XXI век», «Волга», «ШО», в Интернете. Лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (2008), шорт-лист премии «ЛитератураРентген» (2007, 2010), финалист премии «ЛитератураРентген» (2008, 2009, 2011).

страхование техники
от уличного разбоя
кражи пожара
в квартире и дома

веселый водовоз
в новом качестве

ядро
кедра
в отделе специй

уточка зрения

бак
живых бабочек
и других рисков

это хороший повод

улица
стойкости

ужас
состав

арки
отмены

нет бегству
нет указанию

ни дня
горят

участники
среди которых

(пожар
случайным)

те кто предлагает
и кто отка ывается

(ни в коем случае
не трогайте его)

вам это нравится

(теперь весь город)

и выбор очевиден

центр редукации
это день через день
жить
мой новый
слон гусь и крик
контейнер мягкий
и значки
процесс
восстановления
только в апреле

внимательно
смотрите в зеркала
7 дней
в неделю
за нарушение –
подарки, путешествия
цветов фарфор
всё тот же
только
абсолют
или один
вишневый

выбор языка

идеальный дом
будет закрыт
подарок с исключительным вкусом
будет закрыт
социальный патруль
будет закрыт
свежевыжатый сок
будет закрыт
рассказ об эпохе
будет закрыт
департамент тыла
будет закрыт

английский итальянский французский
немецкий греческий русский
будет закрыт

на этой установке
сбивчиво зафиксировать:
новая чудо-форма
схема движения
в каждой капле
будущее открыто
до 5 утра

если у вас возникли сомнения

здесь
транзит
в дни
поле
ожесточенных
по случаю
готовим
город
в центре
родителей
для искушенных
место
нашего производства
осторожно находится

живет
последние дни
ослепительные
надписи
наноса
о пожаре
напоминает
имеет имя
единый
легко

красный горит
до церемонии

зеленый погашен
без звука

свет
просвещает всех

все права
за справедливость
трендсеттер
об упокоении
место свободно
не в пользу
знаю
новое время
руки свои
бесполезны
к рассмотрению
просрочены
разнорабочие

а
глупысти
прежде всего
цветные опилки
земля
дренаж
ежденевно
намного проще
событие
в отдалении
и путешествуем
ну вот
и славно

время пришло
в потоке
и каждый день
на выживание
дополнительный
незаметно
для окружающих

Станислав ШУЛЯК

КВАРТИРА НОМЕР ДЕВЯТЬ

Роман с чертовщиной

(Журнальный вариант)

Настенька

Небо над головой было какое-то непонятное, несуразное – то вдруг разойдётся, развиднеется, то обратно *опакостится*, последнее так даже чаще. Оно, можно сказать, было и совсем пакостным, лишь с короткими промежутками видности. И из видности да в пакость всё как-то так незаметно переходило: дунул нечаянный ветер – просветы да проблески на небе, сиюминутные, жалкие, *послелетние*; а вот снова дунул – и плесень да пасмурность тут же набежали. Густые, безрадостные, неизбывные.

С автобусной остановки в родное сельцо шла теперь Настенька. Дорога ж её была обыкновенно: мимо березняка да буерака, вдоль ложбинки, наискось канавки, там погост пройти, а там уж, глядишь, и первые дома возьмут и повысунутся.

Четверо мужичков сидели на том погосте да пили водку. Давно пили. Стало быть, вовсе не навеселе были... да и бывает ли наш человек когда-то навеселе, если он употребляет эту пресловутую и любезную душе его и утробе его жидкость? Нет, не навеселе он бывает тогда, никакой весёлостью здесь и не пахнет. Ибо поганство, всё поганство, что существует в нём, начинает вздыматься тогда по душе его, всползает, карабкаться, застывает где-то вблизи горла, и тут уж захватывает всего человека.

Настенька же наша ни о чём таком не задумывалась.

Вот уж прошла она березняк, и теперь тропа витала по-над ложбинкою.

Обычно с остановки ходят по двое-трое сельчан, и, покуда шагаешь до своего домишки два километра, вполне можно обсудить какие-нибудь события из последних. Теперь же с остановки не шёл никто, одна Настенька. Ну да ничего, дорога привычная!

А ехала Настенька из самого городу, от тётки Олюшки с Боровой улицы. Любила Настенька тётку. Потому вскорости и на тёткину комнату крепко рассчитывала. Все мы не вечны, вот и тётка Олюшка, с её проклятухими болезнями и недомоганиями, тоже не вечна.

Один из мужичков был кладбищенский сторож Ерёма, усатый, злоязычный и гадкий. Другой был Мишка-механизатор, без двух пальцев на руке и с корявою рожей. И ещё два пришлых брата-попрошайки, оба лет пятидесяти пяти. Один такой весь из себя *долгопятый*, костистый, с угловатыми ухватками и взглядом прохиндея, другой же, напротив, скукоженный, *перекорченный, прыгнутый*, к тому же совсем дурак. Они пришли в сельцо подле церковки на паперти постоять и, если получится, так и иконы потырить. Народ сейчас жаден стал, милостыни не подаёт, последний же заработок вернее. *Деревяхи* теперь в цене и всегда в цене будут.

– Водка – напиток суровый, предрасполагающий, – сказал сторож, и каждый выпил из своего стакана.

Станислав Шуляк родился в 1960 году в г. Кропоткин Краснодарского края. Окончил Институт журналистики и литературного творчества в Москве. Публикации в «Литературной газете», в журналах «Нева», «Урал», «Современная драматургия», «Новый берег». Два романа под одной обложкой – «Кастрация» и «Лука» – в издательстве «Амфора» (СПб, 2003). Призер фестиваля короткой драмы «One night stand» (Москва-Вена, 2005), лауреат Всероссийского драматургического конкурса «Долг. Честь. Достоинство» (2008). В журнале «Волга» публиковались рассказы (2012, №3-4).

– Водка – подвиг, – солидно подтвердил Мишка. – Кто водку выпивает усердно, навроде стахановца образуется.

– Навроде!.. Навроде!.. – лепетали и братья.

Сидели они, можно сказать, культурно, рядом с раскопанною могилкой, за покосившимся столиком, на лавочках. Из закусок были хлеб, колбаса, крабовые палочки, рыба в томате и шесть сваренных на костре и порезанных косо шпикачек.

Вот уж Настенька и канавку прошла. За канавкой вскоре открывался погост, где мать Настенькину схоронили в прошлом году, и ещё иные родственники её мирно покоились.

Какое-то всё ж неправильное наше слово – *погост*. Так и слышится в нём – *гость, погостить*. Ну да ведь трудно попасть под сию сень, вроде как, *погостить* и категорически при этом не *загостить*ся. До самого Суда Страшного не загоститься, когда трубы вострубят, когда барабаны взбарабаният, когда все мертвые из гробов своих восстанут и побредут с главами понурыми на последний свой экзамен, когда с каждого будет спрошено как по делам его, так и по помышлениям его. А последнее так и вовсе делает жизнь человеческую грошовой поделкой, ибо разные бывают помыслы у человек, и не властны они порою в помыслах своих. И такие иногда бывают помыслы у человек, что не надо бы вовсе душе производить такие загогулины, такую дрянь, такие каверзы, что бесчестят звание человеческое, даже это сомнительное звание. А она же производит, производит, и ничего с этим поделать нельзя. Кажется, единственное у души человеческой предназначение – нечистое и негодное на свет производить.

Тут мужички заприметили Настеньку.

– Девочка, пусичек!.. – антисанитарно выкрикнул сторож Ерёма.

– Коло-сочек, – слюняво согласился *спрыгнутый*.

Настенька услышала мужичков и прибавила шаг. Не любила Настенька мужичков выпивших. Те тоже встрепенулись и подхватились.

Настенька ещё шаг прибавила. Ей уж слышались топот и чавканье почвы, то ли сзади, то ли сбоку, то ли со всех сторон кряду. Испугалась девушка, побежала. Вот уж и кладбище почти закончилось, здесь дорожка уходила в сторону, Настенька повернула и тут увидела, как, через канаву перепрыгнув, наперерез ей бросился сторож Ерёма. И с ним мужичков трое, один другого гаже. Глаза бы на них не смотрели, на мужичков на тех!..

Схватили они Настеньку за утлый плащик её, да так, что пуговицы плащика кузнечиками во все стороны засакали.

– Чего? Чего? – крикнула Настенька.

– Ничего! – грузно сказал механизатор, зажимая свою ширококостной ладонью Настенькин рот.

Двое других в это время хватили девушку за ноги.

Потащили мужички Настеньку на погост, к месту оставленной трапезы. Но до места не дотащили, не выдержали. Опрокинули между двух разорённых могил. Гоготали они, плащик срывая. Потом и блузку на груди изодрали.

– Ай, прелести! – гугняво вскрикнул *спрыгнутый*, увидев маленькие Настенькины грудки.

Всю одежку сорвали с девушки, всю истерзали.

Долго-долго прилаживался сторож Ерёма, покуда, наконец, не *умудрился*, не *сподобился*. Вот он весь затрясся, заходил, завертелся над Настенькой, хрипя да хрюкая от удовольствия.

– Терпи, терпи, терпи!.. – приговаривал да покрикивал он.

Мишка-механизатор всё Настенькин рот зажимал. Он потом и пришёл на смену Ерёма.

После же и братья к Настеньке приступили. Кое-как, чрез пень-колоду, чрез водочную муть, чрез бессилие да *полухотение*.

Мерзок русский человек в похоти, мерзок; глист, паук, мокрица, гадюка – и то не мерзее!.. Мерзость всегда с русским человеком, ходит с тем след в след, шаг в шаг, тут же и вовсе овладевает всем его существом, всем скудным мозгом, всеми чреслами и сухожилиями, всеми его повадками и помышлениями, всеми нервами и заусенцами.

Долго мужички терзали Настеньку. После же и про водку вспомнили. Отволокли Настеньку к месту своего *пикника* и бросили там.

Выпили снова, Настенька же всё стонала да скулила. Всё содрогалась да всхлипывала.

– Не вой! – крикнул механизатор. Не то досадливо, не то злобно.

Но Настенька не умолкала.

Тут *спрыгнутый* половину кирпича с земли подобрал.

– Тебе сказали, чтоб ты не выла, а ты воешь! – крикнул он и ударил Настеньку кирпичом по глазу. Потеряла сознание Настенька, тут же умолкла.

Бросил он кирпичный обломок.

Тогда брат подобрал орудие.

– А ты воешь, гадюка! – крикнул он и раз десять подряд ударил Настеньку кирпичом по лбу и по темени, покуда голову не размозжил и до смерти девушку не забил.

– *Эстетику* портишь, – подтвердил и сторож Ерёма.

– Праздник!..

– Люди отдыхают, можно сказать...

Мишка-механизатор лишь хохотнул, пальцы свои жирные после колбасы облизывая.

Водка закончилась, и пикник, стало быть, завершился. Затолкали мужички Настенькино тело в могилку старую, разорённую, да сверху камнями и листьями забросали.

Темнело уже, и мужичкам вдруг жутко сделалось. Показалось, будто смотрит кто со стороны. Вздёрнулись мужички, да и разбежались кто куда. От погоста скверного подальше. Одному Ерёме бежать было некуда, жил он здесь.

Пролежала Настенька три дня и вдруг очнулась. Разворошила листья, отбросила камни, поднялась. Побрела по дорожкам. Искала она, что ли, кого-то?

А пожалуй, что искала. Искала же Настенька могилу матери. Нашла – опустилась подле могилы и говорит:

– Мама!.. Мама!..

Жуток сделался Настенькин голос, не говорит человек таким голосом. Всё подпочвенное, смутное, мертвящее сплотилось в нём. Все жуки, все прелье листья, все паутины, личинки, все непогоды, неустройства и затхлости слышались в нём.

И тут вдруг зашевелилась земля перед Настенькой. Стала оползать да осыпаться. Рука протянулась из-под земли. А потом и вся мёртвая женщина высунулась из своего последнего убежища. Она была *сдавшеюся*, *опавшею* после прежнего опухания. Разложение изменило её до неузнаваемости. И всё-таки то была мать.

– Мама... – шепнула Настенька. Листья с деревьев посыпались от её шёпота. Зашуршала трава окрестная. Мыши могильные в норы поглубже запрятались. Деток своих мелких, новоявленных, ещё почти голых, собой заслоняя. Много ужаса по-над землёй стелется, много ужаса и под землёю, в норах, в расщелинах, в логовах. Везде – ужас, ужас – свет этого мира, его сок, его содержание.

– Настенька, – молвила мать.

– Вот, – сказала Настенька. – Пришла я к тебе...

Прошумел тут ветер в тёмных кронах, будто проворчал.

Понимающе глядела на Настеньку мать. Неживым был взгляд её. Неподвижным, подземным. Обменялись обе женщины неживыми взглядами. Переговорили без единого слова. *Перемолчали*, друг на друга не глядя.

– Пойдём, – сказала ещё мать.

Взяла она дочь за руку, и тут вдруг холод побежал по рукам женщин, сила какая-то потекла, невиданная, нечеловеческая... Великая это была сила, страшная была сила. Потаённая.

Пошли они по дорожке.

Сторож Ерёма в ту пору в своей сторожке сидел. Пьяненький, как водится. Народ наш дорогим своим покойничкам стопку с водкой и с ломтем хлеба ржаного обычно оставляет на могилках, Ерёма же всегда угощения эти прибирал. Отчего трезвым бывал редко.

Плита гранитная лежала пред ним, а Ерёма на ней скапелем да молотком буковки вырубал. Кривовато выходило, рука уж не та сделалась у мужичка. Теперь Ерёма как раз застрял, завозился с «вечною памятью», чуть не испортил он эту самую «вечную память». Гадкая выходила «вечная память».

Электрический чайник у него клокотал на столе, собирался Ерёма пить чай. Надо было поторавливаться, ещё можно было успеть поставить памятник до морозов.

И тут вдруг услышал Ерёма какой-то звук на дворе. Кого там чёрт носит? – в сердцах сказал себе Ерёма. Обернулся он к окну, а там – женщина, лбом к стеклу прильнувши, на него смотрит. И взгляд у неё нездешний, у Настенькиной матери.

Отпрянул Ерёма в ужасе. Знал он такие нездешние взгляды. К запертой двери бросился, думал подпереть её чем-нибудь для надёжности, да только не успел. Дверь с треском вылетела, и вот уж на пороге появилась... Настенька.

– Проклятая! – крикнул сторож. Бросил в неё скарпелем, потом молотком.

Но Настенька этого будто не заметила. Вошла и в сторону Ерёмы направилась.

Заметался сторож, в угол забился. Стул толкнул. Настенька же тут чайник электрический взяла, да в Ерёму запустила. Заорал, завопил обваренный кипятком сторож, за глаза, за лицо схватился. А Настенька плиту гранитную со станка взяла (а весу в ней килограммов сто пятьдесят было, никак не меньше), подняла над головою, да и обрушила на сторожа.

Во что превратилась голова Ерёмы, описывать того не станем. В месиво. Но Настенька снова подняла плиту гранитную и опустила теперь на Ерёмину грудь, потом ещё раз подняла – да и на чресла с удом поганым Ерёминым детородным нахлобучила, только тогда угомонилась Настенька. Вздохнула она, да и пошла из дому прочь. Треснула же плита гранитная, распалась на части.

Ночь прошла, и провела Настенька оную в тоске и беспокойстве. Впрочем, все, должно быть, в *том мире* живут в тоске и беспокойстве. *Мир тот* соткан из тоски и беспокойства, из мышинной возни, да червячьего копошения. Время умирает в *том мире*. То самое время, которое в сём мире – господин, в *том* – мразь и ничтожество. Меньше насекомого. Сродни пыли.

Следующий день был мрачен и пасмурен. Он стал последним для Мишки-механизатора.

Дело было к обеду, и механизаторы послали мальчика за пивом. Мишка заканчивал проходить резьбу на болте леркой, кто-то уж рассыпал по столу костяшки домино, как в мастерскую вошли две женщины. Да женщины ли это были? Так много в них собралось подземного, отталкивающего, безобразного!

Увидел Мишка женщин и сразу всё понял. Он уж слышал про ужасный Ерёмин конец.

– Не пускайте их! – заорал Мишка, а сам попытался за верстаком спрятаться.

Никто не понял ничего, но дорогу женщинам преградили. Тут мать Настенькина посмотрела на механизаторов взглядом своим пустым, взором своим подпочвенным – так один рухнул замертво, другой задрожал, на колени опустился, да и пополз в сторону.

Настенька же шла себе и шла. Взяла она со стеллажа шкворень от трактора. Обошла верстак.

– Милая, хорошая!.. – бормотал Мишка. – Прости!.. Не буду больше!

Это и были слова Мишкины распоследние самые. Подняла Настенька железяку двумя руками, да и обрушила на Мишкину голову. Одного-то раза хватило, чтобы та как орех лопнула. Такова теперь стала у неё сила.

И пошли себе восвосяи Настенька с матерью.

А вот с братьями заминка вышла. Пропали оба. Дома не ночевали, никто их видел – почували поганцы возмездие скорое. Где их искать? Нет братьев!

Да на беду их заприметил братьев кладбищенский ворон. Прилетел он и Настенькиной матери всё на ухо доложил. Выслушала Настенькина мать, усмехнулась злобно. Потом червяка изо рта достала да ворону отдала. Благодарность как бы.

Запрятались братья в соседнем селе, в подполе у Глашки Сукиной, вдовы одного местного уголовника. Да и сама Глашка – баба дрянная. Прожжённая, пропойная, прогульная, пропащая. Захочешь про неё доброе слово сказать, так не найдёшь доброго слова. Не про всех такие слова говорят, не для всякого такие слова сложены. Слова сами знают, к чему им приставать, а от чего отталкиваться.

Пошли Настенька с матерью в то село к ночи поближе, когда небо чёрным сделалось от непогоды да от потустороннего промысла.

Треснула Глашкина дверь от кулака Настенькиного, в щепу рассыпалась. И вошли женщины в дом.

– А-а, – спокойно молвила пьяная Глашка. – Притащились, шалавы! Так я и знала, что один непорядок выйдет. Я и паскудникам твоим тож сразу сказала. Всё равно ведь найдёте, – сказала ещё баба. Налила себе водки стакан и выпила залпом. – Там они. В подполе чалятся.

Склонилась Настенька над подполом, ухватилась за доску половую, да оторвала её с треском. Потом другую оторвала, третью.

– Пропало имущество, – кротко говорила пьяная Глашка.

В дыре ж половой тут же появились головы двух братьев поганых – *спрыгнутого* да *долгопятого*. Будто две гадюки в норе разорённой копошились они.

– Цыпонька! Рыбонька! – скулили братья. – Хошь, женимся на тебе, чтоб позор покрыть? Хошь, рабами твоими станем. Хошь, сами в петлю влезем? Хошь, живыми в могилу ляжем? Не убивай нас только!.. Не рви!.. Не лютуй над нами!.. Не зверствуй!

Но Настенька их не слушала. Взяла *спрыгнутого* за горло, вынула на свет божий. Будто кафтан старый из бабкиного сундука. Придавила Настенька мужичка ногой к полу, засунула руку ему в пах, дёрнула, да и вырвала гадкий *уд* его детородный, вместе с мошонкой, с пузырём мочевым да с кишками. Потом взяла его за горло и задавила. Как червяка дождевого.

Потом и *долгопятого* та же участь ждала.

– Мамочка! Мамочка! – визжал *долгопятый*, покуда с братцем его расправлялись. Потом же визжать перестал. Обмочился от страху.

Настенькина же мать подошла к Глашке и говорит:

– Не баба ты, пакость одна!..

Взяла Глашку за голову, да и повернула. Так что та назад смотреть стала. А потом повернула ещё. Вроде как на место поставила, да только с оборотом полным. Глашка Сукина упала на пол замертво. Гадок был Глашкин дом, вот и свершилось в нём гадкое. Было ли гадкое справедливым? Бог весть!.. Гадкое, видать, и цель и средство, и проступок и воздаяние. Гадкое *везде*, гадкое *всегда*, гадкое – слагаемое этого мира, важнейшее из его слагаемых!.. Несовершенен и неказист мир без гадкого и безобразного. Не полон и не достроен мир без омерзительного.

Настенька с матерью вернулись на кладбище ночью. Не было луны в небе. Но мёртвые женщины знали дорогу. Вот дошли они до материнной могилки, разворошили землю, забрались в яму. Было холодно, обнялись женщины, чтобы ещё больше выстудить друг дружку могильною своею остылостью. Так и замерли они, обнявшись. На годы замерли, на столетия. Кажется, честно исполнили обе они главный закон *беззаконного* мёртвого мира – ждать! Ждать, покуда не вострубят трубы, покуда не призовут их, покуда не восстанут они, каждая со своим грузом, со своею печалью, со своим смятением, со своею виной.

Жених за дверью

Addio del passato bei sogni ridenti,
Le rose del volto gia sono pallenti;
L'amore d'Alfredo perfino mi manca...*

Чёртовы осветители, чёртовы их фонари! Хотя осветители, конечно же, здесь ни при чём, откуда им знать, что эта проклятая лампа на правой галерее лопнет в то самое мгновение, когда Виолетта Валери станет прощаться с жизнью, и по воздуху польются поддержанные пианиссимо оркестра тихие, трепетные и трогательные, как вздох, слова: «Ah! Tutto, tutto fini. Or tutto, tutto fini!» – здесь так просто можно скатиться в пошлый мелодраматизм, в слезливость, и тогда, разумеется, пиши пропало; выход один: предельная сосредоточенность, абсолютная искренность, и вот, когда тихо-тихо троекратно звучит «or tutto» (это такие осторожные подходы пред тем, как голос взнесётся едва ли не в стратосферу), в это самое мгновение лампа делает своё громкое, невообразимое и бестактное «бум!», Лариса Борисовна – тоже живой человек, она вздрагивает, немного сбивается, и последнее «fini» (Ах, этот Верди с его высокими нотами!) звучит недостаточно чисто; по залу ползёт нехоро-

* «Простите вы навеки, о счастье мечтанья». Ария Виолетты Валери из оперы Дж. Верди «Травиата», IV действие.

ший шепоток, раздаётся несколько разрозненных смешков, что на сцене, разумеется, великолепно слышно, если вы этого не знали, конечно, и как после всего случившегося прикажете себя чувствовать? Лопнула бы, если уж ей непременно надо лопнуть, чуть позже; например, когда с улицы слышатся звуки парижского карнавала, тогда бы все подумали, что это пушка и что так и надо. Так ведь нет же: обязательно нужно испортить самую трогательную и пронзительную сцену!..

Хотя, в общем, принимали хорошо. Много раз вызывали, аплодировали минут пять, а лампа же... а что – лампа? Обычная техническая накладка. Редкий спектакль обходится без накладок. Многие их даже не замечают.

После спектакля к Ларисе Борисовне зашёл Сеня Казанцев (он исполнял партию старика Жермона, отца Альфреда) и предложил выпить коньяка. Но женщина отказалась.

– Сеня, мне надо сегодня домой пораньше, – проговорила она.

Ей и вправду нужно было домой пораньше, вот только она никак не могла припомнить, для чего. Что-то она кому-то пообещала несколько дней назад, или кто-то её о чём-то попросил. Ах, память у неё стала просто ужасной! Надо всё записывать, надо завести специальный блокнот!..

Помощник режиссёра вызвала такси для Ларисы Борисовны и даже помогла донести четыре роскошных букета, преподнесённых сегодня примадонне. А на прошлой «Травиате» было шесть, машинально отметила Лариса Борисовна.

И всё-таки зачем ей могло понадобиться сегодня пораньше в её ужасную комнату на Боровой улице? В этот коммунальный вертеп. Никогда она не стремилась туда, никогда не считала своим домом. Ларисе Борисовне нравилось думать: там я только ночью, живу же где угодно, только не на Боровой.

Это не было совсем уж правдой. Спектакли случались не так часто. Гулять по городу тоже невозможно до бесконечности. Друзья же, знакомые... Да, полно, полно!.. Какие друзья, какие знакомые? Не стоит себя обманывать. Потому иногда доводилось сидеть дома с утра и до ночи, вздрагивая от всевозможных звуков.

Единственной отдушиной, единственным счастьем в её жизни сделался Алёшенька. Стоп, стоп!.. Так, может быть, она торопилась на Боровую из-за него? Нет, этого бы забыть она не могла, сегодня с Алёшенькой они встречаться не договаривались.

Ни одна лампочка на лестнице не горела, а время, между прочим, теперь не дневное. Лариса Борисовна осторожно поднималась по лестнице, ощупывая ногами каждую из ступеней. И вдруг она услышала, что на площадке второго этажа кто-то стоит. Чёрт! Лариса Борисовна оцепенела.

Но тут раздалось покашливанье, мужское покашливанье, даже как будто смущённое.

– Лариса Борисовна? – сказал стоявший.

– Кто вы? – вопрошала примадонна своим великолепным сильным голосом. Если бы даже на её пути теперь оказался налётчик, она уже одним своим голосом могла бы того обескуражить.

– Я... – замаялся мужчина. – Я – папа Алёшеньки. Мы с вами договаривались... помните? Третьего дня...

– Боже! – воскликнула Лариса Борисовна и вдруг захохотала, открыто, свободно, полётно, раскатисто. – Это вы?

– Анатолий Иванович, – напомнил мужчина.

– Да-да, конечно, Анатолий Иванович! Я помню! Я помню, что у меня сегодня что-то... но совершенно забыла, что именно!.. всю дорогу мучилась, вспоминала!.. Всё: это уже склероз!.. Простите рассеянную женщину, Анатолий Иванович!

– Что вы, что вы! – успел только вставить тот.

– Что же вы не перезвонили сегодня? – спросила Лариса Борисовна. – Я бы сразу помчалась домой. Я бы попросила сократить антракты.

– Да я звонил... – говорил мужчина. – У вас телефон был выключен.

– Боже! – воскликнула женщина и схватилась за голову. – Я не дружу ни с какой техникой. Утром репетировала, отключила телефон, чтобы никто не отвлекал, и с тех пор не включила. Вот балда!

Лариса Борисовна полезла даже в сумочку, чтобы немедленно исправить оплошность, но ей мешали букеты. Лариса Борисовна отдала букеты Анатолию Ивановичу.

– Помогите, пожалуйста, – сказала она, улыбнувшись мужчине. – Поухаживайте за мной чуть-чуть.
– Ой, – востепенулся тот. Быстро вытащил из-за спины свой букет (конечно, куда более скромный, чем букеты поклонников Ларисы Борисовны) и протянул его женщине. – А это вам.

– Спасибо, – с чувством сказала женщина. – Ладно, после, – сказала она ещё по поводу телефона. – За пять минут ничего уж не случится, никто не позвонит. Что мы стоим? Идёмте ко мне! В мой вертепчик. Алешенька ведь рассказал вам про мою мышкину норку? Вот, изволите видеть, ни одна лампочка не горит.

– Я завтра же приеду! – вскричал Анатолий Иванович. – Вверну лампочки на всех этажах! Такая женщина, как вы, Лариса Борисовна...

– Лариса, – вставила она. – Называйте меня Ларисой.

– ...как вы, Лариса, не должны ходить в темноте. А меня – Анатолием!..

Они обменялись рукопожатием. Тёплым, сердечным, искренним и неожиданным для обоих.

– Ах, Анатолий, – сказала Лариса Борисовна. – Этим должны заниматься коммунальные службы. В крайнем случае, сами жильцы. Но, уж если никому никакого дела нет, что ж, стало быть, я завтра выйду со стремянкой и стану вворачивать эти чёртовы лампочки.

– Я!.. – взмолился Анатолий Иванович. – Утром же я приеду и всё сделаю. Вы только проснётесь – а уже всё готово!

– Идёмте, идёмте!

Женщина открыла дверь, и квартира сразу же вцепилась в пришедших чем-то своим самым неотъемлемым – затхлостью, каверзностью, мстительной настороженностью.

– Ничему не удивляйтесь и, главное, ничего не бойтесь! – сказала Лариса Борисовна.

– Я не боюсь, – сказал Анатолий Иванович.

– На самом деле, я не отошла ещё от итальянского языка, – громко говорила женщина. – Когда, знаете, три с половиной часа – один итальянский, и каждый слог, каждую буковку, каждый звук распевает на три, на четыре, а то и на пять нот... а это и есть настоящее бельканто... поневоле меняется сознание, делаешься другим человеком!..

– У вас такая работа!.. Такая жизнь!.. – отозвался её гость.

Лариса Борисовна шла по коридорному хитросплетению спокойно, уверенно; это шла не женщина, но артистка. В походке же Анатолия Ивановича, всё более собиралось удручённого, подавленного.

Комната Ларисы Борисовны была островком. Здесь гнездились уют, покой, высокие помыслы, мирные нравы. Стены здесь были все в афишах, и везде так: «Лариса Могилова, Лариса Могилова, заслуженная артистка...» Москва, Казань, Петербург, Будапешт, Вышний Волочок, Томск, знаменитые оркестры, известные дирижёры. Или, может, не столь знаменитые и не так уж известные, но всё равно – это вам не художественная самодеятельность в сельском клубе! Висело несколько картин, писанных маслом.

– Располагайтесь, – предложила Лариса Борисовна гостю. – Сейчас будем пить кофе.

Но тот буквально устался в афиши, едва не прирос к ним.

«Сногшибательная была женщина, – сказал себе Анатолий Иванович, разглядывая какую-то афишу тридцатилетней давности, кажется, из Вышнего Волочка. – Да она и сейчас такая же!..» – тут же поправил себя он.

Анатолия Ивановича хозяйка усадила в кресло, сама же устроилась на постели.

– Мы хотели обсудить... – начала женщина. – Эта бумага... или справка... не помню точно, как она там называется...

– Разрешение... – подсказал Анатолий Иванович.

– Да, разрешение... из этой организации... инстанции... Чёрт, я так непрактична, ничего не смыслю в житейских вопросах...

– Из органа опеки...

– Да, точно: опеки и попечительства... Наверное, и мне туда нужно что-то написать... заявление... или зайти...

– Нет-нет, – спохватился Анатолий Иванович. – Мы уже всё сделали. Сходили. Получили.

– Как – уже? – удивилась Лариса Борисовна. – Так быстро? Вы просто волшебник, Анатолий!
– Это всё Алёшенька! Это он – молодец! Он тоже написал заявление. Ему там задавали вопросы... на комиссии. Но он отвечал твёрдо, чётко, уверенно. Хотя потом признался, что волновался ужасно.

– Ах да, там же ещё комиссия!.. – сказала женщина.

– Что – комиссия? Обычные бабы. Ой, простите, то есть женщины!.. Для них это как кино. Как мелодрама. Можно повздыхать, посочувствовать, поплакать, головой покивать.

– Да-да!..

– Про Алёшенькину мать, покойницу, спрашивали, но тут уж я отвечал. Больше же всего их интересовало, не отразится ли его женитьба на учёбе. Сейчас такой ответственный период. Девятый класс...

– Да, девятый класс, – сказала Лариса Борисовна.

– Спрашивали, как он учится.

– Ну, здесь-то никаких проблем! Одни четвёрки и пятёрки. Светлая головушка!..

– Да, но они спрашивали. Успеваемость за прошлый год изучали.

– А Алёшенька?

– Держался прекрасно. Сказал, что очень любит читать. Что с книгой буквально не расстаётся.

И что невеста всячески поддерживает эту склонность.

– Это так, – с чувством сказала Лариса Борисовна. – Алёшенька часто читает мне вслух.

– Об этом он тоже сказал.

– А про невесту они ещё что-нибудь спрашивали?

– Как бы они могли не спросить о самом главном?

– А вы?

– Мы сказали, что невеста, любимая Алёшенькина женщина – знаменитость, артистка.

– Полно! Какая я знаменитость?! Знаменитости так не живут, – меланхолически обвела рукой вокруг Лариса Борисовна.

– Знаменитость, знаменитость!

– И это не вызвало сомнений, каких-то вопросов?

– Мне кажется, это вызвало у них зависть к Алёшенькиному счастью.

– Ой, так не хочется, чтобы нам кто-нибудь завидовал! – испугалась Лариса Борисовна. – Я так боюсь чужой зависти!.. Я столько натерпелась от неё!..

– Что ж поделаешь. Обычные женщины!.. У них у самих, может, не сложилось в личной жизни, к тому ж знаменитостей они видели только по телевизору...

– Вот вы меня всё знаменитостью величаете, а хотите коньячку в кофе? Вы ведь не за рулём?

– Ну, только совсем чуть-чуть, – согласился Анатолий Иванович.

– Конечно, чуть-чуть. Много и нет, – весело сказала Лариса Борисовна.

Она налила коньяк в кофе себе и своему гостю, оба пригубили, уселись поудобнее и продолжили беседу.

– Не спрашивали ли они про мой возраст?

– Как-то не пришлось к слову. А мы тоже не сказали.

– Хорошо, хорошо!.. – женщина тут порывисто встала и заходила по комнате со сцепленными на груди руками. Потом столь же порывисто вернулась на своё место.

– Какая у неё фигура! Потрясающая! – сказал себе Анатолий Иванович и даже немного потупился, чтобы не выдать своего восхищённого взгляда.

– Мне – шестьдесят один, Алёшеньке – пятнадцать!.. И нет смысла скрывать это от самих себя!.. – сказала она.

– Лариса Борисовна! – запротестовал Анатолий Иванович и замахал руками. – Лариса... – поправился он. – Это просто какая-то дикость!.. нонсенс, абсурд, феномен, ошибка природы! Вам не столько лет, сколько в паспорте! Значит, в паспорте какая-то ошибка!.. Надо на них пожаловаться, надо подать в суд!.. Я – мужчина, я же вижу! Вам никогда не дашь этих лет, что в паспорте. Вам можно дать только в полтора... нет, в два раза меньше!..

Женщина кротко выслушала эту тираду и продолжила.

– Я – артистка, я – певица, я – ужасно взбалмошная женщина. Но теперь я словно больной сверчок. Нужно только чуть-чуть согреть мою душу, чуть-чуть подышать на неё, тепло-тепло, тихо-тихо, и тогда я снова расцвету, я снова воспряну. Я люблю Алёшеньку, он любит меня. И сколько бы нам ни осталось... пусть это будет день, месяц или год... Я всё равно хочу и сделаю всё для того, чтобы он был счастлив. И чтобы я тоже была счастлива вместе с ним.

У Анатолия Ивановича на глазах навернулись слёзы.

– Лариса!.. Лариса!.. – прошептал он. – Вы – удивительная женщина!

– А вы знаете, какой через два-три года это будет мужчина?! Я – женщина, я кое-что в этом смысле! Да нет же, он и сейчас уже именно такой мужчина, самый лучший, самый потрясающий!..

– Вы!.. Вы потрясающая! – шепнул ещё гость.

– Ох, простите! Я вас перебила, – спохватилась вдруг хозяйка. – Вы ведь рассказывали про комиссию!.. Продолжайте! Я ненасытна, я всё хочу знать про Алёшеньку!

– Потом юрист выступил. Сказал, что вопрос будет решать глава администрации.

– И? И что же глава?

– Мы ждали. Мы очень волновались. Особенно Алёшенька. Я отнёс этим женщинам из отдела опеки продуктовый набор: две бутылки шампанского полусладкого, палку колбасы копчёной, конфет шоколадных, красной икры, ананас...

– Такие расходы! – всплеснула руками женщина.

– Да ведь и сын-то у меня один, – сказал её гость.

– И что же глава? Что – глава? – нетерпеливо спрашивала женщина.

– Подписал, – кивнул головой Анатолий Иванович.

– Боже!.. – воскликнула женщина, молитвенно сложив пред собою руки.

– Алёшенька был на седьмом небе от радости.

– И я тоже там, – сказала Лариса Борисовна.

– С этой бумагой теперь можно идти в ЗАГС, писать заявления.

– Завтра же!.. Нет, не завтра. Завтра – репетиция, у Алёшеньки – школа, шесть уроков. После завтра!.. Сразу после уроков – в ЗАГС! Ни минуты больше не хочу ждать! Это ещё какое число они назначат... Большие ли у них теперь очереди?..

– И ещё про ресторан подумать...

– Да, про ресторан. Мне нравится «Палкин», но там так дорого!..

– Пусть дорого! Этот день должен запомниться на всю жизнь!..

– Всю жизнь... – горько повторила женщина. – Ваша покорная слуга, или «знаменитость», как вы её называете, не столь уж состоятельная женщина!..

– Лариса, – взволнованно говорил Анатолий Иванович. – Вы спросили меня, не на машине ли я...

– Спросила.

– Не на машине. Потому что я её продал.

– Продали? Боже, зачем? Неужели из-за нашей свадьбы, из-за ресторана? Если так... то есть одно кафе, здесь недалеко, там будет не так дорого. Отметим всё скромно, немного гостей!..

– Вы уже знаете, кого бы хотели пригласить?

– Я не задумывалась об этом. Из консерватории, из театра, человек пять, шесть. Куда больше?

– Я тоже хотел с работы. Тоже человек пять. Алёшенька хотел пригласить из класса, но здесь у меня сомнения.

– Что за сомнения?

– Ну, как же!.. Девятый класс. Им об учёбе думать нужно, а не о чужих свадьбах. Непедагогично получится.

– Вы правы! Обо всём-то вы подумали, Анатолий! Вы просто наш ангел-хранитель!..

– Я просто отец.

– А я просто любящая женщина, – сказала Лариса Борисовна. И вдруг улыбнулась спокойно, доверчиво, *ситуцево*.

– Я уверен, что у вас всё получится, и вы будете счастливы!..

- Дай Бог! Надо будет подумать и об Алёшенькином будущем.
- Да, надо, – согласился отец.
- Алёшенька сразу после школы хочет идти куда-то зарабатывать деньги, становиться главой семьи.
- Да, он мне говорил то же самое.
- А я думаю, ему нужно продолжать учиться, получать образование. Как-нибудь проживём.
- Я буду помогать, чем смогу.
- Ой, да что вы! Я не к тому. Конечно, мне нравятся гуманитарные учебные заведения, но Алёшеньке, наверное, лучше что-то техническое. Мужчины должны владеть чем-то техническим.
- Да, он с детства с техникой ладил. Любой телефон с закрытыми глазами разберёт и соберёт.
- Ну, вот видите!.. Не то, что я.
- Ну, пусть он сам решает.
- Да, пусть решает.
- И ещё...
- Что?
- На комиссии спросили, где молодые будут жить.
- И что вы ответили?
- Сказали, что у невесты есть комната в центре. Или можно снимать.
- Конечно, конечно, лучше снимать. А то... Алёшенька и эта квартира!.. Эти соседи!.. Немыслимо, ужасно!.. Они самую чистую душу способны превратить в гадость! Я живу здесь, я знаю!..
- Я подумал... Когда вы вместе станете жить... а мне что? Я старик...
- Вы не старик, Анатолий, вовсе не старик! – горячо возразила женщина.
- У нас однокомнатная квартирка на Второй Комсомольской улице, далековато, конечно... В общем, если вы согласитесь, я перееду к вам сюда, а вы с Алёшенькой поселитесь на Второй Комсомольской.
- Нет! Нет!.. – запротестовала Лариса Борисовна. – Я не приму, я не могу принять такую жертву.
- Это не жертва, – твёрдо сказал Анатолий Иванович. – Это – обязанность!
- Как жаль, что Алёшеньки теперь нет! – воскликнула женщина. – Если бы он был с нами, если бы он нас слышал!..
- Он здесь, – тихо сказал Анатолий Иванович.
- Алёшенька? Здесь? Где? Где же?
- Должно быть, за дверью. Мы давно приехали, я остался на лестнице ждать, а Алёшеньку в квартире уже знают, его и пустили. Видать, на кухне теперь сидит. Или чай пьёт, или с котиком играет. Хороший у соседки вашей котик, Лариса!..
- Алёшенька! – крикнула женщина и куницею метнулась к двери.
- Дверь открылась, и вошёл мальчик, молодой человек, Алёшенька. Сердце Ларисы Борисовны забилось часто-часто, хорош был Алёшенька, пригож, как только в пору первой юности пригожи люди бывают, да и то – один на миллион, быть может. Пригожесть его была какою-то фантастической, картинною.
- Алёшенька тоже устремился навстречу Ларисе Борисовне. Они обнялись порывисто. Лариса Борисовна взяла молодого человека за голову и поцеловала его коротко – в губы, жарко-жарко – в щёки, в висок, в лоб, в макушку.
- «Материнское, – машинально отметил про себя Анатолий Иванович, вставая с кресла. – Меня стесняются. А то бы дали себе волю».
- Должно быть, Алёшенька тоже почувствовал это, он сам взял женщину за голову и страстно стал целовать её в губы.
- Лариса!.. – только шепнул он. И Лариса Борисовна вся-вся потянулась в сторону этого поцелуя. Анатолий Иванович засмутился.
- Хе!.. – сказал он. – Я, пожалуй, в коридоре постою. За дверью.
- А который час? – опомнилась Лариса Борисовна. – Господи! Полдвенадцатого! Вам же на метро!.. Вы опоздаете! Пять минут! Всего пять минут!

– Я скучал без тебя, Лариса, – проговорил Алёшенька удивительным своим голоском. – Целых три дня!

– Я тоже, милый! Но тебе завтра в школу. Рано вставать. И мы обещали на комиссии, что ты будешь учиться хорошо. Обещали?

– Плевать на комиссию! – сказал Алёшенька. – Мы от них уже всё получили, что было нужно.

– Нет-нет, на комиссию не плевать! – возразила женщина. – Ты должен рано ложиться, должен хорошо выспаться. Ты должен сидеть на уроках с ясной головой...

– Я не могу спать, когда думаю о тебе, – возразил Алёшенька.

– Милый, милый, милый! – промурлыкала Лариса Борисовна. – Анатолий, – добавила она, – мы совсем-совсем чуть-чуть! Поворкуем, как голубки. Дождитесь Алёшеньку. Поезжайте с ним вместе. Не оставляйте его одного. Берегите нашего мальчика, он у нас один!

Анатолий Иванович поклонился, взглянул на Ларису Борисовну смущённо и жадно и вышел.

Он потоптался за дверью. Коридор и квартира снова стали приглядываться, приноравливаться к нему и даже потихоньку овладевать им, понемногу подбирать под себя. Трудно было сопротивляться здешнему духу, почти неуловимым он был. Но въедливым и вкрадчивым. Разъедающим и расточающим. Анатолий Иванович прильнул ухом к двери.

– Я скучал, я так давно не ласкал тебя!.. – шептал за дверью его сын.

«Маленький мужчина!.. – подумал он про Алёшеньку. – Лариса права. Я таким не был. В моё время было не так. А женщина потрясающая!.. – вздохнул он. – Эх!.. Такая!..»

– Подожди, подожди!.. – шептала смеясь Лариса Борисовна. – Подожди!.. Нетерпеливый!

– Давно!.. Три дня, я считал!..

– Подожди, потерпи! Ещё два дня, и потом, в субботу, мы поедем с тобой в Зеленогорск, в Сестрорецк, только ты и я, мы будем гулять по заливу!.. Там будет хорошо, тихо, спокойно, мы будем счастливы!..

– Ну, пусть ещё немного, – сказал себе Анатолий Иванович. – Их дело такое! Метро недалеко, за пятнадцать минут добежим. Успеем, поди!

– Целых три дня! Представляешь?!

– Что такое три дня? Мелочь! Ну, подожди же...

Тут вдруг послышался как бы даже стон, Алёшенькин. Анатолий Иванович подумал, будто ему почудилось. Но стон повторился, уже громче, застонала и Лариса Борисовна. Оба они громко задышали и постанывали теперь жарко и беспорядочно.

– Три дня... три дня... – бормотал юноша.

– Тебе завтра в школу... в школу... – вскрикивала Лариса Борисовна.

– Три дня... три... три...

Анатолий Иванович смутился и отступил на шаг от двери.

– А всё ж таки... – сказал он себе, похаживая и потирая руки с некоторой даже взволнованностью, – если... ну, мало ли... что-то у них там не столкнется... или разладится... не дай Бог, конечно!.. но... вдруг... я ведь, пожалуй, что сам женюсь на Ларисе.

Мысль эта на минуту взбудоражила Анатолия Ивановича. Он то похаживал, то застывал на месте столбом, стараясь привыкнуть к оной. Проковыляла какая-то старуха мимо Анатолия Ивановича, но внимания на него не обратила. «Ишь, тухломордые какие!..» – лишь едва слышно через плечо пробормотала она.

– Да-да, я женюсь! – решительно сказал он себе. – Может же у них что-нибудь разладиться? Например, Алёшенька увлечётся кем-то другим. Ах нет, в нашей семье мы все такие верные!.. Если любим, так уж до гроба. Ну, например, если она овдовееет. И станет снова свободной. Мало ли, всякое случается. Бывает, и молодые умирают. От болезней. Или в катастрофы попадают. Идешь-идешь, и вдруг – раз! – и тебя машина сбивает. Сейчас жить труднее, чем умереть. Мотоциклы очень опасны. Может, купить Алёшеньке мотоцикл? Нет, не для того, чтобы... а так просто!.. Он же любит технику. Он мотоцикл с детства хочет. И если... И вот тогда... она станет свободной... и, может, обратит внимание на меня. Увлечлась ведь она Алёшенькой! А мы с Алёшенькой одна кровь, одна плоть! Может, с него на меня всё спроецируется! Я буду всегда рядом. В горе и в радости. Чего ей другого

кого искать?! А я подожду, если нужно. Такую женщину можно ждать долго. Я могу подождать год. И два, и три, и пять. Даже... десять!..

Старуха проковыляла обратно и, когда она проходила мимо Анатолия Ивановича, повеяло затхлостью, повеяло отсутствием жизни, застылостью, землёй и червями. «Должно быть, старая, сходила пописать. Что ж, пописать – дело хорошее! Пописать бывает нужно. А вот свет, дура, небось, за собой не погасила!..» – подумал мужчина. Он почесал затылок, потом пригладил волосы ладонью.

– Да... – пропентал он. – Но мне теперь почти пятьдесят, и если придётся ждать больше десяти лет, вот это будет уже трудно, – сказал себе он, и, будто в противовес горьким его раздумьям, в сердце его понемногу стала разжигаться надежда. Да нет, не надежда; что – надежда? – надежда – тьфу! – надежда – ничто! Там стала разжигаться уверенность.

Ah! Tutto, tutto fini. Or tutto, tutto fini!*

Бессмертный брат

Рождён собакою – привыкай собирать себе пищу в пыли и в нечистотах. Рождён человеком – смысл свой ищи в пыли и в нечистотах. И радуйся, что пищу имеешь разнообразнее собачьей. Смерти же что у собак, что у человек не слишком и разнятся. Впрочем, иногда исключения бывают. Иной человек такую смерть примет, что не всякой собаке в страшном сне приснится. Бывают же у собак страшные сны про человек, да про смерти их? Не правда ль? Всё живое желает смерти человеку, лютого истребления, но до поры до времени таится, не обнаруживает себя, то ли из предосторожности, то ли из суеверия, то ли из нежелания пятнать душу свою безжалостным, бесчеловечским.

Сами, поди, знаете, что за время на дворе громыхало – небось, не беспамятные. Мы гэкэчэпэ, говорят, Расеи спасители, и сидят там все такие нервные, и заместитель этот, как его, с соплями, помер потом! – да и остальные немногим лучше, разве что не трясутся. А хотя, пожалуй, что и тряслись. И народишко тогда наш к приёмничкам своим припал, в телевизорышки свои чёрно-белые уткнулся, да по приёмничку-то и по телевизорышке разве что вообще поймёшь?

В общем, *колбасили* нас тогда хорошо, при помощи приёмничков да телевизорышек, да мы, впрочем, и без того как *уколбашенные* ходили. Все, все ходили *уколбашенные*! Ни одного не было трезвого да к простоте прильнувшего! И вот в те самые дни, когда из приёмничков громыхало да гундосило про гэкэчэпэ, да про предателей, Федотка Строголетов из девятой квартиры как раз убил свою любовницу.

Что было тому причиной, теперь уж никто и не упомнит, и сам Федотка этого уж больше не расскажет. Любовницу Федотову звали Ларисой, и была она шумна, смешлива. А когда надобно, так податлива да понятлива – в общем, мёд, а не баба!

Порешил Федотка бабу чисто и неприметно, поначалу на него и подумать никто не догадывался. Профессионал, едрёна корень! Ходил весь согбенный и удручённый: куда, мол, моя Ларисонька подевалась!.. Моя рыбка ненаглядная! Хотя если бы милиционеры тогда не были такие *уколбашенные*, так, может, на Федотку и подумали бы. Но у них у самих забот полные рты были: то ли им путчистам на верность присягать, то ли к новой демократической – не к ночи будь помянута! – власти синхронно пристраиваться, Бог знает!.. Так что к сему очередному мокрому деянию отнеслись ошалело. Да и было ли такое деяние, ежели трупа не найдено? Пропала баба – и пропала!

Глядишь, и вообще бы сошло всё Федотке с рук, да на беду его заприметил брат Виктор у Федотки женские украшения спрятанные – перстенёк золотой с жемчугом, серёжки жемчужные и брошечку с аметистом. Недолго он раздумывал – сообщать, не сообщать ему о брате; тотчас же побежал и говорит: так и так, мол, здесь дело нечисто!

Менты, как водится, забыв на время про свою ошалелость, взялись за Федотку довольно серьёзно. Украшения изъяли, четыре зуба Федотке выбили, и вот он рассказал всё как на духу. Как

* Ах, всё, всё кончено. Теперь всё, всё кончено (итал.). Ария Виолетты Валери из оперы Дж. Верди «Травиата», IV действие.

резал Ларису в её отдельной квартире на Лесном проспекте, как расчленял, как по мешкам куски складывал, как в лес вёз, как закапывал, как руки потом отмывал...

Дали Федотке Строголетову по всей тогдашней строгости – пятнадцать годков. Ни больше, ни меньше.

– Я ещё вернусь! – кричал Федотка на суде Виктору.

– Не скоро, – хладнокровно возражал тот.

Ну да разве ж это – разговор: *скоро, не скоро?! Не скоро* – оно тоже проходит.

По-разному жил Виктор в эти годы, и барыжничал, и мошенничал, и челночил, и бодяжил, и химичил, и напёрсточничал, – короче, испробовал многое. Только не сидел. Но это случайно. Посадить за многое следовало. Завод его закрыли, открыли рынок на том же самом месте, Виктор и на этом рынке поработал. Женился на цыганке – оказалась ведьмой, чуть с соплеменниками вкупе не извела вовсе Виктора, да кое-как отбился. Аккурат в те дни по Белому дому из орудий стреляли, свет с водой отключали, к штурму готовились. Сгинула потом ведьма, убежала с прапорщиком, заведующим складом. Спились после вместе до потери всяческих обликов. Да, занятное было время: мутное, чрезвычайное, *превратное!*

Были ещё и другие женщины у Виктора, но у одной то не так, у другой это не этак, и вот Виктор понемногу стал жить один. Промышлял всякими разностями, регулярно нигде не работал, но и с голоду как-то так не помирал. Странно у нас теперь народец живёт. Не пойми как живёт, но всё же живёт! Вот и Виктор поживал не пойми как.

Однако же срок Федоткин понемногу начинал выходить. Ему, правда, надбавили ещё три с половиной года на зоне за драку с членовредительством. Но и это тоже не срок. Виктор стал беспokoиться. Съехать куда-то и жить там по найму – так комнаты жалко. Думал Виктор комнату разменять, даже человека к Федотке на зону посылал: давай, мол, Федот, комнату мы по нынешней моде приватизируем, разменяем, тебе дом в Тверской области купим, ну, и брату Виктору – тоже что-нибудь. Федот визитёров принимал, но отвечал твёрдо: вернусь, мол, тогда всё решим. А пока же согласия моего ни на что не даю.

Федотка вернулся ближе к весне. Смурной, но тихий. С братом не ссорился. Как-то так ходили они, друг на друга не глядя. Никогда Виктор чрезмерным трудолюбием не страдал, а тут так даже на работу устроился. Чтоб дома бывать реже.

Как-то раз Виктор с работы приходит, а Федотка сидит в комнате да топор точит.

– Не на меня ль топор точишь? – поинтересовался Виктор у брата.

– Может, и на тебя, – ответил тот. – А только топору лучше острым быть.

Может, это топору и лучше, да только что здесь вообще топору делать? Чай, не в лесу живут, по здравому-то рассуждению!..

Ни слова не сказал Виктор, сходил на кухню и вернулся с ножом рыбным. И тоже точить его сел. И ещё соседям сказал: ежели, мол, что со мною случится, так это брат мой Федотка надо мною распорядился. По своей душегубной уголовной наклонности.

Но в тот день ничего не случилось. Спать легли братья, наутро проснулись, и каждый делом обычным своим занялся. Хотя сны Виктору снились ужасные. Кровь ему снилась, во снах его Виктор сам брату Федотке артерии отворял.

– Я, может, и сам тебя порешу, – сказал Виктор наутро Федоту. – Ты пятнашку тянул с лишком, а теперь и я десятку потяну, если надо. За тебя больше десятки не дадут.

– Это почему за меня дадут так мало? – поинтересовался Федотка.

– Ты – человек малоценный. Срок за тебя большой не положен.

– Это почему ж так?

– А Гайдар тебе цены отпускат? – взъярился Виктор. – А при тебе в Белом доме воду отключали? А после дефолта ты без штанов бегал? А косорылого Ельцина, каждый день по телевизору гундосащего, ты видел? А с нынешних гладеньких тебя тошнило? А в домах тебя взрывали? Нет? Проспал ты всю жизнь нашу на нарах своих чёртовых! Вот потому-то ты малоценный и есть!

– Ты б ещё Чернобыль припомнил! – отговорился Федотка.

Так они и жили ещё несколько дней, один с топором наточенным, другой с ножом. Постоянно

давал Виктор брату острастку, но не было, не было у него душегубского навыка. Потому Федотка порою поглядывал на брата с *пресловутостью и преобладанием*.

– Ты бы ещё Мишку меченого припомнил, – недобро ухмылялся он.

– Меченый здесь ни при чём, – твёрдо отвечал Виктор.

И вот однажды не уберётся Виктор. Пришедши с работы, наварил себе макарон по-флотски. И когда он в комнату с тарелкою макарон входил (а нож свой Виктор по забывчивости оставил на кухне), Федотка сзади с хмыком да с гиканьем и прорубил ему череп до самого основания. Упал Виктор замертво. И макароны рассыпались по полу.

Макароны Федотка собрал с пола и съел их вместе с братниной кровью. Голоден был. А тело же до ночи оставил как было, чтобы после им распорядиться привычным способом.

Но на беду свою выпил Федот бутылку водки, когда макароны доедал. Его и сморило. Заснул он, и лишь под утро его будто шибануло. Вспомнил про брата.

Подскочил Федот с постели. Свет запалил.

Смотрит – а брат его, Виктор, с головою прорубленной, за столом сидит, в его сторону смотрит и будто бы ухмыляется даже.

Федот аж захолонул весь.

– Ты!.. Ты!.. – бормочет он.

– Почто мои макароны съел? – спрашивает его Виктор. – Меня, с работы пришедшего, голодным оставил.

– Я ж убил тебя, – выдавил из себя Федот. – Как же ты живой теперь?

Захохотал Виктор.

– Давно ты здесь не был, – сказал тот. – Другие мы теперь стали. Биты много раз да *убивать!*..

Нас теперь убивать мудрёно.

– Мудрёно, – пробормотал Федот, а сам за топором потянулся. Схватил топор и снова на брата налетел. – Вижу, что мудрёно!..

Ещё два раза он голову брату прорубил и грудь в двух местах. И для верности ещё кровь из артерии выпустил.

Сидит и смотрит. Мёртв брат, мертвее не бывает. Ему ли в этом не понимать? Никакой Гайдар не воскресит. Никакая шокотерапия не поможет. Закрыв он тогда за собой дверь, в магазин отправился. Нетрудно догадаться, за чем. Мне бы мясником на рынке работать, гордился собою Федот.

Вернулся он с бутылкою, заходит в квартиру, а там неладное что-то происходит, по всему видно. У сестёр Плошкиных дверь в комнату раскрылась, Алла Андреевна высунулась и прошипела недобро:

– Если этот твой труп ещё по квартире ходить будет, я полицаев вызову, так вот и знай.

– И я тоже вызову, – взвизгнула из-за спины сестры Валентина Андреевна.

Федотка понёсся в комнату. Ворвался, а навстречу ему брат Виктор, весь порубленный, но живой, вздымается. И мелкою судорогою содрогается.

– Каин!.. Каин!.. – бормочет Виктор.

– Сдохни! Сдохни! – кричит Федот.

– Макароны!.. Макароны!.. – снова бормочет Виктор. – Гайдар тебе цены отпускал? Отпускал?

Повалил Федот брата и снова за топор свой схватился. Рубил он, рубил – чуть в куски не изрубил брата. Да, конечно, орал он, рубя; слышались, слышались от Федота известные в таких случаях выражения. Да кого ж в девятой квартире криками удивить? Кого выражениями напугаешь? Никого не удивишь и не напугаешь!..

После сел Федот на полу, пьёт водку из горла, тело брата недвижимое наблюдает. А то недолго было недвижимым. Час-другой, а потом вдруг – раз! – задрёгается, задрёгается, а после и вовсе начинает довольно осмысленные движения совершать.

А голова со ртом всё про Каина, про топор, про Гайдара, да про макароны что-то бормочет. А больше так – про макароны и про Гайдара.

Тут Федот снова на брата накидывается, орёт и рубит, орёт и рубит..

На другой день дверь, наконец, сломали, картина же была не для слабонервных.

Нашли там совсем свихнувшегося Федота, всего седого и со взглядом несуществующим. Он бормотал что-то, но понять такое бормотание было невозможно. Только: «Гайдар... Гайдар... рот... макароны», – слышалось там. Комната была в крови, даже и потолок кровью оказался забрызган. На полу же лежал брат Виктор, в куски порубленный. А куски все были живые. Вот рука отрубленная, извиваясь, к плечу ползёт, намереваясь, должно быть, воссоединиться. Туловище ёрзает, к голове отрубленной стремясь. Голова рот разевает и кататься пытается. И тоже: «Гайдар... цены... отпущал... Гайдар... Гайдар...» – шепчет. Всё своею жизнью жило, всё старалось снова собраться воедино.

Пол и стены тоже были порублены. Много и беспорядочно, видать, Федотка тут топориком помахивал.

Мужика тогда сначала в Кресты, а потом и на Пряжку отвезли, на вечное поселение, где и закололи сульфозином вскорости. Примерно в полгода уморили Федотку. В последние дни свои одного только Гайдара поминал. Себя же не помнил. Макароны не ел. Даже до крика. Может, собственно, макароны-то его и доконали. Куски Викторовы собрали, да в Академию Наук отвезли. Дабы понять причину такой необыкновенной живучести. В строголетовской же комнате поселился тихий идиот Петенька, племянник главврача с Пряжки. Но это уж отдельная история. Глядишь, когда-нибудь и расскажем. Надо лишь не забыть. Нам теперь ничего забывать нельзя.

Котик

Овдовев, тётка Олюшка через несколько дней привела в дом нового жильца – чёрного котика, двух месяцев отроду. Котика она подобрала во дворе соседнего дома, где мальчишки загнали его на дерево и бросали в него камни. Тот вопил изнурённо и затравленно.

Принесённый в комнату котик первым делом заскочил на диван, застеленный китайским покрывалом, и тотчас обмочился. С этой минуты тётка Олюшка страстно влюбилась в котика.

Имени особого женщина ему не дала. Так и называла его: Котик, мой Котик, Котя, Котенька. А уж как котик хозяйку свою называл... но об этом чуть позже.

Хорош он был и нагл, нагло ходил, нагло выгибал спину, потягивался, мяукал всегда с презрением, шипел с удовольствием. С уверенностью в своём праве.

Мочился котик везде, на столе рядом с мельхиоровой сахарницей и плетёною хлебной корзиной, на диване, на буфете между семью мраморными слониками, приносящими в дом счастье, на комплекте журналов «Наука и жизнь» за 1980 год, бережно сохраняемых уже не одно десятилетие, на подоконнике среди цветочных горшков, на книгах, в том числе, на собраниях сочинений Ивана Алексеевича Бунина в шести томах, однажды помочился на платье тётки Олюшки, приготовленном для юбилея институтского выпуска. Тётка Олюшка тут сильно расстроилась, стало ясно, что надо что-то делать. А ей объяснили вдобавок: если, мол, момент упустить хоть немного, то животина сия будет уж до конца дней своих срать где ни попадя. Даже и без хозяйства. Ну, что же поделаешь? Тётка Олюшка поплакала день-другой, да и понесла котика своего к ветеринару.

Тот сладил с котиком в пять минут. Чик – и готово! Просто у нас ветеринары с котиками общаются. Четвероногий, казалось, ничего и не понял. Крикнул только раз коротко и утробно, да и угомонился.

Да, мочиться повсеместно, конечно, котик перестал, но добродушия у него от сей экзекуции отнюдь не прибавилось. К тому же он чрезмерно повадился (тоже *повсеместно*) ходить по большой нужде. Но это уж явно был не инстинкт, скорее – дурной характер.

И ещё котик стал пропадать.

Если вдуматься, с чего бы вдруг пропадать котика, коего слегка укоротили в известном месте? Вроде ведь, нет никакой причины. Но, как и Россию не понять умом, точно так же невозможно было понять умом котика тётки Олюшки. Впрочем, котика, пожалуй, было даже труднее понять, чем Россию.

Когда он пропал в первый раз, тётка Олюшка даже слегка. Больше всего она опасалась, что её любимца могли извести соседи (с них бы такое случилось!). Была ещё версия, что котика могли похитить, ведь он же так красив, вздыхала про себя тётка, всякий, кто его увидит, непременно тут же захочет им обладать единолично; ах, люди такие жестокие и бесцеремонные!..

Тётка Олюшка расставила по всей квартире блюдечки со сметаной, от её жалобного «кис-кис-кис» разрывалось сердце. Вернее, *разрывалось бы*, если бы оно было у всякого из вынужденных слушателей тётки, обитатели же девятой квартиры чрезмерно сердечностью никогда не страдали.

Тётка Олюшка грешила на сестёр Плошкиных. Не зря они вечно при закрытых дверях сидят. Когда выйти надобно, так не выходят, но через щёлочку просачиваются, куда и мизинца не просунуть. Неспроста это. Не иначе они и котика у себя взаперти держат.

– Можно? – постукала вечером тётка Олюшка двум старым девушкам, Алле и Валентине.

– Что надо? – вопрошала через щёлочку Алла.

– Котик мой к вам не забежал, случайно? – робко спросила тётка Олюшка.

– Кто там ещё припёрся? – крикнула из другого конца комнаты Валентина.

– Соседка, кота своего спрашивает.

– Ночь уже, пусть уходит, – велела Валентина.

– Мыши у нас макароны подгрызли, а твой подлец их не ловил, – отрезала Алла. – Такой гадо-сти нам в квартире не надо.

– Так я посмотрю? – совсем смутилась наша тётка.

– Иди, иди себе!.. – был ответ.

Котик появился на четвёртый день. Потрёпанный и изгвазданный. Тётка Олюшка подхватила котика, обняла его, прижала к груди, расцеловала всего.

– Куда ж ты делся, проказник ты этакий! – шутливо побранила она его.

Котик же брезгливо поморщился.

– Ну!.. – вдруг крикнул он. – Обслуживала!.. Молока быстро давай!..

Котиковым словам тётка Олюшка не слишком и удивилась. Она, в общем, и ждала чего-то в таком духе. Её котик обязательно должен был оказаться необыкновенным. Он же всего лишь был говорящим. Если б у него сейчас даже крылья выросли и он бы полетел по квартире, изрядно пома-хивая теми на виражах, тётка Олюшка просто обрадовалась бы данному событию, и не более того! Но котик по квартире не летал, летали потом другие.

Женщина налила своему любимцу простокваши вместо молока. Котик смёл языком всю простоквашу, потом сыто и беспардонно рыгнул, да так, что половина съеденной простокваши оказа-лась снова на блюдечке и на полу.

– Я же сказал – молока, а не этого твоего говна прокисшего! – крикнул он.

Дело было к ночи, счастливая женщина побежала по круглосуточным магазинам за молоком. В одном молока не оказалось, в другом было просроченное, в общем, когда тётка Олюшка вернулась, торжествующе неся в руках пакет молока, котик, предварительно оставив на постели огромное пятно зелёно-коричневого кашицеобразного поносного срама, спал на кресле, свернувшись чёрным и весьма самодовольным калачиком.

Потом котик стал пропадать регулярно. Он подходил к двери, стучал в неё лапой и орал на всю квартиру: «Открывай быстро!»

Тётка Олюшка прибегала открывать, лишь бормоча застенчиво:

– Ты бы, Коть, не уходил! На ночь глядя...

– Тебе что за дело? – огрызнулся котик. И ещё бросил в лицо самое страшное обвинение: – Ты зачем, сука, кастрировала меня?

– Так ты ж писал везде, – запинаясь, отвечала смущённая тётка Олюшка.

– Природа у меня такая, – решительно отвечал кот. – А мне теперь что делать? Я, может, же-ниться хочу!

– Как ты можешь хотеть жениться? У тебя же там нет ничего.

– У-у, дура старая! – в сердцах отвечал котик. – Жди, завтра невесту приведу! Пусть на тебя, гадину, посмотрит. Не понравилась – выгоним!

На другой день котик и впрямь привёл невесту. Кошечка была трёхцветной, она сразу не гляну-лась тётке Олюшке: она ей показалась невоспитанной, неблагодарной, хотя и красивой, но – улич-ной, гулящей, в общем, *не нашего поля ягода*. Вертихвостка этакая! Тётка Олюшка, разумеется, никак не показала своего неудовольствия.

Котик похаживал подле невесты возбуждённо, поглаживался об неё, помуркивал и выказывал всяческие знаки внимания.

– Чего стоишь?! – прикрикнул он на свою хозяйку. – Вылупила зенки! Сметану, давай, тащи! У неё всегда хорошая сметанка, – умильно прибавил он своей избраннице.

Сметанка избранницей была принята благосклонно, вылизана подчистую. Котик потребовал добавки, появилась и добавка. Сам к сметане не притронулся, но лишь наблюдал за трапезой своей невесты. Трепетно смотрел, как та вылизывается, и даже помог ей местами вычистить шёрстку.

– Сметанка хороша, верно, – снисходительно, наконец, молвила кошечка.

– Ну!.. – махнул хвостом котик.

– Сметанка понравилась, – продолжала своё мучительство та.

– И... и... – взволнованно вопрошал «жених».

– Но жить я с тобой не стану, – жестоко говорила его избранница.

– Почему? – взмолился котик.

– Почему-почему!.. – вся потяну-уулась кошечка. – Одной сметанкой сыт не будешь!

– А у неё ещё сливки есть, – экстренно сообщил котик.

– Дурак ты, – отвечала невеста. – Что мне сливки?! Мне любви хочется. Такой, чтобы с мурканьем, с драньём шерсти, с глазами выцарапанными, настоящей, в общем, любви!..

– А ещё творожок, и рыбка, и печёночка!.. – умолял котик. – Каждый день... чего захочешь!..

– Пойду я, – сказала невеста. – Скушно тут у вас.

Она выгнула спину, потом, наоборот, расправила и пошла себе, будто поплыла.

– Не провожайте, – сказала кошечка. – Дорогу помню.

– Да и катись ты! – крикнул котик. – На помойке рождена – на помойке и подохнешь!..

– Зато не одна, – отвечала кошечка, поведя хвостом с убийственной кокетливостью.

– Да ладно, Коть, не переживай, – стала утешать своего любимца тётка Олюшка. – Плюнь на неё! На что нам она?! Она тебя не стоит!..

– Сейчас в глаза тебе плюну! – огрызнулся тот. – Завтра другую приведу. Ещё получше этой будет, пожалуй!

Другая невеста была попроще, поласковей, без выкрутас, без гонору современного, может, и не такая красивая, как прежняя, но, в общем, тоже ничего; она даже понравилась тётке Олюшке. Но и всё равно ничего у них не сладилось с котиком. Да и как, скажите, оно сладиться могло? Кто ж станет жить с оскоплённым?

Котик то злился, то падал духом, даже пару раз от молока отказывался, чтобы тётку побольнее уязвить. Да она и сама расстраивалась, бедная.

– Твоя работа! – кричал котик. – Ты натворила! Ты жизнь мою загубила!

Тётка Олюшка повинно склоняла голову перед любимцем.

– Давай, – как-то раз объявил котик. – Неси меня к ветеринару! Пусть обратно хозяйство пришивает. А его самого, гадюку, под суд надо за то, что над животными измывается.

– Как же тебе он его обратно пришьёт? Ведь его уже давно! Выбросили сразу, небось.

– Дура! – отвечал тот. – Пусть мне от другого кота пришивает. Да скажи ему, чтоб самое лучшее выбрал. У них много разных имеется. Каждый день по сто штук животных кромсают.

– Ну, ладно, раз такое дело, снесу я тебя к ветеринару, – всплеснула руками хозяйка.

– А мы таких операций на котах не производим, – объявил ей ветеринар, когда тётка Олюшка предстала перед его не совсем трезвыми очами. Котик же сидел в сумке и поглядывал оттуда дерзко, хотя и отчасти напуганно. – В эту сторону – пожалуйста, а в обратную – ни-ни!.. Дело весьма сложное, у нас даже такого инструмента не имеется.

– Как калечить животных, так они все – мастера! – недовольно сказал котик. – А как исправлять свои подлости, так у них инструмента не имеется.

Ветеринар удивлённо покрутил головой.

– У вас котик говорящий? – хихикнул он.

– Говорящий, – потерянно согласилась женщина.

– Говорящий, да не со всеми, – отрезал котик. – Ишь ты, харю залил, животное искалечил и думает, что тут теперь с ним разговоры разговаривать станут!

– Он у нас такой!.. – сказала тётка Олюшка.

– В художественной литературе говорящие коты описаны широко и даже повсеместно, в научной же практике такие случаи неизвестны, – стал рассуждать доктор, посматривая на тётку Олюшку как-то *особенно*. – Поэтому пришить хозяйство обратно мы ему, конечно, не в состоянии, однако же можем вашего котика на опыты купить. С целью изучения его голосового аппарата. Может, даже удастся новую породу вывести...

Тут котик перепугался.

– Ты меня ему не отдавай! – крикнул он хозяйке. – Видишь, садист какой! Он меня зарежет сразу!..

– Вот, – развела руками женщина.

– Жаль, – огорчился доктор. – Определённый научный интерес данный котик представляет. Могли бы некоторые наши представления раздвинуться. Опять же, можно какую-то премию научную получить, диссертацию написать...

– Ты скажи ему, что если не может пришить так, чтоб работало, пусть так просто пришьёт, для видимости. Меня хоть во дворе уважать станут, и я какую-нибудь дуру, глядишь, и подцеплю, – сказал ещё котик.

– Да, – согласилась тётка, – прийдите для видимости.

– Ну, – важно сказал доктор, – я, пожалуй, посоветуюсь с коллегами, можем ли мы пришить *так просто*. А котика вы оставьте. Пусть он у нас поживёт.

– Нет! – истошно заорал четвероногий. – Не оставляй меня! Не видишь, у него глаза бешеные?! Он меня умучает во цвете лет! Изрежет всего под видом опытов!

Тётка Олюшка извинилась, да и поехала себе восвояси.

– Ты меня больше к этому гестаповцу не вози! – строго предупредил её котик, наевшись дома сливок и сладкого творожку. – У него только одно на уме. Надо на него прокурору написать.

Котик злился на тётку, во всех несчастьях своих винил. Даже поколачивать стал. Махнёт этой лапкой, когти выпустит... в общем, ходила теперь тётка Олюшка вся исцарапанная да пластырями заклеенная. Даже перед людьми неудобно.

– За что ж ты так со мной, Котенька? – вздыхала лишь бедная женщина.

А тут и ещё происшествие вышло. Суббота, дело к обеду. Вдруг – в квартиру звонок. Мужчина. А мне бы Ольгу Митрофановну, если возможно, вежливо так говорит. Тётка Олюшка выходит с мигренью, смотрит рассеянно, не узнаёт. А потом будто током ударило женщину. Перед нею гладко выбритый, замысловато причёсанный, отутюженный, с копной гладиолусов стоял... ветеринар.

Так и так, говорит, вы только не пугайтесь и не волнуйтесь, адрес ваш у нас в журнале записан, и вот я позволил себе, с чрезвычайным моим уважением, посетить вас, умоляя о краткой беседе с глазу на глаз.

– Что ж, идёмте на кухню, – отвечала тётка Олюшка.

– Я с вами, – тут же встрял котик.

– Нет, останься, – твёрдо сказала женщина и закрыла котика в комнате.

Разговор же на кухне вышел волнующий.

Так, мол, и так, дорогая Ольга Митрофановна, говорил ветеринар, человек я уже не молодой и возраста, можно сказать, предпенсионного, мужчина я вдовый, и вы, как мне сказали, вдовья, а зовут меня Дмитрием Фаддеевичем, да и вы тоже отнюдь немного не пионерка-комсомолка, ах какое было время! Пионерско-комсомольская юность! Нет того времени и больше уж не будет никогда! Но это я отвлёкся и, переходя к сути дела, скажу, что сразу же обратил на вас внимание, милая Ольга Митрофановна (женщина вы неброская, но запоминающаяся; как сердолик какой-нибудь), ещё когда вы только в первый раз обратились ко мне с проблемой вашего дорогого котика, который к тому же – ах, какой сюрприз! – оказался ещё и говорящим, но это я снова отвлёкся, и, опять же возвращаясь к сути дела, скажу, что и ещё раз обратил на вас внимание, но теперь уже не просто обратил, а *особенно* обратил, когда вы вернулись с проблемой, можно сказать, прямо противополо-

ложной, ах какая высокая душа у вас, Ольга Митрофановна! Удивительная душа! А я – человек не то что бы пьющий, но всё-таки выпивающий, но вот, если бы и я хоть чуть-чуть был бы для вас небезразличен, я обещаю, что смогу бы совладать со своею *наклонностью* (много у человека разных наклонностей, иные и пагубные), и стал бы выпивать гораздо реже, по одним только праздникам, ну и ещё в выходные дни, но совсем немного и только для аппетита, а котик у нас мог бы вместо сыночка быть, мы бы его воспитывали с вами сообща, и вот я пришёл к вам, в этот торжественный субботний день, и в ознаменование этого счастливого события позвольте мне преподнести вам эту вот копну гладиолусов, специально из оранжереи, и предложить вам мою натруженную руку и хоть и немолодое, но всё ещё горячее и верное сердце.

Тётка Олюшка была взволнована, несколько раз прижимала руки к груди. Она пыталась даже прервать монолог ветеринара, ей казалось это неожиданным и, наверное, даже несвоевременным, да всё не получалось вставить слово.

У плиты стоял сосед Шоколадов. Иван Никифорович. И был будто бы занят своими пельменями и светлым пивом из двухлитровой ёмкости, но на самом деле слушал, конечно, подлец, наблюдал, бестактный человек.

А тут приплелась ещё одна из сестёр Плоскных – Валентина.

– Там за дверью твой поганец беснуется, – сказала она. – Так что ты утихомирь его, если не хочешь, чтоб я его к ветеринару на усыпление снесла.

Тётка Олюшка хотела было сказать, что не надо к ветеринару никуда нести, потому что вот он, ветеринар, сам пришёл, но вовремя сообразила, что выйдет при этом что-то вроде каламбура, и, пожалуй, получится оно и не совсем прилично.

– Я сейчас приду, – рассеянно отвечала она.

– Смотри! Я долго ждать не буду! – пригрозила Валентина и поплелась обратно в комнату.

– Уважаемый Дмитрий Фаддеевич... – сказала тётка Олюшка. – Признаюсь, я этого совершенно не ожидала, для меня ваши слова, ваш приход буквально как снег на голову... Брак, оно, знаете, дело, не лишённое некоторых приятностей. Мы вот с мужем моим покойным, Юрием Мироновичем, Юрочкой, жили в согласии, как это говорится, и в радостях мирских... пока он не оставил меня... ну, и в приятностях тоже, брак, он на то и существует. Теперь же я часто болею, вот и с племянницей моей приключилось ужасное, я до сих пор отойти от того не могу...

– Если надо ждать, я подожду! – с жаром воскликнул ветеринар.

– Да-да, – согласилась тётка Олюшка, – давайте подождём немного. Мы уж не молоды, не в том возрасте, когда бросаются головой да в омут... Чувства нужно проверить, узнать друг друга получше...

– Одно только ваше слово, дорогая!.. – беспорядочно говорил ещё ветеринар. Он волновался, ему хотелось выпить, немного, грамм пятьдесят, но он сдерживался, он всегда теперь будет сдерживаться, сказал себе он.

Тётка Олюшка пошла провожать ветеринара.

– Ну, Олька!.. – бросил ей в спину Шоколадов. – Счастье тебе привалило!.. Не тот бриллиант, что в земле обретается, а тот, что в кармане ворочается, – ввернул ещё он.

У порога ветеринар поцеловал у тётки Олюшки руку, несмело так, трогательно, неловко. Кровь прихлынула к лицу женщины.

Однако же надо было теперь идти объясняться с котиком. Тётка Олюшка боялась этого разговора. И вот, взяв на кухне немного свежего творожка, пошла.

Подачку котик отверг с негодованием. И даже в кровь расцарапал тётке Олюшке пальцы.

– Ну что, сговорились со своим гестаповцем, как меня известить? – крикнул он.

– Что ты, Котя, – кротко сказала женщина. – Дмитрий Фаддеевич...

– Так, значит, фашиста зовут? – перебил её кот.

– ...хороший человек. Добрый, порядочный. Обещает выпивать бросить. Предложение мне сделал... Как думаешь, Котя?

– Предложение сделал? – протянул котик. – Жениться на старухе хочет? Вы в постельке кувыряться будете, а мне на вас, гадов, смотреть попусту!)

– Котя!.. – упрекнула того тётка Олюшка.

– Глаза тебе ночью выцарапаю за то, что с фашистом снюхалась, – пообещал котик. – Возьмёт тебя за себя безглазую – ну, быть посему! Не возьмёт – значит, не судьба!..

Тётка Олюшка перепугалась ужасно. Как это ей остаться без глаз? Она работала бухгалтером, а бухгалтеру глаза нужны. Бухгалтеров без глаз не бывает.

Женщина ещё два раза подлизывалась к котику с творожком с руки, но тот был неумолим. С достоинством уходил на кухню и втихаря там лопал сметану с блюбочка. Полагая, что, если хозяйка не видит, так и не догадывается, куда это в действительности убывает сметана. Может, соседи жрут. Может, собирают его сметану, да на базар продавать носят.

Остаток дня тётка Олюшка провела как на иголках. Хоть вообще спать не ложись, хоть из дому беги. Время шло, а надежды на то, что котик пошутил или что он вдруг сменит гнев на милость, не оставалось.

– Безглазой быть не так уж плохо, – рассуждал тот, лежа на постели и вылизывая себе передние лапки, будто хирург, готовящийся к операции. – Будешь с палочкой ходить. Безглазых в метро бесplatно пускают. Ветеринар твой станет тебя до сортира провожать. Он у тебя заботливый небось.

Тётка Олюшка вечером смотрела телевизор, но не видела и не слышала ничего.

– Что же делать? Что делать? – колоколом бухало у неё в голове.

– Я откажу ветеринару, я скажу, что не стану с ним встречаться, скажу, что он мне не нравится, что я не люблю пьяниц, – несколько раз подступалась к своему питомцу тётка Олюшка, но тот лишь презрительно усмехался в усы.

И тогда она решилась. Она пошла на кухню и, улучив момент, когда там не было никого, за вычетом старой девушки Плошкиной Аллы Андреевны, которая толкла теперь что-то в латунной ступе и делала это даже с определённой свирепостью, незаметно насыпала в котикову сметану сонного порошка. Который принимала сама. Когда совсем уж не могла заснуть от расстройств да переживаний.

– Что толчешь, Алла? – спросила тётка Олюшка, чтоб подольститься к соседке.

– Пудру сахарную, – недовольно отвечала та. – Пирог испечь хочю.

– А-а, – сказала тётка Олюшка.

Спала женщина ужасно, ей снились кошмары. Слепивший сам себя Эдип-царь, скорбно шествующий по пустыне, и за тем гналась стая злобных чёрных котов.

Проснулся котик на другой день ближе к обеду и выглядел слегка ошалевшим.

– Ты чем меня таким накормила, что я спал до обеда? – подозрительно спросил тот.

– Поспал – и хорошо! – фальшиво сказала тётка Олюшка. – Котикам спать полезно.

– Ты мне зубы не заговаривай! – крикнул котик. – Отвечай по-хорошему, что мне такое подмешала!

– Что же я могла тебе подмешать? – удивилась хозяйка. – Ты ж у меня вчера с рук ничего не брал.

– Теперь тебе не только глаза выцарапаю, но и уши откушу! – пригрозил котик. – Пускай гестаповец тебя не только без глаз берёт, но и без ушей тоже!

Ужас и отчаяние охватили тётку Олюшку. Не было никакого выхода. Сонного порошка больше не осталось, она высыпала котику всё. Она решила покончить с собой, выброситься из окна или вскрыть себе вены. Котик же, приосанившись, направился на кухню, чтобы там без помех полопать немного сметанки.

От первого варианта тётку Олюшку отвратил страшный пример соседки Софии Глебовны. Если она, тётка Олюшка, останется живой, но парализованной, так котик непременно расправится с ней в первую же ночь, решила она. В слове его сомневаться не приходилось. Котик был нагл, но по своему правдив. Оставалась бритва.

Лезвие у тётки Олюшки имелось. Она обречённо положила его в карман халатика, выпила полфлакона валерьяновых капель, осмотрела комнату в последний раз – всё ли в порядке – комнату, где прожила, почитай, всю жизнь, да и вышла себе с богом, тихо-тихо притворив за собой дверь.

Ванная была заперта. Там кто-то плескался, с песнею, слышавшейся через дверь, хотя неразборчиво. Это и спасло тётку Олюшку. Она стала возвращаться обратно, и ноги сами занесли её на

кухню. Хотелось ей взглянуть в последний разок на её любимца, сказать ему ласковое словечко, коснуться его гладкой, восхитительной шерстки...

Увиденное её ужаснуло. Подле стола тётки Олюшки, на полу стояло блюдце со сметаной, наполовину опорожнённое. В полуметре от блюдца лежал на брюхе котик, передние лапы его были судорожно вытянуты, котика будто бы рвало, но это не была обычная рвота. Из котиковой пасти исторгалась сметана, немного вспенившаяся и алая от крови. Крови было много, целая лужица, стакана полтора. Котик вздрогнул ещё несколько раз, и тут взор его начал стекленеть. Дёрнулся хвост, дёрнулся и застыл.

За плитой, будто пришибленная, с головою, втянутой в плечи, сидела старая девушка Алла Андреевна Плошкина. Она внимательно наблюдала котикову агонию. Поначалу, пожалуй, взгляд её был злобным, но, завидев тётку Олюшку, она переменяла его на сочувственный.

Был там, правда, ещё и Доломяга Фёдор Васильевич, резавший колбасу, художник и тихий алкоголик. Но он молчал, по преимуществу, а молчащий же человек будто бы не существует. Так что Доломяга, можно сказать, и не существовал.

– Я, значит, сижу, а тут он заходит... твой котик, – глухо говорила Алла Андреевна. – Хвостом повертел... ну, как на панели девки эти подлые вертят... потом к сметане пошёл. Нехотя так пошёл, с горором. Будто одолжение делал. Раз лизнул, другой, жадно жрать стал... а потом как захрипит... вроде закашлялся... и тут из него это всё полезло... сметана да кровь... полезла, полезла... он пошёл, пошёл... потом так упал, стал корчиться... корчиться... может, у него болезнь какая была? А, Ольга? Может, это заразное? Как думаешь? На человека не может перейти? И всё так быстро произошло, в минуту какую-нибудь, ну, или в две, я и сделать-то ничего не успела... думала тебя позвать, а тут ты и входишь... Горе-то какое! А, Ольга? Ведь горе?..

– Да, – потерянно сказала тётка Олюшка.

Сказала и пошла себе восвояси. У Аллы Андреевны даже лицо вытянулось. Хотела она крикнуть: ты хоть коту своего прибери! Нечего на кухне всякой падали делать! Повадились, понимаешь! Дохлыми котами по всей кухне раскидываются!.. Хотела крикнуть – да не крикнула. Не смогла. Не решилась.

А ветеринару Дмитрию Фаддеевичу тётка Олюшка всё-таки отказала. Хотя потом, быть может, жалела. А может, и нет. Чёрт разберёт этих женщин, один только чёрт; человек их не разбирает. Человек и себя самого разобрать никогда не может, что уж там говорить о ком-то другом?!

Книга

Блажен, кто мир покинул, сочтя его негодным, невозможным.

Знаете ль вы Софию Глебовну из девятой квартиры? Хорошая она женщина, достойнейший человек! К тому ж на заводе работала. Долго-долго работала на одном заводе. И были у неё дочери-близняшки – Аленька и Валенька. Правда, рождённые не в браке. Аленька – стало быть, Алла, а Валенька – Валентина. Ну, а то, что не браке рождены, – так что же здесь поделаешь! Не у всех жизнь складывается так, как оно хочется.

На работе Софию Глебовну уважали, иногда на доску почёта вешали, путёвку за тридцать процентов в Геленджик в октябре предлагали, ну и к тому же все прочие блага тогдашнего времени – премии, продуктовые наборы, тринадцатая зарплата – нашей даме тоже обыкновенно перепали.

Вы-то тут все молодые! Вы уж, конечно, не помните, что и так тоже люди жили.

И была одна слабость у Софии Глебовны. Собственно, не слабость – а вещь одна! Или даже не вещь – а попросту Книга. Но уж Книга-то эта была... Всем книгам, так сказать, Книга! Огромная, претолстая (в полторы тысячи листов), зато и буквы крупные, картинки, рисовую бумагой проложенные, – серьёзная Книга.

Тогда это почиталось, пожалуй, за мракобесие. А завод, где трудилась наша дама, числился оборонным, с режимом сурового тайного пригляда и иных недоговорённостей; оно вроде хоть и незаметно для глаза было, но уж если бы усмотрели что несоответственное, так выводы сделали бы вполне *в духе времени*. Вот и приходилось таиться. Приходилось язык держать за зубами.

Впрочем, язык держать за зубами мы всегда были привычные. Это потом уж только распоясались, да и то ненадолго. Теперь же снова за языками своими следим и попусту стараемся не распространяться. Нельзя в Расейке свободу языкам давать. У нас от языка бойкого да до петуха красного путь слишком короток.

Так вот, бывало, вечером, после завода своего и после чаю, занавески задёрнет София Глебовна, сядет за стол, раскроет Книгу и восчитает из неё торжественным полушёпотом:

– *Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил, а они возмутились против Меня. Вол знает владетеля своего, и осёл – ясли господина своего; а Израиль не знает, народ Мой не понимает. Увы, народ грешный, народ, обременённый беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, – повернулись назад...**

Небеса, кажется, не слушали, и земля не внимала, народ же как был грешен, так и остался, обременённый не только беззакониями, но также и своим дурным норовом, и Книга, лишь одна Книга будто бы радовалась, что из неё читают.

Иногда собирала София Глебовна девочек вокруг себя.

– Никому, доченьки, не говорите, – строго наказывала она, – что я читаю вам из этой Книги!

– Не будем, мамочка! – прижимала руку к сердцу Аленька.

– Никому не скажем! – подтверждала и Валенька.

– Смотрите, – говорила мать. – Никому-никому!..

И тогда мать голосом слабым, но всё более крепнувшим по мере чтения, начинала свой монолог:

– *Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей Моих, перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову...*** – с какою-то чрезвычайностью говорила ещё София Глебовна.

– Не читай!.. – был вдруг какой-то шёпот прямо подле лица матери.

– Что? – строго спросила она.

– А кто такая вдова? – спрашивала Валенька.

– Трагическая женщина, – хмуро отвечала мать.

– Как шлюха? – уточняла девочка.

– Не так! И не смей произносить такие гадкие слова!

– А кто такой сирота? – спрашивала и Аленька.

– Отрок, безжалостный к своим близким, и вследствие того потерявший их, – не вполне канонически отвечала София Глебовна.

– Отрок! – прыскали сёстры.

– Или отроковица! – поправлялась мать. – Она тоже может быть сирота.

Так чтение заканчивалось.

Однажды вечером, когда София Глебовна дошла до слов (дочерей же в комнате не было): «*Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же отречётесь и будете упорствовать, то меч пожрёт вас: ибо уста Господни говорят...****» – Книга вдруг усмехнулась, причём достаточно дерзко.

С тех пор София Глебовна читала лишь в одиночестве.

На двор девочки не выходили, двор их был поган; к тому же там машины ездили. Девочек она отправляла бродить по квартире. Квартира же была какою-то несусветною. Окна в ней выходили даже не на четыре стороны, а на все пять. Квартира будто создана была специально для игры в прятки. Хотя в прятки в ней никто не играл, разумеется, нехорошие бы могли выйти прятки!.. Здесь можно было не то что спрятаться, но даже и пропасть навсегда. Иногда, кстати, и пропадали.

Порой женщина сама старалась заговорить с Книгой.

– Тут один человек из нашего цеха говорит, что они компанией за грибами едут, и приглашает меня. Мне кажется, я ему нравлюсь. Соглашаться ли мне? – говорила женщина.

* Книга пророка Исаии. 1, 2-4

** Там же. 1, 16-17

*** Там же. 1, 16-17

– Дура, – отвечала ей Книга.

София Глебовна никуда не ехала, разумеется.

Со временем Книга стала посматривать на Софию Глебовну критически. Делала замечание: одета, мол, не так, и вообще за собой следить перестала. Не расчёсывает волосы, ходит в драном халате, из ушей вата торчит. Обижалась на такие слова София Глебовна, поджимала губы. А один раз так даже легонько шлёпнула Книгой об стол.

После того случая Книга умолкла. Полгода не говорила с Софией Глебовной. Но и молчанием своим незаметно завладевала женщиной, прибирала её к рукам.

– Прости! – умоляла женщина Книгу. – Не со зла я, с одной только досады, в коей раскаиваюсь.

Книга молчала.

Однажды раскрыла женщина Книгу. Стала перед ней на коленях.

– Прости, – сказала София Глебовна.

Книга пошевелила листами.

– Окно, – сказала она.

– Что? – сказала женщина.

– Ты знаешь, – прошелестела Книга.

София Глебовна разобрала цветочные горшки, раскрыла окно. Повеяло недвусмысленным ноябрьским воздухом.

– Иди, – сказала Книга.

Женщина взобралась на подоконник. Потом оглянулась.

– Что? – спросила она.

Книга молчала.

– Идти? – спросила София Глебовна.

Снова молчала Книга.

Постояла женщина на подоконнике, ничего пред собою не видя, да и шагнула вниз. И в самое последнее мгновение, когда женщина делала шаг, она вдруг полуобернулась, и ей почудилась, но, наверное, всего только почудилась одна из её девочек, Аленька, застывшая на пороге и с ужасом глядящая на мать. Вот же за спиной у Аленьки появилась и Валенька, и она тоже увидела в черноте оконного проёма мелькнувшую свою мать (а матери уже не успела почудиться она), и она вскрикнула в ужасе, и Аленька тоже вскрикнула в ужасе, и крики эти соединились в один, и вылетели в окно вслед за женщиной, эхом скакнули от нескольких близстоящих домов, отчасти смешались с гулом автомобилей, с шарканьем редких подошв, с бормотанием телевизоров, с долбёжкой пианино в доме напротив, с матерным словом прохожего алкоголика, шествующего с барышней аналогичного с ним вида, и тут же затерялись в гадком вечернем отдалении гадкой Боровой улицы.

Этаж был второй, София Глебовна не убила насмерть. Поломала себе обе ноги, четыре ребра, получила сотрясение мозга да в позвоночнике трещину. Софию Глебовну парализовало.

Дочерям её шёл тогда семнадцатый год.

Легко им не было, конечно. Но как-то справлялись. Если Аленька сегодня обмывает мать, делает клизму и выносит утку, значит, Валенька – стирает бельё. На другой день – наоборот. Были ещё, конечно, и другие обязанности – всех не перечислить.

Впервые тогда у них в личиках появилось что-то подводное, рыбье.

Не забывали про Книгу. Аленька и Валенька читали по очереди. Что уж там теперь понимала София Глебовна из читанного, сказать затруднительно. Может, и ничего. А только если вовсе не читать, то женщина напрягалась и как-то так начинала сердито и бессильно пыхтеть. Страдала София Глебовна, когда Книгу ей не читали.

– *И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуёт мечи свои на орала, и копьё свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать**, – слабым, дрожащим своим голоском говорила Аленька.

* Там же. 2, 4

– *Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унижится; и один Господь будет высок в тот день**, – читала потом Валенька.

И отчего-то подступала к груди тоска, где-то была другая жизнь, были и гордые взгляды человека, или нет – других жизней были миллионы (гордых же взглядов и того больше), и все они проходили мимо её, Валенькиной, жизни. И оттого хотелось что-то растоптать, унижить – или себя, свою жизнь, или те миллионы чужих, безразличных жизней.

Постепенно *поникли гордые взгляды* Аленьки и Валеньки, рыбе же в них прочертилось отчётливо и безжалостно (Аленька сделалась похожей на селёдку, Валенька же – на скумбрию), девочки выросли, замуж не вышли, и так прошло тридцать лет. Господь же был высок не только в *тот день* (не в тот, положим, когда София Глебовна выпрыгнула в окно), Господь был высок *всегда*.

Умерла она весной, слякотной, чахоточной, промозглой. Умирать в такое время года легко, оставаться жить невыносимо. Впрочем, София Глебовна умерла *не легко*.

Читала Валенька из Книги, Аленька же тогда тенью подле окна стояла и тихо плакала над судьбою своею загубленной.

– *Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остаётся места, как будто вы одни поселены на земле***, – глаголила Валенька.

Книга хохотала, Книга неистовствовала...

– *...В уши мои сказал Господь Саваоф: многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые – без жителей...**** – слышался ещё голос, и тут вдруг гром возгремел среди отчаянного измождённого неба, и гром был частью самого мозга, гром был этого самого мозга *изъяном*, неподвижною свою грудь София Глебовна стала ловить воздух, глаза её выпучились, она вдруг содрогнулась всею неожиданно вернувшейся силой конечностей, вытянулась на постели и умерла.

Валенька, мстительно поджав губы, закрыла Книгу. На лице Софии Глебовны застыл ужас, как будто она увидела то, что не могла перенести душа её, никак не могла. Аленька отправилась на кухню за водой, чтобы принять таблетки. Пока её не было, Валенька рассматривала покойницу долго и радостно, и потом даже треснула её костлявым своим кулаком по скуле (Аленька тоже чуть позже украдкой треснула). Так Аленька и Валенька остались одни. Совершенно одни.

Жили сёстры мутрно, тяжело, тиранили друг друга, тиранили сами себя. Периодически впадали в депрессии, обе пытались утопиться: Аленька – в Фонтанке, Валенька – в Обводном канале. Не получилось ни у той, ни у другой. Зато обе умудрились побывать в дурдоме на Пряжке.

Но таких там долго не держат: месяц, другой, да и выгоняют – что с них взять?! Вылечить же *от жизни* невозможно. Аленька снова попыталась утопиться прямо в Пряжке, когда её выписали из больницы в очередной раз. Но воды в речке оказалось по пояс, так что опять ничего не вышло. Зато Валенька неделю позже порезала себе вены ножницами. Аленька сидела в углу сгорбавшись, и злобно наблюдала, подохнет сестра или нет. Кровь потекла немного, да и остановилась. Вены резать – тоже ведь уметь надо. Не всякий на это дело мастак.

Книга молчала около года. Сёстры перестали читать её вслух, читали шёпотом, для себя.

– *Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!***** – как-то, напаялив очки на нос, шептала себе Валенька. Она неотрывно смотрела в Книгу и водила крючковатым своим пальцем вдоль строчек.

– Посмотри, какая она неряха, – вдруг отчётливо сказала ей Книга.

Валенька испуганно обернулась. Аленька дремала в кресле с открытым ртом, и подле рта её кружила жирная чёрная муха.

– *Горе тем, кто храбры пить вино и сильны готовить крепкий напиток******, – бормотала Валенька, кажется, стараясь заглушить голос Книги. Господи, как же там много про горе? – подумала она.

* Там же. 2, 11

** Там же. 5, 8

*** Там же. 5, 9

**** Там же. 5, 21

***** Там же. 5, 22

- Ходит в халате засаленном, и на локтях дыры...
- *...которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного...**
- И моется раз в месяц. А старухам надо мыться чаще, – настаивала Книга.
- В засаленном... дыры... надо чаще!.. – наконец, сдалась Валенька.
- Вот! – сказала Книга.
- Да, – сказала Валенька.

Аленьке же Книга говорила другое:

- Она меня лапает пальцами жирными после супа.
- Аленька пыталась будто отгородиться и даже затыкала уши, но вскоре слышала снова:
- И рисовую бумагу надорвала в трёх местах.
- Аленьку колотила дрожь.
- И вообще страницы помяла...
- Аленька начинала повизгивать от отчаяния.
- Меня теперь в руки взять неприятно...
- Аленька снова сотрясалась.
- А ещё у неё изо рта пахнет! – торжествуя говорила Книга.
- Да!.. Да!.. Да!.. Я согласна!.. – стонала Аленька.

Лишь тогда её оставляли в покое.

Случилось это то ли в апреле, то ли в ноябре. Близился к исходу день воскресный, на дворе было осклизло и гадко, в квартире же – истошно и безобразно.

– На кухне вонища, – сказала Аленька, по обыкновению протискиваясь в узкую, в два пальца, щёлочку и тут же плотно прикрывая за собой дверь.

- Это ничего, – сказала Валенька. – Я суп варю. Чесночный. Полезный.
- Полезный, но вонючий.
- Ради пользы можно и вонь потерпеть.
- Польза тебе одной, а вонь всем подряд.
- Я причём? Пусть все варят.
- Тогда точно будет не продохнуть.

Валенька поджала губы, вышла на кухню, принесла кастрюльку с готовым супом и поставила на столе. Аленька же в это время собиралась принимать таблетки. Она всегда принимала таблетки одинаково: разложит таблетки на столе рядом, штук двенадцать, а то и все пятнадцать, а рядом уж полстакана воды приготовлены. Пересчитает Аленька таблетки, соберёт их во рту, воду же глотает залпом, чтобы все таблетки разом прошли. Лет двадцать Валенька наблюдала этот сестрин ритуал.

- Ты нарочно мне под носом эту вонь поставила? – спросила у той Аленька.
- Я есть собираюсь, настояться немного должен, пусть побудет, – возразила сестра.

Аленька недовольно из комнаты вышла. Долго её не было, целых двадцать минут. Таблетки так и лежали рядом нетронутые. И вода в стакане была. Валенька постояла подле двери, послушала; не было рядом сестры, на кухне была сестра. Ровно лежали таблетки, гладкие, блестящие, красивые, много таблеток. И стакан, стакан... И Книга раскрытая. Валенька взглянула на Книгу, Книга взглянула на Валеньку. Обе молчали, всё уж было переговорено.

Валенька взяла сестрин стакан. Куда было деть воду? Валенька подумала немного и вылила её в суп. А в кармане халата у неё был флакон припасён, с эссенцией уксусной, вот на место воды Валенька и вылила эссенцию. Аккуратно полстакана и вышло.

Тут вернулась и Аленька.

- У соседки кот сдох, – сообщила она.
- У Ольги? – спросила Валенька. – Туда и дорога!
- А супом твоим вся квартира воняет, – сказала Аленька.
- Ты, может, тоже супу хочешь? Так и скажи, – предложила сестра.
- Пожалуй, – согласилась Аленька. – Сперва таблетки приму.

* Там же. 5, 23

– Так я за тарелкой схожу? – спросила Валенька.

– И то, – ответила Аленька.

Обычно сёстры готовили врозь и пищи своей друг другу жадничали, хотя частенько отъедали что-нибудь друг у друга украдкой. Валенька вышла. Сестра её хищно смотрела на суп. Сняла крышку, придирчиво рассматривала чесночную жижу. Овощи, кусочки какого-то мяса.

– Что за мясо там? – спросила она, когда вернулась Валенька.

– Куриный фарш, – отвечала та. – Так я наливаю?

Аленька уж складывала в рот таблетки, одну за другой, целых двенадцать штук (или пятнадцать), и потому не ответила. Валенька застыла на месте с половником в руке. Вот все таблетки оказались во рту, рука же потянулась за стаканом. Валенька, как завороженная, погрузила половник в суп. Запах его более прежнего разнёсся по комнате.

Вот Аленька сделала полный глоток, поперхнулась, глаза её вытаращились, она схватилась за горло, но было уж поздно: эссенция хлынула по её пищеводу. Завопила Аленька, захрипела, стаканом в сестру бросилась. Поняла всё, должно быть, сразу. Валенька снова накрыла кастрюльку крышкой, отошла от сестры подальше и стала спрашивать будто сочувственно:

– Что? Что, Аленька? Что? Тебе больно? Таблетки? Не в то горло пошло? Может, «скорую» нужно? Где болит, милая? Где?

Аленька редела, как раненый зверь. Адские муки претерпевала она. Валенька даже испугалась, что та из комнаты выскочит да по соседям побежит, помощи ищучи. И стала уж подушку приглядывать, чтобы, ежели что, сестру подушкой докончить. Но не понадобилось. Минуты через три Аленька затихла. Насовсем.

– Так хорошо? – спросила Валенька Книгу.

– Пускай, – ответила та.

– Мне почитать что-то? – спросила ещё Валенька.

– Потом, – ответила Книга.

– Я тогда супу поем, – сказала Валенька.

– Да, – сказала Книга.

Валенька налила полную тарелку супа. Спокойно налила, неторопливо, сестра, как свалилась на пол, так там и лежала и ничем теперь не могла Валеньке помешать. Она теперь никогда не станет мешать Валеньке, ни в чём и никогда! Валенька была свободной.

– Зря супу не поела, – торжествуя сказала она мёртвой сестре.

Валенька зачерпнула ложку супа, нарочно со дна зачерпнула, где погуще. Ещё раз посмотрела на сестру и отправила ложку в рот. Зачерпнула ещё, была Валенька голодна, и отправила новую ложку вслед за первой. И тут только стала глотать.

И вдруг... будто тысячи маленьких крючочков впились ей в язык, в гортань, в нёбо, захрустели на зубах. Стёклышки, мельчайшие стёклышки хрустели на зубах. Валенька завывала утробно, попыталась выплюнуть, изbleвать пищу, но та уж скатывалась по пищеводу, всё раздирая в кровь. Никогда не знала Валенька таких мучений, невозможно было их перенести. Опрокинулся стул, Валенька скатилась на пол, поползла на карачках к сестре, чтобы, быть может, ударить её, убить ещё раз, кровь хлестала у неё изо рта, и ни слова более Валенька вымолвить не могла. Может, суп ещё сам собой истечёт у неё изо рта, подумала Валенька, и ей станет легче. Но легче не становилось. В глазах у неё потемнело, и вдруг закружилось всё: и стол, и суп, и мёртвая сестра, и занавески, и Книга, будто смеявшаяся над нею теперь, и мальчик Костик Перельман, нравившийся ей когда-то в шестом классе, и атмосфера, и Боровая, и чеснок, и рыбные плавники, и сама жизнь её оказалась вовсе не жизнью, но только лишь логовом жуков, копошившихся в тесноте и неправде, и личинки, гадкие личинки подвёртывались под руки Валеньки, и она расталкивала, раздвигала это личиночье месиво, потом стала медленно продираться куда-то далее, не вперёд, а именно – далее, было темно, было невыносимо, было безобразно, и вот это-то безобразие теперь и будет её существованием, вечным её существованием? – спросила себя Валенька, и тут она увидела свет, слабый, мерцающий, манящий...

Комнату вскрыли на четвёртый день, вскрыли от запаха. Увидели то, что и ожидали увидеть: двух мёртвых старух на полу – Аллу Андреевну и Валентину Андреевну.

Была и «скорая», был участковый, был из уголовного розыска – оперативник. Распахнули окно, чтобы выветрить запах. Сначала оперативник сидел за столом и писал протокол. И всё поглядывал на лежащую рядом ценную Книгу. Потом врачаха села на его место и стала писать в таких случаях положенное. Долго-долго писала она. И тоже на Книгу поглядывала.

«Ах, какая Книга! – думала она. – Удивит-ельная!.. На что нужна Книга мёртвым старухам? Им уж теперь ничего не нужно. Книга нужна живым. Родственникам? Да есть ли ещё родственники у этих старух? Может, и нет у них никого... Сколько мне с этими родственниками приходилось дела иметь, так они отчего-то всегда даже гаже покойников», – сказала ещё себе врачаха из «скорой».

Сестёр вынесли, увезли. Стали запираить дверь, опечатывать. Все вышли. И тут вдруг врачаха и говорит: «Ой! Я там сумку забыла!»

И вправду, из комнаты она вышла без сумки. Комнату снова открыли, врачаха шмыгнула туда, взяла свою сумку, обернулась опасно и быстро-быстро Книгу к себе затолкала. Уж как такая большая Книга в сумку залезла – уму непостижимо! Видать, нарочно в размере уменьшилась, чтобы в сумку залезть. Сама, должно быть, хотела быть унесённой. Врачиша тут – шашть! – и мышкой из комнаты выскочила.

Никто не увидел врачахиного манёвра с Книгой, один только оперативник подсмотрел. Но не сказал ничего, он и сам подумывал: хорошо бы, мол, Книгу прибрать. Ну, так хоть кому-то достанется, всё – не мёртвым старухам!..

«А ничего бабёшка – эта врачаха! – подумал ещё оперативник на лестнице, когда все выходили из этой гадкой девятой квартиры. – Очень даже вся ничего!.. Надо мне, пожалуй, телефончик у неё попросить».

Петенька

Вообще говоря, никаких законных оснований для поселения тихого идиота Петеньки Шкваркова в комнате братьев Строголетовых, один из которых пребывал на *уморении* в дурдоме на Пряжке, с другим же и вовсе история вышла фантастическая, неопрятная и безобразная, не было. Тут уж, конечно, дядюшка Петеньки, Борис Наумович, главный врач с этой самой Пряжки, расстарался. Как это ему удалось, какими документами, какими умасливаниями, усахариваниями соответствующих органов, какими подменами документов, какими уговорами или, напротив, угрозами всё сие совершилось, – известно одному Богу.

Петенька, как уж было замечено, был идиот. Но к тому же ещё и дебил. Идиота в нём обычно бывало более, чем дебила, но иногда всё же дебил одерживал верх над идиотом. И уж совсем нечестно идиот и дебил соединялись вдруг в Петеньке в братском лобызании, начинали содружествовать (а не просто, как прежде, сосуществовать), и тогда уж вовсе делалось непонятным, как, собственно, можно было противопоставлять одного другому. Что может быть трогательнее в человеке, чем соединение дебила и идиота? Трудно, трудно найти в человеке что-то более трогательное!..

Взгляд у Петеньки казался бычачьим, несколько как бы замутнённым, сам же он был ослепительно голубоглаз. Совокупность этих двух обстоятельств сразу же наводила на подозрения о негодности Петенькиного умишки, что тут же подтверждалось слюнями, истекающими из его рта, пузырями, надуваемыми посреди этих слюней, бормотанием вроде: «Лю... лю... лю...» или: «...фы... фы... фы...», подёргиваньем большой шишковатой Петенькиной головы.

Претензий к нему особенных не было. Лампочку он в туалете не забывал выключать. Потому что и не включал её. Отчего, разумеется, всё делал мимо. Но это по меркам девятой квартиры был грех простительный. Хуже было, когда кто-то начинал заноситься над остальными. Такое прощалося редко.

Довольно долго Петенька не был замечен в заносчивости. Потом всё переменялось.

Началось с пустяка. Старуха Крапивина, бродя по квартире, стала вдруг бормотать: «Летают тут всякие!» Это, разумеется, не вызвало особенной реакции – мало ли что старая дура болтает!

Потом как-то и тётка Олюшка на кухне нащептала на ушко Клавдии Макаровне Шоколадовой: «Я иду, темень кругом, а в коридоре, не доходя туалета, под самым потолком он и парит...»

– Кто?

– Ангел, видать, – озадаченно отвечала женщина. – Лицом вроде Петеньки нашего. Но не Петенька. Петенька – идиот, а этот – блаженный... Он так парит себе, сам светится, и лицо такое... сияющее!..

– А потом? – допытывалась Макаровна.

– Я перепугалась. В комнату побежала. Только раз обернулась – а он всё парит! И будто улыбается, так блаженно, тихо, а сам язык высунул.

– Да, Митрофанна, – молвила Шоколадова. – Ты историю свою никому не рассказывай. А-то ведь, неровён час, на Пряжку свезут, да уколами заколют, как некоторых...

Но вот однажды тайное стало явным. Как-то раз Петенька стоял подле своего стола на кухне и пытался сделать себе бутерброд. Время было обеденное, и народ на кухне присутствовал. Иван Никифорович Шоколадов пил пиво с лещём, и руки его все были в рыбьей чешуе и кишках. Заслуженная артистка Лариса Борисовна Моголова готовила омлет, на лице её было написано бесконечное терпение. Старуха Крапивина шастала по кухне без всякого дела. Скорее всего, она хотела потырить что-нибудь из продуктов у соседей, поскольку пенсия у неё была небольшая и жила она голодно. Но время для того было выбрано не слишком удачно. Зашла и тётка Олюшка, чтобы переменить сметанку в блюдечках, расставленных на кухне в нескольких местах. Зашёл и молдаванин, которого почему-то называли Вахтанг, но он только налил воды в литровую банку, попил из-под крана и тут же убрался восвояси.

Вернёмся, однако же, к Петенькиному бутерброду. Итак, наш идиот оторвал кусок варёной колбасы и стал неловко прилаживать к ней маргарин, сначала ложкой, потом – помогая себе рукой. Маргарин же всё норовил отвалиться от колбасы. Петенька досадовал, пыхтел, бормотал: «Ле... ле... ле...» Быть может, он приказывал маргарину лежать на колбасе, тот же никак не хотел слушаться нашего идиота.

И тут вдруг с Петенькой что-то стало происходить. Он начал будто бы наваливаться на стол, ноги же его сами собой стали от стола отодвигаться.

– Петенька, тебе плохо? – спросила Ольга Митрофановна.

Петеньке же почудилось, что к нему кто-то подкрался сзади и тянет его за ноги. Не иначе, это было гнусным покушением на его бутерброд. Петенька замычал и стал засовывать колбасу с непокорным маргарином в рот и одновременно пытался откусить и от батона. Тянуть же Петеньку за ноги злоумышленники в это время продолжали, и тянули теперь не только назад, но и вверх. Вот ноги Петеньки оторвались от пола и стали подниматься всё выше. Идиот судорожно хватался за столешницу. Тело его на мгновение сделалось параллельным полу и висело на уровне столешницы, но вот ноги Петеньки взмыли ещё выше, тут он возопил в ужасе, соседи же взирали на всё происходящее остолбенело. Казалось, голова Петенькина была тяжела, и она сделалась якорем, ноги же его, будто утягиваемые невидимым гигантским поплавком, стремились в сторону потолка.

– Боже мой! – сказала себе Лариса Борисовна. – Теперь у них ещё и это!..

– Тьфу! Проказливые! – сплонула себе под ноги старуха Крапивина.

Тут опомнился Шоколадов. Он подбежал к Петеньке в то самое мгновение, когда наш идиот, обессиленный, наконец, столешницу, и его неудержимо повлекло ввысь. Своею сильной рукой, пахнущей внутренностями леща, он схватил Петеньку за майку, подтянул к себе и двинул кулаком по шее.

Петенька рухнул на пол.

– По... по... по... – забормотал идиот.

– Будет тебе сейчас по... по... по... по заднице! – передразнил того Иван Никифорович. – Или по... по... по морде!..

– Петенька, ты пойми, – рассудительно стала говорить Ольга Митрофановна. – Кухня – общественное место. В своей комнате ты можешь летать, сколько тебе заблагорассудится. На кухне же... в других общественных местах... люди увидят, пойдут толки. Ты понимаешь?

Петенька стоял, потупившись.

– Ещё раз такое увижу, все руки и ноги тебе переломаю, зараза! – пригрозил Шоколадов.

– Я ведь здесь не летаю, почему другие себе это позволяют? – пожалала плечами Лариса Борисовна.

– Потому что обнаглевши сверх меры! – сказал как отрезал Иван Никифорович.

Новый инцидент также был связан с Шоколадовым. Вернувшись как-то раз с моциона, он прямо в прихожей обнаружил некоторую взбудораженность.

В прихожей, под самым потолком, весь в мелу и паутине, с блаженством на бессмысленной своей физиономии парил Петенька. Он, кажется, научился справляться с тяжестью огромной и глупой своей головы, он кое-как вздымал её, сотрясал ею, так что полёт выходил, вроде как, довольно складным. По прихожей скакала супруга Шоколадова, Клавдия Макаровна, держа в руках швабру, увенчанную мокрой половой тряпкой. Она пыталась шваброй смахнуть Петеньку с его верхотуры, как хозяйка смахивает паутину с углов во время влажной уборки. Но Петенька проворно перелетал из угла в угол, не то затравленно, не то издевательски, длины же швабры чуть-чуть не хватало, чтобы летающего идиота прищучить поосновательней.

– В коридор его не пускайте! – возбуждённо сотрясалась старая девушка Алла Андреевна. – Там не споймаете!

– Штремянкой его надоть! – нарочито прошамкала старуха Крапивина.

– Со стремянки так навернуться можно!.. – желчно оспорила ту Валентина Андреевна. – Костей не соберёшь!

– Петенька, как тебе не стыдно?! Мы же тебя просили!.. – зывала к чувствам идиота тётка Олюшка.

Оценив обстановку, Иван Никифорович решительно дошёл до своего чулана и вскоре принёс стул, верёвку и целую кучу деревянных колобашек.

– Колобашками в него пуляйте! – велел он сёстрам. – А в коридор и впрямь не пускайте – ни к чему! А ты шваброй посильней размахивай, – приказал он супруге.

Сёстры охотно взяли колобашки и приготовились пулять. Шоколадов взобрался на стул.

– Идиотов надо верёвкой ухватывать, – объявил Иван Никифорович. – На меня гоните! Пли! Пли!

Аленька и Валенька стали кидаться колобашками, одна из них случайно попала по спине размахивавшей шваброй Клавдии Макаровне.

– Смотри, куда пуляешь, дура! – крикнула женщина.

– А ты не стой на пути! – огрызнулась Валенька. – Видишь, здесь пуляют!

– Хватит собачиться! – гаркнул Иван Никифорович. – Дело делать надо.

Тут в подпотолочье вышла некоторая даже сумятица, сёстры снова закинулись колобашками, Клавдия Макаровна замахала шваброй, Петенька заметался, на мгновение стал снижаться, так что тётка Олюшка едва не схватила его за рукав, Шоколадов же набрасывал на Петеньку верёвочные петли. Петенька снова поспешно взмыл к самому потолку, изрядно обтёрши боком старую закопченную побелку.

Но деваться было особенно некуда, и его поимка была только вопросом времени. Вот колобашка, пущенная меткой рукой Валеньки, попала несчастному идиоту в физиономию, отчего тот затряс головой и несколько снизился, мокрая тряпка на швабре тут же изрядно приложила его по мягкому месту, и Шоколадов ухватил Петеньку петлёй за туловище. Стянутого на пол Петеньку, несмотря на протесты тётки Олюшки, хорошо отдубасили, Иван Никифорович бил кулаком, Клавдия Макаровна – мокрой тряпкой, сёстры Аленька и Валенька – колобашками.

– Мы тебя, поганца, вообще из квартиры вытолкаем! – наконец, умаявшись, вынес приговор Шоколадов.

– Лю... лю... лю... – бормотала жертва коммунального произвола.

Петенька, хоть будь и идиот, кажется, всё-таки понял, что сделал на сей раз что-то *не того!* И потому, пренебрегши утешениями доброй тётки Олюшки, а также удручась и воскручинясь до самого дна глупой души своей, пошёл пить пиво в пивном зале неподалеку. Петенька любил пиво.

Девятая квартира только и ждала Петенькиного ухода. Тут же из своих комнат выскочили все жильцы, зашептались, зашушукались и заматались по квартире, словно тараканы. Одного поставили на лестнице на шухере, ещё кто-то стоял на шухере подле окна, Иван Никифорович быстро сменил замок во входной двери, после чего торжественно сказал:

– У идиотика здесь вообще никаких прав не имеется!

Все радостно закивали головами, не имеется, мол, не имеется, откуда ж им взяться? – и даже тётка Олюшка, поддавшись общему психозу, сказала: не имеется, хотя и вздохнула при этом отчего-то тяжело. Ключи от нового замка раздали всем, включая и вовсе уж бесправных молдаван, на Петеньку же ключа предусмотрено не было. Так что перспективы его вырисовались довольно плачевными.

Между тем Петенька зашёл в известное заведение.

– Хо... хо... хо... – залепетал Петенька и умоляюще посмотрел на пивной агрегат с блестящими кранами, за коим стояла довольно грудастая буфетчица. Та не стала мучить убогого дополнительными вопросами и сразу налила стакан светлого «невского» пива и потом прибавила: «Тебе бы лучше в другой зал перейти. Здесь у нас публика приличная собирается, в соседнем же – которая попроще».

Приличная публика состояла из одного облёванного и другого, спавшего на полу, но покладистый Петенька не стал спорить и перешёл в зал для *публики попроще*.

Там в эту пору сидели... двое чертей. Черти пили пиво. Они взглянули на Петеньку, и один из них тут же сказал:

– Добрый вечер, коллега.

Петенька тоже взглянул на чертей, и с него вдруг, в одно мгновение, как шелуха слетели весь его идиотизм, все его блаженность и затуманенность, остались же беспредельно, бездонно голубые глаза, и оказалось, что Петенька, этот жалкий идиотик, по убеждению многих, очень даже и ничего, и по-своему даже красив.

Петенька склонил голову и сказал:

– Здравствуйте, господа.

Читатель давно уж, разумеется, догадался, что и Петенька тоже был чёрт. Чертям же нет нужды притворяться друг перед другом, нет нужды в камуфляжах и обманных манёврах.

Один из чертей протянул Петеньке когтистую руку и сказал:

– Фридрих Карлович.

Представился и другой.

– Семён Иммануилович.

– Пётр, – просто сказал Петенька. Он выглядел помоложе двух его нечистых собратьев.

– Судя по вашему виду, коллега, заключаю, что живёте вы где-то поблизости и вполне по нынешним временам устроены, – сказал Петеньке Семён Иммануилович.

– Пожалуй, это так, – согласился Петенька. – Я же, в свою очередь, рискну предположить, что ни вы, ни ваш уважаемый собрат не устроены вовсе, и это отчасти является для вас угнетающим фактором.

– Вы наблюдательны, дорогой друг, – включился в беседу и Фридрих Карлович.

– Сами мы не местные... – сказал Семён Иммануилович.

– Я из Моршанска, коллега мой из Стерлитамака, – сказал Фридрих Карлович.

– Неустроенность же наша имеет определённую первопричину, – сказал Семён Иммануилович.

– Могу ли я поинтересоваться – какую? – сказал Петенька.

– Нам лестно такое внимание со стороны нашего нового молодого друга, – сказал ещё Семён Иммануилович.

Кстати же выпили за дружбу.

– Были мы в наших городах и вёсях вполне благопристойными и уважаемыми нечистыми существами, – начал рассказ свой Фридрих Карлович.

– У руководства – на хорошем счету, – добавил Семён Иммануилович.

– С обширной клиентурой...

– Я всё более средь дамочек работать любил...

- А я, по преимуществу, интеллектуалов окучивал...
- Постепенно же нас...
- Несмотря на благодарности руководства...
- Всяческие поощрения...
- Премии и пособия...
- Начало охватывать некое чувство...
- Неудовлетворённость.
- Досада.
- Опустошение.
- Озлобленность.
- И вот мы... – говорил Фридрих Карлович.
- Не свой страх и риск... – продолжал Семён Иммануилович.
- Без согласования с руководством...
- Не попрощавшись с коллегами...
- Переехали в этот город...
- Без средств к существованию...
- Не имея даже пристанища...
- Зато с большими надеждами...
- И с великими планами...

Пётр удивлённо переводил взор с одного на другого. Приезжие черти ему решительно нравились своею напористостью.

- Здешние черти ленивы...
- Безынициативны...
- Они заплыли жиром...
- Они очеловечились...
- Мы же – новое слово в чертологии!..
- Мы – свежая струя из провинции!..
- Мы готовы работать не покладая рук!
- Днём и ночью!..
- Зимой и летом!..
- Всегда и везде!..
- Мы готовы обольщать!..
- Соблазнять!..
- Смущать!..
- Сбивать с пути!..
- Мы готовы лгать!..
- Прелюбодействовать!..

– Ни один не устоит пред нами! – заносчиво выкрикнул Фридрих Карлович.

– Ни один, ни один! – подтвердил Семён Иммануилович.

– Неужто причиной нынешнего вашего удручающего положения было несогласование вашего переезда с руководством? – спросил Петенька.

– О да, – сказал Фридрих Карлович. – У нас очень не любят своеволие.

– Нас грозились высечь!..

– Сослать в Певек.

– Или на Новую Землю.

– А там так холодно!

– Так одиноко!.. Впрочем, мы увлеклись беседой и забыли про пиво, – сказал Семён Иммануилович. – Предлагаю повторить!

Все согласились. Некоторая время беседа текла совсем уж в отличном русле, она сделалась учёною. Заговорили о высшей математике, о числах Фибоначчи, о проблеме Лагранжа. Потом взялись за другие материи: поговорили о Чарльзе Дарвине, который мало того что был атеист,

так ведь ещё и мерзавец: столько внимания уделить самым ничтожным из биологических видов – мушкам, мышкам, птичкам, червячкам и прочей живой сволочи, и ни слова о них, о чертях, поговорили о новых веяниях в европейском деконструктивизме – в общем, обо всём, совершенно обо всём у каждого из этих троих имелись свои суждения, хитроумные, саркастические и замысловатые.

Девятая же квартира готовилась к Петенькиному возвращению.

– Он у нас ещё попоёт!.. – потирал руками Иван Никифорович.

– Если станет стучать, мы скажем, что он здесь не живёт, – соглашалась Аленька.

– И никогда не жил, – добавляла Валенька. – Пусть докажет, что жил.

– А если надо будет, чтобы мы доказали, что не жил? – тихо сомневалась тётка Олюшка.

– А презумпцию невиновности пока ещё никто не отменял! – ехидно оспаривал её Иван Никифорович.

Черти же в пивной меж тем продолжали дружескую беседу.

– А где проживаешь ты, друг мой Пётр? – спрашивал Семён Иммануилович вполне уже по-свойски.

– Я проживаю, – отвечал Петенька, – вот в том доме напротив и немного наискось, в девятой квартире, что на втором этаже.

– А что, Петя, – спросил Семён Иммануилович, – не найдётся ли в этой квартире пустующих комнат, кладовок, чуланчиков или просто углов, каковые могли бы занять два несчастных чёртика, прикинувшись, пожалуй, паутиной иль пылью?

– Я могу быть ещё сверчком, – похвалился Фридрих Карлович.

– А я – огромным рыжим тараканом, – не отставал и бывший стерлитамакский чёрт.

– Чуланчики и кладовки, пожалуй, найдутся, – отвечал Петенька. – Но ведь такое пристанище не достойно моих уважаемых учёных коллег. Есть и комната общего пользования, да в ней теперь живут молдаване.

– У меня предчувствие, что молдаванам придётся уехать! – сурово сказал Фридрих Карлович.

– Там будем жить мы, – сказал Семён Иммануилович.

– Да, – согласился Петенька.

Расспросив нашего идиотика, приезжие черти выяснили, что сдачею общей комнаты молдаванам и другим сомнительным личностям занимался Иван Никифорович Шоколадов, что когда-то Иван Никифорович обещал из арендной платы компенсировать расходы всех жильцов за электроэнергию, но деньги постоянно закливал, чем были многие недовольны, хотя открыто и не роптали. Выслушав всё сие, Фридрих Карлович с Семёном Иммануиловичем обещались нанести визит Ивану Никифоровичу в один из ближайших дней.

В двенадцатом часу изрядно набравшийся Петенька карабкался на второй этаж, спотыкаясь о всякую из ступеней. У него снова сделался вид абсолютного идиота. И в том не было ничего напускного, наигранного, актёрского; идиотом Петенька был натуральным, природным. Скорее уж в его «просветлении» в пивной следовало бы предположить некое вскрытие иной его, не вполне земной и мирской сущности.

Ключ в замочную скважину не вставлялся, Петенька загрустил и стал скрестись в дверь. Тётка Олюшка чуть было не впустила его, но была вовремя схвачена за руку бдительным Иваном Никифоровичем.

– Кто? – грозно спросил он, как святой Пётр, стоящий у врат рая.

– Мур... мур... мур... – жалобно замурлыкал Петенька.

– Будет тебе сейчас «мур-мур-мур!» – крикнул Шоколадов. – Мы тебя не знаем! Иди отсюда! Не живёшь ты здесь!..

– А то полицию вызовём! – сказала Аленька Плешкина.

– Они тебе враз мозги прочистят, – подтвердила сестра её Валенька.

– И дубинками заодно наваляют, – подсказал ещё подошедший Фёдор Васильевич Доломяга, художник и алкоголик.

Петенька постонал немного.

– Ты там ещё? – спросил Иван Никифорович. – А ну, катись отсюда!

Петенька поплёлся восвояси. Вышел на Боровую, вывернул с неё на Социалистическую, доковылял по той до Марата и даже до Разъезжей. Потом ноги как-то сами собой вынесли его снова на Боровую. Боровая была злой и жестокой. Петенька хотел уж лечь спать на тротуаре, постоял немного возле дома и подержался за водосточную трубу. Задравши голову, он пытался найти окна квартиры. Кажется, нашёл их. Они были высоко, рукою не дотянуться. Зато можно было долететь. Петенька медленно стал взмывать над тротуаром. Несколько ночных прохожих застыло в изумлении.

Вот Петенька уже оказался на уровне второго этажа и, хватаясь за карнизы, стал неловко перемещаться от окна к окну. Он сам не знал, что ищет, окно его комнаты выходило во двор, а начать свой полёт во дворе Петенька не сообразил. Дунул ветер, нашего летуна стало относить, и Петенька схватился за оконную раму. В комнате зажгётся свет, за стеклом возникли Иван Никифорович и необъятная супруга его Клавдия Макаровна, оба в неглиже. Шоколадов пропал на мгновение, потом появился вновь, в окно же выставились стволы старенькой его берданки. Берданки Петенька не испугался, но глаза Ивана Никифоровича были нехороши.

Петенька стал отползать по стенке, снова хватался за карнизы. Зажгётся свет в одном окне, потом в другом. Но вот вдруг в одном из окон Петенька увидел испуганное лицо тётки Олюшки, и это было его спасением.

– Петенька, ты!.. – восклицала тётка Олюшка, раскрывая окно. – Так же можно убиться на-смерть!..

Тётка Олюшка поила Петеньку чаем, тот пил сначала с блаженной неодушевлённостью на глупом своём лице, потом отчего-то разулыбался, слюни потекли из его рта пуще обыкновенного. Тётка Олюшка приписала сперва это действию тёплого чая с сахаром, потом же проследила его взгляд. Петенька смотрел на буфет, где стояла фотографическая карточка племянницы Настеньки с траурным окаймлением.

– А это наша Настенька, – сказала тётка Олюшка Петеньке. – Её теперь больше нет.

Петенька будто прирос к портрету. Он уже не пил чай. Он доковылял до буфета и вперился в милое Настенькино лицо. Рот её был приоткрыт в улыбке, и виднелся ряд красивых верхних зубов, взгляд же девушки будто был затуманен, в нём читалась тайная тоска.

– Же... же... же... – забормотал Петенька. Котик тётки Олюшки смотрел на того с презрением.

– Что, дурачок, что? – заботливо спросила добрая женщина.

– Жениться на ней хочу, – вдруг отчётливо, хотя и несколько пришепётывая, сказал Петенька.

Тут уж надо, наконец, расставить точки над «i». Петенька был идиот, но никак не заика. Иногда он мог изъясняться вполне членораздельно. Просто ему для словоговорения требовался разбег, разлёт. Вот он и разлетался на односложниках. Далее же терпение у Петенькиных слушателей обычно иссякало, и Петеньку прерывали. Тётка Олюшка же – совсем другое дело!.. Терпения у неё хватало.

– Что ты! Что ты! – замахала на своего гостя тётка Олюшка. – Настенька мёртвая, жениться на ней никак нельзя!..

– Жениться хочу, – повторил ещё раз Петенька со всею убеждённою своей совершенно повихнувшейся натуры. – Моя Настенька будет.

Час уж сделался поздний, да и разговор не слишком хороший стал складываться. Тётка Олюшка начала выпроваживать Петеньку. Отдала ему свой ключ, намередываясь самой разжиться тем у кого-нибудь из соседей. Довела Петеньку до его комнаты. Чтобы никто не поколотил его по дороге. За полёты его, да за переполах ночной.

– Тё-тя... – звучно пробормотал Петенька. – Тётя... моя Настенька будет!.. Моя Настенька...

Тётка Олюшка вздохнула и пожелала несчастному идиоту спокойной ночи. В идиотской же голове, кажется, накрепко засела безумная, несуразная, смехотворная идея женитьбы на Настеньке. Да – вздор, вздор, а не идея! Впрочем, вздор-то, конечно, вздор, и даже – совершенный вздор, неопределимый вздор; но как ни крути, а всё-таки – идея!..

Ноготь

– Миру сему гении потребны, прозорливцы и основоположники; монотонного же человеческого быдла у того и так навалом, – любил между делом приговаривать Иван Никифорович Шоколадов. Частенько он такое приговаривал, и в том, собственно, заключалось самое его сокровенное. Ибо монотонным человеческим быдлом он себя не считал и посчитать бы не согласился ни при каких обстоятельствах.

Много ещё *этакого* исходило от Ивана Никифоровича, он был кладезем. Он был находчив в разговоре и зачастую, к месту и не к месту, вворачивал то, что можно бы назвать и афоризмами, сам же Иван Никифорович называл таковое перлами, и тогда всякий раз беседа, мирно текущая по своему заурядному руслу, после краткого соло Ивана Никифоровича вдруг выходила из её естественных берегов и обретала характер фантастический, странный. Шоколадов был возмутителем обыденного.

Сидит этак, к примеру, Иван Никифорович сотоварищи в известном заведении, официально именуемом рюмочной, в просторечном же исполнении – *гадюшником*, калякают себе понемногу о чём-то таком, о мужском, о неброском. Иван Никифорович тут голову вдруг опустит, вздохнёт неприметно...

– Да-а, – скажет. – Одним – кабак, другим – Голгофа.

Тут обыкновенная беседа, как водится, запинается, делает некоторое «кхе!», и простые наши русские мужички, никогда ни к каким высоким материям не причастные, ни к каким идеалам, конвергенциям и плюрализмам не предрасположенные, начинают вдруг со всею серьёзностью обсуждать, чего всю жизнь не обсуждали: а приди, положим, Спаситель сегодня, какая бы участь его ожидала. В тюрьге, в тюрьге сгноят! – начинает кричать кто-то. В *дурке* умучают, – другой возражает первому.

Иван Никифорович будто наслаждался таким вот поворотом беседы и особого участия в ней уж не принимал, ни за, ни против не высказывался, ни за *дурку*, ни за *тюрьгу* не ратовал. И вот тут мужички разойдутся, распрянутся, раскричатся, а Иван Никифорович им снова свернёт тихонько, но с некоторым даже коварством:

– У улитки – скорлупа, а у человека – скепсис.

Тут собутыльники снова на мгновение приходят в замешательство и вот уж начинают обсуждать: ничему верить нельзя, во всём надобно сомневаться, и даже если тебе и то говорят, и сё талдычат, то всё равно – к сказанному следует относиться скептически.

Иван Никифорович родом был из Вологодской области, срочную службу проходил там же, во внутренних войсках. Эти-то войска и определили всю биографию Ивана Никифоровича. Иван Никифорович работал всю жизнь надзирателем. В исправительных учреждениях, да в следственных изоляторах. Официально должность его именовалась контролёром, в просторечии – *цириком*.

После был Ленинград, и область вокруг оного... Помотался он по такого рода учреждениям области, потом дали ему комнату в городе, на Боровой. Сказали: временно – попозже, мол, условия улучшишь. Потом же вообще что бы то ни было давать перестали, так он и застрял тут с супругой Клавдией Макаровной да с довольно поздно народившейся дочерью Зоей. Должно быть, теперь уж навсегда.

Перлы же шоколадовские... Он и в двадцать уж их сочинял, и в тридцать – изобретал, и в сорок – измысливал, да и позже – животворил... Среди них попадались и философического свойства. «Неиссякающий источник стоит океана, хотя б по капле влагу приносил» – как-то раз записал Иван Никифорович в свою тетрадочку. Попадались перлы и возвышенного свойства. «И благородным закипев негодованием, старайся всё же гнев святой умерить! Кто ж в наше время в искренность поверит?!» Или такое: «Художник! Погрузи нож в своё сердце, и ты добудешь одну из красок для своих картин».

Было и вовсе уж байроническое. И даже в стихах.

И целый мир подняв на бой,
Ты сомневайся в праведности цели.
Когда ж так было, чтобы светлые идеи
Владели без остатка праздною толпой?!

Было не философическое и не байроническое, а пожалуй, что просто ироническое. «То не пытайся отыскать, чего там нет в помине! Так, например, в кармане деньги на похмелье, иль в изречении туманном – скрытый смысл», – принадлежало бойкому перу Шоколадова. И здесь слышались и самоирония человека, знающего себе цену, и одновременно – изящная скромность гения, волею несправедливой судьбы заброшенного на должность... на должность презренного цирка.

Перлы порождались Шоколадовым каждый день, в любой обстановке. В том числе, и самой неподходящей.

Презирал ли наш создатель перлов свою работу? Нет, работу свою Иван Никифорович вовсе не презирал. Он находил в ней и удовольствия, и некоторую же философскую содержательность. Когда кого-то сажали по приговору суда, Шоколадов радовался. Когда отпускали по истечении срока – огорчался. Человеку нужно сидеть, человек должен сидеть, рассуждал он, природное назначение человека – сидеть. Сидение обогащает, развивает, устраивает, устанавливает человека. Сидевший – житейский богач, несидевший – жизненный голодранец и побирушка. Сидевший уже превзошёл жизненную науку, несидевший – ещё несмышлёныш, у которого главное ещё впереди. Вроде девственника, так чтоб было понятней.

– А ещё по невозможности я очинно любил пошутковать, – как-то самолично рассказывал мне Иван Никифорович. – Клиентов моих называл *эксcrementами*. Положим, так дверь открываю и говорю: «Эксcrement Такой-то, на выход! Эксcrement Сякой-то, к следователю!» Ну, как водится, на меня быстро телегу накатали. Клиенты-то... И хоть я стал объяснять, что, во-первых, не говорил ничего такого, а во-вторых, здесь вообще переносный смысл предполагается: осужденные – отбросы общества, эксcrementы – отбросы человека, вот здесь этакая-то переносная отбросность и подчёркивается – но всё ж шуткования пришлось прекратить. Дурак – народ, юмора настоящего не понимает!

– Богатая у тебя биография, Иван Никифорыч, – нагло посмеивался над ним я. – Тебе бы книгу про себя написать.

– Книгу! Книгу!.. – злился Шоколадов. – Я, может, уже и написал книгу! И не одну! Я много, много книг написал! Издатели!.. Издатели – свиньи! Все до единого! Это так, и со мною не спорь!

– Да я и не спорю, – говорил я.

– Раньше я ходил к ним, теперь не хожу! Смрадно там, заносчиво, лживо! Редакторы, литературные агенты! Тьфу! Бездарии! Привыкли носиться... Белеет, мол, парус одинокий в тумане моря голубом... Ну, белеет!.. А что ему чернеть, что ли? Одинокий... А вы бы хотели, чтоб он в толпе друзей был!.. Ну, море голубое!.. А какое ещё? Красное, что ли? – говорил ещё Иван Никифорович.

Иван Никифорович мог долго так кипятиться.

– А Бродский!..* – весь раскрасневшись, кричал он. – А что – Бродский?! Друзья бы евреи не пособили, не выцганили ему премию, кто бы сейчас вашего Бродского знал? Всё, всё на друзьях-евреях держится! Нет у тебя друга-еврея – пиши пропало! Ни одна собака тебя никогда не узнает! А есть у тебя друг-еврей, то будь ты даже вроде Петеньки нашего, идиота, всё равно будешь в веках прославлен!..

– Кто ж русским-то мешает быть такими солидарными? – невинно спрашивал я.

– А эт-то уже другая история! – выкрикнул тогда Иван Никифорович. И был прав. Поскольку это действительно – *другая история*.

Всё у нас – *другая история*, от всего мы отгораживаемся и отворачиваемся, от человека, от ближнего своего мы так же отгораживаемся и отворачиваемся. Вот, к примеру, мы с Иваном Никифоровичем – оба русские люди, а всё ж по самое горло полны взаимного насмешничества и обоюдного недоброжелательства. Нет бы – поддержать, подкрепить, приободрить, вспомоществовать – но на то не готовы мы, зато готовы язвить, вышучивать, подставлять ножку, зато полны мы самолюбий, всякого вздора, фанаберий, несусветностей, нороров, полны мифов, предрассудков, побасенок, интересных нам лишь одним – и в том-то ведь заключается русская душа наша и наша славянская

* Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) – советский (позднее – американский) поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года.

целостность. Темна и мутна русская природа, чёрт всегда стоит на страже её, проскальзывает мимо нас доброе и всемирное, благодное и созерцательное, неистовое и возвышенное, и оттого так легко улавливать нас. Всяким ловцам человек, и чистым и нечистым, легко улавливать нас, сами ж мы человекoв улавливать не умеем. Человекoв со всеми их лимфоцитами и аминокислотами.

Уникальным себя Шоколадoв полагал во всём, во всех отраслях и поприщах. Время, однако, шло, молодость прошмыгнула, промелькнула с хамскою безапелляционностью, возраст уж сделался пенсионный, а мировой славы всё не было, не было шума, значения, почитания, чествований!.. Другой бы озлобился, отчаялся, жизнь бы почёл пропащею, неудавшейся!.. Но не таков был Иван Никифорович! Он всё ещё верил. Душу надо дьяволу продать, говорил себе он, за славу мирскую, да за значение. Душу!.. Но и дьявол как-то всё мешкал, не приходил.

Кстати же, в знак своей уникальности Иван Никифорович многие годы отращивал ноготь. На левой руке, на мизинце. Был он крепок и жёлт, и длиной уж сантиметра четыре. Заметный такой ноготь! Значительный! Чернобыльский ноготь, как говаривала супруга Ивана Никифоровича Клавдия Макаровна. Ноготь-мутант...

Самое скверное, что даже ведь и повихнуться, с катушек слететь, с резьбы соскочить от таких вот невзгод, от такой невестребованности по-настоящему не удавалось. А то ведь так взял – повихнулся и всё: спроса с тебя уже нет никакого! Какой спрос с повихнувшегося да полоумного? Вон с Петеньки-идиота какой спрос? Впрочем, шанс слететь с катушек однажды всё-таки представился.

День был летний, но не звонкий. Квёлый и отпетый. Шоколадoв в одной компании пил пиво в скверике на Звенигородской. Была рыба порезанная, и грязные кишки её на газете. Мухи покушались на рыбы кишки, но Шоколадoв их отгонял. Взамен того сплёвывал пред собой на асфальт. Мухи подлетали к его рыбному плевку и ели оттуда. Вот, обрадовался Иван Никифорович, для одного – плевко, для других – пища. Вот и мир наш, продолжил он, для Бога, небось, плевко, для нас – пища и среда обитания. Обитаем мы в божьем плевке, славим божий плевко, питаемся и насыщаемся из него.

Понятно, после такого вступления грех было бы не заговорить о поэзии. Вот и заговорили. А в компанию затёрся тогда один из *любителей «изабеллы»**. И имя прозвучало впервые – Олег Григорьев.

– Что за Григорьев такой? – насторожился вдруг Иван Никифорович. – Отчего не знаю?

– А вот как раз и знаешь, Иван Никифорович, – сказал *любитель «изабеллы»*. – Поэт такой был, ленинградский. Андеграундный.

– Что ж писал этот твой ленинградский андеграундный *поэт*? – язвительно проговорил ещё Шоколадoв.

– Да уж стихи, наверное, ежели – поэт, – отвечивал *любитель*.

– Ну, прочти, пожалуй, – дал своё соизволение Иван Никифорович.

Любитель стихи Григорьева знал наизусть и потому прочитал.

Я спросил электрика Петрова:

– Для чего ты намотал на шею провод?

Ничего Петров не отвечает,

Висит и только ботами качает.

– Да, я это действительно знаю, – обрадовался отчего-то Шоколадoв и задумчиво поковырял в зубах раритетным ногтем.

– Слушай! – воскликнул вдруг *любитель «изабеллы»*, прочитав ещё пару стихов Григорьева. – Так ты ж в Вологодской области служил? Во внутренних войсках? В начале семидесятых?

– Да, – согласился Иван Никифорович. – Зеки комбинат строили, мы их пасли.

– Вот там и Олечка тогда был, комбинат строил, – сказал *любитель*.

– Никифорыч, – спросил ещё один из компании, – а в конце восьмидесятых ты уже в Ленинграде был, в Крестах сидельцев охаживал?

* ВАЛИ – Всемирная Ассоциация Любителей «Изабеллы» (сорт виноградного вина), основатели – петербургские поэты А. Мирзаев, В. Кучерявкин, В. Земских, Д. Григорьев.

– В Крестах, – подтвердил Шоколадов.
 – Надо ж, – удивились собутыльники Ивана Никифоровича. – Он же в восемьдесят девятом вторую судимость свую получил. Два раза тебя судьба с Олешкой сводила.
 – Только по разные стороны баррикад, – мрачно сказал тот.
 – Ты его не помнишь случайно, Никифорыч? – спросил *любитель*.
 – Как он хоть выглядел?
 – Да как гопник! Лицо простое, худой, небритый, в кепочке ходил.
 – Все у нас там были как гопники, худые да небритые. Только не в кепочках, – задумчиво отвечал Шоколадов.

История удивила Ивана Никифоровича. Два раза судьба его сводила совсем близко с этим неизвестным ему Олегом Григорьевым, целых два раза; им бы наверняка нашлось, что сказать друг другу. Быть может, они бы смогли и сойтись, сделаться едва ль не приятелями. Но нет, нет, Иван Никифорович не помнил Олега, да и знать, по-видимому, не мог. Слишком велика была разница, дистанция между правоверным служакой и дебоширом, хулиганом, уголовником.

С того дня судьбы Олега Григорьева и Ивана Шоколадова переплелись каким-то причудливым, мистическим образом. Иван Никифорович раздобыл фотокарточки Григорьева и всматривался в те часы, прочитал массу его стихов. Ему иногда начинало казаться, что Григорьев с ним заговаривает, читает свои стихи. Шоколадов стал спорить с Григорьевым, ответно читал свои перлы и всегда, разумеется, побеждал в таких вот незримых пиитических состязаниях.

Странно, теперь ни Лермонтов, ни Бродский уже не занимали Ивана Никифоровича, единственным его соперником сделался поэт Олег Григорьев. В чём-то они были похожи. Да, верно, Григорьев, как и Иван Никифорович, писал свои вирши всегда и везде, и пьяный и трезвый (хотя последним бывал нечасто), и злой и весёлый. Но вот же кое в чём он всё-таки превзошёл Шоколадова: у него были книги, а под конец жизни так даже вступил в писательский союз.

– Душу, душу надо продавать, – мрачно рассуждал Шоколадов.

Как-то раз к Ивану Никифоровичу пришли двое странных мужичков, то ли евреи, то ли немцы, то ли другие какие-нибудь иноплеменные чурки. Одного звали Семёном Иммануиловичем, другого – Фридрихом Карловичем. Мы, говорят, дорогой товарищ Шоколадов, пришли к вам от соседа вашего Петеньки Шкваркова, по его рекомендации, пришли по важному делу. Иван Никифорович с Петенькой не ладил и потому спервоначалу хотел двух его протеже выставить из квартиры безо всяких объяснений. Но потом... всё-таки воздержался. Петенька ведь был не просто идиот, а летающий идиот. Стало быть, дело здесь нечисто, по определению. А эти же двое, если сами и не нечистая сила, так уж с нечистой силой непременно знают, проницательно заключил Шоколадов.

– Слушаю вас, – корректно сказал он.

– Слышали мы от Петеньки, – начал Семён Иммануилович, – что у вас в квартире комната пустующая имеется, молдаванами занятая. Очень бы желательно было нам с коллегой Фридрихом Карловичем эту комнату занять в ближайшее время. Мы – педагоги, интеллигентные люди, с учёными степенями, порядок же с чистотой гарантируем.

– Там же молдаване, – сказал Шоколадов.

– Молдаванами больше, молдаванами меньше...

Ох, всё это было сомнительным, очень сомнительным! Но в тот же день Иван Никифорович подошёл к молдаванину Вахтангу и, хоть и потупив взор, сказал довольно твёрдо:

– Квартиру комиссия проверять будет. Так что вам, молдаванам, съехать придётся. Завтра же!..

– Собака ты, Иван! – ответил тихо Вахтанг. – Дети у меня.

– Я сказал: завтра, – так же тихо сказал Шоколадов. – И вообще у меня арендаторы получше вас имеются.

– Скоро из Приднестровья мой брат Сосо приезжает, – вовсе уж шепнул Вахтанг. – Он из тебя кишки выпустит.

– И на Сосо твоего тоже управа найдётся, – шепнул и Шоколадов.

– Значит, так, да?

– Значит, так! – шепнул Шоколадов.

Иван Никифорович всю жизнь был надзирателем, *цириком*. Он и в девятой квартире был таким же надзирателем. Душу Шоколадов имел *циричью*, закалённую, и потому никого не боялся. Так что поскрипел зубами Вахтанг, поревела, побранилась жена его Зара, похныкал их молдавский вывенок, а выметаться из квартиры пришлось. Разбили они на прощание ртутный градусник в коридоре, наплевали во все углы, пожелали всем сдохнуть в страшных мучениях, да и сгнули навсегда в осеннем многолюдном петербургском месиве.

Тут вскоре с соседками Аленькой и Валенькой произошли известные события. Отчего квартира гудела и будоражилась ни день и ни два. Да и много чего вообще произошло. Ну, да не станем отвлекаться.

Странные были новые квартиранты. Хотя и тихие по первому времени. Никакие, видать, не педагоги – соврали, негодные!.. Они то пропадали, то вновь появлялись. Иван же Никифорович, подстерегши то одного, то другого, частенько заводил с квартирантами весьма странные разговоры. Желая, мол, я, Иван Шоколадов, вступить в сношения с нечистою силой на предмет взаимовыгодной сделки, так что, ежели вы сами, положим, достаточных полномочий не имеете, то не подскажете ли мне какого-нибудь иного шептунного чертяку из вашей братии, ну, или гильдии? Но с полномочиями. Семён Иммануилович с Фридрихом Карловичем всё больше отмалчивались и вид на себя напускали непонимающий.

Иван Никифорович начинал даже сердиться. И в какой-то момент созрел ультиматум. Если вы, неблагодарные квартиранты, безотлагательно не сведёте меня с нечистою силою, ну там с чёртом каким али с бесом, то я... и вообще у меня в вашу комнату давно уж узбеки просятся!..

– Что ж, – отвечал тогда Фридрих Карлович, – ежели вы, Иван Никифорович, вопрос ставите в такой плоскости, то нам, пожалуй, придётся передать ваше пожелание руководству.

– Да уж, вы передайте, – сказал Шоколадов, а сам вскорости уехал на дачу.

Дача у Шоколадова была в Любани, на берегу реки. Дни стояли хмурые, тихие и *подвздошные*. В такие бы дни только пиво пить, перлы записывать, да об жизни загубленной тосковать!.. Вот Иван Никифорович тем как раз и занимался.

Стало быть, сидит он на веранде, из стакана жидкость отхлёбывает да тетрабочку свою небезызвестную полистывает. Собою гордится. И тут вдруг слышит – ходит кто-то на участке. Иван Никифорович – на двор; на всякий случай топорик приготовил за дверью – мало ли что!.. Смотрит, мужичонка по двору похаживает, росту небольшого, худой, бородатый, со скулами небритыми, сморщенный весь, полный нетрезвой задрипанности.

– Здоров, хозяин, – говорит мужичонка, заметив нашего Ивана Никифоровича. – А не найдётся ли у тебя для меня стакана воды, а если не жалко, так, может, и пива напрыскаешь?

– А переночевать тебе, случайно, не требуется? – вежливо спросил того Иван Никифорович, пришло мужичонку глазами сверля. – И массажистку в номер?

– Ну, это мне необязательно, – возражал мужичонка. – А вот пивца бы очень хотелось!..

– Маешься, штоль? – спросил ещё Шоколадов.

– Не без этого, – согласился незванный гость Ивана Никифоровича.

– Сам-то нездешний? Местных я знаю.

– А, пожалуй, нездешний. Очень даже *нездешний*, – особенно как-то сказал мужичонка. Голос у него был какой-то гулкий. Будто из трубы. Или из-под земли.

– А звать как? – попытался хозяин.

– Звать-то меня Олегом. Олержкой. Фамилия же – Григорьев, – просто сказал гость.

– Как – Григорьев? – похолодел даже Иван Никифорович. – Какой ещё Григорьев?

– Да тот самый, – усмехнулся мужичонка.

– Поэт, что ли?

– Да уж не прозаик.

Тут Иван Никифорович как раз и заметил, что гость его и вправду вылитый *тот*, с фотокарточек. Но всё же ещё сомневался.

– А чем докажешь, что ты – Григорьев, поэт? – спросил он.

– Стишок могу свой прочитывать.

– Ну, прочти.
 – Окошко, стол, скамья, костыль,
 Селедка, хлеб, стакан, бутылка, –
 прочёл Григорьев.

Прочёл, и голос у него теперь был такой... ну, будто горшок треснутый.

Кажется, что, собственно, было особенного? Ну, прочёл мужичонка стишок, две строчки всего, их любой прочитать может. Но Иван Никифорович отчего-то сразу уверовал: да, пред ним поэт Олег Евгеньевич Григорьев. Олежек!.. Олежка!.. Тайный собеседник его, тайный соперник на протяжении немалого последнего времени.

Разумеется, Шоколадов тут же завёл гостя в дом, напрыскал тому пива полный стакан и, хоть уж не сомневался, спросил всё-таки:

– Как же ты – поэт Олег Григорьев, когда ж ты помер давно?
 – Ну, помер, не помер, а другой стал – это верно! – ответил гость.
 – Так ты, стало быть, *оттуда*? – неопределённо повёл рукой Иван Никифорович.
 – Сказано ж тебе: *нездеишний* я! Очень даже *нездеишний*!.. Аль не ждал меня, Шоколадов? – усмехнулся ещё гость, осушив стакан залпом.

– А что ж ты *там*... по-прежнему стихи пишешь? – затаённо спросил Шоколадов, царапая клёнку на столе своим эксклюзивным ногтем.

– Что ты знаешь про *там*? – отвечивал гость. – *Там* всё не так. *Там* не до стихов.

– А до чего ж? – шёпотом спросил хозяин.

– Вот закудахтал: *до чего ж, до чего ж!* – разозлился даже гость. – *До тоски!* Да и то – слово неверное!.. Пива вон ещё лучше напрыскай! – в глазах у него вдруг образовалось что-то неизбывное, нешуточное, кромешное.

– А я вот пишу, – сообщил Иван Никифорович, напрыскивая пиво Григорьеву.

– Ну и пиши себе, – хмуро отвечал тот. Потом выпил пиво и сказал уже миролюбивее:

– Ладно, чего звал?

– Я пишу... – сказал Шоколадов.

– Это я слышал. О деле давай говори! – перебил того гость.

– Перлы пишу... ну, и всякое такое... много написал... хорошо написал... многим даже нравится...

– Славы мировой хочешь? – спросил его в лоб Григорьев.

– Утверждения моей гениальности во всех сферах, а также настоящей мировой славы, в соответствии с моими талантами! – сказал, будто отчеканил, Шоколадов.

– Что взамен дашь? – сощурился на то Григорьев (который, понятно, и не Григорьев был, а чёрт! Или – Григорьев, сделавшийся чёртом... что даже и вероятнее).

Тут Иван Никифорович несколько насторожился. Как бы по простоте душевной, да неопытности не зайти слишком уж далеко. Племя такое, что с ним глаз да глаз нужен, да и ухо следует держать остро!..

– Вам ведь, поди, сразу всю душу подавать нужно? – дипломатично поинтересовался он.

Олежек тут уж сам себе напрыскал ещё стакан пивца, заглотив оный, крякнул довольно, закусил рыбкой, да и ответил:

– Ну, отчего ж? Совсе не обязательно душу.

– А что, если не душу?

– Можно – что и поменьше. Что не так жалко.

– А слава при этом будет мировой? Настоящей? – снова насторожился Иван Никифорович.

– Миревее не бывает, – заверил того гость.

– И гениальность подлинной?

– Можешь не сумлеваться! – кивнул головой опьяневший Григорьев.

Шоколадов возбуждённо заходил по веранде.

– Что ж тебе дать-то такое? – вслух рассуждал он. – Денег у меня нет... только вот на пиво немного да на обратный проезд. Да тебе, поди, деньги-то и не нужны?

Григорьев только расхохотался. Гадко так расхохотался, пьяно, похабно, *усузублённо, непоэти-*

чески, вовсе даже *непоэтически*... Правильно про того *любитель «изабеллы»* сказал: на гопника, именно на гопника был похож нынешний гость Ивана Никифоровича.

– Ну, да-да, ты ж и сам злато из черепков сделать можешь, я знаю. Так что ж тебе дать-то? Подскажи уж! В первый раз такие вопросы решаю.

– А вон хоть и ноготь свой можешь, – лениво отвечал гость и даже глаза свои бессовестные полуприкрыл, будто придрёмывая.

– Ноготь? – воскликнул Шоколадов.

За мировую славу ногтя было не жаль, хоть и давно его холил наш Иван Никифорович. За мировую славу и пальца не жаль, пожалуй. Но про палец пока лучше помалкивать. Не спрашивают палец – и хорошо! Вот ежели бы теперь палец спросили, тогда бы, конечно, и пришлось думать об этом отдельно... А так...

– Нет, палец необязательно, – сказал Олежек, будто прочитавший мысли Ивана Никифоровича. – Спервоначально с пальцем расставаться тяжело. Я знаю.

Тут Шоколадов заметил невзначай, что у Олежака-то у самого на руке не все пальцы. Но любопытствовать об том воздержался.

– Ноготь!.. – вздохнул он. – Ну что ж, ежели ноготь, тогда, конечно, другое дело. А у нас и договор будет? Учти, я договор внимательно читать стану.

– Договор типовой, – равнодушно отвечал Григорьев и достал из-за спины особенным таким движением, какое умеет делать, наверное, один только чёрт, замызганные листки бумаги с напечатанным заранее текстом. – Осталось только необходимое вкрябать, и – всё!.. Щас!..

Стол был нечист, много обеденных остатков сгрудилось на нём, заляпан был и супом, и кофе, залит и чаем вчерашним, и пивом – Григорьева же это не смутило нисколько. Он лишь немного сдвинул посуду, плюхнул договор прямо во все эти пищевые пятна, потёки и залежи, поскрёб свой смурной, бывалый затылок и стал крябать всё необходимое вынудой из кармана поршневой ручкой.

Шоколадов нетерпеливо потирал руками.

– А подписывать будем кровью? – наконец, подспудно спросил он.

– На фига? – удивился Григорьев. – Ручкой подпишем, пивом сверху попрыскаем для юридической силы – да и хорошо!..

Договор, что взял в руки Иван Никифорович, был гадок: бумага на сгибах потёрта, буквы раскорячились в разные стороны, целые абзацы едва пропечатались, почерк Григорьева был также ужасен: не почерк – каракули. В целом же содержание разобрать было возможно.

– Ну, знаешь ли!.. – недовольно помотал головой Иван Никифорович.

– Типовой договор, – безразлично отвечал Григорьев. – Не хочешь – можешь не подписывать!.. – и выпил ещё пивца для терпения.

Шоколадов углубился в изучение бумаги.

Вроде, было всё как положено. «Мы, нижеподписавшиеся... именуемый в дальнейшем Чёрт... Шоколадов... именуемый в дальнейшем Заказчик... договорились о нижеследующем... предоставляет... – ага, вот важно! Что же предоставляет? – предоставляет... кому? Шоколадову – всё правильно... гениальность во всех человеческих сферах, как то: литература, музыка, изобразительное искусство, науки, изобретательство и др., а также – подлинную мировую славу...»

Да, хорошо. А можно ещё про гениальность написать: *подлинную*? Чтoб не было сомнений? Отчего нет? Написали и про гениальность: *подлинную*. В смысле, предоставляет.

Так, а что же взамен?

«...взамен предоставляет собственный ноготь с мизинца на левой руке...» Да, правильно: ноготь!.. Так и договаривались. Чёрт! он, Шоколадов, нервничает, волнуется, а Олежек этот проклятый знай себе пиво попивает, и вроде до фонаря ему всё. А тут жизнь человеческая решается, можно сказать!..

– Много у вас клиентов, поди? – вымученно улынулся Иван Никифорович.

– Да уж, хватает!.. – лениво ответил Григорьев. – Всяк, кого ты знаешь... ну, в смысле – известный... почитай, непременно наш клиент!..

– Неужто?! – обрадовался отчего-то Шоколадов. – Слушай, так ведь и политики? И олигархи? – осенило ещё его.

– И эти тоже, – подтвердил Григорьев с некоторой, пожалуй, брезгливостью: не жаловал, видать, эту публику. – И президент – клиент, и премьер, и все олигархи!.. И все генералы да маршалы!.. Все министры!..

– Да-а? – удивлённо протянул Шоколадов. Последние сомнения его рассеялись. Если уж все сильные мира сего были чёртовыми клиентами, значит, фирма надёжная. Правильная, в общем, фирма! Не лохотрон вам какой-нибудь!..

Первым подписал чёрт. Рядом с подписью он накарябал: «Григорьев Олежка... – и в скобках нацёртал ещё: – (Чёрт)... – потом покумекал немного, втиснул между «Олежкой» и скобками этакую *птицу* и приписал сверху, над птицей: Евгеньевич... – и годы жизни в конце: 1943–1992...» Теперь уж всё точно, не подкопаясь.

У Ивана Никифоровича была подпись размашистая. Зато в расшифровке каждую букву вывел с предельною аккуратностью, даже слепой разберёт. Никаких тебе разночтений!..

– Эх, юристу бы надо было показать! – посоветовал Шоколадов.

– Где ж тут, в деревне, юристы? – развёл руками Олег Григорьев. – Сами мы в деревне – юристы!..

Прыснули пивом на бумагу. Для юридической силы. Порядок такой у них, у чертей.

– Ну, а когда действовать-то начнёт? – спросил Шоколадов.

– Завтра, с утра, – скучно сообщил Григорьев. – Давай-ка, мил-друг, по последней, да и пойду я. Пора мне.

Иван Никифорович тоже домой засобирился, на Боровую. Надо было подготовиться к завтрашнему: бумаги припасти побольше, ручек штук пять положить рядом, карандаши. На всякий случай. Домашних подальше спровадить, чтоб не мешали. Соседям сказать, чтоб по коридору не топали. Хотя, что ему теперь соседи? Пушкину, небось, соседи не мешали! Строчил себе свои: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...» – и в ус не дул. Встанет только из-за стола письменного, пересядет за стол обеденный, поест, попьёт, в туалет сходит, да и дальше садится за письменный – про снежные вихри карябать. Да про *вытьем с горя, где же кружка?* – ещё!.. Теперь и он, Шоколадов, так же будет!..

Ночью Иван Никифорович не спал, продумывал всё как следует. Сначала – литература, она как-то привычнее!.. Надо будет по-быстрому Нобелевскую получить, через год. Для этого штук десять романов написать следует и стихов пару тысяч. Эх, чёрт! Забыли в договоре указать, чтоб и издатели не такие свиньи были!.. Ну, да ладно: лучше быть поголоднее, да не на крючке! А подлинную его гениальность им заткнуть не удастся! Не на такого напали! Теперь-то с ними уж по-другому поговорить можно!..

Потом – наука. Лучше заняться биохимией. За неё тоже Нобелевские дают. Эх, дел впереди столько – непечатый край просто! Утром Шоколадов поднялся с постели взбудораженный и невыспавшийся.

Сел сразу за стол. Посидел. Бумага ждала, ручки ждали, карандаши. Шоколадов тоже ждал. Утро, да – утро, как и Григорьев сказал. Вот договор, рядом лежит – удостовериться при желании можно: «...гениальность во всех человеческих сферах, как то: литература, музыка, изобразительное искусство, науки, изобретательство...» Ну, да, литература – вот же чёрным по белому писано!.. Вот он и бумагу приготовил.

Иван Никифорович походил по комнате, посмотрел в окно. За окном было всё как обычно: пёрся какой-то дрянной народ, ехали драндулеты, голуби семенили по карнизу, вот старуха рассыпала мелочь на тротуаре и собирала её чуть ли не на карачках, дом стоял напротив, на который давно уже смотреть тошно... Иван Никифорович снова посидел за столом. Потом походил по квартире. Вернулся к себе в комнату.

Чёрт, где гениальность, где вдохновение? Может, время ещё не пришло? Да нет, уж дело к обеду движется. Иван Никифорович принял на грудь пятьдесят грамм. Потом – ещё пятьдесят. К вечеру он окончательно убедился в том, что его надули. За целый день он сочинил всего лишь два перла (в иные дни бывало и погуще). «Хлопотно любить цыганку, – записал после обеда Шоколадов. – Конечно, если сам ты не цыган». (Что ж, в том ощущалась ирония, и ещё горечь неглупого человека, остро ощущающего бренность бытия.) А ещё через два часа в его тетрадке появилось следующее:

«Кормишь собаку – значит, кормишь и живущих на ней блох». Да, пожалуй, неплохой перл! Здесь чувствуется отстранённая, бесстрастная мудрость Востока и какая-то безудержная сокровенность. В сущности, это – сверхкороткая притча!..

Но чёрт побори! Это ведь за целый день! За целый день! Утомился же Иван Никифорович так, будто он написал в один присест первый том «Войны и мира». Проклятый Григорьев! Обманул, обманул, подлец!

Шоколадов бросился в комнату, где прежде молдаване ютились, а теперь эти чёртовы квартиранты втемяшились. Они, они, сволочи, Григорьева этого ему подвели, их и ответственность! Комната была пуста и безвидна, ни самих квартирантов, ни скромных квартирантовых пожитков не просматривалось, только одинокий сверчок стрекотал, но с приходом Ивана Никифоровича умолк, да рыжий таракан размером с полпальца под топчан продавленный юркнул.

Мерзавцы! Мерзавцы! Офис закрыт, сотрудники разбежались! А потом кто-то с договором придёт, на ноготь уникальный шоколадовский посягать!.. Хрен вам, а не ноготь! Сами договор не исполнили! Однако же, какая гнусность, какое коварство! Смеяться над ним вздумали! Шутки шутить! Ничего, я вам ещё и не такую шутку устрою!

Иван Никифорович бушевал, клокотал, попил водку. Ближе к ночи он на кухню вышел и вдруг увидел того... немчуру... Фридриха Карловича, взбивавшего себе гоголь-моголь и глядевшего на Шоколадова будто бы иронически. Иван Никифорович набросился на того едва ль не с кулаками.

– Твоя работа! – заорал он. – Ты мне жулика подогнал! Вот ты и отвечать будешь!

– Какого жулика? – удивился Фридрих Карлович.

– Григорьева!..

– Какого Григорьева? – ещё больше удивился тот.

– Известно – какого! Олега!

– Поэта, что ли?

– Поэта! – язвил Шоколадов. – Поэтишку!..

– Что ж, – развёл руками Фридрих Карлович. – Поэт известный, помер в девяносто втором году, ну, да только я-то тут при чём?

– А вот при том! – крикнул Иван Никифорович. – Договор подписали? Подписали! Ну и где гениальность во всех человеческих сферах? Где мировая слава?

– Так у вас и договор есть? – переспросил этот дрянной немчура. – А нельзя ли взглянуть?

Шоколадов сгонял за договором. Фридрих Карлович изучал бумагу внимательно и даже вслух проговаривал отдельные словечки из договора.

– «Нижеподписавшиеся... о нижеследующем... годы жизни... сорок третий... девяносто второй...» Всё правильно, покойник... с покойником договор... «как то: литература, музыка, изобразительное искусство, науки, изобретательство... мировую славу...» Что ж, правильный договор!.. По всей форме.

– Как – правильный? – взвился Шоколадов. – А где они? Где слава? Где гениальность?

– Как это где? – удивился квартирант. – Я тебя знаю – вот тебе и слава! Мировая!.. А то будто мы с тобой и не мир!.. Перлы свои сочиняешь – вот тебе и гениальность! Другие и того делать не умеют. Я вот не умею, к примеру!.. Да ты договор-то внимательно читал, Никифорыч? – усмехнулся ещё этот чёртов выползень.

– Да уж читал, наверное, если подписывал, – упавшим голосом отвечал Шоколадов.

– Да там же чёрным по белому писано, там вот, на сгибе, буквами маленькими, шестым кеглем... там ещё бумага немного потёрта, но разобрать можно: «...гениальность во всех человеческих сферах... а также – подлинную мировую славу...», и далее, после запятой: «...количественной мерой в 1 (один) ноготь...» Да вот же тебе лупа, Никифорович, сам и прочти! – тут Фридрих Карлович достал из кармана огромную лупу и протянул её Шоколадову.

Ах, чёрт! Ах, мерзавцы! Ах, гадоки! Ах, мрази! Ах, подлецы! Иван Никифорович стал разглядывать бумагу под лупой, но и так уж стало понятно, что квартирант прав. Надули, надули Шоколадова, посмеялись, поглумились над тем. Была там такая полосочка, Иван Никифорович прежде решил, что – случайная, что просто прочерк, а это не прочерк и не полосочка, но слова, слова, буквы одна на другую напозадают, но разобрать можно, те самые проклятые слова про количественную

меру. Значит, в нозоть, всего в один нозоть оценили его шоколадовский талант?! Как же умеет издаваться враг рода человеческого, с какою пылью, с какою мразью и слякотью умеет он сопоставить душу бессмертную, живую!.. Впрочем, бессмертна ли душа, и главное – значительна ли она, стоит ли она вообще внимания, мысли, интереса, сочувствия, стоит ли вообще чего бы то ни было? Может, что – пыль, что – душа – всё едино, всё одинаково? Может, душа и есть та самая пыль, что вольным ветром носится по-над почвою, да над человеками, до тех, куда уж безвозвратно не оседет она. И тогда уж закончатся и все времена, и все цивилизации, и все народы, и все сословия, и все привычки, и все представления, и даже сама история... иссякнет, изгладится, расточится.

– Ах, так, значит! – заорал Шоколадов. – А потом придёте, скажете: «Здравствуйте! А мы за ногтем вашим пришли! По договору!» Вот вам, а не нозоть! – крикнул ещё Иван Никифорович и сотворил из своих пальцев немаленький жилистый кукиш.

Подскочил он к своему столу кухонному, схватил нож рыбный, остро заточенный, положил руку на стол, потом – хрясь! – да и отхватил он свой нозоть. Как только мизинец себе не оттяпал – даже не понятно.

Схватил Иван Никифорович свой нозоть, покрутил им перед носом Фридриха Карловича.

– Видел? – вскричал он. – Видел? Больше не увидишь! – распахнул он форточку с треском, да и вышвырнул туда злополучный свой нозоть. – Вот так! – добавил ещё он, обтирая руки о штаны.

Однако же, чёрт побери!.. А ведь с мировой славой-то, видать, опять придётся погодить, не правда ли?..

Лиговский нуар

Не рожайте, никогда не рожайте, двуногие, детей для этого мира! Всё равно мир пожрёт их, сомнёт, перекорёжит, заразит сверканием, блеском, неоном, бегущими огнями, политкорректностью, минимальным толерантным набором, сделает сволочью, потребляющим быдлом. И будут потеряны эти дети для смысла, для разума, для красоты, для спокойствия, для созерцания, для всего будут потеряны они, и даже для самой жизни *не станет* их. Ибо можно ли назвать жизнью то обыкновенное монотонное скотство, что – единственное – и дано в обращение человеку? Человек слишком погряз в своём *недочеловеческом*, *слишком недочеловеческом*, оттого, собственно, он столь зависим от бега минутных стрелок, от мелькания листов календаря. В совершенном, в гармоничном, в абсолютном время замедляется, в низком, в ничтожном, в обыденном – летит на всех парах.

Дочь Ивана Никифоровича Шоколадова Зою лишил невинности сосед Виктор Строголетов, когда ей было одиннадцать лет отроду, заманив в свою комнату пакетиком мармелада. Оказалось больно и стыдно, хотелось закрыть глаза, заткнуть уши, ничего не видеть и не слышать, хоть Виктор и шептал что-то ей в ухо, чего она наполовину не понимала, щекотал, похлопывал успокаивающе, взрослая жизнь приоткрылась пред девочкой какой-то своей гадкой стороной (стоило ли делаться взрослой, когда у тех всё так гадко?), зато мармелад был хорош! Это были четырёхцветные, красно-бело-жёлто-зелёные, мягкие пластинки, к тому же обсыпанные сахаром. На мармелад можно было просто любоваться, даже есть его было не обязательно. Но уж если взять его в рот... Ах, это чудо, настоящее чудо! Виктор обещал Зое принести мармелада ещё и завтра, и послезавтра, но она должна молчать – ты поняла? ты всё хорошо поняла? Девочка всё поняла, она действительно молчала. Заплаканная Зоя пошла в свою комнату, отец был на дежурстве, матери тоже дома не случилось, она легла на постель, взяла какую-то книгу, книгу вовсе не детскую, но это не важно (не век же читать одно детское!), стала читать, ела мармелад, вернулась откуда-то мать, утром притащился отец, нетрезвый, но это обычное дело, Зоя читала полночи, в школу не пошла, сказавшись больной, а сама всё читала, после обеда проснулся отец и куда-то ушёл, потом снова вернулась мать, потом вернулся и отец. Зоя дочитала книгу к вечеру следующего дня.

Она теперь всё знала про себя. Она поняла это из книги. То, что с ней случилось, называется *ло-зор*. Она сама – *падшая женщина*. Она теперь всю жизнь будет падшей женщиной. Но звать её станут по-другому. И фамилия у неё делается немного не такой. Мармелад... мармелад... всему причиной мармелад, который она съела, и эта книга. Книги могут перевернуть человека, переменить всю его

жизнь. Да-да, точно: её теперь станут звать Соней, она заставит всех, чтобы её звали Соней, она добьётся этого. А фамилия у неё будет (вы уже догадались!)... Мармеладова. Книга же называлась: «Преступление и наказание».

На панель, на улицу, на тротуар, к метро Соня вышла в четырнадцать, едва получила паспорт, она давно так решила. Днём ходила в школу, потом, вернувшись, быстро делала домашнее задание, после чего шла на *работу*. Ничего нет сложного в школьном домашнем задании, если у тебя есть цель, высокая цель, а цель у Сони была.

Ей не нужны были её сверстники; хуже всего, если будут думать, что она – обычная девочка, с которой можно познакомиться на улице с тем, чтобы после пойти в кино или в кафе. Нет, хоть ей пока немного лет, но она – женщина, падшая женщина, а падшей женщине нужно платить. За каждый час. Тем более – за ночь.

Некоторое время она наблюдала профессионалок возле метро «Площадь Восстания». «Мужчина, не желаете ли отдохнуть? Здесь недалеко. Домашняя обстановка». Голос заботливый, будто у матери Терезы. А самой хорошо за сорок, а то и за пятьдесят. К тому же – омерзительно размалёвана, крашена перекисью, да с подбитым глазом.

Соня стала у метро «Пушкинская», та была от дома поближе. В первый же вечер её забрал мент из метро. И, чтобы тот не сообщил родителям и в школу, ей пришлось обслужить и его, и двоих его коллег, случившихся на тот момент в метрополитеновском пикете. Но это были, так сказать, издержки. Это не имело никакого отношения к её цели.

У «Пушкинской» она больше не светилась, перешла к станции «Лиговский проспект», хотя и старалась теперь держаться несколько дальше от метро. Поначалу было непросто. Сколько было стояния на коленках в парадных, да на лестницах, в приподвальных закутках!.. Сколько вздрагиваний, прислушиваний, замираний сердца. Пару раз от безвыходности ей приходилось приводить клиентов в её комнату на Боровую. Но это даже хуже, чем на лестнице. Вскоре появились деньги, и Соня сняла небольшую двухкомнатную квартиру на Лиговском проспекте недалеко от Кузнечного переулка.

Ночи, ночи!.. Зимой в этом городе темнеет в четыре часа пополудни, летом же не темнеет вовсе. Зимой здесь всякий горожанин *аки тать в нощи*, летом же он тоже *аки тать*, но только на промозглом и изнурительном петербургском свете. Люди здесь вообще – *тати*, иных не существует в этом недобром городе. Ночь здесь много с собою несёт причудливого, фантастического, призрачного, день – муторного, неприкаянного, непотребного.

– Папаша, ты бы, что ль, под извозчика бросился!.. – сказала как-то Соня пьяненькому Шоколадову.

– Под какого это ещё такого извозчика? – гаркнул тот.

– Ну, под такси, – поправилась Соня. – Даже не насмерть, а так только, чтобы всего переломало. Тебя бы привезли, а я бы к тебе кинулась. Жалела тебя. Стояла б над тобой и плакала.

– Вот дура! – в сердцах сказал Шоколадов. – Маленькая дура растёт!

Соне пятнадцатый год шёл, не такая уж маленькая!..

Угнетало только то, что она почти не приблизилась к цели.

– Ах, Рустам, как жаль, что ты – мусульманин, – сказала Соня, прижимаясь к плечу своего нового друга-танцовщика в тёмном зале, где был слышен скрежет попкорна.

Они тогда как раз смотрели какую-то ужасную фильму с мерзейшим Фейей Бондарчуком (им же и поставленную), на котором природа не то что отдыхает, но прямо-таки улеглась сверху всеми своими костями и членами и дремотствует, храпя и посвистывая.

– Почему? – спрашивал бедный Рустам.

– Ну... как... – отвечала Соня. – Ты не подходишь для того, что мне нужно. Тот должен быть христианин. Но только изверившийся. Который отрицает Бога, смеётся над Богом...

– Бог един, – возражал танцовщик.

– Ты не должен так говорить!.. – качала головой Соня. – Я знаю, что ты не подходишь.

– Не подхожу для чего?

– Ты мог бы убить человека?

- Не знаю, не пробовал.
- Вот! А так, чтобы придумать теорию и по своей теории взять и убить?
- Зачем тебе это?
- Значит, не мог бы.
- А какую теорию?

– Теорию должен придумать ты, а ты меня спрашиваешь, – усмехнулась Соня. – Ну, например, сказать себе: человек я или тварь дрожащая? А ежели человек, так могу я разрешить себе пролить кровь по совести или нет? Спросить себя. И потом убить человека. самого мерзкого. Какую-нибудь старуху. Которая не старуха даже, а вошь!..

– Понятно, чего ты начиталась, – сказал Рустам.

– У тебя душа нерусская, Рустам, – сказала Соня. – А такое только в русской душе уместиться может.

- А может, лучше вошь убить и думать, что это – старуха? – спросил тот.
- Да пошёл ты!.. – немного отстранилась от него Соня.
- На что ж русским такая душа, если в ней умещается вот это? – сказал Рустам.
- Тебе это будет трудно понять, – совсем как взрослая ответила Соня.

Лиговский проспект был тёмный, мрачный, двоедушен, косые струи дождя иссекали его. Но он был как друг, всегда готовый прийти на помощь советом, едким словом или хоть бы даже – пренебрежением. Пренебрежение нужно человеку. Иной раз более даже, чем забота. Иная забота и состоит в пренебрежении. Но улицы обычно понимают это лучше человека.

Рустам по-настоящему влюбился в Соню. Да и та почти привязалась к нему.

И всё же – нет, нет, нет! Она не должна расслабляться! Если Рустам не подходит, значит, будет другой. Ей нужно искать, неустанно искать своего Родиона Романовича Раскольникова, и она непременно найдёт такового! – говорила себе Соня.

Она не хотела терять время. Вечерами, когда на Лиговском безраздельно властвует свет неона, а сам он гудит от транспорта, и шаги всякого пешехода звучат как кремень, ударяющий о кресало, она вглядывалась в лица встречаемых молодых людей. Она верила, что тот будет молод, но лицо у него будет особенное. Быть может, она сумеет угадать его по лицу.

- Простите, молодой человек, вы не Родион? – спрашивала она.
- Нет, я Сергей, нет, я Вадим, нет, я Саша, – отвечали ей.
- И не Роман? – спрашивала она ещё.
- Для тебя, дорогая, я готов быть хоть Родионом, хоть Романом, – отвечал кто-то.

Таких она тоже отшивала: не хотелось столь серьёзное дело начинать с пошлости. Равно как и с банальности. А куда, впрочем, деваться? Банальной была и сама она. Но как, как ей найти её Раскольникова?

Она подошла к нескольким сотням молодых людей. Были Роберты, Рудольфы, был ещё один Рустам, был десяток Русланов. Никогда Соня не думала, что Родионы столь редки.

Наконец, ей попался один Родион. Он прежде учился в художественном училище, потом бросил, теперь бегал от армии. Соне с трудом верилось в удачу. «Нет, ты, правда – Родион? ты не врешь? ты действительно – Родион?» – несколько раз переспросила она. Он показал ей водительские права. Да, он был Родион, вот только фамилия подкачала: Шмотков.

Соня привела его в свою съёмную квартиру на Лиговском и была с ним так трепетна, так предупредительна, что тот даже перепугался. Денег с него не взяла; напротив: сама предложила ему какую-то мелочь. Поскольку увидела, что тот в денежном стеснении. Она боялась потерять своего Родиона.

Они встретились и на другой день. Потом встречались снова и снова. Соня стала читать Родиону роман.

- Вот смотри, что там за окном? – говорила она.
- Темно, дождь, блестит всё, машины едут, – отвечал Родион, потягиваясь на постели.
- А представь себе – лето, жара, солнце палит, канава неподалеку, ты не ел три дня, одет в лохмотья, и ты очень горд.

- Да, горд, – соглашался Родион.
 - И у тебя мысли всякие... Ты думаешь, что если бы я кого-то убил...
 - Кого?
 - Неважно. Потом! – отмахнулась Соня.
 - Хорошо.
 - Ты думаешь, в принципе, есть у тебя право переступить через кровь или нет? И если есть, тогда ты человек, может, даже великий человек. Вроде Наполеона. А если нет права или ты не можешь, тогда ты не человек, но – тварь дрожащая. И сам вроде вши.
 - Так, – говорил Родион.
 - И тогда ты пришиваешь петлю за пазухой своего пальто...
 - Куртки.
 - Пусть – куртки, – соглашалась Соня. – Прячешь топор. Идёшь и убиваешь.
 - Кого?
 - Ну, не знаю. Старуху какую-нибудь. Мерзкую. Таковую, что не жалко.
 - А потом?
 - А потом ты приходишь ко мне и всё мне рассказываешь...
 - А ты?
 - А я принимаю тебя. Принимаю такого, какой ты есть. Всего полностью. До последней чёрточки. Принимаю убийцу. Я прощаю тебя, совершаю подвиг всепрощения. Говорю тебе: «Что ж ты с собой-то сделал?» Представляешь? Не со старухой сделал, а с собой! Вот это для меня главное! Конечно, я содрогаюсь от твоего преступления. Но я всё же принимаю тебя. Не отталкиваю, не презираю, а принимаю. И это так сладко! Так восхитительно, так глубоко! Это выше всех сексов мира, это выше всякой любви! Простить, принять, пойти следом!.. И потом я пойду за тобой!..
 - Куда?
 - Куда угодно! На край света! В Сибирь! На каторгу! На зону!
 - Да, интересно, – задумчиво улыбался Родион.
 - Интересно!.. – огорчалась Соня. – Это не должно быть интересно. Это должно охватить всё твоё существо. Всего тебя!..
- Рустам не оставлял Соню. Он повсюду ходил за ней, преследовал её.
- Давай поговорим! – потребовал он, подстерегши Соню у школы.
 - Давай, – согласилась та.
 - Я люблю тебя.
 - Я знаю.
 - Я люблю тебя! – крикнул он.
 - Я слышала.
 - Ты не любишь меня?
 - Не в том дело. Просто...
 - Что – «просто»?
 - Я поняла, что ты не подходишь...
 - Для тебя не подхожу?
 - Не для меня, для сюжета...
 - Для какого?
 - Я как-то говорила тебе. Ты не понял.
 - Хочешь, я подарю тебе машину?
 - У тебя есть такие деньги?
 - Да, есть... я достану.
 - Я ещё маленькая, мне рано машину. Что мне с ней делать? Нет, это не то!
 - Тебе было плохо со мной?
 - Нет, плохо не было. Даже, наверное, хорошо.
 - Тогда что же?

– Рустамчик, хороший, замечательный, ты пойми!.. Ты не укладываешься в сюжет. Мне не нужен любовный треугольник! У Сони не было любовного треугольника...

– У тебя кто-то есть?

– Я – падшая женщина, у меня всегда кто-то есть.

– Ты не падшая, ты – моя!..

– Не убеждай, не говори мне! Я сама знаю!..

– Я узнаю, кто это, и убью его.

– Ты всё испортишь! Ты испортишь мне сюжет!..

– Я тебя убью! – крикнул Рустам.

– Убей, – просто согласилась Соня. – Так даже лучше, наверное. Только, прошу тебя, ничего не порть мне!..

– Хочешь, я приму христианство?

– Не надо, Рустам, не надо.

– Хочешь, я убью, кого ты скажешь?

– Нет... это тоже не совсем то, – задумчиво сказала Соня. – Он должен убивать по теории. Не от любви.

– Какая разница?

– Ну... это тоже будет насилие.

– Какое насилие?

– Над сюжетом.

– Для тебя сюжет важнее меня?

– Это единственное, что у меня есть.

– У тебя есть я.

– Ты – ошибка, ты не предусмотрен, ты появился случайно!.. Прости, не сейчас, потом-потом, уходи-уйди, Рустам!.. Мне домой надо! Да ты же сам, сам не примешь меня, когда узнаешь, какая я!.. – вырвалось ещё у Сони.

– Я приму тебя всякую, Соня, – тихо сказал Рустам.

Рустам выследил их с Родионом, когда они поднимались по лестнице в съёмную Сонину квартиру. С полуслова завязалась драка. Соне было когда-то хорошо с Рустамом, это не было ложью, но тут она не колебалась, она стала оттаскивать Рустама от Родиона. Были крики, соседи даже хотели вызвать полицию.

– Если ты сейчас же не уберёшься, ты больше никогда не увидишь меня! – крикнула Соня Рустаму и взглянула на него так, что он тут же опустил руки и поплёлся с места поединка, будто побитая собака.

Соня испугалась, что Родион может больше не прийти к ней. Он такой чистый, тонкий, гордый – ну, на что ему какие-то разбирательства с её, Сониными, бывшими мужчинами.

Они встретились на следующий день, и Родион показал ей заточку, которую теперь собирался носить с собою всё время.

– Пусть ещё раз только сунется!.. – с усмешкой сказал он.

– Мы же не будем убивать Рустама? – испугалась Соня.

– Можно и не Рустама, это всё равно, – сказал Родион.

– И потом заточка... заточка не годится, нужен топор, – сказала Соня.

– Топор так топор.

В тот же день Соня сама пришила петлю за пазухой куртки Родиона.

Они прочитали роман от корки до корки, стали читать его снова, потом читали вдвоём отдельные сцены. И вскоре Родион уже свободно шпарил огромные куски из романа.

Он приносил с собой бумагу и уголь и рисовал Соню. Много-много Сониных портретов. Внизу подписывал: «Соня... Соня Мармеладова...» Потом рядом с Соней стал появляться он сам. И подписи: «Соня и Раскольников... Соня провожает Раскольникова... Раскольников идёт на убийство...» В комнате был полумрак. Шторы они задёргивали, будто бы желая отстраниться и от Лиговского, и от всего города. Город же проникал звуками; казалось, звуки эти жили отдельно от него: умри теперь

город, исчезли теперь все его насельники, застынь все его автомобили, а звуки всё равно останутся, как знак его (города) извечного надмирного метафизического присутствия, звуки шагов, шум автомобилей, гвалт магазинов, гадких его магазинов, обрывки разговоров, плач, смех, тоска, затаённые вздохи, биенье неутомимых сердец.

Родион был старше Сони на пять лет, но он охотно подчинялся ей.

– Понимаешь, – говорила Соня. – Люди после смерти воплощаются в других людях. Не обязательно в родственниках. В совершенно посторонних. В других странах. Иногда через много лет. Просто эти новые должны быть готовы, чтобы в них воплотились. И Наполеон, и Гитлер, и Ницше потом воплощались в других людях. Но и Дон Кихот, хоть его не было, тоже потом воплощался много раз. Вростал в каждую клеточку, в ум, в дыхание, в волосы, в кожу. И Дон Жуан. Вот ты думаешь, что ты родилась и живёшь в первый раз, но ты уже жил раньше. И Соня Мармеладова из романа воплотилась во мне, она проникла в меня. И я теперь должна пройти её путь. А ты готов, чтобы в тебя воплотились?

– Кажется, теперь уже да, – отвечал Родион.

– Тебе не должно казаться, – огорчалась она. – Вот я, например, точно – Соня, я это знаю. И ты должен верить в воплощение, ты должен чувствовать.

– Я чувствую, – говорил тот. – Да, чувствую.

– Я не должна ничего знать о тебе, – говорила Соня. – Ну, до того, как ты это сделаешь.

– Да, я понимаю, – соглашался Родион.

– А ты должен просто кое-что слышать обо мне от моего отца. Ну, что я – *такая* женщина.

– Мы можем считать, что так оно и есть.

– И, когда ты придёшь, я не должна знать, что ты совершил.

– Мы будем считать, что ты не знаешь. Я приду к тебе сюда, я буду рассказывать, а соседи станут подслушивать, – говорил Родион. – У нас выйдет всё почти по сюжету.

– Родя, мой Родя!.. – обнимала она его за шею.

– А кого же я буду убивать? – спросил тот.

– Потом, потом! – отмахнулась Соня.

На другой день Рустам выследил их на Лиговском на пересечении со Свечным переулком. Шёл дождь. Рустам вымок, и плащ его поблескивал в свете фонарей. Он уже не дрался, руки же демонстративно заложил за спину.

– На минуту! – сказал он Соне.

– Что тебе? – сказала она, подойдя к Рустаму. Родион наблюдал за ними, стоя поодаль. Заточка наверняка была у него наготове.

– Вы хотите кого-то убить, ты сама сказала об этом. Если я узнаю, кого, я заложу вас, – хмуро сказал Рустам.

– Не сходи с ума, – внешне спокойно сказала Соня. Но, конечно же, она нервничала.

– Брось его, расстанься с ним, зачем он тебе!.. – горячечно зашептал Рустам. – Я сам сделаю всё, что ты хочешь. Надо кого-то убить – я убью!.. Пусть это буду я. Я не стану ломать твой сюжет! Я не стану ничего портить! Соня!.. Только скажи!.. Только брось его, Соня!..

Соня обняла Рустама за голову, поцеловала его. Вовсе не думая, что на неё теперь смотрят прохожие, что на них теперь смотрит и Родион. Какой он красивый – Рустам! – мгновенно пронеслось у неё в голове, высокий, стройный!.. Что значит – танцовщик!.. А руки!.. А как он целуется!.. Господи!..

– Рустам, – сказала она. – Ты говорил, что примешь меня любую. Отпусти меня. Дай мне два месяца. Только два!.. Ты же можешь подождать шестьдесят дней? Потом я, возможно, тебя позову. Но не сейчас, сейчас мне нельзя, сейчас у меня другое...

– Ты обещаешь, что тогда позовёшь? – требовательно всматривался тот в лицо Сони.

– Да, – солгала Соня.

– Хорошо, – наконец, согласился Рустам.

– Не ходи за нами. Ладно? Я очень тебя прошу!..

– Да, – сказал Рустам.

Соня вернулась к Родиону, Рустам же, перейдя через Лиговский, пошёл следом за ними по другой стороне проспекта. Они, конечно, видели, что тот идёт за ними, но теперь им это было всё равно.

- Мы можем убить мою бабу, – неожиданно сказал Родион.
- Что? – остановилась Соня.
- Деньги у неё есть, я знаю. Всю жизнь копила. Зачем в старости деньги?
- Разве ты совсем не любишь её?
- Ну, так... вообще она старая... При чём здесь это?

– Она же близкий твой человек. Зачем убивать близкого? Нужно убить кого-то совсем гадкого, совсем бесполезного. Нужно убить вошь!..

– Если я... – вдруг взволнованно сказал Родион. – Если я – человек, а не тварь дрожащая, то что мне с того, что я убью вошь? Вошь убить – это ничего, это не преступление; недостойно человека – убивать вошь!.. Человек должен убивать равного, человек должен убивать близкого.

Соня впервые взглянула на Родиона с удивлением.

– Это моя теория, – вдруг добавил он ещё с некоторой даже горделивостью. – Я вправе вносить в неё определённые изменения.

– Да, – сказала Соня. – Конечно.

– Убить близкого – это гораздо выше, – всё не мог остановиться Родион. – В этом есть великое, настоящее, человеческое!.. У человека вообще не должно быть близкого. Которого он не мог бы убить. Убей близкого – и тогда ты сделаешься человеком! Я докажу!.. Все потом увидят!.. И я тогда приду к тебе. И расскажу всё. И ты должна будешь принять меня!.. Ты примешь меня?

– А где живёт твоя бабушка? – спросила Соня. – Да-да, конечно, приму.

– Здесь же, на Лиговском, сразу за Обводным, – сказал тот.

– Она одна живёт?

– Одна. Мы иногда навещаем её, присматриваем за ней, я да мать.

– Одна – это хорошо!.. – сказала Соня.

Родион решительный нравился ей больше прежнего. Нерешительного, подчиняющегося. В нём, кажется, стала прорастать гордость, гордость до безумия, гордость до болезни, но мужчина и должен быть таков. *Наш* мужчина таков должен быть. Быть может, это в нём вообще самое главное. А другого в нём, возможно, ничего и нет.

Топор они купили уже давно; покупала Соня, Родион дождался её на улице, подле магазина. Дома они долго рассматривали его. Брала в руки, замахивались им. Топор им нравился. Он был определённым. Он накладывал отпечаток определённости на все их рассуждения, на всякие их расчёты.

Теперь Родион был готов, он готов был сделать *это* в любую минуту. С Соней они практически не расставались. И всё говорили и говорили!.. Много было уж переговорено меж ними!.. Соню беспокоил Рустам с его шпионствами. Она даже стала звонить бедному своему прежнему любовнику и, болтая о том и о сём, потихоньку выведывала его планы.

– Завтра в семь Рустам будет занят, – как-то сказала она Родиону. – Он танцует в своём шоу.

Что ж, завтра так завтра!

В тот же день Соня случайно узнала, что Родион сидит на таблетках (Соня нашла их), что он – наркоман, давно уже, лет пять. Родион ни от чего не отпирался. Да, это так, и родители знают, и его бабка тоже знает, он часто приходил просить у неё деньги на *колёса*.

Чёрт, но это же ужасно! Рустам с его мусульманством и то лучше, чем Родион с его *колёсами*!.. Но останавливаться было уже поздно: ведь столько трудов вложено в Родиона. Что ж, ещё одно отступление от сюжета!..

Родион нервничал.

– Давай ты пойдёшь со мной вместе, – просил он Соню.

– Меня же там не должно быть, – возражала она. – Я ничего не должна знать о твоём преступлении, пока ты сам не расскажешь о нём.

– Но ты уже знаешь, – говорил он. – Какая теперь разница?! Прошу тебя, пойдём вместе.

Соня и сама боялась отпускать Родиона одного. За ним теперь глаз да глаз нужен. Однако же, каков маскировщик! Соня встречалась с ним месяца полтора и даже ни о чём не догадывалась. Соня отобрала у Родиона все его таблетки. Тот подчинился.

Они вышли из дома в седьмом часу. Проспект сделался глянцевым, сверкало всё, неон воцарился повсюду. Небо было в дымке. Магазины манили своими витринами, своим теплом, своим светом.

– Ты пойдёшь за мной в Сибирь, если меня поймают? – по дороге спрашивал Родион каким-то изменившимся, потемневшим голосом.

А что, собственно, Сибирь? Боровая была для неё Сибирью. Уж хуже, чем на Боровой, ни в какой Сибири не будет!

– Да, – ответила Соня. – Да.

Она не сомневалась, что говорит правду.

Рустам, как чёртик из табакерки, выскочил в подземном переходе возле метро и бросился к ним. Боже, опять этот треугольник! Не нужен, не нужен Соне никакой любовный треугольник!..

– Вы что? Вы куда? – воскликнул Рустам и ухватил рукой за Родионову куртку в том месте, где как раз был спрятан топор. – Вы убивать идёте? Я сейчас закричу!..

– Мы – ничего!.. Это так, так просто... – забормотал Родион. Но потом вдруг обозлился на самого себя, отскочил в сторону, прижался спиной к стене, полурасстегнул куртку и засунул руку себе за пазуху. – Кричи! – с угрозой сказал он.

Он теперь не был слабее Рустама с его дурацкой любовью. Он был сильнее Рустама. У него была ярость. Ярость сильнее любви. Хотя любовь и безжалостнее. Хотя... что любовь, что ярость... двуногие так нуждаются в подпорках!.. Двуногие не могут без подпорок!..

– Рустамчик, миленький, почему ты здесь? – торопливо говорила Соня, хватая Рустама за руку. – Ты же танцуешь! Ты должен быть там!.. Ты опоздаешь! – она вдруг страшно испугалась, что Родион набросится на Рустама с топором, и тогда пиши пропало! Тогда весь их замысел рухнет!..

– Я на метро поеду, я успею, у меня есть три минуты!.. – торопливо и мрачно говорил он. – А что вы?.. Что вы делаете? Куда вы идёте?

– Миленький, миленький, я очень беспокоюсь, что ты опоздаешь, – приговаривала Соня. – Ты подведёшь всех, тебя будут ругать и даже уволят!.. Поезжай, поезжай скорее! Я тебе позвоню, мы же договорились! Я обязательно позвоню!.. Беги на метро поскорее!..

– Позвонишь завтра? – недоверчиво спросил он.

– Да, – сказала Соня. – Позвоню.

– Не обманешь?

– Да точно же! Скорее!..

– Ладно, пока! – крикнул Рустам. Повернулся и побежал по направлению к метро. – А вы куда? Куда собрались? – крикнул он уже на бегу.

– Да в гости мы, в гости собрались.

– Он когда-нибудь доиграется, – с неостывшею ещё угрозой сказал Родион, когда они направились дальше. Его знобило, Соня видела, что Родиона знобит. Может, из-за предстоящего, может, из-за таблеток, Соня не позволила ему сегодня их принимать. – Он на волоске висел.

– А бабушка дома? Точно дома? – спросила она, наверное, уже в сотый раз.

– Она всегда дома, – в сотый раз отвечал и Родион.

Бабушка, Галина Андроновна, и впрямь была дома. Она жила на первом этаже дома постройки шестидесятых годов.

– Бабушка, мы мимо проходили, зашли чаю попить, есть у тебя чай? А это вот Соня, – скороговоркою говорил Родион, когда им открыла дверь сухонькая морщинистая старуха, похожая сразу на всех бабушек мира.

– Чайник только вскипел, – сказала старуха, отходя. – Здравствуй, Соня. А чем ты занимаешься?

– Не спрашивай. Учится в школе, – ответил внук.

– Да, я ещё маленькая, – натянуто улыбнулась Соня.

– Я, может, женюсь на ней, – сказал Родион. – В Сибири. Я в Сибирь, наверное, уеду, я не говорю об этом?

- Зачем? Будешь в Сибири от армии бегать?
– И от армии тоже.
– А мать про Сибирь знает?
– Не знает. И ты ей не говори! Я сам потом скажу.
– Ну, раздевайтесь. Сейчас чаю налью, – сказала старуха.
Чёрт, под курткой – топор!.. Об этом они не подумали.
– Я не стану раздеваться, мне холодно!.. – крикнул Родион
– В квартире не холодно, сразу согреешься. Да и чай горячий.
– Сказал же: не стану! Знобит меня, видишь?
– Ну, ладно, как знаешь, – пожалла плечами бабушка, выходя.
Они посидели минуту молча. Смотрели друг на друга, но не в глаза.
– Сейчас она вернётся, и... – тихо сказал Родион. – Я свет убавлю? – крикнул Родион бабушке.
– Глаза болят!..
Он вскочил с места, переменял свет, так что в комнате сделался едва даже не полумрак. Да, так лучше, внутренне согласилась с ним Соня.
Вернулась старуха с чаем.
– Родька, а может, за тортиком сбегашь? – сказала она. – Пока куртку не снял. Я денег дам.
– Ой, давайте я сбегую! – подхватила Соня. – Мне не трудно. И денег не надо. У меня есть.
– Сиди, – сдавленным голосом сказал Родион.
Соня опустила на место.
– А то бы посидели, у меня бутылка вина есть, – всё ещё уговаривала бабушка. – За Сибирь за твою выпили б, да за Соною.
– Я не хочу тортика, и вина не хочу. Чаю только!..
– Ладно. Вот – чай, вот – варенье сливовое, булка. И ещё – мармелад!.. Я думала, может, Соня захочет.
Соня машинально взглянула на мармелад. Он был обычным, ничего особенного.
– И Соня не хочет, – сказал Родион.
– Да, правда, я не хочу, – согласилась Соня.
– Взбудораженный ты какой-то сегодня.
– Да, взбудораженный. Занавески задёрни!
– Мешают тебе, что ли? – едва заикнулась старуха.
– Мешают! – крикнул Родион. Он снова вскочил с места, бросился к окну и одним движением задёрнул занавески. Тут же вернулся, сел за стол и отхлебнул глоток чая. – Не люблю, когда с улицы смотрят!..
– Раньше вроде не замечала за тобой такого!.. Ломает, что ль? Ой!.. – осеклась вдруг старуха.
Подумала она, что невзначай выдала внука. Может, девушка его и не знает о пагубной привычке Родиона.
– Она знает, – сказал тот. – Она всё знает.
– Да, – сказала Соня. – Я всё знаю.
– Ну, раз так... – облегчённо сказала Галина Андроновна. – Родька, ты справишься, ты сильный!.. И голова у тебя светлая. Да талант вот какой-никакой имеется.
– Справлюсь, справлюсь!.. – поджав губы, ответил внук.
– Родь, – громко сказала Соня. – Может, я тебя во дворе подожду?
– Сиди!.. – тихо и едва ли не с угрозой сказал тот.
– Вы что, уж уходить собираетесь? – всполошилась старуха. – Чай же ещё не попили. И варенье вот...
– Спасибо, я не очень... – замялась Соня. – Это вот Родя... он хотел!..
– Да и он тоже – глоток один выпил! Может, горячий? Родь, чай горячий?
– Я сейчас, – сказал Родион, вставая. – Мне в туалет надо.
– Дорогу знаешь, – сказала бабушка. – Сонь, клади варенье на булку.
– Фигуру берегу, – отговорила Соня и выпила немного пустого чая.

Зашумела вода в туалете, потом Соня услышала, что вода течёт и в ванной. Она поняла план Родиона. Он там сейчас снимет куртку и войдёт в комнату с топором. Может, он будет держать его за спиной. Значит – сейчас!.. Но как же он будет бить? Старуха сидит за столом, весь стол будет в крови, и в чай попадёт, и в варенье, и на мармелад!.. И вообще – везде будет кровь!.. И она, Соня, тоже будет вся в крови, она сидит близко. Соня хотела было отодвинуться, но не знала, как сделать это.

– Ты ещё такая юная, Соня, – сказала Галина Андроновна. – Но, если можешь, ты его не бросай! Он хороший, он добрый, он обязательно справится с этой своей проклятой болезнью. Но ему надо, чтобы его кто-то любил, чтобы кто-то в него верил. Ведь так? Ты согласна со мной? Ты меня понимаешь?

Что это? О чём это? Зачем это? Ведь он сейчас войдёт с топором, и враз будет всё кончено: и эти разговоры, и этот чай, и это варенье, и мармелад, и это тепло, и этот свет – всё будет оборвано одним взмахом топора...

– Да-да, – механически проговорила Соня. Она сама не слышала себя. Она сама себе не верила.

– И что это у него за фантазии такие про Сибирь?

– Да-да, фантазии, – так же сказала Соня.

– Родька, ты там не уснул? – громко и как-то так жизнерадостно спросила Галина Андроновна. – Я сейчас, – сказала она Соне.

Когда старуха вышла, Соня вздохнула едва ли не с облегчением. Значит, это не произойдёт у неё на глазах. Родион позаботился и об этом. Он, наверное, ждёт с топором в коридоре или на кухне. А может, спрятался в ванной и прислушивается, чтобы вдруг выскочить и покончить со всем разом.

– Ну и ну! – услышала Соня. – Нет его нигде!.. Родька, ты что – с бабкой в прятки играешь?

Соня похолодела. Она бросилась вон из комнаты.

– Чудеса какие! – встретила её в коридоре Галина Андроновна. – Представляешь, Соня, пропал Родька!.. Вы с ним не поссорились, часом?

Чёрт! Значит, он нарочно шумел водой в туалете и в ванной, а сам потихоньку открыл дверь и удрал, бросив её здесь одну!.. Чёрт, чёрт!..

– Я тоже пойду, – ответила Соня. – Простите. Я не знаю, что это с ним.

– Приходите ещё, – сказала старуха. – Да вот хоть бы завтра придите вдвоём. А нет – так ты и одна заходи, Соня! Ты – хорошая девочка, ты заходи! Видишь, у нас здесь всё просто!..

Родион ждал её во дворе.

– Прости, – сказал он.

– Ничего, – ответила Соня.

– Как-то всё не так... ну, не получилось, я не знал... в общем...

– Я понимаю, – сказала Соня.

– Пусть это будет репетиция, *проба*. Ведь у *него* тоже была *проба*, ведь так?

– Была.

– Ведь ещё же ничего не пропало, ничего не испорчено?

– Ничего.

Она была разбита, она была опустошена. Ей хотелось остаться одной.

Лиговский был холоден, Лиговский был подл. Так же холоден и подл, как и она сама, Соня. Что ж, теперь они равны, теперь они в расчёте, теперь они квиты.

Соня достала из сумочки банку с Родионовыми таблетками.

– Твои таблетки, – сказала она. – Возьми их.

Тот схватил банку и сунул её в карман.

Соня и Родион перешли через Обводный канал.

– Ты куда? – спросил он.

– На Боровую, – просто ответила Соня.

– Я провожу.

– Нет, – сказала Соня.

– Привяжется кто-нибудь... Темно...

– Поезжай домой, Родион.

– Созвонимся завтра?

– Конечно, – равнодушно сказала она.

Соня ненавидела свою Боровую. Шоколадов разговаривал с ней отвратительно. Потом выпрашивал деньги на пиво или на водку. Иногда таскал без спроса. Но сейчас ей даже хотелось какой-то такой вот гадости, такого вот унижения, пусть всего этого будет даже больше. Пусть оно будет всегда! И этот город, и этот мир заслужили унижение, и она, Соня, тоже заслужила унижение, она ни минуты не сомневалась в том.

На другое утро в школу она не пошла. Плевать! Как-нибудь выкрутится. И на *работу* она сегодня не пойдёт. Зачем? Зачем это всё? Днём позвонил Рустам. Всё как обычно. Давным-давно известный репертуар. Только, когда он сказал: давай встретимся, Соня ответила: давай. Сегодня? Нет, не сегодня; сегодня я занята. Завтра? Нет, и не завтра. Пусть будет послезавтра. Рустам, кажется, был счастлив. Что ж, хоть кто-то сегодня будет счастлив. Уже хорошо!..

Вечером, после семи был ещё звонок. Звонил Родион. Взяв телефон, Соня вышла с ним в коридор.

– Что тебе, Родион? – сказала она.

На мгновение ей показалось, будто он плачет. Но он не плакал. Потом ей показалось, что он смеётся. Но он и не смеялся. Это было что-то другое. Из трубки доносилось, кажется, какое-то бульканье, она не могла понять, что это. Родион, кажется, захлёбывался. Да, он волновался, это несомненно, но одновременно была и какая-то потрясающая, нечеловеческая горделивость в его голосе, необыкновенная заносчивость, будто что-то сверхъестественное открылось ему, чего прежде не знал и не понимал ни один смертный.

– Ты... ты... представляешь, я сделал это... сделал... ну, то, что мы хотели вчера!.. Я ещё здесь!.. Тут всё в крови!.. Даже потолок!.. Представляешь? Можешь себе представить? Соня!.. Сонька!..

Губы у Сони задрожали.

– Ты?.. Ты?.. Сделал? – сказала она.

– Да!.. Да!.. – восторженно вскричал Родион. – Сделал!.. Правда, пришла ещё мать... я дверь запереть... она увидела всё... так что пришло и её!..

Наверное, тут Соне следовало бы сказать какие-то слова, *те самые* слова, важные слова, главные слова, ну, *те*, из романа, но *те* слова почему-то не приходили, она никак не могла вспомнить ни одного *того* слова, и потому сказала первое, что пришло ей в голову.

– Боже! – сказала Соня. – Боже!..

Визит главврача

Борис Наумович, главный врач дурдома, что на Пряжке, был чёрт.

Чёрт он был не простой, не рядовой, но почти что начальник над всеми чертями в Петербурге. *Почти что* – потому что черти вообще своевольны и норовят не подчиняться даже непосредственному начальству, норовят взбрыкивать, Борису же Наумовичу каким-то образом всё же удавалось обуздывать таких смутьянов, заставляя их плясать под свою начальственную дудку.

Борис Наумович вполне себе видный, красивый, высокий и вальжный господин, с изрядным брюшком, в народе называемом *начальственным*. Женщинам нравятся такие господа, и им самим нравятся женщины. Язык у Бориса Наумовича, разумеется, великолепно подвешен, жив и подвижен, будто у аспиды, голос бархатист, глубок и приятен. Вообще говоря, есть верный признак, как распознать чёрта. Пожалуй, мы теперь сообщим его. Если перед тобой выставился этакий коротышка, заморыш, ростом полтора метра с кепкой, да с ногою козлиной, весьма небрежно убранной в брючину, и этот молодчик поглядывает гадко, поплёвывает беспрестанно, похаживает торопливо, похохатывает беспричинно, а сам пованивает (нет, не серой!) формалином или аммиаком – дело верное: чёрт! Он, он самый, гадука!.. Рогов же у него может и не быть. Рога – приспособление, рога – вроде мигалки, вроде проблескового маячка на крыше полицейской машины. Любой чёрт может их надеть, но может и снять по мере необходимости. Аналогично с хвостами и с копытами.

Борис же Наумович не таков, совершенно не таков! Долго, долго можно любоваться Борисом Наумовичем, и всё будешь находить в нём что-то новое, необычное, незаурядное.

Много дел у Бориса Наумовича, чрезвычайно занятой он человек... тьфу! то есть – чёрт! И дела у Бориса Наумовича были не только во вверенном ему учреждении, но также... где, где только не было дел у Бориса Наумовича!..

Суббота. Утро. Ну, так где-то первый час полудни, когда жильцы девятой квартиры начинают только продирать глаза и помышлять о всевозможных утренних процедурах, о стаканчике пива, например, из холодильника, как помышлял, к примеру, Шоколадов. Или Лариса Борисовна... вот опускаю я сейчас ноги на пол, – говорила себе она, – а там не пол, а песок, чуть поодаль волны плещутся... Красного моря... или – Адриатического... и солнце, сплошное солнце... и рядом Алёшенька мой, такой загорелый, такой близкий, такой доступный!.. Прочие тоже, разумеется, о чём-нибудь грезили (все грезят по утрам в выходной день), но все эти грёзы прервал бестактный и безжалостный звонок в дверь.

– Кого чёрт принёс? – сказал себе Шоколадов.

– Кто-нибудь откроет, я далеко, – сказала себе Лариса Борисовна.

Дверь открыла тётка Олюшка.

Всем уж понятно, кто стоял за дверью. Разумеется, Борис Наумович собственно своей персоной. Он был в очках, делавших вид того отчасти даже будто и большевистским.

– А, – сказала тут тётка Олюшка.

– Борис Наумович, – сказал Борис Наумович. – Так меня называют. Представляю одно небезызвестное заведение, на реке Пряжке, в просторечии именуемое дурдомом. Бывать не приходилось?

– Бог миловал, – покоровилась женщина.

– Это не ваша вина, но наша недоработка, – отвечал пришелец известною шуткой.

– Ой, да типун вам на язык! – махнула рукой тётка Олюшка.

– Никаких типуну! Нельзя типунами разбрасываться! – строго возразил Борис Наумович. – В вышеупомянутом заведении имею честь состоять в должности самого главного врача.

– А, – снова так же сказала тётка Олюшка.

Гость меж тем оказался не один. За спиной у него топтался детина, роста, правда, невеликого, метра полтора, но в плечах изрядный. С шеей короткой, как у Франца Шуберта на портретах. И нога его, в бедре широкая, поспешно сужалась к голени и щиколотке (едва даже не сходя на нет) и пряталась в этакое пижонском лакированном сапоге, была непомерно крива и вообще казалась козлиною. Читателю, уж разумеется, не надо объяснять, кто был этот детина.

Детина же тоже был не один. Он держал на цепочке... собаку? Нет, не собаку. Словом, какое-то существо. Полностью покрытое попоной. Отчего невозможно было определить, к какому роду, виду или отряду принадлежало оно. Что-то в нём, несомненно, было человекообразное, но что-то и не человекообразное. А пожалуй, что и *монстрообразное*.

Борис Наумович тут шагнул в квартиру, не дожидаясь особого позволения. Не нуждался он ни в чьих позволениях. Зайдя, он на мгновение повёл своим благородным носом, вроде как неодобрительно. Впрочем, и сам вид у квартирки был слегка запущенный. Нельзя сказать, чтобы квартира не убиралась вовсе. Жильцы порою, по специальному графику, разметали сор по углам, размазывали грязь по полу влажной тряпкой, хотя не так уж и часто. Обыкновенно же они руководствовались золотым правилом: квартира грязь и беспорядок любит, а от уборки да ремонта лишь изнашивается.

– Собрать всех на кухне! Разговор есть!.. – сухо бросил он на ходу. То ли тётке Олюшке, то ли детине своему бросил, но приказание стали выполнять оба.

Минут через десять собрались все. Количеством человек до двадцати.

Девятая квартира пасмурно смотрела на пришельцев. Все трое были по-своему *хороши*, но монстр под попоной – в особенности.

– Какая повестка дня? – цинически спросил Шоколадов. Утренняя грёза его о стакане пива из холодильника, была, разумеется, только грёзой. Окажись у него и вправду накануне пиво в холодильнике, неужто бы оно достояло там до утра? Плохо вы знаете Ивана Никифоровича!

Борис Наумович лишь предостерегающе поднял палец: терпение, мол!..

– Кажется, все, – наконец, вздохнув, объявила тётка Олюшка.

– Утро доброе, дорогие мои, – ожил тут Борис Наумович и усмехнулся с некоторой даже сабле-

зубостью. – Кое-кто из вас меня знает, кое-кто не знает, хотя связи у нас с вашей квартирой давние и тесные, многие, многие побывали у нас... вот и милые наши сестрички... – приветливо помахал он Аленьке и Валеньке, которые тут вдруг встрепенулись, и глаза у них при этом заблестели, как спина у божьей коровки; Борис же Наумович продолжал:

– И ещё один ваш сосед у нас на излечении... Но дела его очень плохи, откровенно вам должен заметить!.. Боюсь, о нём очень скоро придётся забыть!

Все переглянулись. Сообразили они, что речь о Федоте Строголетове. Впрочем, тип он был дрянной, жалеть о нём было некому.

– Ну, вот, – сказал Борис Наумович. – Многие меня знают, да и я знаю многих. Кого-то лично. Кого-то заочно и конфиденциально. Так что можете, пожалуй, даже и не называть себя. А тем, кто меня не знает, меня представит мой помощник Саша. Саша, представь!

Да, стало быть, детину звали Сашей.

Саша по команде Бориса Наумовича вышел немного вперёд, по-прежнему держа монстра на цепочке, приосанился, подпрыгнул раз, подпрыгнул ещё раз, топнул ногой, гикнул, ухнул, мигом присел на корточки, выпрямился и вдруг заплясал, да и запел – громко, но безголово:

На Пряжке, на Пряжке
Борис, Борис Наумович –
наш главный,
наш самый главный врач!..

Тут его пластинку, кажется, немного заело, и слова: «Борис, Борис Наумович – наш главный, наш самый главный врач!..» – он повторил приблизительно раз восемнадцать.

– Боже! – сказала себе заслуженная артистка Лариса Борисовна Моголова. – Ещё немного утреннего вокала – и меня можно будет везти на эту самую Пряжку!..

– Спасибо, Саша, – сказал тут Борис Наумович, и художественная самодеятельность оборвалась на полуслове, на полуприпеве.

– Ничего так себе песенка! – похвалил Шоколадов, впрочем, тон его как раз указывал на обратное. – Однако же... чему обязаны, так сказать, в столь ранний час?..

– Где же ранний, дорогой Иван Никифорович? – переспросил Борис Наумович и тут же предупредил удивлённый возглас своего собеседника. – Знаю-знаю, наслышан о знаменитом творце перлов, кунштюков и прочих поверий с побасенками!.. Час пополудни! Жизнь человеку даётся, любезный Иван Никифорович, не для того, чтобы он её проспал.

– Так ведь суббота же! – буркнул Шоколадов.

– Значит, и вы *субботы Его соблюдаете?* – невинно спросил Борис Наумович и тут же перевёл разговор на другое.

– Итак, чему обязаны? – сказал он. Потом сделал паузу, да такую, что в продолжение её обитатели девятой квартиры невольно поёжились. – А вот чему! – сказал он. – Недоволен я вами! Весьма недоволен!

Недоумённый ропот прошёл по толпе жильцов.

– Очень! – гаркнул вдруг Борис Наумович.

– Чем же? – потерянно спросила тётка Олюшка.

– А вот чем, – снова громко говорил Борис Наумович. – Вот среди вас стоит он, мой племянник... Петенька!.. Вы все его знаете.

– Да уж, знаем, – дуэтом подтвердили сёстры Аленька и Валенька.

– И любим, – лицемерно поддакнула Клавдия Макаровна Шоколадова.

Смущённый и взволнованный общим вниманием Петенька смотрел на дядюшку с какою-то идиотической интимностью.

Бориса же Наумовича сбить не удавалось.

– Я доверил вам, вашей квартире, судьбу этого несчастного юноши... Идиота!.. Ведь ты же идиот, Пётр Вельзевулович? – тут снова была небольшая пауза, и образовалось даже некоторое общее оцепенение, из каковых, впрочем, вскоре вывел всех Борис Наумович.

- Пошутил! – смеясь, крикнул он. – Пётр Вениаминович!.. Ты, Петенька, идиот?
- И... и... и... – радостно закивал головой Петенька.
- Вот, – сказал Борис Наумович, тоже будто бы торжествуя. – Идиот!..
- И debil? – спросил Борис Наумович.
- Де... де... де... – снова закивал головой Петенька.
- Вижу-вижу, не продолжай, – остановил того Борис Наумович.

Художник Фёдор Доломяга, стоявший в толпе жильцов, слушал Бориса Наумовича поначалу рассеянно. Но тут вдруг встрепенулся, весь обратился в слух. Но нет, не слова пришельца интересовали его (к словам он вообще был равнодушен), он вдруг увидел рот говорившего. Что же это был за рот? Рот был красив, выразителен, весь таков, что взглянешь на него раз – и тут же поймёшь, что этот рот непрост, он знает себе цену, такой рот никогда не достанется человеку случайному, но – более того: этот рот может составить всю его, человека, карьеру, с таким ртом легко продвигаться по службе, с ним можно занять любую должность, даже самую возвышенную, самую непререкаемую, такие рты у маршалов, такие рты у министров, включая и самого главного из них... Хотелось любоваться этим ртом, хотелось восхищаться, хотелось изучать его, хотелось запечатлеть, прославить, возвеличить!.. И тогда наш художник, чтобы продлить немного эти мгновения *ртового* его счастья, выдающегося *ртового* лицемерия, спросил у Бориса Наумовича, будто бы иронически, но на самом деле трепетно:

– Если – идиот, так что ж вы его не лечили? Вы вон – врач, тем более – главный; вам ведь и карты в руки!

– Помилуйте, – сказал тот. – Любезнейший Фёдор Васильевич!.. Да-да, и про вас слышан!.. Весьма!.. В нашем заведении мы идиотов не лечим! Да вы и сами подумайте: на что идиота лечить? Что он вам плохого сделал? Вы что ж, предлагаете из идиотов умных делать? Куда нам столько умных? Нам вовсе не надо умных, в идиотах же мы нуждаемся как никогда. Да вы взгляните, сколько в идите красоты! Своеобразия! Неповторимости!.. Пафоса бессмысленности!.. Огня скудоумия!.. Воздуха непосредственности!.. Сколько никогда не бывает в умном или в обыкновенном. Умные умы одинаково, всякий же идиот уникален. Идиот – это единственный, непостижимый, обособленный мир!..

– Извиняюсь, – бестактно сказал Шоколадов, прерывая триумфальную песнь Бориса Наумовича. – Но он ведь ещё и летает!..

– Летает? – встрепенулся Борис Наумович. – Ты летаешь? – спросил он у Петеньки.

Тот сокрушённо склонил голову.

– Я никогда не советовал тебе этого делать, – сказал главный врач.

Петенька склонил голову ещё сокрушённее.

– Ну и что, что летает? – решительно сказал Борис Наумович.

– Как это что? – возмутился Иван Никифорович. – Можно подумать, квартира для того существует, чтобы по ней летать!

– Вам что, квартиры жалко? – быстро спросил того Борис Наумович.

– Да, жалко! – твёрдо сказал Шоколадов. – Во что она превратится, если по ней все летать станут? Не квартира будет – аэродром!..

Иван Никифорович будто бы выразил то, что остальные думали и чувствовали, да только не находили нужных слов для выражения.

– Я... я доверил вам судьбу несчастного юноши, – снова стал говорить Борис Наумович, и в стелелитейных его глаголах словно добавилось более молибдена и марганца. – Этого невинного ростка!.. Этого колоска, этого кустика! А вы его затоптали! Вы его бьёте! Гнобите! Из квартиры гоните!..

– Мы его отнюдь не бьём! – ожесточённо возражал Шоколадов. – А всего только раз треснули. Чтob образумить. Ишь, разлетался!.. А вот что бы Ньютон сказал, если б увидел, как тут летают? Ничего бы не сказал, плюнул только, но и никакого всемирного тяготения не вывел!

– Одной бы глупостью меньше было без вашего Ньютона! – в сердцах сказал Борис Наумович. – Всемирное тяготение!.. А всемирного отталкивания не хотите? Да Петенька, может, оттого летает, что проклятая земля ему ваша обрыдла, оттолкнуться от неё захотел. Душа его чуткая простора и полёта возжелала, а вы душу эту – шваброй!..

Однако же, Борис Наумович не переставал поражать всех своею осведомлённостью. Он и про швабру знал, значит, небось, и про колобашки, которыми в Петеньку пулялись, когда ловили, тоже был в курсе.

– А где же ваша толерантность? – возопил вдруг Борис Наумович. – Основа мира – толерантность, двигатель социума, соль существования!.. У вас не все цветы, отнюдь не все, расцветают! Без толерантности все цветы не расцветут, а только лишь некоторые. Одним цветам вы даёте цвести, другие же презираете. Розы у вас произрастают, а флоксы вы душите!.. А ведь ежели кто-то, положим, педофил или садист, или насильник, или душегубец какой, так ведь он тоже жить хочет. Ну, и дайте ему жить! Всё – норма! Что ни возьми – норма!.. Толерантность, толерантность и ещё раз толерантность, говорю я вам, – говорил Борис Наумович. – И тогда возлягут волк и агнец в толерантном соитии!..

– Толерантностей нам здесь никаких не требуется, – твёрдо отвечал Шоколадов. – Жили без них и ещё проживём. А вот летать не смей!

– Будет летать! – крикнул Борис Наумович. Детина при этом угрожающе зашевелился. – Когда захочет и где захочет!

– В комнате у себя пусть, сколько хочет, летает, – несколько отступил Иван Никифорович. – Коридор и кухня – места общественные, там не положено!

– И в общественных летать будет! – крикнул Борис Наумович. – Если охота придёт! Общество должно следовать по пути толерантности!..

– Взлетит в общественном – власть употребим! – пообещал Борис Наумович.

– Сульфозином заколю! – пообещал Борис Наумович. – Небось, знаете.

– Не те времена! – твёрдо сказал Иван Никифорович.

– Те самые! – твёрдо отвечал Борис Наумович.

Противостояние образовалось слишком уж жёсткое. Тётка Олюшка заволновалась.

– Ладно – летает... – сбивчиво начала она. – Но Петенька ведь жениться хочет. На Настеньке, племяннице моей. Вы бы уж сказали ему, Борис Наумович!..

– Хочет жениться? – весело переспросил Борис Наумович. – Пусть женится! Родственниками мы с вами, стало быть, сделаемся, дорогая Ольга Митрофанна.

– Как же жениться на Настеньке? – всплеснула руками Ольга Митрофановна. – Она ж мёртвенькая! В могилке лежит. Убили её подлые люди!

– Мёртвенькая? – задумался Борис Наумович. – А Петенька знает?

– Да, знает!.. Я тыщу раз ему говорила!

– Значит, ты знаешь, что Настенька мёртвенькая, и всё равно жениться хочешь? – спросил Петеньку Борис Наумович.

– Хо... хо... хо... – закивал головой несчастный идиот.

– Ну, раз так, значит, пусть женится! – подвёл черту главный врач. – Невеста-то согласна!

– Кто ж её спрашивал? – буркнул Шоколадов.

– А надо спросить! – отрезал Борис Наумович. – Нельзя без согласия!.. Эх вы тут, как я погляжу, любите счастью чужому препятствовать!

– Как можно спросить у мёртвой-то? – ужаснулась тётка Олюшка.

– Так и можно! – сказал Борис Наумович. – Иль не знаете, где она обитает?

– Знаю, где обитает, – потерянно сообщила женщина.

– Ну, вот и спросите! – решительно сказал пришелец.

Тётка Олюшка покачала головой в сомнении. Спорить она не могла, она не Шоколадов, но и согласиться с Борисом Наумовичем ей было трудно.

– Ну... я как-то так... в общем... подумаю... – выдавила из себя тётка Олюшка.

– Не женится идиот на мёртвой! – крикнул Шоколадов.

– А я говорю: женится! – отрезал Борис Наумович. – И до тех пор, пока не женится, здесь не будет никаких других женитьб, праздников, юбилеев и прочего! А одни только – похороны! Похороны – пожалуйста!.. – прибавил ещё главный врач самым что ни на есть непреерекаемым тоном.

– Как?! – ахнула вдруг Лариса Борисовна.

– Так! – сказал Борис Наумович. – Летать не мешать! На Настеньке женится! Колотить не сметь! – крикнул ещё Борис Наумович, и это походило на ультиматум. Да это, собственно, и было ультиматумом.

Лариса Борисовна пошатнулась, стала наваливаться на стол Доломаги, подле которого стояла, и была тут же подхвачена Фёдором Васильевичем.

– Артистке – воды! – распорядился Борис Наумович. – У них нервы слабые!

– Да это вы довели!.. – крикнул Фёдор Васильевич. Лариса же Борисовна выпрямилась, ей стало лучше.

– Для контроля оставляю своего представителя, – зловеще сказал Борис Наумович и сделал движение рукой.

Тут малокалиберный детина сдёрнул попону с монстра, до того будто бы даже несколько и задремавшего.

Вид монстра был нечеловеческим, он был ужасным. Может, это когда-то и было человеком, и даже, наверное, было человеком... Роста монстр был невеликого, стоял тот, кажется, на карачках. Хотя – нет, всё-таки не на карачках. Попробуйте вообразить... Голени у монстра были когда-то разрублены топором приблизительно пополам. Потом же нижняя часть одной голени приросла к верхней, но под прямым углом в сторону. Аналогично вышло и с половиной другой голени, только повернута та была в противоположную сторону. То же самое было и с бёдрами, и с плечами, и с предплечьями, монстр был переломан во множестве мест, но всё срослось, как ему заблагорассудится, без всякого порядка. Такое легко можно было бы изобразить из проволоки (и то вид был бы отталкивающим), здесь же всё сие было сооружено из человека. Пальцев на руках у него почти не осталось, но сами пальцы никуда не делись: один прирос под носом, другой прирос к скуле, третий – к шее, остальные следовало бы ещё поискать. На лбу же у монстра отчётливо выделялся какой-то огромный нарост, похожий на гриб – на сморчок ли, на строчок – затрудняемся определённо сказать!.. Монстр был гол, бугроватый череп его, некогда разрубленный на две части почти до самого основания и сросшийся теперь кое-как, – брит, огромные когти приросли у него прямо к кулям, так что совсем уж безоружным монстр, пожалуй, и не был. Наблюдались и другие повреждения, самого ужасающего свойства.

– Витя, – сказала вдруг старая девушка Аленька.

– Строголетов, – подтвердила сестра её Валенька.

Тут все ахнули: монстром и вправду оказался прежний сосед их Виктор, зверски расчленённый непутёвым братом его Федоткой и вот сросшийся таким вот самым фантастическим образом.

– Витя, – подтвердил и Борис Наумович. – Мои глаза и уши!..

Внутри Вити вдруг что-то зашуршало, будто заигранная граммофонная пластинка, и какой-то, кажется, подземный голос произнёс:

– Егор... Тимурович...

– Нет, Витя, я не Егор Тимурович, – мягко поправил того врач. – Я – Борис Наумович.

– Егор... Тимурович... – снова говорил монстр и вдруг заулыбался беззубым своим ртом.

– Откуда он?.. – в крайнем волнении спрашивала тётка Олюшка.

– В Академии Наук изучали-изучали – ничего изучить не смогли! – с усмешкою пояснил Борис Наумович. – Отдали в Министерство обороны, хотели там идеального солдата вырастить, терминатора, чтоб смерти не боялся, но и там ничего не вышло. Тогда отдали нам. А мы уж его, как водится, к делу приспособили!.. Вот такой теперь Витя вышел!..

– Стесняюсь спросить!.. – грозно начал Иван Никифорович. – А где же этот Витя проживать будет? Комнатка-то ведь его – тью-тю!.. Петенькой вашим занята!..

– Небось и с Петенькой уживутся, – махнул рукой Борис Наумович. – Шутка! – вдруг захохотал он. Но тут же угасил свой жутковатый хохот, и лицо его будто побронзовело. – Жить будет в коридоре! На коврик! Коврик ему постелите, где скажет! Кормить его будете по очереди!..

– А что ж он теперь ест? – с сомнением спросила тётка Олюшка.

– То же, что и раньше, – отрезал Борис Наумович. – Водки не наливать! И злить его не советую! Страшен!.. – сказал ещё главный врач.

На сём распоряжения Бориса Наумовича, кажется, были исчерпаны, и он стал уходить с кухни. Но всё ж задержался. Две пары глаз, прежде лукаво потупленных, удержали его.

– Вы двое – за мной! – коротко приказал он.

Двое чертей, Фридрих Карлович и Семён Иммануилович, безропотно посеменили за Борисом Наумовичем в коридор. За ним же побежал и монстр Витя, стуча крепкими своими когтями по дощатому полу. Замыкал процессию Саша-детина, с ногою козлиной и с цепочкой, теперь уж не нужной, в руке.

– Место! – крикнул Борис Наумович монстру, будто бы псу.

Монстр тотчас же остановился, сел подле стеночки и стал глядеть на Бориса Наумовича с немым обожанием.

– В среду в двенадцать быть у меня! Адрес знаете! – сказал Борис Наумович Фридриху Карловичу с Семёном Иммануиловичем. И вышел вон из квартиры.

В девятой квартире наступали, кажется, новые времена.

Рты

Фёдор Васильевич Доломяга, художник и тихий алкоголик, живший в девятой квартире, любил щиколотки.

Лодыжки он, пожалуй, тоже любил, но несколько менее. По аналогии возникает вопрос: а любил ли Доломяга запястья? Нет, запястья он не любил. Те почти всегда были на виду, те примелькались, те были отчасти тоже хороши, но всё-таки заурыдны. А вот щиколотки!.. Они были продолжением голеней, в них были тонкость, изящество, графичность, вычерченность, точённость. Щиколотки похожи на талии. Но талии хорошие, настоящие талии, умопомрачительные, теперь всё реже встречаются у человек, даже у девушек. У наших девушек часто нет талий, талия у них принадлежность места, а не качественная особенность; она *есть* только потому, что она *должна быть*, что её не может не быть, а не потому, что она хороша; в общем, у них – *условные талии*. Щиколоткам же повезло больше. Их ещё можно увидеть, ими ещё можно восхититься!

К щиколоткам, пожалуй, можно даже не прикладывать самого человека, для восхищения их одним вполне достаточно. Про щиколотки хотелось писать песни, но песен писать Фёдор Доломяга не умел. Вокруг щиколоток хотелось выстраивать философии, полные блеска стиля, буйства парадоксов, неистовства аргументов, разнuzданности умственных каверз, но и с философией у Доломяги дело обстояло не ахти! Зато Доломяга был художник, он мог рисовать свои любимые щиколотки. Что он, собственно, и делал.

Он перерисовал сотни щиколоток, он писал их, чем только мог. Он использовал и карандаш, и уголь, и сангину, и масло, и темпера, и акварель, и гуашь, и аппликацию, и всевозможные смешанные техники. Работал он по преимуществу на картоне, так извёл целую гору картона. Но результат его всё равно не удовлетворял.

Прежде всего, его стали раздражать лодыжки. Пишешь щиколотку – так тут же непременно встречается и чёртова эта лодыжка, нет щиколотки без лодыжки. Лодыжка же – изъян, излом совершенства. Доломяга был верен объективности и, разумеется, старательно выписывал и лодыжки.

Хотя нельзя сказать, что Фёдор Доломяга был таким уж поборником чистой эстетики. Не одно только прекрасное привлекало его. Нет, понятие прекрасного Доломяга трактовал широко. Уродливое тоже прекрасно, безобразное тоже восхитительно, говорил себе он. В мерзком тоже можно усмотреть артистизм. Как-то раз Доломяга затащил к себе старуху Крапивину, усадил, заставил разуться, и нарисовал около двадцати вариантов её узловатых, безобразных, старческих щиколоток, в слетениях вен, с дряблєю, блестящею кожей и иными атрибутами дряхлости, подарив ей потом за терпение половину пачки нешлифованного краснодарского риса.

Трещина в Федином мировоззрении образовалась после субботнего визита Бориса Наумовича, главврача из дурдома на Пряжке. Собственно, против щиколоток Борис Наумович ничего не говорил. Да и вообще вряд ли имел своей целью какое-то смущение Федеи.

Рот, рот Бориса Наумовича уязвил Фёдора Васильевича. Чем же таким рот Бориса Наумовича отличался от тысяч других, виденных Доломягой ртов? А пожалуй, что и ничем! Или чем-то вовсе уж неуловимым. Чем-то неописуемым, но что сразу же видит глаз художника. Заставляя его обладателя после неделями мучиться над линией, над изгибом, над росчерком, над закорючкой, над штрихом, над тенью, над полутоном, над полунамёком – неделями, а то и годами. Мучиться и не находить. Трудна участь художника, печальна его планида.

Доломяга стал расщепляться.

– Щиколотка, – говорил один Фёдор Васильевич. И это было понятно и просто, в том содержалось что-то утвердившееся и легитимное.

– Рот, – говорил другой Фёдор Васильевич. И в этом слышались смута, кораблекрушения, непостижимые острова, потрясения основ и изменения расписаний.

– Щиколотка, – снова говорил первый. Он всего лишь утверждал истину, не нуждающуюся в доказательствах.

– Ротик... роток... – саркастически говорил другой.

– Щиколоточка... – настаивал первый.

– Роточек... ротичек... – ухмылялся другой.

– Щиколотка и лодыжка... – стиснув зубы, доказывал первый.

– На чужой роток не накинешь платок! – будто выстреливал другой.

– Ноженька со щиколоточкой! – изнемогал скороговоркою первый.

– На чужой каравай ротика миленького не разевай! – мужественно держался другой.

– Щиколоточка! Щиколоточка!..

– Ротик! Рот! Ротище!..

Рот не был частным делом одного Бориса Наумовича, рот главного врача сделался ещё проблемой и болью Фёдора Васильевича. И, быть может, даже когда-нибудь сам мир поперхнётся какой-нибудь едва уловимой особенностью рта, непостижимого рта Бориса Наумовича. Во всяком случае, полностью исключить такую возможность не следовало бы. Мир многим может поперхнуться – от чего бы и не ртом?!

Так что ж, символ веры Доломяги, выходит, оказался ложным? А пожалуй, что и так! Фёдор Васильевич ринулся к бумаге, к альбому, и в считанные час-полтора нарисовал карандашами около пятидесяти всевозможных ртов. Но лихорадка его не затихала. Рты бередили, будоражили его! Он выпил водки, сразу стакан. Лучше не стало. Он понял, что у него теперь новая болезнь, высокая болезнь или постыдная, или высокая и постыдная одним разом, и эта болезнь надолго, очень надолго, возможно, и навсегда.

Он хотел выпить ещё водки, но был голоден, а водка пишу любит, мадам же Доломяга, если и должна была прийти сегодня, так не раньше чем к ночи. Да и то он не помнил точно, придёт или нет. Он отправился на кухню поджарить яичницы. Но нескольких шагов не дошёл, как услышал крик и одновременно некоторый даже и грохот, и в грохоте этом выделялся отчётливый «блямс!», то есть стекло ударило обо что-то, быть может, об стену, Доломяга ускорил шаг... На кухне сидел один Шоколадов. Трезвым назвать того было нельзя, но не так чтобы и *в сосиску*, что-то, стало быть, среднее между «немного нетрезв» и *сосиской*, как это обычно бывает у русского человека. Разбитый стакан валялся возле порога, прямо у ног Доломяги; аккуратно так разбитый – всего на три части. Небось, подоспей Фёдор Васильевич чуть раньше, имел бы шансы схлопотать стаканом и в лоб. Взгляд Шоколадова был возбуждённым.

– Что стаканами кидаетесь, Иван? – спросил Доломяга недовольно.

– Там сидел, там!.. – сбивчиво отвечал Шоколадов.

– Где? – спросил Доломяга.

– На косяке, где ты стоишь – рядом!..

– Кто? – спросил Доломяга.

– Да этот... паскудник... Григорьев Олег!..

– Поэт, что ли? – спросил Доломяга.

– Какой там поэт? Чёрт, а не поэт! – крикнул Иван Никифорович. – «Забудь, мол, всё прежнее, – говорит, – Иван, а с завтрашнего дня мировая слава твоя начнётся!»

– Надо же, – сказал Доломяга.

– «Непомерная гениальность!.. Непомерная гениальность!..» – закричал ещё этот гадёныш, – сказал Шоколадов.

– И тут ты... – сказал Доломяга.

– Стаканом его и приложил.

– А что ж не чернильницей? – полюбопытствовал Фёдор Васильевич.

– Да вот чернильницы под руку не подвернулось, – со стукающим сердцем отвечал Шоколадов.

Тут вошла и Клавдия Макаровна, супруга Ивана Никифоровича. Мигом заметила она и стакан раскоканный, и мужичков вполпьяных, и пиво, недопитое у Шоколадова.

– Стакан-то чем помешал? – вздорно спросила она.

– Баба! – сказал Шоколадов. – Бес меня искушал!..

– Дурь тебя твоя искушала.

Взяла осколки стакана, осторожно, чтоб не порезаться. Положила в ведро сверху, на прочий весь мусор. Отпила у Шоколадова изрядно пива из бутылки, крякнула, да и вышла в сердцах.

– Слышь, Никифорыч, – сказал Доломяга. – А ведь, и правда, в квартире что-то не то делается. Не замечал?

– Замечал, конечно, – мрачно отвечал тот. – Надо Ольге сказать, чтоб на поводу не шла у этих... у бесов разных!..

Тут вдруг со ртом у Шоколадова стало что-то происходить, заметил Фёдор Васильевич, как-то тот исказился, переменялся, перекорёжился, какое-то по нему прошло движение. Будто рот хотел прыгнуть с лица Ивана Никифоровича, но всё ж удержался. Да, его рот тоже непременно написать надо, подумал Доломяга. Хотелось этот рот оторвать и рассмотреть хорошенько, поднеся его поближе к глазам.

– Что? – переспросил Доломяга.

– Я говорю: ты со мной, Федя? Дадим бой?

– Да, – сказал Доломяга. – Думаешь, справимся?

– Надежда умирает последней, – отвечал Иван Никифорович.

– Нас всех отправляя умирать первыми, – мудро тут заметил Доломяга и ретировался, вполне позабыв про свою так и не приготовленную яичницу.

Потом ещё что-то такое происходило на кухне, малоприметное... Нервно убрался оттуда Шоколадов. Монстр когтями процокал, покрутился там, воздух понюхал, слизал с пола пиво, пролитое Иваном Никифоровичем, и убежал. Пришла Аленька Плошкина. Что за дело у неё было на кухне – Бог весть! Потом – тётка Олюшка, и вид у неё был будто побитый. Потом Валенька Плошкина стала варить вонючий свой суп. Пришла и Клавдия Макаровна, взялась разбирать мусор, в другой пакет перекладывать для выноса – глядь! – а сверху мусора стакана нет битого. Нет, будто не было. «Вот народ! – сказала себе она. – Кому стакан битый понадобился? Монстр, что ли, чудит?» С котиком тётки Олюшки потом жуткое приключилось, помер котик в мучениях. Долго лежал на полу, покуда хозяйка, наконец, не убрала. Потом Шоколадов припёрся, ужина требовать у Макаровны – так и вечер прошёл.

Вечер прошёл, лихорадка же Фёдора Васильевича отнюдь не проходила, она разжигалась всё более. Доломяга нарезал кучу картонок и стал рисовать рты. Карандашом, карандашом. Потом нарезал картонок побольше и взялся за уголь. Рты были хороши, они были разнообразны и великолепны. Глаза – зеркало души, рот – её врата. Врата!.. Врата!.. Доломяга стал изображать врата в форме ртов, одни врата были закрыты, другие – распахнуты, третьи – приоткрыты, четвёртые пребывали в задумчивости, пятые – скалились, десятые были изнеженны, двадцатые – горделивы, тридцатые – чувственны. Пятидесятые... уж Бог знает, какие были пятидесятые!.. Не забывал Доломяга и водочку. Пять ртов – стопка, ещё пять ртов – ещё стопка. Впрочем, стопки у него были невелики, Фёдор Васильевич знал меру.

– Щиколотка!.. Лодыжка!.. – иногда с горькой иронией говорил себе Доломяга. Воистину, нет предела человеческим заблуждениям. Воистину, сам человек это и есть заблуждение!.. А ещё недо-разумение и непололадка. Вот что такое человек!

А что, если рот как-нибудь распахнётся и исторгнет душу? – испугался вдруг Фёдор Васильевич. Он стиснул зубы и сжал губы. Нет, пожалуй, запор достаточно надёжен. Не выскочит так просто! Но ведь рот иногда бывает открытым!.. Да, в этот момент душа, наверное, может и ускользнуть. Надо пореже ходить с раскрытым ртом, сказал ещё себе Доломяга. А то иной, бывает.. раззавит рот и идёт себе по улице, через дорогу, по магазину, в общественных местах. А ведь может не только что-то влететь в рот, но и вылететь из него. О, как неосмотрительны человеки!

К ночи пришла мадам Доломяга.

Все знали прекрасно, что Федя Доломяга водит женщин. Иные на неделю задерживались, иные на месяц-другой. А что здесь такого? Феде было около пятидесяти, но дело его ещё молодое, холостое; имеет, в общем, человек право. Мадам Доломяга было именем собирательным. Собирательным именем всякой из Фединых женщин. Как же звали её на самом деле: Фрося, Аня или Маруся – никто не знал. Не знал зачастую и сам Доломяга. Вернее, просто забывал, конечно. Совсем-то уж подзаборных он, конечно, не водил. Человек всё же интеллигентный.

– Ну, насорил, насорил, – поругала Доломягу *мадам*. – Пил, что ли, весь день?

– Работал, – мрачно отвечал Доломяга.

– Что-то новое, – брюзгливо сказала мадам, разглядывая картонки. – А щиколотки где?

– Выкинул.

– Выкинул? – удивилась та.

– Спрятал, – поправился художник. – Мешали.

– Этот вот ничего! – похвалила мадам один из нарисованных ртов. – Страшненький!..

– Они все страшные! – сказал Доломяга.

– Страшные? Не рисуй! – посоветовала Фебина подруга.

– Они сами рисуются, – возразил тот.

– Это разве не ты всё нарисовал?

– Я – только инструмент.

– А я вон что принесла, – сказала мадам и показала Фёдору Васильевичу симпатиченькую бутылочку с водкой на берёзовых бруньках.

– Хорошо! – сурово отвечал тот.

Ночь выдалась жуткая, ночью было всё. Была любовь, и жар в чреслах, и метание на простыне, и развевающиеся занавески, и была изжога, и сухость в горле. Доломягу лихорадило, и он вставал и пил холодный чай из стакана. Голова же его горела. Был треск, будто скакали гигантские кузнечики (или, быть может, крысы скреблись). Мадам Доломяга чesалась и отбивалась во сне, словно на неё нападали. За дверью выл монстр и стучал когтями по доскам половым. Фёдору Васильевичу мерещился рот монстра, к этому рту ещё только предстояло подступить. Непонятно как, но, если он художник, он должен это решить. Стопка картонок со ртами, уже нарисованными, у стенки стоящая, сама собою упала. Будто бы её кто-то толкнул. На улице весь воздух взбесился, и ветер в фортку ломился, словно налётчик, словно ночной хулиган. Рты, рты!.. – отчаянно кричал Доломяга, призванный к исполнению какого-то нового долга. Дело же папахивало шизофренией. Всё теперь папахивало умилишённостию. Проклятые бруньки, и рты! рты! рты!.. Тень Бориса Наумовича склонилась над столом с бутылкой и посудой, быть может, желая что-то рассмотреть получше, или, чёрт побери, даже хотела что-то украсть. Тени теперь часто воровать ходят.

– Ищите что-то, Борис Наумыч? – сказал тут было Фёдор Васильевич и сразу проснулся.

Проснулась и мадам. Было утро, довольно ещё раннее.

– Что ты ночью вытворял такое? – потянувшись, спросила она. – Искусал меня всю.

– Клопы тебя искусали! – ответил тот и поскрёб где-то подмышкой. У него и самого всё болело.

– Сам ты клоп! – сказала мадам Доломяга.

– Вон у меня самого синяки – смотри! – гаркнул он и действительно выставил напоказ пару синяков на предплечьях, один на боку и один на бедре, подле колена.

– А картонки твои я выброшу, точно. От них ты совсем дураком делаешься, – съязвила мадам.

Фёдор Васильевич ничего не ответил и лишь плюнул в эту глупую бабу. Может, правда, и не совсем в неё. Но только – в её сторону. Хотя мог бы и в неё, конечно; ничего здесь нет такого особенного. Художник имеет право плевать на своих поклонников, не правда ли? Да он, собственно, должен плевать на них!.. Не говоря уж, разумеется, обо всех прочих, относящихся к нему с пренебрежением.

– Что-то, Никифорыч, крысы у нас развелись! – сказал он Шоколадову, встретив утром того в коридоре. – Не замечал?

– Да не крысы, а бесы! – в сердцах отвечал тот. – Не понял ещё, што ль?

– Интересно, – задумался Доломяга, – если их крысиной отравой попробовать, как думаешь, возьмёт?

– Крысиная, пожалуй, не возьмёт, – рассудительно отвечал Шоколадов. – Тут специальная нужна, от бесов. А видал, – добавил ещё он, – моя там, на кухне, монстра кормит? Умора!

– Где ж такую, специальную, взять? – сказал Доломяга и отправился на кухню смотреть, как Клавдия Макаровна кормит монстра.

Монстру в этот день достались макароны, отваренные с некоторым количеством порубленной кубиками ветчины. Монстр же сожрал всё, после, издавши все обычно производимые в таких случаях звуки, сыто потёрся всеми своими буграми, наростами и примостившимися в самых нештатных местах пальцами о полную голень Клавдии Макаровны.

Доломяга восхитился увиденным.

– Макаровна, – шепнул он, – поддержи его минутку, я кое-что нарисовать хочу.

Он быстро сбежал за картонками и карандашами.

Вернулся на кухню. Клавдия Макаровна восседала на стуле, подле необъятных её бёдер улёгся монстр, коего женщина чесала за ухом, и глядел пред собою отчасти даже доверчиво.

– Монстрик, монстрик!.. Витя!.. Витенька!.. – приговаривала женщина, успокаивая чудовище.

Странно, ей это удавалось.

Карандаш Доломяги летал по картону. Вот один рот монстра был запечатлён, уродливый, перекошенный, с приросшим под носом пальцем. Вот Доломяга нарисовал ещё рот и ещё, и с десяток жутких этих ртов перерисовал Фёдор Васильевич. Палец под носом шевелился, иногда блаженно, иногда настороженно или даже угрожающе, но художнику это не мешало. Художники умеют запечатлевать и движущуюся натуру. Что уж им там какой-то движущийся палец монстра!.. Пусть даже и под носом.

Витя всё бормотал что-то про Егора Тимуровича да про шокотерапию, Клавдия же Макаровна его не слушала и приговаривала своё:

– А это вот наш Федя, Фёдор Васильевич, он тебя рисует, рисует. А рисует – это когда водят карандашом, так водят себе, водят – и выходит портрет. Портрет Вити, Витеньки. Монстрика...

Наконец, Доломяга отпустил Витю, нарисовал несколько ртов Клавдии Макаровны, но в этих новых ртах не хватало назидательности, Доломягу продолжало лихорадить ртами, губами, зубами, языками, дёснами, тёмными влажными зевами. Он убежал к себе. Но через полчаса снова вышел «на охоту». Теперь он примерялся к старухе Крапивиной. Рот у неё тоже был хорош.

Одно смущало: Крапивина – модель весьма корыстная. В прошлый раз за полпачки риса, от данные старухе, ему изрядно перепало от его мадам. Рис купила она. Тут же нашёлся выход из положения. Фёдор Васильевич решил предложить Крапивиной мешочек сухого гороха, который остался от прежней его мадам. Соответственно, нынешняя (как её там? Галя? Люся? Фрося?) претензий предъявлять не имела права. Мало ли, как он станет распоряжаться старыми своими запасами! А вообще-то вконец бабё обнаглело! Совсем плевать этим тварям на искусство! Из-за какого-то риса истерики устраивают!..

Крапивина позировала старательно, хотя и много вертелась на стуле. Душа у старухи была чёрная, и рот был вратами в эту чёрную душу, и сам он казался тоже чёрным. Будто не из кожи, мяса, костей и крови был он, но... из одного чернотёма.

– Времена... времена наступают бедовые!.. – бормотала старуха. – Так вам и надо! Так вам и надо!..

– А раньше не бедовые были? – возражал художник.

– Были шёлковые, а теперь бедовые выйдут! – не давала себя сбить Крапивина.

Много она ещё бормотала такого злобного и желчного, и Доломяга эти-то самые злобность и желчность изображал на картонках. Хороши злобность и желчность в человеке! Хорош и человек в них; достойны, они одни и достойны гадкого человеческого звания!..

Метафизика!.. В настоящем рту – метафизика! Хотя мир, конечно же, не раскидывается метафизиками, чтоб их не могли подбирать пустые и праздношатающиеся. Разумеется, разумеется!..

Потом он нарисовал несколько ртов Шоколадова. Но он сам понимал, что обманывает себя. Его интересовал только один рот – Бориса Наумовича. Этот же рот ему никак не давался. Столько в этом рту было власти, абсолютизма, сарказма и непримиримости, что, казалось, здесь нужны другие карандаши, другие инструменты, другая рука, другой глаз. Укушенные места болели и ныли, теперь уж Доломяга не сомневался, что это были именно укусы.

Мадам вечером не пришла, осталась ночевать у матери, Фёдор же Васильевич знал, что ему предстоит отчаянная ночь. Оголтелая ночь. Он почти и не пил сегодня – пара стаканов не в счёт, разумеется. Это только для вдохновения, для твёрдой руки. Он работал, он изнурял себя рисованием, чёртовым своим рисованием. Голова его гудела, мозг его ещё когда-нибудь непременно выпрыгнет из его черепа, знал Доломяга, говорил себе Доломяга. И это знание было одним из тех многих знаний, первоприродных, необъяснимых, с которыми он сосуществовал всегда. Монстр завывал в коридоре. Три часа показывали стрелки, проклятые и будто взбесившиеся стрелки, ночь была повсюду – за окном, в углах, под тахтой и в душе нашего художника. Наконец, он не выдержал, погасил свет и рухнул на постель в изнеможении. И вот уж когда он стал проваливаться в сон, в забытье, в несуществование, тут-то и началось, чего он ожидал давно – скрип, скрежет, писк, постукивание, цоканье маленьких лапок (или копытц), много-много было таких звуков, эти звуки были везде, от них не скрыться, не спрятаться, не убежать. Кто-то скакал сверху по одеялу, кто-то пронёсся по подушке, по лицу Фёдора Васильевича, кто-то спрыгнул со стола, кто-то карабкался по занавеске, кто-то взобрался уж на карниз, тут Доломяга вскочил в ужасе и в испарине, и, пока он искал выключатель, кто-то ехидно и злобно укусил его за руку. Свет вспыхнул, и Фёдор Васильевич тут же увидел... по полу бегали, по столу и постели скакали, метались по стенам и занавескам, кишели, пищали, звенели, стучали, трещали, вопили злобные, напуганные, зубастые и проворные рты, рты, рты, рты!.. Сотни и тысячи ртов увидел тогда Доломяга.

Боже, что за ночь была теперь над этим чёртовым миром!..

Ложь и осень

Тётка Олюшка уж подъезжала, но не было ни ясности в мыслях, ни лёгкости на сердце. В последнее время она вдруг сделалась центром каких-то интриг, завихрений. Сама же она не хотела ничего такого, она хотела только покоя.

– Ну, Митрофанна, – первым подкатился к ней Иван Никифорович. – Анекдот просто!.. А вернее, не анекдот даже, а срам!..

– Какой анекдот, Ваня? Какой срам?

– Сульфозином он ещё грозить будет!.. – воскликнул Шоколадов. – Главный врач, называется!.. Тьфу!

– Борис Наумович? – спросила тётка Олюшка. – А мне показалось, что это – мужчина серьёзный и слов на ветер не бросает.

– Как же этот «серьёзный мужчина» предлагает идиоту на мёртвой жениться?

– Ну... я не знаю...

– Ты не знаешь, а я знаю! – отрезал Иван Никифорович. – Не бывает такого! И это вот срам самый настоящий и есть!..

– А мне-то что делать? – вздохнула она. – Моя племянница – Настенька, за мной Петенька хвостом ходит!..

– Ничего не делать! Плюнь да разотри!

– Тебе легко говорить: «Плюнь да разотри!», ты-то в стороне, тебе ничего не будет, если что!.. Опять же и монстр всё доложить может...

– О монстре не беспокойся. Его сейчас моя Макаровна кормит. Глядишь, с монстром столкнемся, на свою сторону перетянем.

– Я уж согласна: пусть бы он себе даже по квартире летал. Но только чтоб не хотел на Настеньке жениться.

– И сраму не попустим, и летать не разрешим! – бодро заверил Шоколадов.

С ним была солидарна и старуха Крапивина.

– Срам... скоро срам большой зачнётся... – шамкала она в коридоре, преградивши дорогу тётке Олюшке. – С племяшей твоей!.. Ты, милая, сраму-то не потакай! И так уж много потатчиков развелось!..

Всё как-то разом свалилось на тётку Олюшку: и смерть котика, и Петенька с его безумным желанием жениться на мёртвой Настеньке.

Доконала же тётку Олюшку Лариса Борисовна. Артистка пригласила тётку Олюшку в свою комнату *посекретничать*.

– Ах, – сказала она. – Ведь этот врач... Борис Наумович... он ведь серьёзный человек.

– Да, серьёзный, – соглашалась гостья.

– У меня сложилось впечатление, что – очень важный человек.

– Должно быть, так и есть.

– Который обладает некоторым весом, властью, влиянием...

– Да... – соглашалась тётка Олюшка.

– Меня так обеспокоили его слова!..

– Какие?

– Фактически это был приказ...

На лице гостьи был написан немой вопрос.

– Ну, когда он сказал, чтобы не было никаких свадеб, пока его племянник не женится на вашей племяннице. Меня это так потрясло!.. Мы ведь как раз с Алешенькой... собирались... вы, наверное, знаете...

– Знаю, – потерянно повторила тётка Олюшка.

– И ещё велел спросить у невесты, согласна ли она!..

– Да, но как же... – пробормотала бедная женщина. – Как же это можно?

– Ах, Ольга Митрофановна! – всплеснула руками Лариса Борисовна. – Вот все про меня говорят: артистка, мол, я – артистка! Да какая я, к чёрту, артистка?! Обыкновенная баба, и не стыжусь того! Я всего лишь хочу частицу обычного бабьего счастья, и только вы... только от вас...

– Но как же это? Спросить у мёртвой, согласна ли она выйти замуж?

– А что делать? – возбуждённо ходила по комнате Лариса Борисовна. – Раз нет другого выхода, надо спросить! А вдруг она не согласится. Может такое быть? И тогда, возможно, всё решится само собой!..

– Кто не согласится? Мёртвая?

– Мёртвая, живая – какая разница?!

Тут Лариса Борисовна метнулась к шкафу, где у неё висела верхняя одежда, и в том числе несколько шуб. Она сдёрнула одну из них с вешалки.

– Вот! – воскликнула она. – Песец!.. Немного бок потёрт... Но почти новая. Я хочу подарить её вам! – тут она, невзирая на протесты тётки Олюшки, набросила шубу той на плечи.

Тётка Олюшка глянула на себя в зеркало и даже ахнула. Шуба была потрясающей, женщина ни о чём подобном никогда даже не смела мечтать. А тут вдруг такой царский подарок...

– Я не могу принять, не могу, – бормотала тётка Олюшка, лицо её раскраснелось.

– Ольга Митрофановна! Ольга!.. Хотите, я перед вами на колени?.. – отчаянно воскликнула Лариса Борисовна и вдруг вправду бухнулась на колени перед тёткой Олюшкой.

– Что вы?! – испугалась та и бросилась поднимать артистку. – Лариса! Встаньте сейчас же!..

Обе тут не удержались – заплакали, обнялись. Так и стояли потом – плачущие, обнимающиеся, взволнованные.

В общем, положение было запутанным.

Тётка Олюшка на работе взяла на среду отгул. Встала ни свет ни заря. Собралась она накануне, осталось лишь котика взять – и можно в дорогу. Котика она держала в холодильнике, но нельзя же там держать его до бесконечности. Это ж вам не курица в морозилке, не так ли?

Возле комнаты сестёр Плошкиных стоял Шоколадов. То ли прислушивался, то ли даже принюхивался.

– Не окочурелись ли сестрички-то наши? – сказал он, завидев тётку Олюшку в пальтишке да с огромною сумкой в руке.

– Обе сразу? – усомнилась женщина.

– Чего-то два дня их уж не видно и не слышно, – сказал Иван Никифорович.

– Да, я тоже обратила внимание.

– Они не говорили, может, уехать куда собирались? Или, может, в дурдом снова легли?

– Ничего не говорили.

– А понюхай-ка, Митрофанна! – попросил Иван Никифорович. – Вроде как пахнет.

Тётка Олюшка подошла ближе, принюхалась.

– Не знаю, – сказала она. – Может, и пахнет. А ты стучал им, Ваня?

– Стукнул раз-другой – тишина!

– Пойду я, Ваня. Пора мне, – сказала тётка Олюшка.

Много передумала женщина по дороге. Какие-то все теперь стали... податливые, как-то все перевернулись, помышляла она. Во что угодно готовы обратиться, ничему не могут противостоять. Да и она сама тоже... разве она лучше? Пригрозили ей пальчиком, поманили её шубкой (ах, шубка была великолепной!), и вот вам, пожалуйста: размякла, раскисла и теперь едет... чтобы... тьфу! такое даже и выговорить невозможно! Ладно, она едет, чтобы похоронить котика. Пусть будет так!

Тётка Олюшка сошла с автобуса одна. В такой час все ещё в город едут, обратно же – единицы. Вроде вот нашей тётки Олюшки. Путь ей известен, но идти было тяжело, как-то вот так ноги не несли.

По дороге у неё был березнячок, с некоторой примесью иной древесной швали, всякой там осины, ракиты, ольхи, – хороший такой березнячок, русский, неизбывный, пронзительный.

Потом была ложбинка, потом – канавка. День стоял пасмурный, день был нешуточный. Поддёргивал ветер. Дождя бы не было, подумала женщина.

Дойдя до погоста, тётка Олюшка остановилась. Сразу, что ли, зайти – посмотреть, что и как? Но нет, ей была нужна лопата для котика. Поэтому сначала в дом зайти, а потом уж вернуться.

В доме жила теперь тётка мужа сестры тётки Олюшки – Анна Лукинишна, старуха лет восьмидесяти. Отец Настеньки сгинул в безвестности лет пятнадцать назад (а тётка его вот осталась), мать померла, а теперь и сама Настенька... Были и ещё родственники, но все, все теперь на погосте.

– Как ты тут, Лукинишна? – спросила ту тётка Олюшка.

– Да што как? – злобно отмахнулась старуха. – Хлеб вон подорожал, крупа подорожала, сметана подорожала, винцо, сама знаешь, дорого!.. Да и не винцо это – отравка сплошная! А я не могу без винца, Митрофанна. Винцо жизнь скрашивает.

– Я дам тебе денег немного, – сказала гостя. – Но ты гляди, Лукинишна, винца пей поменьше!

– Поглядим, поглядим!.. – обрадовалась старуха.

Тётка Олюшка посмотрела из окна на участок. Тот был неказист и запущен, выглядел грустно. Везде ботва картофельная накидана, отовсюду бурьян торчит серый, и кусты голые топорщатся по нуру.

– Может, я котика на участке закопаю? – спросила она.

– Ни-ни-ни, не думай даже! – возразила Анна Лукинишна. – Ходить потом – об падаль спотыкаться!..

– Да я там, у забора, там не ходит никто.

– Говорю: не смей! Лопату бери, там возле Иринки да Настеньки и положишь!..

Иринка, Ирина Митрофановна, была мать Настеньки, как нетрудно догадаться.

– Там же для людей кладбище, – усомнилась женщина. – Как же животное класть?

– Што человек, што животное – всё одна душа глупая! – отговорила старуха. – Все одной метафизике подвержены.

Метафизикою старуха тут же победила тётку Олюшку. Против метафизики крыть было нечем. Метафизика сама кого хочешь покроет – и глазом моргнуть не успеешь.

Анна Лукинишна увязалась за тёткой Олюшкой.

– Ты бы не ходила, Лукинишна! – попросила женщина. – Чего тебе зазря ноги топтать?!

– Ничего, – возражала старуха. – Авось доковыляем. Заодно Прошу там своего проведу.

Впрочем, ходок – Анна Лукинишна была, пожалуй, получше вечно больной тётки Олюшки, семенила довольно резво и лишь изредка останавливалась, поджидая приотставшую женщину, тащившую сумку с котиком и лопату.

Тётка Олюшка знала уж всё. Что не хоронил никто Настеньку, но она с матерью своей в могилке одной обитает. Сам себя мертвец схоронил. Чудеса на свете какие случаются! Знала она и как Настенька над насильниками своими управлялась, местные люди видели и шептались о том опасно. Вроде и справедливость вышла, да была ли эта справедливость божеской? Или она была вовсе не божеской? А если справедливость не божеская, так справедливость ли это вообще? Или то – лютованье нечистое, потустороннее, загробное?

Пришли женщины на могилку Иринки и Настеньки, постояли молча. Потом на скамейку присели, посидели немного. Земля на могилке была рыхлой, разворошённой. Ветер шуршал листьями возле ног женщин. Вороны сидели вокруг на деревьях. Каркали они недовольно – не нравились птицам пришельцы.

– Вот здесь, в головах, котика и положу, – сказала тётка Олюшка.

– Положи, – сказала старуха.

– Ты иди, Лукинишна, к Проше своему, – наконец решила тётка Олюшка. – Мне бы одной побыть здесь.

– И то, – согласилась старуха.

Она пошла себе спокойно по тропинке, потом по дорожке, вот уж скрылась из вида. Но к Проше не пошла; чего на него смотреть, на Прошу-то? Сорок лет уж в могиле лежит. В могиле тому хорошо!.. Не то что здесь, на земле на этой проклятой!

Зашла Анна Лукинишна в могильный массив, осмотрелась внимательно. Никого вокруг, кажется. Присела на корточки, на карачки стала и вдруг... поползла. Обрато поползла, к оставленной могиле, но только другою дорогой. Очень ей хотелось подслушать, что там происходить будет. Нечистое явно что-то затеяла тётка Олюшка, не для того, чтоб только котика похоронить, приехала она. Вот и ползла Анна Лукинишна между могил, как партизанка в тылу у врага.

Стара была Анна Лукинишна, войну она, конечно, застала. И в оккупации пришлось побывать. Но слишком юна тогда была – не могла по возрасту стать партизанкой. Зато всегда любила книжки про партизан. Вот и ползла теперь в канаве по-пластунски, и мерещилось старухе, будто она – партизанка юная и по заданью командования одна-одинёшенька в разведку ползёт. Листья предательски шуршали под нею, тётка Олюшка слышала это шуршание. Ёжики, что ль, шумят? – думала она. – Гадюкам вроде уж поздно, в норах давно спят.

С котиком женщина управлялась быстро. Подкопала холмик лопатой в одном месте, да и положила туда животину прямо в пакете, как и принесла.

– Вот, Настенька, – сказала она. – Котика тут своего положу рядом с вами. Надеюсь, не обеспокоит. Любила ты играть с ним – глядишь, ещё поиграешь!.. Ну, Котя, – напутствовала она и прежнего своего любимца, – пусть и тебе земля будет пухом! Паскудник ты был, конечно, порядочный, чуть без глаз меня не оставил, ну, да что теперь плохое вспоминать!

Женщина посидела немного, помолчала. Трудно ей было начать о главном. Трудно – а надо было!.. Анна Лукинишна, притаившаяся в канавке неподалеку, прислушивалась напряжённо. Ей казалось, что родственница её о чём-то шепчет, и хотела подползти поближе. Но ближе подползать было опасно.

– Живу я нормально, – снова стала говорить тётка Олюшка. – И хуже живут. Жильцы у нас теперь новые появились. Петенька, например... Он молодой ещё. Дитя природы, в общем... Несчаст-

ный человек!.. И немножечко даже идиот. Но сердце хорошее. Карточку твою увидел и говорит: «Это, мол, Настенька. Жениться на Настеньке хочу!» Я ему, конечно: «Что ты? Настеньки в живых нет, любимой племянницы мое-ей!» – тут глаза у тётки Олюшки увлажнились, и она даже всплакнула, но вскоре превозмогла себя. – А он, дурачок этакий, заладил одно: жениться да жениться!.. А тут ещё дядюшка его, главный врач с Пряжки, Борис Наумович, приехал и стал командовать: спросить, мол, согласия у Настеньки, у невесты, а не то всем плохо будет!.. А мне что? Я – человек маленький, безответный, вот и приехала!.. Ты как, Настенька? А?.. Петенька тот с лица ничего. Если б не идиот был, так и вовсе был бы хорош!.. Но идиот он совсем чуть-чуть, почти не заметно... Летает вот только. По квартире... да и вообще...

Речь тётки Олюшки была, конечно, бессвязной; она, наконец, сообразила это и смешалась, умолкла. На что рассчитывала она? Что земля разверзнется? Что Настенька восстанет и слово своё молвит? Нет-нет, чушь, ерунда! Не бывает такого!.. Тётка Олюшка виновато погладила землю, будто прощения прося.

– А, Настенька? Тебе бы взглянуть на него хоть!..

Настенька не отвечала. Зато дунул вдруг ветер, зашумел в кронах, зашуршал сухим золотом листвы под ногами, вороны закаркали, дерзко, беспрекословно. Ветка сорвалась со старой осины неподалеку и упала прямо перед носом у Анны Лукинишны. Старуха ойкнула от страха, голову подняла, тут её и заметила тётка Олюшка. Тоже вздрогнула.

– Что там прячешься, Анна Лукинишна? – крикнула. – Иди уж сюда, что ли!..

– Чегой-то мне прятаться! – обиделась даже вроде старуха, поднимаясь с достоинством. – Голова закружилась – вот и прилегла на минуту!..

Партизанство не вышло, оттого досадовала она. Ничего подслушать толком не удалось. Но кое-что всё-таки услышала: непотребство большое затевается – это-то она поняла определённо.

Тётка Олюшка же достала из сумки коробку муската, пару стаканчиков. По-хозяйски расставила всё на столике подле могилки. Поглядела для чего-то вверх, на ворон, на деревья, на тяжёлое, низкое небо. Будто одобрения ждала от птиц, от веток, от туч, и ещё от кого-то, кто, быть может, выше всех тех. Но не дождалась она ничьего одобрения.

– Давай, Лукинишна, выпьем за упокой, – сказала она. У неё даже немного полегчало на сердце: всё ж дело без сраму обошлось, без чертовщины этой проклятой! Слава Богу, ничего не ответила Настенька! Да и не могла ответить – мёртвая она, в земле лежит. – Только я чуть-чуть совсем! – предупредила ещё тётка Олюшка. – Нельзя мне – давление у меня!..

– А мне можно! – отвечала старуха, подходя. – У меня давления нет!..

Макаровна

Клавочка Мухина познакомилась с Шоколадовым, будучи полненькой девицею лет около тридцати, в родном их городе Бабаеве, куда наш Иван Никифорович приехал из Петербурга повидать мать. Был он почти пятнадцатью годами старше, отличался природным балагурством, которое поначалу весьма понравилось Клавочке. «От безбабья никогда не страдал я, разве что – от неразнообразия!» – сказал он будущей избраннице на первом же свидании. Поженились в Петербурге, балагурство как-то так само собою осыпалось, сделалось чем-то столь несурзным и невыносимым, чему и слова точного сразу не подберёшь.

Поначалу Шоколадов гонял свою Клавдию Макаровну, иногда даже и до неприличия.

– Спортом бы занялась, что ли, корова! – иногда благодушно изрекал он, шлёпая свою благоверную по изрядно раздавшемуся заду. – На стул не помещаешься.

– Тебе хорошо, ты – живчик! – обижалась она. – А мне каково ширь телесную на себе носить!

– Потому и советую! – отвечал он.

Потом народилась дочь Зоя, Клавдию Макаровну разнесло ещё более. Жили всё скучнее. Шоколадов особенным вниманием Клавдию Макаровну не баловал; впрочем, он никого своим вниманием не баловал (он и себя тоже не баловал). Тут и сказке конец, следовало бы теперь сказать, наверное, как это обычно говорится. Но это вовсе не конец сказки. Наши сказки вообще таковы: всё-то

они не кончаются. И продолжения-то толкового нет у них, и уж не хочется никакого продолжения, а сказка всё тянется и тянется и никак прекратиться не хочет, изводя и самого сказочника, и доброго его слушателя или читателя. Изводя и сказочный материал свой. До истёртости, до промозглости, до обветшания. До клочков, до трухи и даже до пыли. Дрянные, в общем, у нас сказки.

Зое шёл шестнадцатый год, та совсем отбилась от рук. Дома почти не ночевала. Пробовали воспитывать, усовещивать, но всякий раз натыкались на стену. В конце концов махнули рукой. Её жизнь – пусть живёт как хочет.

А тут вдруг вроде снова к дому её потянуло. Сидит целыми днями и никуда не выходит. Мрачная, как ночь в новолуние.

– Что с тобой происходит? – спрашивала ту Клавдия Макаровна.

Дочь призналась.

– Друг у меня в Крестах сидит, за убийство.

– Хорош у тебя друг! – сказала Клавдия Макаровна.

– Хорош.

– Поговори с Шоколадовым. Наверное, он свидание сможет устроить. Зря, что ль, сорок лет цирником трубил?!

Все в семье были друг другу чужими: Шоколадов с его перлами, Зойка с её фокусами, с её ночной жизнью (а самой ещё школу заканчивать надо). Пристрастилась Клавдия Макаровна к пивцу. Пили они с Шоколадовым врозь, он своё пьёт, супруга его благоверная – своё. Лишь за обедом иногда выпивали на пару.

Им бы всем разбежаться, конечно! Да куда у нас разбежишься? Велика страна – а разбежаться в ней некуда. В Монако, в Лихтенштейне, в плевочке на глобусе разбежишься, в Расейке же, небоозримой и безбрежной Расейке – никогда.

Как-то раз Макаровна кормила монстра. Тут-то Шоколадову пришла в голову мысль.

– А ну-ка, Макаровна, поконтролируй его! – шепнул он, стоя несколько позади. – Я беседу провести хочу.

Клавдия Макаровна гладила монстра по спине; монстр, чавкая, уплетал тюрю из ржанных хлопьев с говяжьим фаршем. Блюдо ему нравилось. Иван Никифорович, осмелев, приблизился к монстру на пару шагов.

– Вот, Витя... – философически сказал он. – Моя Макаровна тебя кормит...

Монстр сделал ответное: «Р-р-р-р!» и лягнул Шоколадова своею причудливой голенью с приросшими к ней в нештатном месте когтями.

Иван Никифорович испуганно отскочил в сторону.

– Дай Вите поесть спокойно! – в сердцах бросила Клавдия Макаровна. – Чего пристал?! Я б на его месте тебя ещё и не так огрела!..

– Дура, я только поговорить хотел! – оправдывался Шоколадов.

– Потом поговоришь! Да, Витя?

Монстр снова заурчал, но на сей раз не в пример спокойнее.

Вскоре Витина лоханка опустела. Монстр сделал несколько сытых послеобеденных звуков и стал тереться уродливой своей головой о необъятную голень сидящей рядом Клавдии Макаровны. Стул, по обыкновению, трещал под Макаровой. Все стулья трещали под нею.

– Вкусно, Витя? – дипломатично полюбпытствовал Шоколадов, приблизившись на безопасное расстояние.

Витя тут издал междометие, каковое буквами нашего языка передать затруднительно.

– Я тоже люблю покушать то, что Макаровна приготовит, – сказал ещё Шоколадов с некоторою даже умильностью. Прежде чем переходить к решительной фазе своего увещевания, он хотел добиться какой-нибудь Витиной реакции, хотя бы отдалённо напоминающей человеческую.

– Ма... ма... ма... – будто бы закашлялся вдруг монстр.

– Мама? – ласково переспросил Шоколадов.

– Ма... – снова начал тот. – Ма... цуовна... Мацуовна... Ирина Мацуовна...

– Нет, не Мацуовна, – поправил того Иван Никифорович. – Макаровна.

– Хакамада... Хакамада... Хакамада... – бодро затараторил ещё монстр. Как уже известно, в изрубленном и Бог весть как сросшемся Витином мозгу засели некоторые сведения из новейшей истории страны, по преимуществу политического свойства. Гнездились там и несколько имён: из женских – Хакамада, Старовойтова и Панфилова, из мужских – Гайдар да Чубайс, анекдотической памяти Шандыбин, да ещё тройка-четвёрка таких, что без презрения или насмешки их и выговорить-то нельзя. Изрядно в нашей истории поднабралось этаких вот гадких имён, будто нарочно в нашу историю вписываются людишки с наименованиями самыми недостойными, с самыми легковесными, чтобы после невозможно было гордиться отечественной историей, коль скоро её творит этакая вот нечисть, нелюдь, клоунская мелочь, получеловеческая шушера. Кажется, сам чёрт, если уж и не пишет нашу историю, так, по крайней мере, оставляет на страницах её омерзительные свои помарки, сажает кляксы, подтирает и подчищает отдельные буквы, слова и даже абзацы. Плюнуть, плюнуть охота на такую историю, плюнуть да и забыть навсегда, или уж, пожалуй, и написать какую-то иную, не столь постыдную, не столь отвратительную!.. Ах, если б это было возможно!..

– Нет, не Хакамада, Витя, – снова поправил монстра Шоколадов. – Шоколадова Клавдия Макаровна.

– Мацуовна... Мацуовна... – радостно настаивал монстр.

– Вот, Витя, – гнул свою линию Шоколадов. – Ты у нас здесь живёшь, Макаровна тебя кормит... и замечательно кормит... ты – наш сосед, все тебя любят... и помнят. Да. А некоторые, с позволения сказать, господа... в твою комнату поселяют своих племянников! Без всяких законных оснований. Да-да, племянников! Я говорю о Петеньке!.. Об этом идиотике, который мало того, что летает, так ещё и самовольно занимает чужие комнаты!..

– Ки... ки... ки... – затынул какую-то новую песню монстр.

– Кикимора? – подсказал Иван Никифорович. – Ты думаешь, Петенька – кикимора? Нет, он – идиот, он не кикимора!

– Ки... ки... киндер-сюрприз!.. – наконец с затруднением выговорил Витя.

– Произвол! – гаркнул вдруг Шоколадов. – Приходят в чужие квартиры, распоряжаются!.. Племянников своих селят!.. А законным владельцам приходится ночевать в коридоре, без должных, понимаете ли, удобств!..

Такой оборот беседы, кажется, не слишком понравился Вите, и он даже несколько снова зарычал.

– Так что ты, Витя, сам подумай: живёшь ты с нами, а не с Борисом, тьфу! Наумовичем, кормим тебя мы!.. – нажимал Шоколадов. – А отнюдь не Борис этот самый Наумович!

– Е... е... Егор Тимурович! – сказал монстр.

– Нет, не Егор Тимурович! – крикнул в сердцах Шоколадов, изрядно утомлённый непонятливостью монстра. – А Борис Наумович, чёрт бы его побрал! И ты, Витя, подумай, с кем всё же твоё сердце – с нами или с Борисом Наумовичем! Отнявшим у тебя жилплощадь и сделавшим тебя своим рабом, приспешником и клеветом.

Тут монстр пришёл в состояние психомоторного возбуждения: с криками «Егор!.. Егор Тимурович!..» он заскакал на месте, потом запрыгнул на стол, снеся с него пару тарелок и невмытую кастрюлю, потом перескочил на газовую плиту с горевшим в ту минуту газом, подпалил там себе шерсть на брюхе, перепрыгнул на стену, на которой повисел немного, уцепившись когтями, потом сиганул снова на пол и здесь совершил ещё несколько беспорядочных прыжков высотой от старинного русского аршина до столь же старинной русской сажени.

Клавдия Макаровна сначала испуганно отпрянула от разбушевавшегося своего подопечного, потом, когда после всех своих скачков и полётов монстр всё же воротился на пол, снова завладела Витиным загривком и поглаживаниями, почёсываниями вскоре утихомирила несчастное существо.

Тут же, кстати, ковыряя в носу, на кухню вошёл идиот Петенька, застыл на пороге и долго наблюдал за прыжками монстра, то ли радуясь таковым, то ли их осуждая.

– Же... женюсь на Настеньке скоро, – сказал лишь Петенька в ответ на какие-то свои неразборчивые идиотические мысли.

Иван Никифорович тут яростно топнул ногой, плюнул и ушёл в раздражении.

Клавдия Макаровна только вздохнула. Петеньку она недолюбливала, за дурь его, да за полёты, к монстру же неожиданно для себя привязалась. Она сшила для Виты ошейник, из шёлка, с аппликацией, ошейник на Вите смотрелся экстравагантно. Даже модно. Завела поводок. Стала выгуливать монстра по квартире (на улицу выводить остерегалась: всё же – монстр, не собака).

– Вите моцион требуется, – объясняла она. – Пищеварение улучшается.

Шоколадов новое увлечение супруги своей не одобрял; вышучивал её, как мог. Потом плюнул. Стал чаще бывать на даче; Любань далеко, знает: пока в один конец едешь – уже полдня пройдёт. Дома же бывать особенно не хотелось.

Вот и наемдни собрался Шоколадов в Любань, вышел из дома, в магазин заскочил, чтоб в дорогу затариться – а тут вдруг дождь! Проливной! Шоколадов постоял в подворотне немного, думал – развиднеется! Да куда там?! Он и побегал себе потихоньку обратно, на Боровую.

В коридоре наступающий потоп за собою оставил. В комнату входит... а там на постели супружеской – Макаровна, супруга его благоверная, лежит, в виде, не оставляющем особенных сомнений, то есть весьма даже не слишком одетая, а рядом с той... монстр. Лежал, прижавшись жуткой мордою своею к безграничной груди возлюбленной.

– Тааак! – протянул Шоколадов.

А что, собственно, «так»? «Так» – это не разговор, это только, чтоб с духом собраться! Хотел было Иван Никифорович за двухстволку свою взяться, в шкафу припрятанную. Ну, взялся бы – и что? В кого стрелять? В Макаровну? В монстра? Монстр вроде как бы не человек... Но, с другой стороны, явно и не собака!.. В общем, кто его знает, сколько у нас дают за пристреленных монстров!.. Может, того за инвалида сочтут, за беспомощного – а это, как ни крути, обстоятельство отягчающее.

– Сука ты! – в сердцах сказал Шоколадов.

Монстр то ли рыкнул, то ли хрюкнул, в общем, трудно было достоверно распознать это звук. Была ли Макаровна смущённою? А пожалуй, и нет.

– Ну, чё столбом стоишь?! – недовольно сказала она. – Вернулся не вовремя, так пойдёшь вон на кухню посиди. И одежду сыми в ванной – вон с тебя полведра натекло.

Плюнул тут Иван Никифорович со злостью, повернулся и вышел. Вспомнил про баклажку с пивцом, с собою в дорогу взятую, про кальмаров сушёных да про ржаные сухарики. Ну, не поехал куда Шоколадов, так не пропадать же при этом добру, не правда ли? – сказал себе он.

Черти как они есть

Борис Наумович сидел за длинным столом в огромном кабинете. На стене, над головой его висел портрет... Феликса Дзержинского. Ах, нет, не Дзержинского, мы, наверное, ошиблись – Зигмунда Фрейда. Портрет Фрейда был, конечно же, уместнее в кабинете светила психиатрии, доктора наук и профессора. Или всё-таки – Дзержинского? В общем, чёрт его знает: с одной стороны взглянешь – вылитый Дзержинский Феликс Эдмундович, с другой стороны взглянешь – вылитый Зигмунд Фрейд. В таких ошибках восприятия тоже, видать, крылось что-то фрейдовское (или – дзержинское?). Неспроста это Фрейд был похож на Дзержинского, неспроста!

Фридрих Карлович с Семёном Иммануиловичем вошли в кабинет Бориса Наумовича с чрезвычайною почтительностью. Они прошли всю длину стола с двух его сторон и по очереди благоговейно приложились губами к деснице главного врача, невзначай легшей на столешнице.

– Говорите! – бросил Борис Наумович.

Собственно, о чём им следовало говорить, хозяин кабинета не обозначил никак, но переспрашивать ни один из них не решился.

– Звать меня Фридрихом Карловичем, – наудачу начал один из пришельцев. – Чёрт девятого класса, из Моршанска. Семён Иммануилович – чёрт седьмого класса из Стерлитамака.

– Прибыли самостоятельно? – спросил Борис Наумович.

– Самовольно... – шепнул только несчастный Фридрих Карлович.

– И что ж не жились вам в ваших Моршанске да Стерлитамаке? – звучно спросил Борис Наумович.

Зигмунд Фрейд на стенке тут решительно сделался Феликсом Дзержинским. Теперь уж без всяких разнотчений.

- Тоска подлючая!.. – сказал Фридрих Карлович.
- Вам разве было не хорошо в Моршанске? – любопытствовал Борис Наумович.
- Хорошо! – заверил того Фридрих Карлович. Но тут же осёкся. – То есть – плохо, совсем плохо!..
- А вам в Стерлитамаке? – спросил Борис Наумович у другого.
- Ещё хуже! Просто ужасно!..
- Разве Стерлитамак нехорош?
- Хорошо!.. То есть – так, ничего!.. Ничего особенного.
- И Моршанск тоже – ничего особенного?
- Моршанск хуже, чем ничего особенного! Он – ничего хорошего!..
- Полагаю, вы оба преувеличиваете. Но провинциальность, наверное, хорошо ощущается?
- В каждом камне, в каждом кирпиче, в каждой паутине и в каждой мышиной норе! – горячо убеждали Бориса Наумовича двое пришельцев.
- Но вы ведь знали, что понесёте наказание самое суровое? Знали?
- Знали... – потупившись, отвечали двое чертей.
- И?
- Это – трагедия... – забормотал Фридрих Карлович. – Я – педагог по образованию и по призванию!.. И чем же я занимался?
- Чем? – спросил Борис Наумович с каким-то, кажется, испугом. Впрочем, тут же сменившимся прежнему непроницаемостью.
- Воровал из авосек у старух куриные яйца! – горько сказал Фридрих Карлович. – Писал обманутым мужьям анонимные письма. Мешал дворнику подметать улицу – разбрасывал мусор обратно!.. Дразнил собак, а потом позволял им сорваться с привязи.
- А вы занимались тем же, чем ваш коллега? – спросил Борис Наумович у другого.
- Я путал сигналы светофоров, – отвечал тот. – Сыпал сахарный песок в бензобаки, задирал юбки у девушек, притворившись ветром. Хохотал на похоронах, портил воздух в присутственных местах и начальнических кабинетах.
- И вы полагали, здесь будете заниматься чем-то иным? Более существенным?
- Надеялись... – шепнул Фридрих Карлович совсем уж неслышно.
- Рассчитывали... – потерянно говорил его товарищ.
- А вы полагали, что вы на это способны?
- Мы... – сказал Фридрих Карлович.
- ...способны!.. – сказал Семён Иммануилович.
- Розги!.. – негромко сказал Борис Наумович.
- Не-ет!.. – завopil Фридрих Карлович и бухнулся на колени перед столом главного врача.
- Только не розги! – возопил и Семён Иммануилович, тоже бухаясь на колени и бия лбом земные поклоны
- Не вижу причины, почему бы, собственно, и не розги!.. – задумчиво сказал Борис Наумович.
- Совершён серьёзный проступок, вина очевидна, наказание соответствует тяжести содеянного. Вы сами видите какую-нибудь причину, чтобы избавить вас от розог?
- Мы готовы работать без сна и отдыха!..
- Мы инициативны!..
- Талантливы!..
- Блистательны!..
- Душещипательны!..
- Изворотливы!..
- Казуистичны!..
- Иезуитичны!..
- Единоличны!..
- Малоприличны!..

- Эгоистичны!..
- Анекдотичны!..
- Артистичны!..
- Нигилистичны!..
- Самокритичны!..
- Анемичны!..
- Полемичны!..
- Гипертоничны!..
- Натуралистичны!..
- Дисгармоничны!..

– Довольно! – сказал Борис Наумович. Некоторое время все трое молчали. Феликс Дзержинский на стенке снова постепенно стал перетекать в Зигмунда Фрейда. – Может быть, у вас имеется какой-то конкретный план? Чем вы собираетесь поразить моё воображение?

– Мы готовы выполнить любое ваше указание, драгоценнейший Борис Наумович! – поспешно говорил Семён Иммануилович.

- Знаете, сколько чертей готовы сделать то же самое? – отвечивал тот. – Ты-ся-чи!..
- Ваш племянник собирается жениться на мёртвой... – осторожно выкатил шар Фридрих Карлович.
- Он это сделает и без вас! – отрезал Борис Наумович.
- Мы всё устроим!..
- Организуем!..
- Нет, – покачал головой главный врач. – Я так и слышу уже свист розог!..
- Но что? Что же нам сделать? Научите! Расскажите! Направьте!

– Научить? – удивился тот. – Направить? Знаете ли вы, сколько беспорядка, сколько смуты вносят рядовые черти своими самовольными перемещениями! Из Саратова в Самару! Из Нижнего Тагила в Нижневартовск! Из Моршанска и Стерлитамака в Петербург! Учёт практически отсутствует. Миграционная служба плачет горячими слезами! И только репрессии, только безжалостность способны немного поправить положение. И всё вышеуказанное происходит на фоне чрезвычайно затруднённых связей с нашими подспудными братьями!..

– Подспудными? – переспросил тут Семён Иммануилович.

– Подспудными, подземными! Теми, что по-прежнему, как и тысячи лет назад, стоят при котлах, при пламени, при сернистом газе!.. Теми, что по-прежнему томятся на пресловутых девяти кругах. Вот кому надо дать дорогу! Вот кто может сказать нам какое-то другое слово! Вот кто способен возродить нашу натуру! Придя к нам с натруженными своими руками, с руками в саже, с шерстью, опалённой пламенем – их приветствую я, вас – тех, кто бежит из Нижнего Тагила в Нижневартовск – сёк и сечь буду! Мы отрезаны, отрезаны от наших братьев, отрезаны от мира, который был когда-то нашим родным!.. Мы забыли аромат огня! Огонь же прекрасен, он жаждет завладеть миром!..

– Почему мы отрезаны? – спросил Фридрих Карлович.

– Каналы засорены, ходы засыпаны! – отвечал Борис Наумович. – Чистить их некому: черти предпочитают воровать куриные яйца у старух, макароны и сахар – у соседок, и путать сигналы светофоров!..

– Но где же найти эти ходы, эти каналы? – спросил и Семён Иммануилович.

– А что их искать? – удивился хозяин кабинета. – Один из них в вашем доме.

– В нашем доме?

– Вы думаете, отчего квартира такая? Не знаете? От миазмов! От испарений, от прорывающегося подземного духа!

– Я так и знал! – воскликнул тут Семён Иммануилович. – Я так и думал, я так и чувствовал!..

– Я тоже! Чувствовал!.. – возопил и Фридрих Карлович.

– А то что, по-вашему, я туда племянника своего поселил? – сказал Борис Наумович. – И монстра в придачу. Что, вы думаете, я туда визиты наношу? Чтоб свадьбы идиотов с покойницами устраивать? Справитесь с такой задачей – прошу! Не будет розог! – пообещал Борис Наумович.

– С какой задачей?

– Канал прочистить! Ход освободить!.. – отвечал главный врач.
– Но как? Здесь же тектоника! Здесь геология! Здесь тысячелетние наслоения! – возопили оба.
– И что, что – тектоника? – сказал тот. – И что, что – геология и наслоения?
– Но мы педагоги! Наше дело – детишек учить!
– Гадостям!..
– Пакостям!..
– Пошlostям!..
– Подлостям!..
– Мы не инженеры!
– Значит, придётся сделаться инженерами! – отрезал главный врач.
– Нужны специальные познания!
– Технические навыки!..
– Особый склад ума!
– Инженерный склад!
– Технический!
– Логарифмический!
– Кинетический!
– Рационалистический!
– Электромеханический!
– Химико-технологический!
– Вот и приобретайте, изучайте, осваивайте! – сказал Борис Наумович.
– Но здесь не обойтись без... – начал ещё Семён Иммануилович.
– Не обойтись без чего? – спросил Борис Наумович.
– Без дотрясения! – выпалил вдруг Семён Иммануилович.
– Ну, так и не надо без него обходиться!.. – задумчиво сказал главный врач. – Время вам даю. Но немного. Женится Петенька на Настеньке – а тут и вы как раз с вашим дотрясением! А не справитесь – розги! – добавил Борис Наумович. И сам посмотрел на своих гостей то ли Зигмундом Фрейдом, то ли Дзержинским. – И не рассчитывайте от меня улизнуть! Этого никому пока не удавалось! Сказал он.

Экзистенциальная походка

Дверь открылась, и вошёл он, вошёл её Родя, такой худой, такой понурый, такой слабый и жалкий, сердце её на мгновение сжалось. Как он вошёл? Да, надо понять, как он вошёл. Что-то в том было... особенное. Вот только – слова... у неё мало слов, надо бы больше! И чтоб слова были особенные, такие, чтоб ими можно было выразить всё!..

– Привет, – сказала она.
– Откуда ты? – удивился тот.
Он поначалу не поверил себе; думал, глаза его обманули.
– Забыл, кто у меня папаша?
– Забыл, – сказал он. – А может, и не знал.
– Мы можем говорить. Минут десять.
– Да. Потом мне надо будет идти. Обед скоро. Нельзя пропустить.
– Хорошо кормят?
– Раньше я бы этого не стал. А теперь...
– Я принесла тебе. Печенье и воду. Потом ещё принесу.
– Спасибо, – сказал он.
– Я всё помню, – сказала она.
– Я тоже.
– Как мы по Лиговскому шли, и ты спросил меня...
– Забудь. Это неважно.

- Почему неважно? Ничего нет важнее!
- Ошибаешься.
- Сядь, – сказала Соня.
- Родион сел. Он сидел, скособочившись. Он всё теперь делал не так, как прежде.
- Ты рад меня видеть? – спросила она.
- Не знаю, – покачал головой тот.
- То есть, может, что и нет?
- Может быть.
- Тогда... тогда зачем всё? А что? Что ты чувствовал, когда убивал? Скажи! Мне надо знать! Мне, может, тоже понадобится!..
- Тебе-то зачем? – усмехнулся Родион малокровно.
- Скажи!
- Рука. Чувствовал руку. Что топор тяжёлый, ну, не такой тяжёлый, что не поднять... просто – тяжесть. Кровь брызнула, и мне в лицо, тёплая такая, чужая. Думаю, утереться надо, а в руке топор, а другой рукой почему-то утереться было неудобно, не помню – почему. Я тогда думаю, надо топор положить и вытереть кровь, я даже сказал это вслух. Она на постель завалилась. А я перед ней. Тут я не знал, что надо делать. Но главное-то уже произошло, я понимал. Не надо больше к этому готовиться. Не надо думать, что это будет. Потому что это уже было.
- А мать?
- Она вошла скоро. Минуты через три. Я потом думал, что если бы я опоздал, или если бы она раньше пришла... они бы уже там были вдвоём... и тогда, может быть... я не ударил. Это было бы уже неудобно. Ну, когда они вдвоём... Это ж надо сначала одну, а другая в это время смотреть будет... это уж... как-то!.. Я не знаю.
- А три минуты? Что ты делал в эти три минуты?
- Стоял. Смотрел. Думал. Надо, чтоб у всякого были такие три минуты. Главные. Там мысль уже другая, там сам другим становишься, в три минуты.
- Каким?
- Другим, – повторил Родион. – Я когда-нибудь нарисую это. Я хотел теперь, но мне ничего не дают, ни карандаш, ни бумагу. Но ничего, я не забуду!
- Может, теперь ты станешь художником, – вздохнула она. – Настоящим.
- Не знаю, – сказал он.
- Тебе не жалко было матери?
- Мать, – сказал Родион. – Мать. Мать...
- Что? – спросила Соня.
- Пытаюсь, чтобы эмоция... хоть какая-то... включилась, зажглась. Мать! Мать!.. – повторил он ещё несколько раз с ожесточением. – Чёрт!
- Не получается? – спросила Соня с сочувствием.
- Да, никак! Никак!.. Чёрт!.. Не надо!..
- Что?
- Не надо быть художником! Тем более – настоящим!
- Почему?
- Ни почему! Просто не надо – и всё!
- А кем надо?
- Никем! Вообще никем!..
- Даже если ты никто, ты всё равно будешь кто-то!
- Я знаю! – крикнул Родион. – Для чего ты это говоришь? Но надо попробовать!
- Тебя здесь бьют? – спросила Соня.
- Нет.
- А следователь? Как к тебе относится?
- Нормально. С брезгливостью. Они все относятся ко мне с брезгливостью. Никто ничего не понимает, и – хорошо!

- Хорошо?
- Отлично, замечательно! Человека нельзя понимать. Человеку нельзя, чтобы его понимали. В человеке должно быть таинство и ещё ритуал. Это я здесь понял.
- Я пока не понимаю.
- Хорошо, что не понимаешь. Хорошо, что вы все не понимаете. Есть – я, и есть – вы. Это – разное!..
- Странно.
- Не странно. Я тут о человеке думаю.
- И что?
- Ничего. Просто о человеке думаю.
- И какой он?
- Обычный. Только от него мурашки по спине. И я такой, я ещё хуже. Я страшнее. Нет, страшнее тот, кто обыкновенный. Я с себя то, старое, сбросил, я уже стал не так страшен. А вот те, что по улице ходят, – страшны.
- Что ты с себя сбросил?
- Монотонность сбросил – вот что! Обыкновенность.
- Я с тобой везде пойду, я с тобой везде буду! – сказала Соня. Тихо и просто сказала она.
- Забудь об этом, – сказал Родион.
- Как это забыть?
- Так! – крикнул тот. – И то, что там говорилось, на Лиговском – забудь!
- Что ты говоришь, Родион? – изумилась Соня. – Мы будем вместе!
- Ты не нужна, – сказал тот.
- Это неправильно. Ты не должен ничего такого говорить. Ты не выдержишь один.
- Это моё убийство, – тихо сказал тот. – Я не стану им делиться ни с кем. Даже с тобой, Соня.
- Но это же я... я научила тебя, я подтолкнула. Мы вместе там были.
- Соня не думала уж ни о чём, ни о том, что их может слышать Шоколадов, ни о том, что их ещё кто-нибудь мог видеть и слышать, здешних порядков она не знала.
- Ты не была там никогда, – твёрдо сказал Родион. – Тебе показалось.
- Ты забыл? Накануне. Мы были там вдвоём с тобой.
- Я, когда там стоял... – медленно начал тот. – Я думал... я понял, что это только моё... что я ни с кем не стану этим делиться... я тогда... там было много крови... я стал выпираться... все те места, которых ты могла касаться. Чтоб тебя там вообще не было... меня потом на эксперимент возили, я всё показывал, как было. Я ещё раз проверил: там даже твоего волоса не осталось.
- Я на суде расскажу, что я там была с тобой накануне.
- Тебе не поверят. Не смей! Слышишь?
- Я ещё до суда расскажу. Я завтра пойду и расскажу.
- Что ты расскажешь?
- Что была там вместе с тобой.
- Там нет твоих отпечатков.
- Я помню, как стоит мебель.
- Я всё передвинул. Там всё по-другому, там всё моё.
- Зачем ты так?
- Не приходи на суд. Я не хочу тебя видеть.
- Разве ты это один вынесешь?
- Расстрела нет, – пожал тот плечами. – Значит, буду жить, а для тоски все места хороши.
- А жизни? Жизни тебе своей не жаль? – вдруг вырвалось у неё.
- Нет, – тихо ответил тот.
- А *тех* жизнью?
- Нет, – снова ответил Родион. – Может, когда-то позже. Но не теперь. Сейчас не до них. Сейчас у меня другое в голове.

– Родион, ты не можешь отнимать у меня это, – тоже тихо сказала Соня. – Это вроде ребёнка: я носила его в себе девять месяцев, а рожаясь вдруг ты, роды приписываешь себе. Несправедливо. Ты украл у меня всё.

– Справедливо, – непреклонно встряхнул головой тот. – Спасибо тебе, Соня. Я теперь нашёл себя. Если бы не ты, искал бы, может, лет двадцать. А так... всё сделалось определённым.

– Я приду на суд.

– Я потребую, чтобы тебя вывели.

– Почему?

– Я так решил.

– Я нужна тебе?

– Нет. Никто не нужен. Нужна, – поправился он. – Достань мне *колёса*! Меня ломает, я не выдержу, я дам тебе адрес один – там можно достать. Деньги я потом отдам... не знаю, когда. Да у тебя ведь есть деньги!.. Ты заработала.

– Что ты говоришь! – мучительно сказала Соня. – Какие деньги? Какие *колёса*? Это невозможно, их не пронести сюда... да и вообще!..

– Ты пронесёшь!.. Ты всё можешь!.. Если у тебя отец – вертухай!..

– Родя, – сказала девушка. – Ты должен быть сильным, ты должен быть чистым! А с дурью не будешь ни сильным, ни чистым!..

– Заткнись! – крикнул тот. – Не твоё дело!

– Я знаю, каким ты должен быть. Я тебе расскажу!..

– Достанешь *колёса*? – решительно спросил Родион.

– Ну, послушай же меня, послушай!.. – говорила Соня.

– Всё, хватит! – отрезал тот.

Дверь вдруг приоткрылась, просунулась голова Шоколадова. Не иначе, всё ж следил он за ними или подслушивал.

– Так, ребяташки, – сказал он, – ещё минута!.. Прощаемся и расходимся!..

– Гражданин вертухай, – сказал вдруг Родион, голос его теперь был чужим и бесконечно далёким. – Нам с ней больше не о чем говорить. Отведите меня обратно. Я в хату хочу!

Шоколадов распахнул дверь шире и вошёл.

– Руки за спину! – скомандовал он. – На выход!

– Родя! – крикнула Соня, бросившись к тому.

Она взяла его за голову, привлекла к себе, стала целовать в лицо, порывисто, неудержимо. Тот на мгновение потянулся было к Соне, но тут же опомнился, оттолкнул её.

– Уйди! – глухо сказал он. И выкрикнул: – Уйди! Не пускайте её никогда ко мне! Она не нужна! Я отказываюсь! Отказываюсь!..

На глазах его мелькнули слёзы. Он часто-часто заморгал, отвернулся и, несколько засуетившись, стал выходить.

Соня пошла следом. Шоколадов остановил её. Взглянул на неё и вдруг, коротко замахнувшись, закатил ей увесистую затрещину.

– Сука! – сказал он.

– Да пошёл ты! – яростно ответила Соня. – Вообще меня дома не увидишь больше!

Родион испуганно обернулся и застыл на месте.

– Сиди здесь! – коротко скомандовал Шоколадов. – Этого в хату оттараню, потом тебя выведу!

Арсенальная набережная громыхала транспортом. Над Невой ползли тёмные, с белесыми подпалинами по краям тучи, отражаясь в чёрной невоской воде и тем самым будто удваиваясь; им не было дела до Сони или вообще до людей, у туч свои пути и свои надобности.

– Что ж, – сказала себе Соня. – Родиону я не нужна. А мне-то хоть кто-нибудь нужен?

Соня пошла к Финляндскому вокзалу, к метро. Синий «пежо», стоявший у обочины, вдруг проигнал, когда девушка проходила мимо него. Соня обернулась. Из «пежо» высунулся Рустам, он махал рукой Соне.

Ей было теперь не до Рустама, она хотела даже просто пройти мимо. Но Рустам уже видел, что она его видела. Чёрт, у него определённо способности сыщика, он умудрился выследить её и возле Крестов. Соня подошла.

– Привет, – сказал Рустам. – Я тебя отвезу.

Соня водрузилась на сидение рядом с Рустамом.

Странно, он теперь вёл себя хорошо, то есть – сдержанно: не лез с руками, не лез целоваться. Он сидел и смотрел прямо перед собой.

– Твоя? – спросила Соня про машину.

– Хочешь – твоя будет, – сказал Рустам.

– Не хочу, – ответила Соня.

Они посидели и помолчали.

– Ну, как он? – глухо спросил вдруг Рустам.

– Плохо, – сказала Соня. – Почему ты спрашиваешь? Что тебе до него?

– Прости, – сказал Рустам. – Меня ты беспокоишь.

– А не надо за меня беспокоиться! Что за меня беспокоиться? Я живу, как жила! Это он – там!..

И я не могу ничего сделать!

– Да-да, конечно.

– Что – «да-да, конечно»?

– Ты не можешь ничего сделать.

– Ты рад этому?

– Ты домой?

– Домой, – сказала Соня.

Рустам завёл двигатель, автомобиль мягко тронулся с места. Они проехали под Литейным мостом, потом свернули направо, на мост.

Соне говорить не хотелось, но и в молчанку играть она тоже не могла.

– Что у тебя? Как с работой? – спросила она.

– Я хочу уйти из шоу, – сказал тот.

Соня взглянула на Рустама с некоторым удивлением.

– Я вообще не хочу больше танцевать, я перерос это, – сказал Рустам. – Я ставлю своё шоу, свой балет. Я собрал группу, человек восемь, мы репетируем. Каждый день. Для меня это сейчас важно, через танец я могу сказать о многом.

– О чём?

– Что?

– О чём ты можешь сказать через танец?

Рустам помолчал немного.

– Не знаю, стоит ли сейчас об этом...

– Ты думаешь, я не пойму?

– Нет, просто у тебя сейчас много своего. Такого, что не каждый выдержит. А ты вот выдержишь. И я не уверен, что тебя сейчас стоит грузить...

– Ну, смотри, – отстранилась Соня. – Тогда не рассказывай.

– Нет, я хочу тебе рассказать, я хочу тебе это показать тоже. Просто я вижу, в каком ты состоянии.

– Да, – сказала Соня. – Я в таком состоянии.

– Представь: темнота!..

– Представила.

– Вспыхивает свет. И дым... ну, есть такая специальная машина. И восемь танцовщиков, они стоят шеренгой, или не совсем шеренгой, и вот они начинают на нас идти, экзистенциальной походкой...

– Какой?

– Экзистенциальной... неважно!.. Они идут на нас, но ближе не становятся, их путь мучителен, они изнемогли в пути, потом вдруг будто налетает ветер, он сдувает сначала одного, потом другого,

и эти сдуваемые начинают метаться, и это уже танец!.. Современный танец!.. То, что называется contemporary dance!.. Танцующие сталкиваются с шагающими, потом все делается танцующими, а танец всё напряжённей и напряжённей, он на пределе человеческих возможностей, и ритм... такой сильный, жёсткий, безжалостный! У каждого свой танец. Синхрона мало, синхрона почти нет. Музыка становится всё больше, она всё агрессивнее, и потом мы видим разные истории, которые происходят с людьми. Эти истории рассказываются условным языком, но мы всё равно понимаем, о чём это!.. Ну, вот так примерно. Смотри, сколько я тебе наболтал!..

– Да, – сказала Соня.

– Извини.

На мосту движение оказалось очень плотным; все в основном стояли, терпеливо, привычно, обречённо. И они тоже стояли.

– А о чём ты всё-таки собираешься рассказать? – спросила Соня.

– О многом. О мире, – усмехнулся вдруг он. – О его красоте. О его подлости. Хотя это очень сложно. Подлость мира доказывают не на пальцах. А на собственных переломанных судьбах. На собственных загубленных существованиях. Чаще же всего свои судьбы жалеют, над собственными существованиями трясутся. Оттого подлость мира так и не бывает доказанной. Ты вот этого не боялась, ты сумела сделать это, ну, или почти сумела. У тебя почти получилось. Просто тебя никто не направлял – отсюда возможны и какие-то ошибки. Но ты всё равно набрела на некую дорогу, ты сильная, Соня! Даже удивительно, насколько ты сильная!

Девушка почувствовала, что она, такая *сильная*, сейчас заплачет, и, чтобы Рустам этого не увидел, отвернулась к окну. Тот же всё смотрел прямо перед собой. Хотя, наверное, и чувствовал, что у неё теперь на душе.

– Ты очень торопишься? – спросил Рустам и тут же пояснил: – У меня, на самом деле, сейчас репетиция, уже должна начаться. Хочешь посмотреть немного?

– Зря ты меня вообще повёз, – отозвалась Соня. – Я бы на метро доехала.

– Ненадолго, – попросил Рустам. – Не понравится – ты скажи сразу, я остановлю репетицию и отвезу тебя домой, как и обещал.

– Это далеко?

– Рядом, – сказал Рустам.

Репетиционный зал находился недалеко от метро «Чернышевская», они добрались туда минут за пятнадцать. Рустомова группа вся была в сборе, действительно – восемь человек, одни парни.

– Привет! – бросил Рустам, входя. – Это – Соня, мой друг! Начинаем!

Он быстро переоделся. Соня устроилась на скамейке.

Послышалась музыка, одни ударные, поначалу тихо-тихо. Потом прибавилась флейта-пикколо. Но она звучала в самом верхнем регистре, к тому же стаккато, так что и она казалась ударным инструментом. Потом послышался клавесин, он возник очень неожиданно и будто бы дисгармонично, потом – засурдиненная труба. Музыка была чрезвычайно ритмичной и острой. Кажется, об эту музыку возможно было оцарапать.

Стоящие у стены парни пошли вперёд, они шли как-то так необычно, отстранённо, будто не обращая вовсе внимание на собственный шаг, но вместе с тем сосредоточенно и даже трагично. Да-да, в их отстранённости был и трагизм. Это и есть та самая экзистенциальная походка? – подумала Соня. А они всё шли и шли, но не делались ближе. Потом вдруг что-то произошло, и один из парней словно сорвался с шага, сорвался с цепи (именно так: шагая, они, кажется, были скованы невидимой цепью) и бросился в танец, он искал спасения в танце.

Соню несколько даже заворожило увиденное. Но Рустам был недоволен. Он всё время был недоволен.

– Точнее! Точнее! – кричал он. Он бросался к танцующим и шёл вместе с ними. И движения его действительно были более точными, более зрелыми, чем у остальных, хотя он всего лишь показывал, всего лишь обозначал шаги и движения. У него сразу ощущался характер, чего не было у других.

– Какой он взрослый и сильный! – удивилась Соня. – Насколько он выше их всех!

– Нет! – крикнул Рустам. – Только не Чарли Чаплин! И не «Ночи Кабирии»! Никакого Чаплина и никаких «Ночей Кабирии»!

Соне сначала казалось, что он придирается к танцовщикам, что у тех и так всё хорошо, что, может, он просто фёрсит, выкаблучивается перед нею. Но стоило ему пойти вместе со всеми, как Соня тут же видела правоту Рустама.

Музыка останавливалась, Рустам что-то говорил артистам, потом танец начинался снова.

– Сейчас пока двигаемся дальше, – сказал он. – Завтра же целый день будем ходить, только ходить!

Завтра они будут отрабатывать ту самую походку, о которой говорил Рустам, догадалась Соня. Интересно, что из всего этого получится.

Она уж могла различать танцовщиков, они не были для неё на одно лицо, они все были разными. Особенно выделился один мальчик, черноволосый, очень щуплый и какой-то... изломанный, что ли!.. Он был на год-два старше неё самой и отчего-то напомнил ей... Родиона. И ещё рядом с ним был один... Соня назвала про себя его Искусителем. Искуситель был горд, строен, светловолос и высокомерен. Между Искусителем и «Родионом» была какая-то связь, какая-то симпатия. Искуситель сразу не понравился Соне. Он ужасно влиял на «Родиона», он на что-то того подбивал, на что-то страшное, безобразное, невыносимое. И был там ещё третий. Соня долго не могла определить его и потом всё же назвала его Артистом. Артист тянулся к Искусителю, тянулся страстно, с мольбой, с замираньем сердца, с надеждой, с отчаянием, но тот даже не замечал Артиста, всё внимание Искусителя было занято «Родионом». Кажется, Искуситель поставил всё на одну карту, всю жизнь свою, весь смысл свой, и неудача для него была страшнее самой смерти. Артист же... он словно кричал всем своим телом, всеми движениями своими и жестами, Соня не знала названий этих движений и жестов, но ощущала их боль, их невыносимость, их подспудный трагизм. Он кричал Искусителю, он старался того остановить, удержать от чего-то. «Родион» же, вот он, наконец, куда-то идёт. Идёт медленно, дерзко, непримиримо, сейчас должно произойти что-то ужасное, понимает Соня... «Родион» сейчас совершит непоправимое!..

– Стоп! – сказал тут Рустам. – Спасибо. До завтра! Я в душ! – бросил он Соне. – На минуту. Со всем мокрым!..

Сколько всё длилось? Час-полтора... Соня так всё и сидела на скамейке. К ней подошёл тот самый черноволосый мальчик, который был «Родионом».

– Привет! – сказал он.

– Привет! – сказала и Соня.

– Я – Марк, – сказал «Родион».

– Я – Соня, – ответила та.

– Я знаю. Ты тоже танцуешь? – спросил он.

– Нет, не танцую.

– Мне кажется, у тебя б получилось, – сказал Марк.

– Не знаю, – сказала Соня.

– И не танцевала никогда?

– Только как любитель. Как все.

– Мы тоже здесь все любители. Но вот Рустам из нас людей делает.

– Да, – сказала Соня.

– Как тебе репетиция?

– Здорово! – искренне ответила та.

Появился Рустам. Волосы его были ещё мокрыми, блестели на свету.

– Сейчас! – бросил он Соне.

Он отвёл в сторону Марка, о чём-то говорил с ним минуту, показывал какие-то движения. Марк кивал, соглашался, потом сам говорил что-то. Соня смотрела за ними обоими. Острая зависть охватила её. Ей тоже хотелось танцевать, заниматься чем-то полезным, прекрасным, сильным, таким, что могло бы захватить всё её существо, таким, что оно могло бы захватывать и других людей.

– Извини, что я затащил тебя на репетицию, – сказал Рустам, когда они ехали по Кирочной улице в сторону Суворовского проспекта. – Это всё ещё ужасно сыро!..

– Мне понравился Марк, – возразила Соня.

– Ты ему тоже, – усмехнулся Рустам. – Знаешь, что он сказал про тебя?

Соня посмотрела на своего собеседника.

– Он сказал: «За неё я готов был бы кого-то убить!»

– Ты ему рассказал что-то про меня? – медленно спросила Соня.

– Я ничего никому не рассказывал про тебя, – покачал головою Рустам.

Соня смотрела в окно сбоку. Ей снова вспомнился Родион, весь сегодняшний разговор с ним, и вспомнился Марк, Соня пыталась понять, чем же Марк показался ей похожим на Родиона. Но не могла угадать, уловить этого, не было слов, чтобы описать это.

– Хочешь, я научу тебя танцевать? – спросил Рустам. – Я бы позанимался с тобой! Нет, не в этом спектакле. Я бы занимался с тобой одной. Я уверен, у тебя получится.

– Марк сказал мне то же самое, слово в слово, – отозвалась девушка.

– И?

– Не надо, Рустам, – сказала Соня.

На самом деле, она уж приняла решение: она будет брать уроки танца, только не у Рустама, она будет заниматься полгода или год, каждый день, и потом покажет ему всё, чего достигла за это время. А она, уж конечно, чего-то достигнет за полгода или за год.

– Есть ещё эта твоя квартира на Лиговском? – спросил вдруг Рустам.

– Я собираюсь отказаться от неё, – ответила Соня.

– Заедем на минуту? – предложил тот. – Кофе угостишь?

Она ожидала этого. И уж, конечно, понятно, что за тем последует. Она не маленькая. То есть, разумеется, она маленькая, но не настолько, чтобы не понимать, что будет дальше.

– Хорошо, – просто сказала она.

Рустам набросился на неё прямо в прихожей. Он, высокий и сильный, поднял её на руки и понёс в комнату, открыв дверь ногой; он шептал: «Соня! Сонечка!..», он целовал её в губы, в шею. Стал раздевать. Потом разделся сам. Он слишком долго и слишком сильно хотел её и, едва увидел её обнажённую грудь и впалый живот, едва коснулся её, как задрожал, застонал, и вдруг тёплое семя излилось у него в несколько мощных, неудержимых толчков.

– Прости! Прости! – горячечно и растерянно шептал Рустам. – Со мной такое впервые!..

– Ничего, – говорила Соня, притянув его голову к своей груди и глядя его мускулистые плечи.

Через несколько минут он снова уже её хотел, тогда Соня с силою притянула его к себе, Рустам вошёл в неё, Соня согревалась его теплом, следовала его быстрым и сильным движениям, она вскрикивала, она забывала себя, она забывала всё, что пережила недавно, о чём думала, она забыла всё своё недавнее – мучительное и безвыходное, она вздохнула глубоко, подстреленно и отчаянно и вдруг вся забилась, затрепетала от могучих, неукротимых волн счастья.

Они вышли из квартиры поздно вечером. Пешком идти было проще, но Рустам снова повёз её на своём «пежо». Соня же, пусть ненадолго, но всё-таки хотела остаться одна.

Рустам такой сильный, такой мужественный, такой талантливый, но для чего он так много ходит за мной, для чего выслеживает меня? – подумала Соня. – Если б ему было на меня наплевать, я, может быть, сама бегала за ним, как собачонка. А так он только испортил меня. Ведь у него же есть (или были) и другие женщины, он сам говорил ей об этом. Почему же он так вцепился в неё? Непонятно.

– Соня, насчёт танца я ведь серьёзно – подумай! – сказал ей Рустам.

– Вообще-то на самом деле я – Зоя, – сказала она.

Рустам взглянул на неё с удивлением.

– Что такое «Соня»? – спросила девушка. – Наверное, псевдоним.

Она попросила остановить на углу Разъезжей улицы и Марата.

– Увидимся? – спросил Рустам.

– Может быть, – ответила та.

«Пежо» резко, с визгом резины, развернулся и помчался обратно, по Разъезжей в сторону Лиговского. Соня на мгновение закрыла глаза. И тут перед ней пронеслось многое: и Родион, нелепый и заносчивый Родион, такой сумасшедший, такой одинокий, и затрещина Шоколадова, гадкая и обидная, и Марк, так похожий на Родиона, – Рустам видел Родиона всего только несколько раз и то мельком, и, что ж, он смог так заметить, так запомнить его походку, его движения, его жесты, что передал их Марку, что научил таковым Марка? неужели это возможно? – и что же Рустам хотел сказать Соне этой сегодняшней репетицией, а ведь он точно хотел что-то сказать, она ещё угадает, она ещё непременно поймёт это, возник у неё перед глазами и танец этих восьмерых парней, их шаги, их движения, их жесты, потом возникли руки Рустама, его тело, счастье, которым сегодня была захвачена она, таким коротким, но таким безмерным было это неожиданное блаженство; Соня вздохнула и пошла. Пошла не так, как обыкновенно ходила, музыка из того, из Рустамова балета всё ещё звучала в ней, страшная, навязчивая и потрясающая музыка, и Соня пошла невольно в ритме этой музыки, и походка... черт побери! походка её теперь была иною, не такой, как обычно, не такой, как всегда, она была *экзистенциальной*, если угодно!..

Пиво для чертей

Моршанский и стерлитамакский черти пребывали в изрядном волнении. Петенька тоже был в волнении, хотя и не в таком изрядном и совершенно по другому поводу. Петенька хотел жениться на Настеньке, это будоражило его. Фридрих Карлович же с Семёном Иммануиловичем очень боялись розог.

Много ли всякого копошилось в их скудных чёртовых мозгах, или, напротив, там не копошилось ничего вовсе – это нам, пожалуй, что и неизвестно. Кое-что же несомненно: двое наших незадачливых квартирантов стали оказывать особенные знаки внимания Петеньке. В один из вечеров они пригласили того посетить пивное заведение, в коем некогда состоялась их первая встреча.

– Друг наш, Пётр! – торжественно возгласил Семён Иммануилович, когда всё трое дружелюбно чокнулись стаканами с пивом.

– И вы, друзья мои – Семён и Фридрих! – восклицал и Петенька с ответным политесом.

– Мы рады, что можем пребывать в столь приятной компании с милым нашим другом Петром! – присовокупил и Фридрих Карлович.

– А особенно нам приятно, что мы можем вести глубокую и тонкую беседу с нашим симпатичным другом Петром Вельзевуловичем... то есть Вениаминовичем, – сказал ещё Семён Иммануилович. Повторив, таким образом, излюбленную шутку Бориса Наумовича.

– И мне тоже чрезвычайно приятно данное обстоятельство, – говорил Петенька.

– О чём бы нам таком поговорить, о тонком, глубоком и приятном? – будто бы с подвохом спросил Фридрих Карлович.

На мгновение все задумались.

– Ну вот, например, – отвечивал Семён Иммануилович. – Вопрос: кто на свете самый страшный преступник?

– Ну... – разочарованно говорил Фридрих Карлович. – Это ж всем известно!.. Все знают! Даже ребёнок знает!..

– Кто же?

– Бог, – решительно отвечал Петенька.

– Бог? – будто бы в ужасе переспросил стерлитамакский выползень. Лукавил, конечно, этот нечистый субъект, такого ответа, разумеется, и ожидал он. Игра, игра такая у чертей, знаете ли!..

– Бог! – повторил Петенька.

– Он убивает всех, – решительно говорил и Фридрих Карлович.

– Молодых и старых, – сказал Семён Иммануилович.

– Богатых и бедных, – воскликнул Фридрих Карлович.

– Красивых и уродливых, – подхватил Петенька.

– Виновных и невинных!..

- Он убивает людей и животных!..
- Деревья и травы!..
- Насекомых и млекопитающих!
- Он убивает народы!..
- Миры!..
- Культуры!..
- Языки!..
- Цивилизации!..
- И даже Себя самого!.. – выкрикнул Семён Иммануилович.

Тут и Фридрих Карлович ввернул весьма к месту старинную бесовскую шутку: Бог, мол, на самом деле обыкновенный чёрт, только работающий под прикрытием, под очень глубоким прикрытием. Шутка и впрямь была стара, но все с удовольствием посмеялись над оной. Теперь меж ними троими вполне установилось некоторое душевное сообщничество, на то, собственно, и рассчитывали два хитреца, угощая Петеньку пивом и ведя с ним беседы, приятные сердцу всякого чёрта.

– Видели мы, Петенька, дядюшку твоего, – говорил Фридрих Карлович. – Были у него по особливому его вызову!..

– Достоинейший господин! – заливался Семён Иммануилович.

– Да, кажется, – отвечал наш идиот.

– А что, Пётр, как подвигаются дела с твоей свадьбой? – совсем уж по-приятельски полюбопытствовал бывший моршанский чёрт. – Дала ли уж невеста своё согласие?

И ведь лукавил он. Знал он прекрасно, что ни слова не было сказано невестою Настенькой, в земле сырой и холодной ныне лежавшей.

– Никак не подвигаются. Томлюсь я сверх меры, – грустно отвечал Петенька.

– Всё образуется, всё образуется! – лицемерно говорил Семён Иммануилович. – А вот твой дядюшка...

– Что – дядюшка?

– Был с нами очень суров... – добавлял Фридрих Карлович.

– Но справедлив!..

– Ужасно справедлив!..

– Чрезвычайно справедлив!..

– Великолепно справедлив!..

– Он дал нам задание! – говорил Семён Иммануилович.

– Важно!.. – добавлял Фридрих Карлович.

– Ответственное!..

– Невыполнимое!..

– Неопишемое!..

– Умонепостигаемое!.. Но если мы с ним не справимся... – дрогнувшим голосом сообщил Фридрих Карлович.

– Не выполним...

– Не оправдаем доверия...

– Провалим...

– Запорем...

– Срежемся!..

– Тогда...

– Розги! – с отчаянием выкрикнули оба чёрта кряду. – Розги! Розги!..

– Так всё-таки что ж поручил вам мой дядюшка? – спросил Петенька.

– В вашем доме, или прямо под ним... – начал Семён Иммануилович. – Некогда был ход...

– Соединяющий верхний мир с нижним миром, – подхватил Фридрих Карлович.

– Давным-давно... – сказал Семён Иммануилович.

– Ещё когда здесь было болото... – сказал Фридрих Карлович.

– С лягушками...

- С гадюками...
- С кикиморами...
- С лешими...
- Когда-то наши подземные братья...
- Свободно поднимались наверх...
- А наземные братья...
- Так же свободно спускались...
- Вниз...
- В другой мир...
- Это были...
- Золотые времена...
- Когда человек...
- Ещё не был так дерзок!..
- Так самолюбив!..
- Так заносчив!..
- Тогда подземное пламя...
- Вырывалось наружу!..
- И вот наша задача...
- Расчистить тот ход!..
- Освободить!..
- Вернуть те самые...
- Золотые времена!..
- Этого-то и требует от нас...
- Твой дядюшка, Петенька! – выкрикнул Семён Иммануилович с чрезвычайной лакримозой

в голосе.

На минуту воцарилось раздумье.

– Мне кажется, что это очень сложное задание, – наконец проговорил Петенька.

– Ужасно сложное! – замахали когтистыми руками его собеседники.

– Я, правда, слышал... – начал Петенька. – Что есть у нас некоторые компании, иностранные, которые предлагают такого рода услуги. Голландские или немецкие... Одна даже будто на языке вертится...

– Как называется?

Тут Петенька напрягся, вспоминая, так даже, что и покраснел от натуги.

– Шишига... да, точно: «Шишига инжиниринг»! – наконец облегчённо говорил идиот.

– «Шишига инжиниринг», – благоговейно повторили черти. – Надо адрес посмотреть в Интернете.

– Правда, – нахмурился Петенька, – я не уверен, что кто-то уже воспользовался их услугами в полном объёме. Иначе бы мы о том слышали. И, чтобы держаться на плаву, они занимаются расчисткой и ремонтом канализационных сетей. Зато технологии у них современные.

– О, у них, несомненно, машины! – возбуждённо говорил Семён Иммануилович.

– Насосы! – также говорил и Фридрих Карлович.

– Приборы!

– Оборудование!

– Специалисты!

– Буровые установки!

– Эврика! – возгласил Семён Иммануилович, после чего Фридрих Карлович принёс ещё пива.

Любят черти пить пиво, оно укрепляет в них пресловутую их чёртову природу. Есть, конечно, отдельные представители сего нечистого племени, которые не пьют пиво вовсе, но они пьют растворитель или нюхают клей. Этому они научились от человеков. Вообще-то чёрт чрезвычайно заботится о своём здоровье, часто ходит по врачам, охотно соглашается делать анализы, любит всевозможные обследования, прививки (хотя терпеть не может спорта или закалывания), но вредные привычки, вроде пива, клея или растворителя, никак не влияют на состояние его здоровья.

– Впрочем... – нахмурился вдруг Петенька. – Нет ли, друзья мои, у кого-нибудь клочка бумаги?
– Что за педагог без бумаги?! – покоробился как будто даже Фридрих Карлович и с артистической стремительностью достал из-за пазухи лист бумаги, сложенный в восемь раз.

Петенька, почесав свой идиотический затылок, углубился в какие-то расчёты.

– Сорок окон по фасаду... – бормотал он. – Давление на основание!.. Толщина стен, междуэтажные перекрытия... Корень квадратный из восьми... – он ещё много-много бормотал такого же вот замысловатого, в чём разбираются одни только инженеры-строители, прочий же люд не смыслит в этом ничего вовсе.

Наконец, Петенька закончил чиркать на листе цифры и символы, и вид у него сделался озабоченный.

– Что случилось? – снова спрашивал Семён Иммануилович.

– Дом нужно укреплять, – объяснил Петенька. – Иначе он рухнет.

– Ну, и пусть себе *рухает!* – с какою-то простодушной беспечностью отмахнулся Фридрих Карлович. – Мало ли у них домов уже рухнуло!..

– Погоди-ка, Карлыч! – возразил Семён Иммануилович. – Петенька дело толкует.

– Нужна сборная конструкция, пробить отверстия в стенах, завести туда восемьдесят четыре штанги... я посчитал... Сделать корсет для дома. Потом приподнять всё домкратами.

– Это позволит длительное время эксплуатировать однажды расчищенный ход.

– Именно! – воскликнул Петенька.

– Понимаешь, Карлыч? – возбуждённо говорил Семён Иммануилович. – Если мы ход прочистим, а дом рухнет – наша работа насмарку!

– А так... – говорил Петенька.

– Дом будет парить!.. – продолжил бывший стерлитамакский чёрт.

– Порхать!.. – говорил Петенька.

– Висеть!.. – говорил Семён Иммануилович.

– И всё ж... – усомнился чёрт из Моршанска.

– Что?

– Как сделать, чтобы жильцы не обнаружили расчищенный нами ход?

– Да, – озадачился и Петенька. – Как?

– Да – домотрясение же!.. – молвил Семён Иммануилович. – Мы там всё перемкнём, пересоединим, переподключим, перепутаем – так, что даже сам чёрт ничего не разберёт, – и тогда уж точно никому не будет дела до хода. Никто ничего и не заметит!..

– Ура-а-а! – на всякий случай шёпотом крикнул Фридрих Карлович.

– Ура!.. – тихо сказал и Петенька.

– Решено? – спросил Семён Иммануилович.

– Решено, – неуверенно отвечал Фридрих Карлович.

– Петенька, а ты с нами? – спрашивал бывший стерлитамакский чёрт молодого своего друга.

– Я с вами, – отвечал тот.

Все трое чокнулись пивом. Пили же они – за домотрясение!..

Смотрины

Настала суббота. На дворе была гадость – глаза бы не смотрели, и уши бы не слушали! День был хорош только для того, чтобы в тёплой ванне лезвием отворить себе вены, потому что даже, положим, повеситься в лесу в такой день, среди хмари, ветра, мути и слякоти, было бы слишком уж мерзко. Хотя лучше бы, пожалуй, всё же и в лесу повеситься, чем попытаться этот день прожить до конца.

Фёдор Васильевич Долягяга поднялся ни свет ни заря – часов в восемь. Час-другой промаялся, как все русские люди по утрам маются; он не то чтобы характер выдерживал (ничего там выдерживать), трудно было заставить себя выползти куда-то в такую погоду. Но вот, наконец, он не выдержал – выполз.

Купил он литр муската и литр кадарки в коробках, взял бы и больше, да с деньгами у Фёдора Васильевича туговато. Но, если сильно не расходиться, то на сегодня, может, и хватит. Мадам его то ли загуляла, то ли совсем ушла – этого он пока не понял в точности; были у сего обстоятельства как положительные, так и отрицательные стороны. Но, во всяком случае, вином сегодня делиться ни с кем не придётся – что само по себе уже неплохо, решил Доломяга!..

Час был ещё ранний, тёмный, лампочки же на лестнице не горели, поэтому Фёдор Васильевич видел, что прямо перед ним медленно поднимаются две женщины, но распознать, кто это, не представлялось возможным.

Нагнав женщин, Фёдор Васильевич сделал горлом: «Кхе! кхе!..», из деликатности, тут они обернулись, и наш художник едва не описался от страха: женщины были мёртвыми.

Одна из них, постарше, была вовсе уж разложившеюся. У неё даже и глаз не наблюдалось на обычном их месте. Другая – помоложе – тоже была тронута разложением, но не так заметно. Впрочем, на лицах обеих было такое количество макияжа, что лица казались не лицами, но – съёмными масками. Запах тоже присутствовал, но он не был совсем уж нестерпимым из-за какого-то особого дезодоранта, применённого также в изобилии.

– А-а-а!.. – простучал зубами Фёдор Васильевич.

Все трое остановились перед дверью в квартиру.

– Ну, Настенька, вот и пришли! – сказала старшая.

– Вы... стало быть, к нам? – силился улыбнуться Фёдор Васильевич.

– По деликатному дельцу, – отвечала та.

– Мама!.. – укорила её младшая.

– Что такого? – как-то так потусторонне удивилась покойница. – Действительно, по деликатному.

Тут Доломяга засуетился, протиснулся между женщин и, зажав подмышкой проклятые коробки с вином, стал открывать дверь. Рука его дрожала, дверь не отпиралась.

– Может, вино подержать? – предложила Настенька.

– Нет! – крикнул Фёдор Васильевич, и тут на его счастье дверь отворилась. – Прошу! – сделал он галантный жест, приглашая женщин войти, но те отказались:

– После вас, после вас!..

Фёдор Васильевич вступил в квартиру, женщины – за ним следом. Он уж всё понял, разумеется. Племянницу тётки Олюшки он, в принципе, видел. Даже когда-то на неё глаз положил, но она была слишком молода, тётка Олюшка же оберегала её слишком ревниво, так что грешные мыслишки пришлось тогда Доломяге оставить. Теперь Настенька, конечно, изменилась изрядно, но что-то прежнее в ней сохранилось.

– Я сейчас, – сказал Фёдор Васильевич. – Ольгу Митрофановну позову!..

Он метнулся к комнате тётки Олюшки. Постучал. Женщина уж не спала, но была ещё неприбранной и в халате.

– Пришли, Митрофанна, пришли! – возбуждённо шепнул ей Доломяга.

– Кто пришёл, Федя?

– С того света. Смотрины устраивать.

Вид Доломяги был диковат, но тётка Олюшка поверила ему сразу.

– Ой! – засуетилась она. – Петеньке сказать надо. Ты проводи их на кухню, я Петеньке стукну.

Фёдор Васильевич вернулся в прихожую. Женщины терпеливо стояли. Какие-то насекомые ползали по лицам их, по рукам и одежде. Настенька стряхивала тех с брезгливостью, мать же Настенькина их ловила и преспокойно отправляла в рот. После чего неторопливо их пережёвывала.

– Пойдёмте на кухню, – предложил Доломяга. – Чего вам в прихожей стоять?!

Они прошли на кухню.

– Чаю? – спросил Фёдор Васильевич. – Или, может, вина?

– Вина, если можно, – сказала старшая. – А ты, Настенька?

– Мне ничего не надо.

Доломяга вскрыл ножом коробку с кадаркой, налил вино в два стакана – себе и покойнице. Настенькина мать взяла стакан.

Когда за упокой пьют – не чокаются, а вот если с покойницей пьёшь, чокаться или нет, засомневался Фёдор Васильевич.

– Ну... – бодро сказал он, а вот что сказать дальше и как вести себя дальше, не знал.

– Со знакомством! – сказала Настенькина мать и сама первая стукнула своим стаканом о стакан Фёдора Васильевича. И представилась: «Ирина!..»

– Фёдор, – сказал Фёдор Васильевич.

– Уф! – сказала покойница. – Давно вина не пила, – и утёрла губы рукавом ветхого своего пальтишка, отчего половина макияжа с лица оказалась на рукаве. – Сторож у нас – подлец, всё вино с могил ворует!.. Впрочем, его уже нет, – прибавила она.

– Мама, не пей много, пожалуйста! – проговорила Настенька с досадой.

– Цыц, пигалица! – ответчала женщина. – Не для того пришла, чтоб мать воспитывать. Занимайся своими делами, а мы с Феденькой пока побеседуем.

– Да, – согласился Доломяга.

Прежде он опасался глядеть в лицо женщин. Теперь же, после стакана вина, взглянул открыто и свободно, и оказалось, что это возможно: смотреть на мёртвых, заглядывать в их пустые глазницы, взирать на сгнившую кожу и мышцы лица, и – рты! рты! рты!.. Рты Настеньки и новой собеседницы Фёдора Васильевича – Ирины – это были рты не те, что у живых, это были совершенно другие рты! Это были удивительные рты, неописуемые! Да и сама ситуация... Он, художник Доломяга, пьёт с покойницей, а рядом стоит другая покойница, помоложе... вот так, запросто, на кухне, среди бела дня... ситуация была фантастической, невероятной. Напиши он такую картину маслом – никто не поверит в реальность изображённого, решат, что фантазия. А у кого из нынешних бывают такие фантазии? Не бывает нынче фантазий – буйных, безграничных, неумеренных – перевелись такие фантазёры, оскудели их души, угас их огонь, остыл их жар, загустилась их кровь, истребился их воздух. А ему же такая реальность сама собой подворачивается! Аж слюнки текут, аж грудь замирает, аж руки на работу чешутся! Нельзя упустить такого, никак невозможно! А может, они согласятся немного ему попозировать?

– Ну что, Феденька, – сказала Настенькина мать. – Ещё по одной?

– Пардон! – весело сказал Доломяга. – Я немного задумался.

Тётка Олюшка же, наскоро приведши в порядок себя, готовила Петеньку.

– Рубашку, рубашку, да не эту – чистую, чистую! – шептала она ему. – Совсем за тобой последить некому!.. Волосы расчеши! Эх, в такой час ранний пожаловали – ты ж сегодня даже не умывался!.. И зубы не чистил!..

Петенька, кажется, осознав важность момента, носился по комнате как угорелый. Временами у него изо рта начинали истекать некоторые нештатные слюны, тётка Олюшка сокрушённо утирала их тряпочкой. Наконец, молодой человек был почти готов. Тётка Олюшка взглянула на Петеньку...

– Галстук, галстук!.. – спохватилась она.

Женщина сбежала к себе за галстуком покойного мужа. Теперь он был, пожалуй, хорош! За такое вполне можно и замуж выходить!

Весть о смотрянах мгновенно облетела квартиру. Пробудились все спящие, и вот квартира по-немногу сползлась на кухню, в полном своём составе. На шум прибежал и монстр, до того дремавший подле ванной и никого туда не пускавший. Он поначалу рыкнул на пришлиц, но, кажется, сразу понял свою ошибку, хотел было завилить хвостом в знак извинения, но хвоста как такового у него не было, в том самом месте у него прирос обрубок ключицы, вот он завилал этим обрубком ключицы.

Покойницы умилились, глядя на монстра. Но приняли его, наверное, за собаку.

– Ути, пёсеньку какого завели! – сказала мёртвая Ирина Митрофановна голосом несколько уже нетрезвым (хотя и по-прежнему потусторонним) и задумчиво почесала того за ухом. – Пёсенька!.. – монстр же, оправдывая оказанное ему доверие, гавкнул вполне по-собачьи.

– Та-а-ак! – сказал Шоколадов, входя на кухню. – Началось!..

Он хотел пива, но пива не было. Пришлось пить воду из крана. Доломяга же в это время наливал уж по третьему стакану, себе и своей компаньонке, а, стало быть, приступили уж ко второй коробке. Иван Никифорович взирал на это роскошество с завистью.

Клавдия Макаровна смотрела на «безобразия» искоса, она налила полную кастрюлю воды для холодильника, поставила на плиту, но отвлеклась и газ зажечь позабыла. Дочь их Зоя стояла рядом босая и заспанная. В школу сегодня она не пошла, прогуляла. Лариса Борисовна тихо курила в стороне. Пришли и квартиранты, Семён Иммануилович с Фридрихом Карловичем, они были в шлёпанцах и слонялись взад-вперёд без всякого дела. Доломяга, пользуясь замешательством, сбегал за альбомом, полагая делать наброски.

– Дух земельный, дух земельный!.. – бормотала старуха Крапивина.

– Это кто тут ещё разбрехался? – вдруг озлилась Настенькина мать. И даже немного зашипела на собравшихся.

– А я чего? Я – ничего!.. – перепугалась старуха.

– А, это ты, что ли, старая? Ну, тебе можно!.. Ты – наша! – разрешила покойница.

Клавдия Макаровна хотела кормить монстра, но при таком столпотворении разве покормишь? Не вовремя они заявили со своими зрителями.

Шоколадов смотрел на всё с нигилизмом. Бараны, стадо баранов, злился он, их режут по очереди, а они и не пикнут! Врачишки какого-то испугались! Нашли перед кем спины гнуть!..

– Тьфу! – громко и с угрозой сказал Иван Никифорович.

– Попрошу здесь не плевать! – сказала Настенькина мать.

– Попрошу здесь не указывать! – возразил Шоколадов.

– Иван! – укорила того Клавдия Макаровна.

– Плесни-ка мне, Федя, полстаканчика, – попросил Шоколадов Доломягу. – Мутит меня что-то!..

Фёдор Васильевич, как истинный джентльмен, налил сначала покойнице полный стакан, потом полстакана Ивану Никифоровичу, и уж остатки вылил себе. Таким образом, и вторую коробку приговорили. Больше же и не было ничего. Чёрт! А ведь день начинается только. Вот он – вред от джентльменства: всё равно ведь не хватит на всех, да и сам трезвым останешься!..

Доломяга выпил с покойницей солидарно, с чоканьем, Шоколадов же, буркнув короткое «спасибо», отошёл в сторону и выпил в одиночестве. Монстр заскулил. Видать, тоже вина хотел, но ему вина не досталось.

И тут было... явление!.. Вошла тётка Олюшка, смущённая, тихая, за нею плёлся Петенька, идиотически потрясывая свою большой головой. Все оборотились на вошедших.

– Здравствуй, Ирина, – тихо сказала тётка Олюшка. – Здравствуй, Настенька, доченька, голу-бушка моя.

Слёзы образовались на лице женщины.

– Здравствуй, Олюшка, – сказала старшая покойница. – Целоваться, пожалуй, не станем, тебе, может, и неприятно будет.

– Вот и мы с Петенькой, – просто сказала тётка Олюшка, не зная, что обычно говорится в таких случаях.

– Да и мы с Настенькой тоже «вот»! – подменно усмехнулась её покойная сестра.

– Да... – сказала тётка Олюшка.

– У нас есть товар, у вас есть купец, – затеяла Настенькина мать известную русскую сватовскую присказку. – Купцу товар известен... хотя и товар тоже не остался... без изменений... Но вот же и товар пришёл на купца посмотреть. Аль в таком праве откажете? – спросила ещё покойница.

– Нет, нет, не откажем! – зашумели вдруг все.

Петенька робко прятался за спиной тётки Олюшки. Настенька теснилась к матери.

– Петенька, что же ты? – удивилась тётка Олюшка. – Подойди к Настеньке, посмотри. Раньше ведь только фотографию видал.

Петенька робко приблизился к пришельцам.

– Да, – важно сказал Шоколадов. – Вот такой у нас Петенька. То есть – купец, – поправился он.

– Видим, что купец, – сказала старшая покойница.

– Видите – ещё посмотрите! – возразил Шоколадов с апломбом. – Претензий потом принимать не станем!..

– Мое сердце испугалось,
Резвы ноженки подогнулись,
Белы рученьки опустились.
У меня ли, сизой пташечки,
Горе-горькой сиротинушки,
Голова с плеч покатилася,

Во устах речь помешалася, – заунывно заголосила вдруг старуха Крапивина.

– Что ж ты врѣшь, старая? – захохотала вдруг Настенькина мать. – Ты всегда городскою была! Зачем попусту к народным массам примазываться?

– Я завсегда посреде народа была, – обиделась Лидия Павловна. – Как завещал великий Ленин.

– А что, купец? – обратился к Петеньке Шоколадов. – Посмотри и ты теперь повнимательней: как товарец!.. Не залежался ли? Не попортился? Поди, ведь на всю жизнь выбор делаешь!..

– Ах, какой дрянной мушщина! – в сердцах говорила Настенькина мать. – Токма всё и норовит язвить да пакостить!

– Это кто здесь дрянной мужчина? – грозно говорила Клавдия Макаровна. – Своего себе заведи, а потом ему определения давать будешь!

Петенька топтался на месте и ни слова не говорил.

– Да и женишок-то у нас, купец, то есть... – упорно ехидствовал Иван Никифорович, чувствовавший поддержку со стороны (довольно неожиданную). – Чуть-чуть с прибабахом!..

– Как – с прибабахом? – насторожилась Ирина Митрофановна. – Глуп, что ли? Дурак?

– Да нет же, – вмешалась тут тётка Олюшка, несколько покоробленная поклѣпом на её подопечного. – Ничего он не глуп! Ничего не дурак! Что ты такое говоришь-то, Иван Никифорович? Петенька умный, только очень простой. И болеет немного!..

– Слышишь, Настя? Жених тебе умный попался! Только болеет немного!.. – говорила мать невесты.

Что Настенька, что Петенька были заметно взволнованы, бросали друг на друга настороженные взгляды, но по-прежнему ни слова не молвили.

– Запоручил милый дядюшка

И кормилица-тетушка

За поруки-то крепкие,

За замки вековечные.

От замков ключи потеряны,

Во сине море опущены, – снова голосила неутомная старуха.

– Дверь у них настезь: заходи кто хочешь, вот я и зашёл! – был ещё громкий и будто бы весѣлый голос. Все обернулись. На кухню входил «милый дядюшка», коего как нарочно помянули только что, – улыбающийся одними глазами Борис Наумович в сопровождении двух низкорослых детей, один из которых был уже известный нам Саша, другой же пока не был известен (впрочем, звали его – Паша).

Борис Наумович собирался было шагнуть далее, как вдруг застыл на пороге.

– Вперѣд мне пройти, аль *взад* вернуться? – вдруг озабоченно спросил он.

– Ну, зачем же *взад*, раз пришел? – нашѣлся первым Шоколадов. – Вон можете хоть на лавку присесть!

Борис Наумович тут же воспользовался приглашением, прошѣл вперѣд, но на лавку садиться не стал – сразу же за дело принялся.

– Я смотрю, у вас тут разброд и шатание, – хищно сверкнув дорогой стоматологией, говорил тот.

– Так ведь дело-то непростое, – развела руками тётка Олюшка, – оттого и разброд.

– Вот мы сейчас и разберѣм ваше непростое дело! – хладнокровно сказал Борис Наумович.

– Что ж, – говорил Шоколадов. – Тут вот прозвучало сомнение: мол, жених-то чуть-чуть не того!..

– Что такое «чуть-чуть не того»? – переспросил Борис Наумович. – Идиот, что ли?

– Пожалуй, что и так!.. – несколько смутился от такой прямоты Иван Никифорович.

– Да, идиот! – спокойно подтвердил Борис Наумович. – И даже дебил, в определённом смысле. Но идиот, можно сказать, неглупый и склонный к точным наукам.

Авторитет Бориса Наумовича произвёл впечатление и на живых, и на мёртвых.

– Вот, Настенька, – шепнула Ирина Митрофановна. – Слышала?

– К точным наукам, – шепнула и Настенька.

– Настенька и сама студенткой была! – объявила старшая покойница.

– Зачем об этом, мама?

– Чтоб не было потом претензий, считаю своим долгом заявить присутствующим, что жених ещё и летает, – твёрдо сказал Шоколадов.

– Жених летает, невеста ходит, – развёл руками Борис Наумович. – Где-нибудь на полпути небось и сойдутся!..

Такой аргумент крыть было нечем. Народ приумолк в раздумьях. Тогда Борис Наумович после некоторой паузы сделал лицо то ли умильное, то ли озабоченное, то ли умильное и озабоченное в одно время, и сказал:

– Молодой гусачок ищет себе гусочку. Не затаилась ли в вашем доме гусочка?

– Есть тут у нас гусочка, – проговорила вдруг старуха Крапивина, хотя если уж кого теперь и спрашивали, так точно не её. – Только она мёртвенькая!..

Бестактность вышла ужасающей. На старуху закричали и зашумели все, включая даже нигилиста Шоколадова (каковой и сам, как известно, был изрядный любитель побестакничать). Монстр подскочил к старухе и злобно залаял на неё. Грозно зашипела и Настенькина мать. Двое пришлых малокалиберных детей – Саша и Паша – посматривали на собравшихся настороженно, готовые при необходимости в зародыше пресекать всякие вольнодумства, вольтерьянства и прочие плюрализмы. Старуха заойкала, заохала, запричитала, замахала сухими своими ручонками вполне сокрушённо. Один лишь Борис Наумович был спокоен.

– Ну, мёртвенькая! – согласился он. – Что ж теперь поделаешь!.. Пусть молодые сами решают! Поди, ведь не при Домострое живём!

Решение Бориса Наумовича вдруг всем показалось соломоновым. И впрямь, пусть выбор делают молодые. Уж и Иван Никифорович устал сражаться за принципы и согласен был пустить дело на самотёк.

– Ну, что, Петенька, – спрашивали у идиота, несколько, кажется, потерявшего от всеобщего внимания, – как невеста-то?

Петенька затряс большою своей головой, засучил дланями и забормотал:

– На... На... Моя Настенька!..

Тогда обратились к невесте.

– Эх, доченька, – нетрезво говорила Ирина Митрофановна, и какой-то жуткий подземный сквозняк слышался в её подспудном голосе. – Обошлись с тобой этак... злые люди!.. Ну, да уж что теперь о том говорить? Получили они своё, подлые! А вот теперь жених, умный, молодой да пригожий... сватает тебя... – тут у Петеньки от волнения снова истекла изо рта непрошенная слюна, какую тётка Олюшка постаралась утереть понезаметнее. – Согласна ль выйти за него, чтобы брачных удовольствий изведать, чтобы вместе идтить рука об руку?

Настенька не отвечала. Тётка Олюшка подступила к племяннице.

– Невольтить тебя не станем, а как решишь – так и будет! – сказала она. – Решишь выйти за Петеньку – быть посему! Откажешь жениху – и такое твоё решение уважим!

Момент выдался напряжённый. Настеньку едва ль не окружили, монстр постукивал когтями по полу. Лариса Борисовна была в полуобмороке, от Настенькиного слова зависело и её, Ларисы Борисовны, счастье.

– Ну? Что? Как? – вопрошала Настеньку вся квартира.

– Спасибо, гости дорогие, – медленно и звучно стала говорить вдруг Настенька (хотя уж скорее она была здесь гостьей). – Спасибо, мать! Спасибо, тётя! Волнуюсь я, как никогда не волновалась. Обошлись со мною подло, жестоко, ну, да ведь всё равно брачных удовольствий хочется, верно ты сказала, мать, жених же хорош, ой, как хорош, хоть и прост... и ещё летает... а я летать не обучена, но нам ведь не летать вместе, нам вековать обоюдно... и потому замуж за Петеньку моего я... выхожу, – сказала Настенька твёрдо.

– Ур-ра! – закричала девятая квартира.

Лариса Борисовна касалась платком уголков глаз. Фёдор Васильевич тоже крикнул «ура!», вообще же он торжествовал, он успел сделать шесть набросков в альбоме, и никто ему не воспрепятствовал. Единственный только Иван Никифорович тут же подступил со своею ложкою дёгтя.

– Ура-то, конечно, ура!.. – сказал он. – А я вот стесняюсь спросить: где молодые жить собираются?

– Неужто у жениха жилплощади нет? – невинно осведомился Борис Наумович.

– Это то есть здесь, надо понимать? – сварливо переспросил Шоколадов. – Стало быть, по квартире покойники шлындать будут?

– Что ж, разве покойники хуже живых? – отвечал Борис Наумович. – А вы, батенька, расист, оказывается! Не ожидал!..

– Воробью синица – иностранка! – твёрдо сказал Иван Никифорович.

– А петуху курица – жена! – так же твёрдо парировал Борис Наумович.

– Но только не потрошёная из морозилки, – крикнул неугомонный Шоколадов. Он, конечно, был никакой не Эзоп, и язык у него был вовсе не эзопов, но иногда всё же таки у него что-то само собою выходило иносказательным.

– Пусть сам петух решает, – отвечал главный врач.

– Ну, что ты, Иван, – с упрёком говорила Шоколадову тётка Олюшка. – Настенька женой будет. Из родственников у ней только я, да вот сестра моя, Ирина Митрофановна. Может, когда и навестит по-родственному, так ведь, Ириночка?

– Так, – хмуро отвечала та. – Если нас здесь не будут мёртвостью попрекать!..

– Вообще-то задаток бы надо! – звучно вдруг говорила Лариса Борисовна.

– Задаток? – переспросил Петенькин дядюшка, удивлённо воздев свою красивую бровь.

– От невесты жениху задаток положен, – спокойно и уверенно пояснила артистка. – Для прочности союза.

– Да я-то знаю, – отвечал Борис Наумович. – Я удивлён, что и вы настолько осведомлены в народных традициях.

– Осведомлена уж немного, – развела руками Лариса Борисовна.

– А вы, дорогая моя, что за задаток Алёшеньке вашему вручили, позвольте полюбопытствовать? – спросил главный врач.

Артистка была смущена. Перси и ланиты её зарделись.

– Скажите же, скажите! – настаивал Борис Наумович. – Мне интересно.

– Запонку... с сапфиром, – с запинкою отвечала та.

– Вот! – торжествуя говорил Борис Наумович. – Это – задаток, я понимаю!..

Тут все невольно оборотились к невесте и её матери. Мёртвые женщины пребывали в растерянности.

– Нет у нас и запонок, нет у нас и сапфиров... – медленно говорила Настенькина мать. Тут она пошарила по карманам пальтишки, по одному, по другому... – А есть только – вот!.. – отдала она что-то дочери, только что извлечённое из карманов.

Настенька стала отдавать задаток жениху, тот принял оный с некоторой идиотической благоговейностью. Все вытянули шеи, стараясь разглядеть задаток. Такое любопытство, кажется, не слишком понравилось старшей из покойниц.

– Интересуетесь? – громко говорила она. – Что было – то и отдали! Землицы ком да от обивки гроба клок, а сапфиров у нас никаких не имеется!

– Великолепный задаток! – весело объявил Борис Наумович. – Правда, Пётр Вельзевулович?

Петенька радостно закивал головой.

Монстр тут заскакал на месте, создавая атмосферу праздника и бедлама. Эти фантастические смотрины... неожиданно оборотившиеся сватовством и полным сговором!.. Срам!.. Как Шоколадов и предполагал, что из всего этого выйдёт срам, так срам из всего и вышел. Хотя... срам ведь иногда бывает лучше затянущейся неопределённости. Не правда ли? Здесь же хоть появилась определённая: свадьбе быть!

– Ну, что? – потёр руками ещё Борис Наумович. – Пусть молодые поцелуются, что ли?

– Пусть поцелуются! Пусть поцелуются! – закричали все.

Петенька с Настенькой сблизилась, Доломяга будто впился глазами в их лица, он быстро набрасывал в альбом новый сюжет: поцелуй идиота и покойницы. Петенька потоптался, Настенька же потянулась своим мёртвым лицом к губам суженого, вот губы их соединились, и дружный восхищённый стон всех жильцов квартиры сотряс стены кухни.

– Урааа! Bravo! Великолепно! – раздались аплодисменты.

– Да, – сказал Фёдор Васильевич, завершая новый набросок. – По такому поводу неплохо бы... – тут он выразительно умолк, отчего окончание фразы сделалось совсем уж необязательным.

– Почему бы и нет! – весело согласился Борис Наумович.

– Закончилось... – развёл руками Доломяга. Неприметно указавши и на Настенькину мать: мол, и она помогала.

– Точно! – подтвердил прислушивавшийся к их диалогу Иван Никифорович. – Во всём доме ни капли!..

– То есть как так – ни капли? – удивился вдруг главный врач. – А это что?

Тут он указал на кастрюлю с водой, которую Макаровна на плиту водрузила, да только газ забыла зажечь. Большую такую кастрюлю – литров на шесть. Тут все глянули: «вода» в кастрюле была пунцовая. Да и не вода это никакая была, ясное дело: вино! Полная кастрюля красного вина стояла у них на плите, будто бы только минуты своей дожидавшегося.

Тут кухня наполнилась криком, смехом, галдением, вот в кастрюлю запустили половник, разливая жидкость по стаканам, по чашкам, по кружкам, и я там рядом стоял, и мне тоже два стакана вина досталось. Подтверждаю: кадарка в кастрюле была.

– А вы, Борис Наумович, и камни можете в хлебы превратить? Не только воду – в вино? – тихо, почти интимно, спросил Доломяга среди общего возбуждения.

Главный же врач ответил тому в тон:

– А где вы здесь видите камни, дорогой мой Фёдор Васильич? Лично я никаких камней здесь не вижу!..

Мухобойка

Бабё проклятое! Не оно б, не бабё это, так Шоколадов давно уж затеял войну против нечистой силы в квартире! Он и с Доломягой поговорил, художник тоже согласен. Вот человек подходящий, смьшлёный! Не то, что эти кошёлки да перечницы! Женский волос долог, зато ум короток, не зря так народ толкует.

Война же... что за война? Главное оружие в войне против чертей – крест, молитва да слово Господне – с этим Шоколадов не спорил, при всём его религиозном скепсисе. Осиновый кол и серебряные пули – это против вампиров да оборотней, к чертям сии средства отношения не имеют.

Шоколадов подыскал какого-то бесприходного попика из Ульяновки, который согласился за умеренную плату изгнать из девятой квартиры всю нечистую силу. Поначалу запросил попик девятьсот рублей. Но потом, когда уяснил, что квартира коммунальная, размеров необъятных, воды святой уйдёт много, да и кадить придётся столько, что рука отвалиться может, от назначенной цены отступил. Сказал, что спервоначалу обследование потребуется, само обследование будет стоить триста, а потом уж и весь тариф прояснится.

Деваться было некуда, и тремя сотнями явно приходилось пожертвовать. Попик явился в тот же день ввечеру. Был он росту невзрачного, толстоват, плешив, бородат, с глазёнками выпученными, с пальцами мясистыми, да ладонями влажными. Одет был в подрясник, поверх коего, по причине холодного времени, красовалась дутая китайская куртёнка, вполне засаленного свойства. Случись, положим, Шоколадов чёртом – вряд ли бы он такого попа испугался! Впрочем, поп ведь не сам собою, но Божиим именем действует! Звали же сего неказистого попика вполне по-поповски: отец Филарет, в миру же – Олегом Филаретовичем. В этом ощущалась потомственность, приобщённость, имя вызывало доверие.

Попик, приведённый Шоколадовым, работать начал с порога. Ещё в прихожей он стал к чему-то прислушиваться, приглядываться, потом нацепил врачебный фонендоскоп и стал выслушивать стены. Ну, может, так и положено делать – откуда Шоколадову знать?!

Завёл Шоколадов попику к тётке Олюшке, та засуетилась, стала предлагать гостю чай, тот согласился, и рабочий ритм сбился, к досаде Ивана Никифоровича. Про Петеньку пришедший сказал: «Блажен нищий духом, по выражению Спасителя нашего», таким образом, бесовская Петенькина природа обнаружена им не была.

Ивана Никифоровича беспокоили квартиранты. В их бесовстве он не сомневался. Начать хотя бы с того, что они постоянно пропадали. Потом появлялись. Шоколадов тогда подступал к ним с разговорами. Ежели, мол, жилплощадь вам не нужна, дорогие товарищи, что вы ею не пользуетесь, ну и – будьте любезны, как говорится!.. Найдутся и более нуждающиеся!

На что те неизменно отвечали: нет, дорогой Иван Никифорович, мы самые что ни на есть нуждающиеся и выходим. А то, что нас иногда на жилплощади не замечается – так доля наша педагогическая такова: света белого не видим – всё уроки, тетрадки, контрольные работы, педсоветы да родительские собрания!

Произошло и ещё кое-что. Дом их в один день оделся в леса. Леса обтянули какую-то синтетическую холстиной. Что с домом собираются делать, жильцам не объявили – будто тайна за семью печатями.

Масла в огонь подлила Макаровна. Вернувшись раз из магазина, она сообщила Ивану Никифоровичу:

– Чудеса какие-то творятся! Подхожу к дому, техники там всякой иностранной понагнали, машин и прочего!.. Смотрю, впереди человек какой-то идёт, со стройки этой, не в робе, а в спецодежде начальственной. Подходит к лесам, перед ним дверь открывают – заходите, мол, и даже честь отдают!.. А человек этот – квартирант наш, Семён Иммануилович!

– Не может быть! – усомнился Иван Никифорович.

– Я ещё пока не ослепла!

Тут же и монстр прискакал, стал подле Макаровны тереться. Шоколадов хотел было пнуть его, да всё ж поостерёлся.

– Витя, – спросил он, – правда, что ль, что квартирант наш здесь у нас на стройке работает?

– Чу... чу... Чубайс, дефолт, деноминация, Анатолий... Борисович!.. – выпалил тот, и это было похоже на подтверждение.

Иван Никифорович не поленился; одевшись, вышел на улицу. Нашёл потайную дверку под холстиною и постарался проникнуть на площадку.

– Куда? – был остановлен он хмурым охранником.

– Квартиранта мне бы увидеть!.. – тут же нашёлся Шоколадов.

– Тут площадка строительная, запретная зона, квартирантов же никаких нет! Квартируют в других местах! – получил он ответ.

– А что хоть строите? – сделал ещё попытку Иван Никифорович.

– Реконструкция коммуникаций и расширение ходов сообщения, – нехотя объяснил охранник.

На другой же день Шоколадов увидел обоих квартирантов возле площадки. Они, кажется, и вправду здесь руководили какими-то работами.

– Хороши педагоги! – подступил к квартирантам наш дознаватель вечером, случайно застав их на кухне.

– Зарплата маленькая, Никифорыч! – пожаловался тому Фридрих Карлович с циничским выражением лица.

– Вот, подрабатываем немного... – сказал Семён Иммануилович.

– По совместительству!..

– В свободное время!..

– После уроков!..

– В большие перемены!..

– В продлённый день!..

- Не щады сил!..
- Изнуряясь до пота!..
- Дом наш старый, гнилой, – говорил Шоколадов. – Вы смотрите, дом не порушить!
- А хоть бы порушим – беда невелика! – отмахивались педагоги, будто бы в шутку.

В общем, на квартирантов был у Шоколадова зуб.

Олегу Филаретовичу квартирантов застать довелось, были они у себя. Но тут получился конфуз.

Они, кажется, со всею серьёзностью восприняли миссию попика.

– Квартира полна нечистой силы! – сказал Семён Иммануилович.

– Кишит, – доверительно говорил и другой квартирант.

– Просто пройти по ней невозможно...

– Не споткнувшись об нечистую силу!..

– Да, мы вечером приходим с работы...

– Из школы...

– А тут нечистая сила...

– На каждом шагу...

– В каждом углу...

– Визги...

– Писки...

– Вопли...

– Пляски...

– Мы боимся выйти из комнаты!..

– Сидим и дрожим!..

– Спасите нас, отче!..

– Ничего, дети мои, – важно отвечал им попик. – Слово Божие и не с такими оказиями слаживало!..

– Да мы ведь и за вас беспокоимся, отче! – лукаво вворачивал на то Фридрих Карлович.

– Важно ведь, чтобы вознаграждение ваше было достойным! – говорил и Семён Иммануилович.

– Хороший труд обязан изрядно цениться!

– Ваша работа должна стоить злата и серебра!

– Драгоценных камней!..

– Никто не должен скупиться!..

– Подношенье должно быть чистосердечным!..

– Обширным!..

– Обильным!..

– Сто долларов с комнаты, на наш взгляд, была бы достойная оплата труда вашего, отче!.. – запел тут Семён Иммануилович.

Попик призадумался, попик взалкал. Это едва не привело к крушению всего проекта.

– Пробесовлённая квартира! – задумчиво молвил усталый борец с нечистой силой, окончив «обследование». – Пробесовлённая наскрозь!..

– И я склоняюсь к тому же мнению, отче, – важно сказал Шоколадов. – Особенно – квартиранты эти проклятые!.. Я тут замечал... Придут они, положим, с работы – в комнату свою шасть!.. а заглянешь к ним через пять минут – никого! Только сверчок сверчит, да таракан такой огромнящий по стенке шныряет!.. Не чудеса ли?

– Оч-чень пробесовлённая!.. – повторил попик. – Сверчок да таракан, говоришь?

Торг Шоколадова с отцом Филаретом достоин был летописей, был достоин былин. Иван Никифорович взывал, вопил, умолял, увещевал, угрожал, усовещивал – попик же никак не соглашался на прежнюю оговорённую цену. Собрать деньги с каждой комнаты было задачей немислимой, тут уж Шоколадов был реалистом. Хлопнули, наконец, по рукам на трёх с половиною тысячах. С целой квартиры. Иван Никифорович оказался кудесником торга. Но даже и эти деньги с жильцов было невозможно собрать. Астрономическая сумма!..

Лариса Борисовна дала пятьдесят рублей, ни копейкою больше. Тётка Олюшка – сто. Старуха Крапивина не дала ни копейки. Сам же Шоколадов... Он уж за «обследование» свои кровные вынул.

Доломяга себя повёл как жлоб распоследний – в деньгах отказал!.. А может, и вправду денег у него было, кто знает.

Наш добровольный мытарь дошёл до белого каления, не хватало много, очень много!.. Он уж собирался давать отбой Филаретычу.

Но выход неожиданно нашёлся.

– Сколько это стоит? – спросила Соня... тьфу, то есть – Зоя, когда Шоколадов в очередной раз на чём свет стоит клеймил скаредных и безмозглых соседей.

– Пять тыщ, – не моргнув глазом, отвечал тот.

Через минуту та отдала отцу пять тысяч, ни слова не говоря. О, деньги-то у подлюки этой малолетней водятся; известно, как зарабатывает, сказал себе обрадованный папаша!.. В любом случае, Шоколадов даже остался в некотором выигрыше. Гордый он ходил по квартире, демонстрировал деньги.

– Откуда бабосы, Иван? – спросил того Доломяга.

– Да уж не от тебя! – с досадою отвечал тот. – Нашёлся спонсор, пожелавший остаться неизвестным.

– Ты, Никифорыч, спроси у спонсера, может, он и мне помочь захочет? – влезла старуха Крапивина, подслушавшая из-за угла весь разговор. – Пенсия маленькая – жить тяжело бабушке!..

– Тебе, старая, только могила поможет, – резонно отвечивал Шоколадов. – А спонсоров обременять тобой даже не следует!..

Старуха плюнула и отошла разочарованная.

Таинство было назначено на вечер пятницы. В ночь с четверга на пятницу Шоколадову приснился поэт Олег Григорьев, явившийся к нему с сообщением о присуждении Ивану Никифоровичу Нобелевской премии по литературе за текущий год, отчего «лауреат» проснулся в ярости. И целый день ходил взбудораженный.

Вечером Олег Филаретович явился в цивильном платье, но вскоре переоблачился в «спецодежду»: на нём теперь были надеты стихарь, епитрахиль и поручи. С собой борец с нечистой силой имел узелок и ещё некоторые предметы.

Расположился попик у тётки Олюшки. Из принесённого оборудования Иван Никифорович сумел разглядеть кадильницу, большой серебряный крест, чашу для святой воды (сама же вода была доставлена в пластиковой бутылки), плоскую кисточку для воды и ещё... мухобойку.

Шоколадов не поверил глазам. Нет, наверное, то не было мухобойкой! То не могло быть мухобойкой! Вообще, чёрт его знает, как оно правильно называется на поповском языке, у них много всяких замысловатых принадлежностей. Но выглядело точно как мухобойка.

Тётка Олюшка ассистировала Олегу Филаретовичу. Поначалу попик обкадил всю квартиру, каждую комнату, каждый уголок коридора, каждый закоулок. Жильцы, высыпавшие было из своих комнат для лицезрения, постепенно возвратились обратно к себе. Мероприятие было долгим и однообразным. Шоколадов тоже начал уставать. Олег Филаретович помахивал крестом, читал молитвы, Иван Никифорович ходил за тем и позёвывал.

Где-то в коридоре, когда попик брызгал святою водою и зычным голосом кричал: «Изыди! Изыди!», кажется, раздался чей-то приглушённый визг. Иван Никифорович подумал, что то визжит старуха Крапивина, но Крапивина в сию минуту была далеко. Пока что это было единственное событие, заслуживающее хоть какого-нибудь внимания.

Петенька показал язык Олегу Филаретовичу, но сделал это он с таким простодушным и даже приветливым выражением на лице, что трудно было заподозрить в том какой-нибудь умысел. Разве что – обыкновенную идиотическую его непосредственность.

Доломягины картонки Олег Филаретович окроплял водою тоже очень обильно и с некоторою осторожностью. Фёдор Васильевич взирал на окропление с мрачностью, справедливо опасаясь за сохранность своих «шедевров».

После всякой «обработанной» комнаты попик возносил благодарственную молитву и делал минутную передышку. Тётка Олюшка утирала полотенцем его вспотевшее красное лицо.

– Благодарствуй те, дочерь моя! – неизменно говорил на то Олег Филаретович.

Комнату квартирантов попик оставил напоследок. В комнате под потолком были протянуты бельевые верёвки, на которых и теперь висели пара семейных трусов, носки, несколько рубашек, полотенце, полосатая цветастая простыня и ещё какие-то посторонние ткани.

Семён Иммануилович с Фридрихом Карловичем сидели за самодельным столом, мирно пили чай и поглядывали на пришельцев будто бы с сочувственным скепсисом. Личных пожитков у педагогической парочки имелось немного, на раскладушках же были стопки школьных тетрадок, иные – раскрытые и исчищенные красными ручками.

Олег Филаретович, не обращая внимания на квартирантов, обошёл комнату с кадиллом, потом с водою, повсюду клал кресты и молился всерьёзом. Тётка Олюшка опасливо повсюду семенила за своим патроном, неся все принадлежности. Шоколадов блокировал дверь на случай чьей-нибудь несанкционированной ретиранды.

Попик увлёкся и изрядно забрызгал тетради.

– Полегче, полегче! – благодушно замечал на то Фридрих Карлович.

Борец же с нечистой силою предуготовывался к решительному удару. Он застыл посреди комнаты, поднял высоко над головою огромный свой крест и возопил: «Изыдьте!»

– Ну-ну, – сказал Семён Иммануилович. – Чего это нам вдруг *изыдывать*? Арендную плату платим исправно, нормы общежития не нарушаем...

– Изыдьте, порождения врага человеческого! – ещё громче крикнул Олег Филаретович и вдруг плюнул в сторону проклятых сих педагогов.

Фридрих Карлович на минуту закашлялся, кажется, поперхнувшись чаем.

– Вы бы здесь не хулиганили, отче! – посоветовал Семён Иммануилович. – Я – заслуженный педагог, я и полицию вызвать могу. Ишь, расплевались здесь!

– Тьфу! – ещё раз плюнул попик.

– Насчёт полиции ты бы потише! – гаркнул вдруг Шоколадов квартиранту. – У вас здесь вообще прав никаких нет! Я сейчас сам полицию вызову!

– Иван! – укоризненно подала голос тётка Олюшка.

– Как так нет прав? – возмутился Семён Иммануилович. – А денюжки наши кто зажилил? Обещал электроэнергию оплачивать, а сам пропил!.. Лев Толстой? Джером К. Джером?

– Завтра же оба вон из квартиры! – завопил Иван Никифорович. – А иначе я вам такую «полицию» устрою, что на всю жизнь у меня запомните!

На звуки перепалки в комнату сползли другие жильцы. Доломяга встал плечом к плечу с Шоколадовым. Лариса Борисовна жалась к косяку, за спиной у неё виднелись супруга и дочь Ивана Никифоровича. Монстр возбуждённо скакал по коридору.

– Не своею волей, но именем Божиим приказываю вам – изыдьте, изыдьте, изыдьте! – густо пророкотал Олег Филаретович.

– Вот прицепился, пописка проклятый!.. – откуда-то из-под потолка послышался гадкий фальцет. После были ещё неприличные звуки. Будто бы кто-то нарочно испортил воздух.

Квартиранты чувствовали себя будто бы неудобно. Глазки их бегали, они, кажется, выискивали, нельзя ли куда-нибудь им улепетнуть подобру-поздорову. Но вокруг них была человеческая стена.

– Изыдьте! Обратитесь, умалитесь, сгиньте, диаволовы выброски! – богатырски гремел борец с нечистой силою.

И тут квартиранты начали словно и впрямь «обращаться»: они съёжились, они уменьшились в размере, по мелким личикам их побежала какая-то рябь. Тут на мгновение погас свет. Снова вспыхнул. Раздался грохот где-то вдалеке, будто бы гром в небе. Но откуда в это время года может быть гром? Квартиранты сделались квартирантиками, квартирантишками, вот уж они стали размером с детей, но продолжали на глазах уменьшаться. Тут как-то атмосфера взволновалась, всё видимое на минуту сделалось нечётким. Но, кажется, только для того, чтобы заглушевать, укрыть чудесное умаление двух гадких лукавых педагогов. Олег Филаретович наступал на тех неуклонно и безжалостно. Вот уж Семён Иммануилович и Фридрих Карлович сделались размером с палец, ещё мгновение – и из них вовсе ушло всё человеческое, и осталось одно... тараканье, что ли? Все ахнули! Чудо, на их глазах шершалось чудо!

Семён Иммануилович превратился в огромного рыжего таракана, и побежал, побежал по столешнице, норыва ускользнуть и спастись, и тут вдруг – хрясь! То был звук мухобойки. Когда же пик умудрился крест святой заменить мухобойкою? А вот же успел, умудрился. Хрясь! – и от рыжего таракана, коим сделался Семён Иммануилович, осталось одно мокрое, гадкое пятно на столешнице. Фридрих же Карлович обратился в сверчка. Приходилось ли тебе, дорогой мой читатель, видеть когда-нибудь живого сверчка? Сверчок тоже изрядно похож на таракана, так же гадок на вид. Имеет лишь задние лапки, как у кузнечика. Сверчок оказался ловчее собрата своего – таракана. Свистнула вновь мухобойка, но и сверчок сиганул в сторону людской толпы, сгрудившейся над бойнею.

Отшатнулись люди от полетевшего на них сверчка. Кто-то вскрикнул, кто-то бросился наутёк. Сверчок приземлился на полу, да осмотрелся стремительно. Ища, куда ему удирать. Тут вновь был шлепок мухобойки, да и Шоколадов ногою топнул рядом, желая разделаться с нечистью. Но в самый последний миг проклятое насекомое ускользнуло и от мухобойки, и от подошвы.

– Гони, гони его! – крикнул Шоколадов Доломяге. Тот и впрямь стал гнать.

– Господи! – взмолился Олег Филаретович. – Укрепи, направь, дай силу и твёрдость удара! – и снова махнул мухобойкою.

– Есть! – заорал Шоколадов. – Попал! Молодец, отче! – и на всякий случай ногою растёр гадкую влажную лепёшку, в каковую только что превратился вёрткий, мерзкий сверчок.

– Благодарю Тебя, Господи, что Ты направил оружие сие против проклятых созданий врага Твоего! – устало сказал Олег Филаретович.

Ликовала девятая квартира. Монстр, уцепившись когтями за притолоку, в дверном проёме висел вниз головою и поглядывал вокруг настороженно.

Так вот и не стало двух квартирантов, двух чертей – Фридриха Карловича и Семёна Иммануиловича.

Вермишель

Девятая квартира праздновала победу над нечистой силой. Пили несколько дней. Шоколадов на сэкономленные деньги угощал Доломягу. Старуха Крапивина выцганила у Клавдии Макаровны пару стаканчиков пивца, каковые были выпиты *за избавление*. Лариса Борисовна выпила с тёткой Олюшкой немножечко martinis. Впрочем, эти все дамские штучки, эти стопочки, эти скляночки, эти напёрсточки, эти дольки лимона, этот мёд, эту корицу – питиём и не назовёшь: одно баловство да смачивание пересохших дамских губ!

Квартиранты – Семён Иммануилович и Фридрих Карлович – пропали. То есть можно сказать – сгинули! Поначалу было некоторое опасение: а вдруг отыщутся два их хладных трупа с признаками насильственной смерти от мухобойки. Кого-то же они всё-таки ухайдакали – это вся квартира видела. Но нет, хладные трупы тоже не отыскивались.

Олег Филаретович был вознаграждён, напоен (так, что даже заблевал весь туалет и коридор возле туалета), провозглашён героем и отпущен с миром.

Жизнь же в девятой квартире теперь сделалась мелкою и несерьёзною, буквально как вермишель какая-то.

Нужно было готовиться к Петенькиной свадьбе. Нечистую силу вроде изгнали, но свадьбу-то ведь никто не отменял. Свадьбу, конечно, попытались похерить, неявочным, так сказать, порядком – то есть, собственно, просто забыть про неё. Но на другой же день от Бориса Наумовича нагрянули эмиссары: двое маломерных его детей – Саша и Паша.

– Борис Наумович велели передать, – хмуро говорил Саша, – что на приготовление к свадьбе у вас три дня.

– Как же так! – запротестовал оргкомитет по подготовке к свадьбе (в лице тётки Олюшки, Клавдии Макаровны и примкнувшей к ним Ларисы Борисовны). – Мы даже ещё во дворце сочетаний на церемонию записаться не успели!

– Мы сами записались! На Фурштатской! – возразил Паша и для чего-то даже погрозил кулаком.

Расстались сухо.

К тётке Олюшке из деревни приехала тётка покойного мужа покойной же её (тётки Олюшки)

сестры – известная нам уже восьмидесятилетняя старуха Анна Лукинишна. Вроде как бы помочь со свадьбой.

Анна Лукинишна привезла весть: на кладбище вокруг парной могилы Настеньки и матери её Ирины Митрофановны у многих могил земля будто поразрыта и местами осыпалась.

– А что ж такое, Лукинишна? – спрашивала обеспокоенная тётка Олюшка. – Гробокопатели у вас завелись, что ль? Как это людям только не стыдно? Как у них рука подымается?!

– Может, гробокопатели! А может, и не гробокопатели! – отвечала старуха с некоторой словно бы даже угрозой.

– А ты-то сама как думаешь?

– А чего мне думать! – недовольно отмахивалась Лукинишна. – Пусть умные думают, а мне, глупой бабушке, думать тут не над чем!..

Впрочем, тётка Олюшка всегда знала, как её разговорить. В ход шёл стаканчик красного винца, за ним и второй, а потом и третий, тут уж старуха начинала благодушествовать.

– Я-то ничо, конечно, – начинал выбалтывать заплетающийся старухин язык. – А, слышь-ка, народ разное *трениет*. Что, мол, гробокопатели-то и впрямь завелись! Да токма не снаружи, а из нутрей, из могил копают!.. Волнуются покойнички!.. Перво-наперво, свадьба-то с покойницей – дело неслыханное. Ну, можь, где-то там, в заграницах его в порядке вещей, но уж у нас – извините!.. Кому-то, можь, и завидно! Кому-то и самой, можь, тоже замуж захотелось! Невзирая на покойственное звание!.. А второ-навторо, кому-то из покойничков, небось, просто охота на свадебку поглазеть из пустого любопытству!.. Покойнички – народ любопытственный! Многие потусторонние человеки желали бы, Митрофанна, приглашения на торжество получить!..

– Как же так, Лукинишна? – потерялась тётка Олюшка. – Какие ж приглашения покойникам?

– Лучше б на картоне розовом, да с тиснением сусального злата, – совсем уж разошлась старуха, прикладываясь к очередному стаканчику. – Так, мол, и так, приглашаетесь, дорогой наш покойный друг, на церемонию бракосочетания!..

– На картоне уже не успеть!.. – успела вставить тётка Олюшка средь болтовни Анны Лукинишны.

– Понимаю, милая, – согласилась старуха. – Поэтому я могу так просто шепнуть, в устном порядке!..

– Я не знаю, – развела руками несчастная женщина.

– Надо знать! – срезала ту старуха. – Время не ждёт – свадьба на носу!..

Тётка Олюшка ушла посоветоваться с Шоколадовыми.

– Макаровна, – шепнула она. – Покойники на свадьбу просятся. Ну, те, что по соседству с Настенькой лежат. Как думаешь, соглашаться?

– Отказать! – гаркнул из какого-то закоулка Шоколадов и захрапел, как это он делал минуту назад.

Вообще-то его никто не спрашивал. И даже не думали, что он слышит. В принципе, Иван Никифорович норму свою обычно блюдёт. Но тут отчего-то перебрал её раза в два и потому спал в углу, за дверь и полулёжа. Макаровна о нём даже забыла.

– Ну, если разве только самых близких позвать! – сказала тётке Олюшке Макаровна. – Шантрапы кладбищенской нам здесь не надо!

На том и порешили.

Вообще же предстоящая церемония сулила немалые хлопоты. Покойнички могли притащиться и во дворец сочетаний, они народ обидчивый, им не скажешь, мол, во дворец не ходите, а только потом, когда молодые приедут, в дом на застолье. По причине дороговизны решили застолье сделать дома.

– Рису надо купить, – озабоченно говорила тётка Олюшка. – Молодые через порог переступят, тут их все рисом засыпать будут.

– Рис, да, рис – хорошо! – меланхолически улыбалась каким-то своим мыслям Лариса Борисовна во время обсуждения.

– Можно ещё не рисом, а вермишелью кидать, – встряла тут старуха Крапивина.

– Тьфу, какая глупая старуха – эта ваша соседка! – в сердцах говорила Анна Лукинишна.

– А чегой-то я глупая? – обиделась Лидия Павловна. – Я просто суп теперь вермишелевый варю – вот и подумала!..

– А-а, если – суп, тогда другое дело! – смягчилась Лукинишна. – Тогда, может, и не глупая!
– Нет, Лидия Павловна у нас вовсе не глупая! – вступилась тётка Олюшка. – Не надо обижать пожилого человека!..

– Ладно-ладно! – пошла совсем уж на попятную родственница тётки Олюшки. – Ты, Митрофан-на, не против, если мы с Лидией Павловной винцо твоё допьём, за жизнь покаяемся?

– Не против, – говорила тётка Олюшка.

Через некоторое время две старухи попивали уж на кухне винцо, заедали его, зачавкивали вермишелевым супом и вообще как-то слишком уж распрियाлись!.. С чего бы, казалось, вдруг!

Были и ещё события. Выполз на свет помятый и взбудораженный Шоколадов. В руках он держал книгу, пополам разодранную. Стихи Олега Григорьева.

– Кому книга помешала? – зло бросил он. – У кого руки чесались?

– Да тебе ж, небось, первому и помешала! – отвечала недовольно Макаровна. – Совсем уж мозги пропил!

– Дура! – крикнул Шоколадов. – Соображай, что несёшь! Монстр твой небось обнаглел!..

– Ой! – воскликнула тут Лариса Борисовна. – И у меня тоже несколько клавиров разорваны. «Риголетто», «Трубадур» и «Нюрнбергские мейстерзингеры».

Странное что-то делалось с книгами в этой квартире. Тётка Олюшка вечером обнаружила и в собственной комнате разор. У неё было безнадежно испорчено полное собрание её любимого Ивана Алексеевича Бунина в шести томах. Твёрдая обложка белого цвета, круглые корешки. Не книги были, но – загляденье! И вот теперь... Что за люди!

– А ты, Иван, столами для торжества давай занимайся! – велела Макаровна раздосадованному супругу своему. – Гостей много будет, бери Доломюга в помощь – и вперед!

– Больно надо! – буркнул Шоколадов. Но послушаться не посмел.

На другой день мужички, снесши на кухню все столы, каковые они сумели собрать по квартире, строгаи ещё что-то, пилили, колотили, выпивали, перекуривали, выражались матерно, снова колотили, снова пилили, в результате чего образовалось некоторое сооружение. Пройти теперь через кухню было, конечно, невозможно, зато рассадить за этим сооружением можно было почти пятьдесят гостей.

Доломюга был пьяненьким, ему казалось, что сама стратосфера нахлобучилась на плечи его, поэтому он ступал осторожно. Та была тяжела и могла обрушиться ниже. Стратосфера же должна быть наверху, как известно. Иван Никифорович странно посматривал на художника и удивлялся.

– Мне, Лукинишна, всё чего-то хочется, – говорила старуха Крапивина, когда две пожилых новоиспечённых приятельницы покушали, выпили и теперь отдыхали. – То ли помереть, то ли замуж выйти. А может, просто ещё покушать чего-нибудь – сама вот теперь не пойму!..

– А супчик у тебя хорош, Павловна, – похвалила Анна Лукинишна. – Ты где такую вермишель брала? Надо будет и мне домой прикупить немного.

– Я покажу, я покажу, – соглашалась Крапивина, послеобеденно цыкая своими пустыми мягкими дёснами.

– Покажи, милая! – говорила Анна Лукинишна.

Оно, конечно, продукт сей старухой был не в магазине куплен, а у тётки Олюшки потырен, но данная подробность представляется и вовсе уж лишней.

Оргкомитет же озаботился прежней проблемой. Что если покойники всё же во дворец сочетаний придут? Ведь это ж скандал может быть: скажут, зачем покойников сюда напустили! Не правда ли?

Решено было покойников живыми заслонять. Бракосочетание же – покороче!..

– А может, попросить, чтобы свет погасили? – предложила Лариса Борисовна. – Сказать, что у невесты от яркого света глаза болят. Вместо ламп зажечь свечи!.. Будет стильно и красиво!

Идея понравилась. Лишь бы только во дворце на то согласились. Вообще же, если всё хорошо продумать, то можно сделать, что заблагорассудится. Хотя бы даже и мёртвую с идиотом окрутить! Плёвое дело!..

– Интересно, – рассуждал Шоколадов. – А как покойнички до места-то доберутся? Пешком, или у них какой транспорт специальный имеется?

– Как надо, так и доберутся! – огрызнулась на пустую болтовню супруга Макаровна. – Им лучше знать!

Внятного же ответа на вопрос у неё, разумеется, не было. Мало что знают живые о жизни и быте покойников. Ничего, можно сказать, не знают.

А знать не мешало бы: нередко покойники втемяшиваются в дела живых!.. Доломяги полдня дома не было (новую мадам себе, должно быть, пошёл искать, зубоскалила квартира), воротился он ввечеру (без мадам), в комнату входит, а там...

Тут Фёдор Васильевич прочь из комнаты бросился, бегаёт по коридору да кричит: «Идите сюда! Смотрите скорее!» – ума будто б лишился.

На крики художника сбежались соседи; стоят и заглядывают в комнату Фёдора Васильевича с опаскою.

А там... сёстрицы Плошкины покойные стоят. Вцепились они в альбом Врубеля Михаила Александровича с двух сторон. Аленька за одну обложку, Валенька – за другую.

– Моя книга! – шипит Аленька.

– Нет, моя! – шипит и Валенька.

Тянут они с двух сторон, и тут вдруг – хрясь! – книга пополам.

Схватили они тогда другую книгу – альбом Куинджи Архипа Ивановича.

– Моя книга! – снова шипит Аленька.

– Моя, моя! – опять шипит Валенька.

Так сестрицы покойные и Куинджи разодрали надвое.

– Где моя книга? – завизжала Аленька, хватаясь за Васнецова. Виктора Михайловича.

– Где моя книга? – завизжала и Валенька, хватаясь за него же с другой стороны.

– Ах, подлые! – заорал Доломяга, бросаясь на сестёр. – Книги драть!.. Книги!..

Те зашипели на художника, он перепугался малость, отступил. Сестрицы же пошли себе, пошли, будто поплыли. Васнецова бросили, разорвать не успели (повезло Васнецову!). Пошли к выходу, мимо любопытных жильцов, воздух тут словно бы волновался, по стенам рябь пробежала, и в глазах у всех небольшое помутнение вышло, повеяло затхлостью. Аленька и Валенька же прошли мимо всех, пошагали далее и вскоре затерялись в коридорном отдалении, где, как нарочно, не горела теперь ни одна лампочка.

– Да, – мрачно сказал Шоколадов. – Надо, поди, Филаретычу позвонить! Сказать: не всех он от нас выгнал! Остались ещё...

– Не всех? – крикнул Доломяга. – Да он вообще никого не выгнал, Филаретыч твой!

– Ну, как, – задумчиво проговорил Иван Никифорович. – А квартиранты?..

Квартиранты, квартиранты!.. Да, квартиранты, пожалуй, не появлялись. Несколько дней кряду, тут Шоколадов прав. Так что ж, насовсем, стало быть, сгинули проклятые черти, моршанский да стерлитамакский, Фридрих Карлович да Семён Иммануилович? Не правда ль?

Ха-ха, напрасно вы думаете, что чёрта можно угробить заурядною вашею мухобойкою! Да и святой водой его не укукошить, и крестным знаменем не истребить! Изгнать – да! Произвести несколько неприятных минут – тоже да! Заставить корчиться, изнемогать, бесчинствовать – опять же пожалуйста! Но только не угробить, не укукошить, не истребить! Дух его всё равно ускользнёт, тонкая материя его переметнётся!.. Поселится, пожалуй, в мышонке, в спичечной головке, в навозной мухе, в яблочном черве, в пыльных залежах под буфетом, в скрипучей диванной пружине, поселится под бузиной, в гугучей крапиве, в стручках гороха, и будет пережидать трудные свои времена.

Сразу же после разговора с Доломягою Иван Никифорович отправился в магазин. Зачем? Да уж не за вермишелью, надо полагать! Вышел из дому – глядь, а прямо перед ним двое идут – Фридрих Карлович и Семён Иммануилович, оба в синих костюмах, с касками на головах. Посмотришь на них и сразу поймёшь: это – начальство! За ними ещё семенил третий, с портфелем и с чертежами. Будто бы недовольны были третьим наши квартиранты, будто бы распекать того собирались!

Шоколадов остолбенел поначалу, потом за квартирантами вслед припустил. Они же к вагончику шли. Возле дома стоявшему.

– Эй! – окликнул Шоколадов идущих. – Вы, что ль, живые?

– Некогда, Никифорыч! – отмахнулся от того Фридрих Карлович. – Аврал тут у нас! Работы невпроворот!..

– Завтра свадьба, а у нас конь не валялся! – подтвердил Семён Иммануилович.

– Что ещё за свадьба? – опешил Шоколадов.

– С Луны, что ль, свалился, Иван? – отвечал Фридрих Карлович. – Петенькина свадьба!..

– А при чём здесь Петенькина свадьба? – с некоторою даже угрозою переспросил Иван Никифорович.

– При том, уважаемый, при том! – усмехнулся Семён Иммануилович и даже дружелюбно потрепал Шоколадова по плечу.

Тут все трое вошли в вагончик, да и дверь захлопнули у Шоколадова перед носом. Тот машинально толкнул дверь, хотел войти следом... даже вошёл, и вдруг – глядь!.. – а в вагончике-то и нет никого! Куда делась проклятая тройца – Бог его знает!..

– Начинается! – шепнул себе Иван Никифорович, вываливаясь из вагончика наружу. – Начинается!..

Постоял Шоколадов с минуту, дыша тяжело, да и потопал себе потом обратно домой! Даже забыл, куда вообще собирался идти.

А попик-то, Олег Филаретыч, выходит, надул. Деньги взял, а сам не выгнал, вовсе не выгнал никакую нечистую силу! А может, он вообще с ней заодно? Тьфу, тьфу, тьфу!..

Срамная свадьба

Опасения оправдались: немало покойничков прибыло во дворец сочестаний. Казалось бы, что стоило им быть поскромнее: явились бы только на застолье, никто же, в конце концов, не прячет от них ни жениха, ни невесту. Дворец же место людное, публичное – к чему вообще нужен какой-то скандал?! Чёрт побери, да покойники, похоже, нарочно заявили сюда при всём своём посмертном параде, чтобы покрутиться своим разложением, чтобы кому-то что-то доказать!

К счастью, удалось договориться, чтобы в зале для церемоний погасили свет и задёрнули шторы. Повсюду расставили свечи. Сквозняк синхронно трепал тусклые огоньки, вскоре сделалось жарко и маетно. На лестнице света тоже не было, но он был в вестибюле первого этажа, да и на улице – светло, хоть и не солнечно. Потому нехороший слух пополз прямо из вестибюля.

Причастного к сей неприличной свадьбе народа собралось немало. В квартире остались только Макаровна с дочерью и ещё парюю помощник – они готовили стол. Ещё старуха Крапивина тенью слонялась меж коридором и кухней, надеясь утянуть что-нибудь вкусненькое со стола. Утянуть же ничего не удавалось, поэтому старуха злилась и бормотала всевозможные гадости.

Все же остальные собрались во дворце на Фурштатской.

Ответственной за покойничкую вакханалию была Анна Лукинишна, именно она наприглашала столько мёртвого люда. Ей было чётко сказано: звать только самых главных, самых близких, то есть тех, кого не пригласить нельзя. Она же, похоже, сюда полкладбища припёрла, думали все. Ни стыда ни совести у проклятой старухи! Лукинишна теперь стояла внизу и встречала покойных гостей и гостей, перемолвливалась с ними словечками, заставляла дожидаться на лестнице.

– Смотри, старая, чтобы *эти твои* с лестницы ни ногой! – строго предупредил Лукинишну Шоколадов. – Чтoб не стадали попусту по дворцу! А то и нас с ними погонят!

Не в пример более удачливый, чем старуха Крапивина, Иван Никифорович ещё утром умудрился потырить бутылку общественного коньяка. Прикладывался к оной уж несколько раз и потому настрой имел самый смутьянский.

– Ну, вот куда, куда эти две попёрлись? – крикнул он тут же в спину двум покойницам, вовсе уж иссохшим и разложившимся, пошедшим теперь куда-то туда, куда ходить им явно не следовало.

– Не шуми! – одёрнула того Лукинишна. – Пописаю и вернутся. Ничего страшного!.. Дело житейское!

– Бабёе чёртово! – возразил Шоколадов. – Им уж писать давно нечем!..

Да, особою управляемостью мертвецы не отличались. Стоять смиренно на лестнице не хотели, всё норовили куда-нибудь всунуться, что-нибудь рассмотреть, с кем-нибудь заговорить. И речи, разумеется, быть не могло, чтоб их как-то там заслонить, загородить; амбразуру собой заслонить легче,

чем покойника укрыть от чужих глаз. Уборщица подошла и стала подозрительно присматриваться к нашей толпе (она была слегка подслеповата). И не только присматриваться, но и принохиваться. Потом и вахтёрша подошла тоже.

– Ну, что? – обидчиво спросила одна из покойниц. – Что смотрите?

– Так... – смутилась вахтёрша. – Показалось, будто бы не живые...

– А если и неживые – так что?

– Да нет, ничего, это я так... – совсем уж растерялась вахтёрша.

Шоколадов смотрёл на всё цинически, но вместе с тем искоса и *причастно*. Он тоже, чёрт побери, был из этой свадьбы!.. Стало быть, тоже во всём происходящем отчасти замешан.

– Артисты это! Народные и заслуженные!.. – крикнул Шоколадов. – В кино снимаются. Покойников играют.

Крикнуть-то он крикнул! Да вот только кто ж ему поверит?!

Одета сия подземная публика была бедно и обветшало. В чём в гроб кладут, в том, по преимуществу, и красовались они. Лишь некоторые были в пальтишках да плащишках, уж Бог знает откуда раздобытых. Но и верхняя одёжка по неизбывной её ветхости нисколько не делала вид пришелиц и пришелиц приличнее.

Тётка Олюшка разрывалась на части. Хоть Лариса Борисовна и поддерживала её морально, но основной груз всё равно лежал на тётке Олюшке. У жениха от волнения текли изо рта слюни, женщина деликатно утирала оные. Вскоре появилась Настенька с матерью. Настенька была завита, закручена, набелена, нарумянена и смотрелась буквально как живая. Но, если наша невеста казалась несколько печальной, мать же её, напротив, расположена была к светскости, настроена на словоохотливость, так что Настеньке приходилось даже удерживать ту. Тётка Олюшка погладила племянницу по завитой её голове и отчего-то заплакала.

Появился Борис Наумович со свитой, Настенькина мать сдуру полезла с ним лобызаться, вроде, по-родственному. Но главный врач, ослепительно улыбувшись, лобызать себя не дал. Прошествовал вверх по лестнице, ворвался в зал для церемоний, где с разбега парюю комплиментов да парюю анекдотов обаял директрису дворца, каковая должна была вести наше нынешнее марьяжное предприятие.

На лестнице же в любую секунду могло возгореться пламя, даже без всякой искры. Искр, впрочем, было тоже предостаточно. Двое детей Бориса Наумовича, хоть стояли немного в стороне, но в выражениях себя не стесняли.

– А чё так воняет? – сказал Саша, брезгливо поведив носом.

– Да ну, дохлятины тут понатащили!.. – пожал плечами Паша.

– Если нас здесь так будут третируют!.. – взвизгнула какая-то покойница, относительно неплохо сохранившаяся (должно быть, из свежих). Так что её с некоторою натяжкой можно было даже принять за живую, пускай только не совсем трезвую или не совсем здоровую, гражданку.

– А я предупреждала, что так и выйдет! – громко отвечала той ветхая старуха, от долгого лежания во гробе сделавшаяся уж совершенной мумией.

– Все там будете, все там будете! – бормотал ещё некий мёртвенький старичок, будто бы даже весело.

– И я тоже предупреждал! – гаркнул Иван Никифорович. – Только я о другом предупреждал. Правда, Доломяга? – обратился он за солидарностью к художнику.

– Да, он предупреждал, – подтвердил Фёдор Васильевич.

– Анна Лукинишна!.. – укоризненно говорила тётка Олюшка.

– А что – Лукинишна! – обиделась её родственница. – Я им говорила, чтоб не пёрлись всем скопом! Да они разве послушаются?

– Друзья, не спорьте, не ссорьтесь! – сделала попытку примирения Лариса Борисовна. – Это такой важный день в жизни всякого человека!..

– Тогда пусть нас не третируют! – крикнула покойница, затеявшая всю сию перебранку. – Можно подумать, мы здесь гости второго сорта.

– Никто такого не говорит! – заверила тётка Олюшка. – Все вам рады! Вон и невеста рада! Правда, Настенька? И жених тоже рад!..

– Не... не... не... – замотал головою Петенька. И это могло означать что угодно – как согласие, так и категорический отказ.

– Вот! – истолковала сие в нужную сторону тётка Олюшка. – Очень рад.

– Художник, – развязно обратилась к Доломяге Настенькина мать, – а нет ли у вас с собой немножко винца? Я бы, пожалуй, выпила!.. Как в прошлый раз!..

– Мама! – недовольно сказала Настенька.

– У Ивана Никифоровича есть, – отговорился Доломяга. – Я видел. Только не вино, а коньяк.

При разговоре о коньяке Фёдор Васильевич вдруг ощутил в груди скороспелый мечтательный позыв и некоторое произвольное томление духа.

– Не дам! – крикнул Шоколадов. – С Доломягой я бы ещё поделился. Стаканов нет, а я не со всяким могу из одного горла пить!..

– Вот! – крикнула самая вздорная и обидчивая покойница. – Вот у них как!.. Теперь они с нами из одной посуды пить брезгуют!..

Покойники зашумели, заволновались и стали даже немного сдвигаться в сторону живых. Едва ли не с угрозой.

– И нечего здесь!.. – напрягся Шоколадов.

Живые стали произвольно собираться будто бы в кучку. Но тут вдруг заиграла музыка, и нашу компанию стали приглашать в зал. В вестибюле же внизу уже сбредалась, собиралась новая свадьба.

В зале, куда сошли все гости, воздух сразу же сделался тяжёлым. Шторы, какими были завешены окна, оказались довольно плотными, отчего, несмотря на жаркий пламень полусотни свечей, здесь был будто бы церковный полумрак. Борис Наумович сверкал зубами, стёклами очков, перстнем и запонками и выглядел весьма авантажно. Не хуже выглядела директриса. Всё собрание ей, конечно, не нравилось. Дошли, доползли до неё уже слухи, кто были собравшиеся (по крайней мере, часть из собравшихся). Да у неё ведь, собственно, и свои глаза есть. Понятно, для чего им нужен был полумрак!..

Вот, наконец, гости расставились по местам. Немного беспорядочно, конечно, но на всех свадьбах бывает тот или иной беспорядок. Директрисе не нравилась невеста, она вглядывалась в наштукатуренное Настенькино лицо, та же отворачивалась в некотором смущении. Боже! Неужели и невеста тоже из этих?! Да что же такое происходит сегодня?! Ведь это же вообще ни в какие ворота!.. Но Борис Наумович (свидетель) смотрел на директрису так спокойно, так убеждённо, тётка Олюшка (свидетельница) же устало и так умоляюще, что директриса начала даже сомневаться в своих глазах. Тётка Олюшка смерть как боялась скандала, разоблачения. Ей казалось, что вот-вот оно всё и начнётся: крики, возмущение, выяснения, чего доброго, вызовут и полицию... А что же будет, когда выяснится, что невеста – покойница? Жених – идиот – это ладно, это не преступление; все женихи – идиоты; вернее, многие – идиоты! Но ведь, поди, выдать замуж мёртвую – самая настоящая уголовщина! Не может быть, чтоб это было разрешённое законом деяние! Ужас, ужас!..

– Давайте начинать! – театральным шёпотом, со сжатыми губами, предложил Борис Наумович.

– Я сама знаю!.. – отвечала директриса с некоторым раздражением. Но тут же начала.

Гости подобрались, посмирнели. Иван Никифорович потихоньку отошёл в сторону и изрядно отхлебнул из своей заветной бутылочки.

– Сегодня – торжественный день, – звучным, поставленным голосом говорила директриса. – Сочетаются законным браком Пётр...

– Вельзевулович... – вернул свою коронную шутку Борис Наумович.

Директриса запнулась. Ей показалось, что она ослышалась. Не мог этот приличный человек, врач, сказать вот этакое.

– Пётр... – повторила женщина и добавила вдруг то, что говорить и не собиралась, да и не положено было это ей говорить: «Раб Божий!..»

Борис Наумович кивнул головою весьма, кажется, довольно.

– И Анастасия... – сказала директриса.

– Тоже раба Божья!.. – подтвердил Борис Наумович.

– Да, – сказала директриса. – В присутствии свидетелей!..

Тут Борис Наумович и тётка Олюшка подняли руки, как на алгебре или на чистописании, показывая, что они-то свидетели эти самые и есть.

– ...родственников... – сказала директриса.

– Я!.. – заволновалась Настенькина мать. – Я – мама!

Директриса мельком взглянула на неё и тут же отвела глаза.

– И я – родственник!.. – сказал Борис Наумович.

– ...гостей... – гнула свою линию директриса.

– Покойных! – громко сказал Шоколадов.

– Опять начинается! – взвизгнул кто-то из покойников.

– Что вы сказали? – переспросила директриса.

– А что, собственно, начинается?! – непокорно говорил Иван Никифорович. – Можно подумать, оно только теперь началось!

– Сегрегация, сегрегация! – завизжала покойница.

– Не будем отвлекаться! – звучно говорила директриса.

– Не будем! – сказал Борис Наумович.

– Это день, который каждый запомнит на всю жизнь... – продолжила женщина.

– И смерть, – сказал Шоколадов.

На него обернулись и зашикали.

– В этот день соединятся два любящих сердца... С этого дня всегда и везде, в горе и в радости, вы будете идти рука об руку, до тех пор, пока смерть не разлучит вас!..

– Чего бы ей разлучать?! – мизантропически сказал Шоколадов. – Когда она вот соединяет...

– Иван! – укоризненно говорила тётка Олюшка.

– Кто соединяет? – громко спросила директриса у приставучего Шоколадова.

– Кто-кто?! – в сердцах отвечал Шоколадов. – Смерть, конечно!

– Так, по-вашему, я – смерть, что ли? – возмутилась та.

– Я этого не говорил! – хладнокровно отвечал Иван Никифорович.

– А что же вы говорили? – спросила директриса. – Ведите себя приличнее!

– Да, Иван Никифорович, – внезапно вмешалась и Лариса Борисовна. – Так мы никогда не закончим.

Шоколадов пробурчал в ответ что-то невразумительное, после чего, красный и злой, отошёл в сторонку, чтобы вновь приложиться к бутылочке. За ним увязался и Доломята. Художник выразительно посмотрел на Шоколадова. Тот без слов протянул бутылку художнику. Фёдор Васильевич отхлебнул, потом отхлебнул и Иван Никифорович.

– Согласен ли ты, Пётр... – начала директриса, тут и Борис Наумович приоткрыл рот, будто собираясь что-то вернуть, и женщина машинально продолжила: «...Вельзевулович... взять в жёны Анастасию?»

– Рабу Божью!.. – удовлетворённо кивнул головой главный врач.

– Да куда же он денется! – сказал Иван Никифорович Фёдору Васильевичу, отчего оба хмыкнули. Как хмыкают всегда два русских человека, только что принявших на грудь определённую дозу жидкости, отчего их тут же пробивает на иронический стих, и всё окружающее представляется им забавным и несерьёзным.

– Бы... бы... бы... – забормотал Петенька.

Строго говоря, это не слишком походило на «да»!..

– Всё в порядке, – снова кивнул головой его дядюшка. – Я – свидетель, я его хорошо знаю, он так своё согласие выражает.

– Хорошо, – согласилась директриса. – Согласна ли ты, Анастасия... раба божья, – снова нештатно говорила служительница, – взять в мужа Петра Вельзевуловича? – да, странное, странное отчество у жениха. Хотя... а что в нём странного, если вдуматься? Должно быть, обычное еврейское отчество!..

Настенька выступила немного вперёд и взглянула на директрису, отчего у той даже похолодело сердце.

– Эх!.. – сказала невеста. – Обошлись со мною подлые люди... так, как ни с кем обходиться не положено...

– Это к делу не относится! – сварливо говорила Анна Лукинишна, негласный куратор потустороннего люда.

– А ты, Лукинишна, рот-то не затыкай! – огрызнулась Настенькина мать. – Поди, невеста всё-таки речь держит, а не хвост собачий!..

– Если и невеста, то всё равно по делу должна! – ничуть не струхнула Лукинишна. – Об главном девушку спрашивают: согласна аль нет!

– Согласна! – отвечала Настенька.

– Подойдите – распишитесь в книге! – сказала директриса.

Молодые подошли. Сначала расписала Петенька. Обратным концом ручки; но его тут же поправили: показали, как писать правильно. Потом – Настенька. Рука невесты была в перчатке, по перчатке ползла гусеница. Гусеницу директриса предпочла не заметить.

– Теперь – свидетели!

Расписались и Борис Наумович с тёткой Олюшкой, эти без приключений, разумеется.

– Пётр Вельзевулович и Анастасия... Раба Божья, объявляю вас мужем и женой! – возгласила директриса.

Тут, как водится, подлый Мендельсон грянул отовсюду, от стен да из-под потолка. Много народу было в мире окручено, окольцовано, околпачено под эту гнусную музыку, и всё звучит и звучит, миллионы раз извергается она, тошнотворная, безжалостная, подминая под себя человека, истребляя неясные их надежды, уничтожая свободные их помыслы...

– Ур-раа! – загремело на весь дворец сочетаний. Особенно были слышны голоса Доломаги и Шоколадова, смутьянов и *бесчинщиков*.

От Фурштатской до Боровой доехали без приключений. Спасибо Борису Наумовичу, он помог с транспортом. Были две санитарных машины и ещё автобус с известною чёрною окантовкой по борту. Все три колымаги украсили воздушными шарами и цветными лентами – смотрелось сие странно, но выразительно. Живые кое-как разместились в машинах, покойников же затолкали в автобус.

Молодых в квартире встретили рисом. Кидали крупу Макаровна, её дочь и старуха Крапивина. Первые две кидали щедро, полными жменями, старуха же кинула раз, в другой раз махнула уже пустой рукой, а потом, неприметно оглянувшись, ссыпала всё оставшееся себе в карман. Расколотили пару фужеров, как водится. Да на том и успокоились.

– Чё так долго? – накинулась тут же на ввалившуюся толпу Клавдия Макаровна. А толпа-то была не хороша, тут же заметила женщина. Сплошные покойники, зелёные, разложившиеся, иссохшие. Словом, тьфу! – а не гости. – Всё уже на столе давно, – сказала ещё Макаровна, – мухи летают, а гонять их некому!..

– Откуда ещё мухи? – с изрядною расстановкой возмутился пьяненький Шоколадов. – Какие тут ещё мухи?

– Спроси у них! – бросила тому супруга. – Давайте, гости дорогие, мойте руки и за стол! – тут она сотворила самую кислую мину, на которую только была способна.

Монстр по обыкновению сидел в засаде под потолком. Явно намереваясь на кого-то напрыгнуть. Скорее всего, на невесту. Борис Наумович вовремя заметил готовящийся манёвр и строго погрозил монстру пальцем. Витя одумался, виновато сполз по стене на пол и завилал тем, что было у него вместо хвоста – нештатно присосшей в районе копчика ключицею.

Стол на кухне ломился от яств, немудрёных, но обильных. Закусить после такого паскудного бракосочетания было, конечно же, весьма кстати. Слюнки теперь текли у всех (не только у идиота Петеньки).

– Ты, Макаровна, живых сюда сади, к окну ближе, а ротозеев этих – у выхода! – распорядился Шоколадов, не вполне трезвым своим оком быстро оглядевший всю диспозицию.

– Сами садитесь, где хотите! У меня других дел много! – буркнула Клавдия Макаровна.

Выходка же Ивана Никифоровича не осталась безнаказанною. Какая-то престарелая покойница незаметно подобралась к нашему смутьяну и тяпнула его зубами за плечо. Хотела тяпнуть и

другой раз, но нижняя челюсть тут выпала у неё изо рта, и покойница едва сумела поймать её рукою.

– Ты что тут кусаешься? – завопил Шоколадов.

– Не смей хулиганить! А то выгоню!.. – поддержала его Макаровна. – Пойди зелёной помажь, – посоветовала ещё она. – Мало ли, какую они заразу разносят!..

Расселись всё равно так, как сказал Шоколадов.

Живых и мёртвых оказалось примерно одно число. Среди живых же были не только жильцы квартиры, но также и иной случайный люд. Соседи по площадке, какие-то дальние родственники тётки Олюшки, кое-кто с работы Бориса Наумовича, Алёшенька зашёл в гости к Ларисе Борисовне и был усажен за стол. Были и такие, про кого и вовсе невозможно сказать, кто они. Так на всяком русском застолье случается: непременно затешется туда двойка-тройка личностей, никому не ведомая и вовсе никакого отношения к событию не имеющая. То ли – обыкновенные любители выпить на дармовщину, то ли сам чёрт подсылает иных своих мелких представителей для соглядатайства над родом человеческим, для смущения человеков – поди, разберись!..

Тут Борис Наумович понемногу стал забирать бразды правления в свои холёные руки.

– Что ж, господа и дамы, живые и неживые друзья мои! – объявил он, вставая из-за стола и держа двумя пальцами фужер с шампанским за тонкую его ножку. – Полагаю, мы можем продолжить матримониальную часть нашего торжественного предприятия.

– Можем, можем!.. – послышались отовсюду беспорядочные голоса.

– Долго мы шли к этой минуте, – меж тем продолжил главный врач. – Преодолевая сопротивление... – тут Шоколадов заёрзал на месте, собираясь, кажется, по обыкновению повольтерьянствовать. – Продираясь сквозь тернии!.. Много было сомнений!.. Раздавались даже панические голоса. Но мы были неуклонны! И вот мы здесь!.. Вот рядом сидит племянник мой Пётр... Вельзевулович. Жених. И прекрасная невеста его Настенька, – Борис Наумович улыбнулся своей известной саблезубой улыбкой. – Петенька... с беспримерным и восхитительным его идиотизмом... с его непритязательностью, с его полётами... за то короткое время, что он обитает в этой славной квартире, сумел стать достойнейшим её (квартиры) жильцом!..

– Да уж! – циничски говорил Шоколадов, не упуская ни слова Бориса Наумовича.

– Всякая квартира могла бы гордиться таким Петенькой! – воскликнул Борис Наумович.

– Мы тоже гордимся, – звучно говорила вдруг Лариса Борисовна. Алёшенька под столом украдкой пожал её руку.

– Да? – переспросил тут же Борис Наумович. – И чем же?

– Тем, что Петенька такой необычный, – нисколько не растерялась артистка.

– Да и Настенька тоже... – говорил Борис Наумович.

– Что?

– Красавица, – говорил Борис Наумович. – Такой женой может гордиться всякий мужчина.

– Несомненно!.. – согласилась Лариса Борисовна.

Иван Никифорович сидел с поднятым в ожидании фужером и сердито сопел. Он видел, что и Доломяга тоже маялся. Доломяга, однако же, маялся не только известной русской жадой, при которой всякая минута, прожитая в трезвости (или в недопитии), кажется бесцельно прожитой минутой, кажется минутой, вычеркнутой из жизни, но также, пожалуй, и духовной жадой, известной, в частности, и Пушкину (той самой, что толкнула поэта в объятия шестикрылого серафима, явившегося на перепутье). Доломяга томился обилием фантастических образов, открывшихся теперь перед ним, образов, пригодных для запечатления. Прежде в нём жила мания эскиза, наброска, детали (отсюда-то все его рты, шиколотки и проч.), а ныне же явилась ему чёртова уйма великолепных портретов, фигур, сцен. Каждый из покойников был хорош по-своему. Такая у них у всех мимика, такая жестикуляция, такая фанаберия, такая психология, подземная, нечеловеческая!.. Всё это просилось на бумагу, на картонки, на холсты. В принципе, проступала дилемма: пить или работать. Приходилось же не пить и не работать, а слушать Бориса Наумовича с Ларисой Борисовной. Ну и, конечно, смотреть, внимать, запоминать!..

Фёдор Васильевич пригубил из своего стакана. Глядя на него, будто дождавшись сигнала, пригубил из стакана и какой-то старикашка-покойничек. И тут же скривился.

– Гадость какая! – крикнул он.

– И у меня гадость! – крикнула ещё одна покойница. – Чё такое вообще налили!.. Сволочи!..

И тут вдруг над столом разнеслось, сначала беспорядочное, после же окрепшее и разгульное, знаменитое русское «горько!»

Петенька, по идиотизму своему, кажется, растерялся. Его подтолкнули под руки, вынудив встать. Петенька встал. Встала и Настенька. Жених недоумённо хлопал глазами и бездумно поигрывал конечностями, а «горько!» всё громыхало, всё неистовствовало, оно делалось угрожающим. Тогда Настенька притянула к себе голову своего избранника и впиалась, всосалась своими густо накрашенными губами в его губы. Петенька замычал – от боли или от удовольствия (или от того и от другого сразу), безумный же сей поцелуй всё длился, он казался бесконечным, казалось, в продолжение одного этого поцелуя можно было родиться, взрасти, возмужать, состариться, да и благополучно сыграть в ящик, вот каков был сей поцелуй! – и, наконец, собравшиеся сжалились над молодожёнами, послышалось нестройное «сладко!», хотя что уж там было такого сладкого? кто-то пил шампанское, кто-то же сразу и водку; шампанское ещё туда-сюда, водка же явно не сладка! но таковы наши традиции – никуда нам не деться от наших традиций! традиции же указывают нам и водку почитать сладкою; вот поцелуй жениха и невесты распался, и все выпили, на законном уж теперь основании.

Тут же общество припало и к закускам. Несколько минут не было слышно никаких внятных речей, но только лишь чавканье, чмоканье, прихлёбыванье, стук вилок, ложек, ножей и иные, неизбежные в таких случаях звуки.

– Спервоначалу и нас сомнения забирали, – говорил старичок-покойник, похрустывая капусткой.

– Что за сомнения? – вопрошала тётка Олюшка, считавшая себя обязанной участвовать в общем разговоре.

– Отдавать ли нашу Настеньку за Петра Вельзевуловича, коль он так умом прост, – пояснил старичок.

– Ну, ты, Фёдорыч, смотри, сильно не заговаривайся! – на всякий случай одёрнула того Анна Лукинишна. – Любишь ты что-то не то завсегда спорить, я тебя знаю!..

– Я и не заговариваюсь! – огрызнулся сей старый покойник.

– Привыкли мы к Настеньке, полюбили её, – сказала ещё покойница, сидевшая рядом со старичком.

– За отзывчивость её, за молодость да за красоту, – снова говорил тот.

– За судьбинушку её лютую, – прибавила покойница.

– И за судьбинушку, – кивнул старичок своей едва не рассыпающейся от ветхости головой. – А потом взяли в рассмотрение, какой у Пети замечательный дядюшка..

– Достойный и просвещённый... – сказала покойница.

– Тут-то всем нашим сомнениям и конец! – подвёл черту старичок.

– Выду я, выду в чисто полюшко,

Погляжу я на все сторонушки,

Буду я кликать свою доченьку,

Ни окликнется ена, ни оглянется..

– попробовала было заголосить старуха Крапивина, но была тут же одёрнута обществом. Обществу хотелось выпивать и закусывать, дань же традициям отдали чуть-чуть, ну и довольно!

– Да хватит тебе уже, старая! – прикрикнула на неё и Настенькина мать. – Сама не знаешь, что голосишь!

Лидия Павловна стушевалась.

– Долямяга, как тебе всё это безобразие? – спросил через стол Иван Никифорович.

На миг все смолкли.

– Сам же говоришь: безобразие! – с нетрезвою солидарностью отвечал Фёдор Васильевич.

– Это ещё почему – безобразие? – вопрошала одна обидчивая покойница.

– Потому – безобразие! – твёрдо отвечал Шоколадов. – Что ж ещё?

– А вы бы оба не болтали, а разливали лучше! – дипломатично посоветовала Клавдия Макаровна. – И за дамами ухаживайте!

Разливать и за дамами ухаживать – это, конечно, можно. Плохо, что дамы были не только живые, но также и мёртвые – это-то всю картину портило. Мёртвую даму иной раз за даму принять затруднительно (во всяком случае, выпито было ещё не столько).

Налили по очередной.

– Так почему ж всё-таки «безобразия», дорогой вы наш Иван Никифорович? – весело полюбопытствовал Борис Наумович, подхватывая тарталетку своими длинными артистическими пальцами.

– Безобразия, и объяснять здесь нечего! – грубо отвечал квартирный смутьян.

– А по-моему, так это предрассудок, и ничего больше! – с какою-то иронической непримиримостью говорил главный врач.

– Предрассудок, предрассудок! – возбуждённо задёргался старичок-покойник. – Борис Наумович это понимают!.. Они наш-с, наш-с, очинно даже наш-с!..

– Великого ума господин! – подтвердила обидчивая покойница.

– Безграничного-с!..

– Польщён, польщён! – кивал головою Борис Наумович.

– Жечь надо эту публику, – заметил будто бы про себя Иван Никифорович. – Пепел хоть шастать попусту не будет.

– Как знать, как знать! – усомнился главный врач.

Алёшенька всё ухаживал за своею Ларисой Борисовной, подливал ей вино (они пили шампанское), ухаживал заодно и за парюю покойных соседок. Ловко, изящно всё это у него выходило; со всем как у взрослого.

– Ах, какой славный мальчишечка! – сказала одна покойница другой (не покойница, а мумия настоящая), Лариса Борисовна недовольно покосилась на тех.

Тут кое-кто заметил, что Настенька положила голову своему избраннику на плечо и сидела так. Петенька же держался чрезвычайно прямо, и на лице его застыло блаженно-торжественное выражение. Словом, сцена была умилительною.

– Оно, конечно, кто о чём, а шивый о бане, – несколько прокашлявшись, сурово начал Шоколадов. – Но всё ж не могу не заметить: крайне хотелось бы, чтоб отныне гостей, так сказать, было поменьше!..

– Каких гостей? – невинно осведомился главный врач.

– Да вот всё тех же... – в сердцах отвечал Иван Никифорович. – С подземной, так сказать, стороны.

– Да, а вы к нам в гости ходите? – возмущённо выкрикнул старичок-покойничек.

– Это ещё куда? – хладнокровно спрашивал Шоколадов.

– На погост-с!..

– Это другое, – попробовал уклониться Иван Никифорович.

– Нет, скажите: ходите? Ходите? – настаивал гадкий старикашка.

– Я лично к вам не хожу! – твёрдо отвечал Шоколадов.

– А вы демагог, милейший! – добродушно сказал Борис Наумович и чокнулся с Иваном Никифоровичем. – Ваше здоровье!

– У вас учусь, – ничего другого не оставалось отвечать Шоколадову.

Тут вдруг произошёл какой-то толчок, будто бы содрогнулись пол и стены. Бултыхнулись все жидкости, завибрировала посуда и даже немного поехала по столу.

– Что такое? Что это ещё? – спросил кто-то. Но движение тут же прекратилось.

Выпили ещё по одной. Беспорядка прибавилось, языки подразвязались. Заговорили даже и о футболе. Покойнички утверждали, что прежде футбол был не такой, мол, огня и азарта было поболее (хотя, казалось бы, уж если они покойники, то откуда им знать, какой теперь футбол сделался? Небось, во гробе-то у всякого из них телевизора не предусмотрено!).

– Тьфу! – плюнула Клавдия Макаровна. – Свадьба у нас, а они про всякую гадость талдычат!

– Футбол не гадость! – возразил покойный старикашка. – А необходимое уоприменение тлетворного человеческого существа.

– Всё равно – гадость! – говорила женщина.

– Ты, Макаровна, не понимаешь, – встрял и Шоколадов. – Футбол, религия и эстрада – это три кита мерзости человеческой! Три основания гнусности рода людского.

– Чё с тобой говорить! – отмахнулась та. – Долдон – он долдон всегда и есть!

– За счастье молодых! – звучно говорила Лариса Борисовна, чтобы хоть как-то унять бедлам. Хоть как-то направить в русло.

Все тут же загалдели про счастье молодых, выпили за это самое счастье.

Тут в дверном проёме появилась и какая-то тётка. Кто-то узнал в ней мадам Доломягу. Но не последнюю, а из прежних. Нина или Наташа. Или, может быть, Аня... Тётка постояла, покрутила головой.

– У вас застолье... – с завистью сказала она.

– Присоединяйтесь, присоединяйтесь! – закричали многие.

– Мне бы Фёдора Васильевича, – возразила она.

– Да вот он, вот – за столом!

– Чего тебе? – сурово спрашивал Доломяга.

– Федя, – робко говорила женщина. – На минуту бы тебя!..

Доломяге вылезать из-за стола было уж трудно, и поэтому он сказал с твёрдостью:

– Говори так! У меня нет секретов!..

Тётка подумала, потом вдруг бухнулась на колени и, простерши руки, пошла в сторону художника.

– Федя! Федя! – сказала она и неожиданно заплакала.

– Поднимите её! Поднимите! – закричали с разных сторон. – Женщина, садитесь за стол вместе с нами!

Её стали поднимать, тут же поднесли стопку, женщина заулыбалась сквозь слёзы, Доломяга же сидел с закушенной губой. Женщина уселась за стол, хотела было уж выпить, но тут у её покойной соседки случайно отвалилась ветхая шуйца. Женщина взглянула на упавшую руку, вздохнула прерывисто и вдруг бухнулась в обморок.

Шоколадов кряхтел громко и вызывающе.

– Доколе? – прогромыхал Иван Никифорович.

– Дотолё! – невозмутимо отвечал Борис Наумович.

– Доломяга, – сказал кто-то, – твоя мадам тут в обморок шлёпнулась. Иди давай, сам её откачивай!

– Я не «скорая помощь», чтобы всех откачивать, – некультурно говорил Фёдор Васильевич. Видно, зуб он изрядный имел на прежнюю свою пассию.

– Ну, знаете, – громко возмутилась безшуйцевая покойница. – Их мадамы в обморок падать будут, а они их даже откачивать не хотят!

Две молодых покойницы стали поднимать женщину.

– Кобенятся только тем, что живые, – пробурчала одна из покойниц. – А сами... посмотрите на них!..

– Дрянь, а не живые!.. – согласилась другая.

– А я вот ещё раз спрашиваю: «Доколе?» – пророкотал Шоколадов.

Борис Наумович что-то столь же спокойно собирался ответить. Но тут один из гостей в дальнем конце стола... он всё прятался за чужими головами – высунул несколько неосторожно, и Шоколадов его заметил...

– Что?! Ах ты, подлый!.. – заорал он.

– Где – подлый? – меланхолично спросил главный врач. – Кто – подлый?

– Там – подлый! – крикнул Шоколадов. – Только прячется!

– Кто?

– Да Григорьев этот! Олег!

– Поэт, что ли? – спросил главный врач.

– Поэт! Какой он поэт? Просто – подлый!

– Подлый, но всё-таки поэт? – уточнил Борис Наумович.

– Эй ты, подлый! Встань! Встань, говорю! – заорал Иван Никифорович.

– Это я – подлый? – немного даже обиделся Олег Григорьев, и вправду вставая.

– Ты! Ты! Договора, значит, любишь подписывать! Вот тебе твой договор, собака! – крикнул Шоколадов и кинул в Григорьева тем, что попало ему под руку. А попало ему тяжёлая толсто-стенная стопка.

Стопка пролетела мимо головы Олега Григорьева и ударилась в стену.

– Промазал! Промазал!.. – обрадовался Григорьев. – Руки не с того места растут! А ещё о Нобелевской мечтаешь!..

– Я тебе покажу: не с того места! – крикнул Шоколадов, кинул огурец и на сей раз попал. Прямо в скулу покойного поэта.

– Ты что же творишь?! – заорала Клавдия Макаровна. – Совсем мозгов лишился?

– Иван! – укоризненно сказала тётка Олюшка.

Борис Наумович, кажется, только посмеивался.

– А вы бы, Борис Наумович, подлечили его немного, – попросила Клавдия Макаровна. – Видите, что вытворяет!..

– Увольте! – возражал главный врач. – Белая горячка не по моей части!..

– Слышал, Никифорыч? – сказала Макаровна. – У тебя – белочка!

– Подлый! Подлый! – кипятился Шоколадов. – Ещё договора подписывает!..

А Григорьев, ухмыльнувшись весьма неприлично, достал из кармана небольшую желтоватую пластинку... ноготь, ноготь Ивана Никифоровича он из кармана вынул! Подобрал его, должно быть, на улице, когда Шоколадов в форточку выкинул. Помахал издали ногтем, выпил неторопливо на посюток и предспокойненько себе удалился.

– Посидим ещё как-нибудь, Никифорыч! – развязно сказал он на прощание. – Пивцом попрыскаем!..

– Подлец! Подлец! – ревел Шоколадов.

– Тихо! – крикнул вдруг Борис Наумович. – А то руки за спиной свяжем!

Двое подручных его детин – Саша и Паша – стали угрожающе подниматься, готовые крутить и вязать Ивана Никифоровича.

– Ладно, Иван, – сказал тому и Доломяга. – Хватит тебе!

Шоколадов несколько уgomонился. Сраму же меньше не делалось. Появились вдруг и квартиранты, Семён Иммануилович и Фридрих Карлович, оба в инженерских робах и в касках.

– Эт-то что ещё такое? – снова загремел Шоколадов, только что как бы пришедший в норму.

– Мы на минуточку!

– На секундочку!

– Молодых поздравить!..

– И сразу обратно!..

– У нас такая запарка!..

– Такой аврал!..

– Сигаретки некогда выкурить!..

– Письмо мамочке некогда написать!..

– Совет да любовь! – выкрикнул Семён Иммануилович.

– Счастья молодым! – выкрикнул и Фридрих Карлович.

Настенька встала и поклонилась. Петенька тоже встал и потоптался на месте с блаженною улыбкою.

– Ур-ра! – закричали гости.

Борис Наумович рассматривал квартирантов с пристальностью.

– Как? – вдруг тихо спросил он.

Вышла неожиданная пауза, и все услышали этот вопрос главного врача. Хотя вряд ли кто-то его и понял.

– Айн момент, – вполголоса отвечал бывший стерлитамакский чёрт.

– Всё готово, – подтвердил его моршанский коллега.

Борис Наумович едва приметно кивнул головой.

– Исчезаем!.. – заторопился вдруг Семён Иммануилович.

– Ускользаем!.. – подхватил Фридрих Карлович.

– Откланиваемся!..

– Отлыниваем!..

– Увиливаем!..

– Прощаемся!..

– Как так – «прощаемся»? – удивилась тётка Олюшка. – А выпить за молодых?

– Прохиндейчики! Прохиндейчики!.. – бормотала старуха Крапивина.

За молодых квартиранты выпили. Поднесли им по полному стакану, чуть даже не с горкой. Но недолго водка булькала, куда в желудки квартирантвы перетекала. Умеет пить подлое племя.

– Ай, хорошо, сладко, сладко! – шептались покойнички.

Шоколадов сердито закричал.

– Что такое, дорогой мой Иван Никифорович? – заботливо спросил главный врач. – Горло, что ль, беспокоит?

– Отнюдь! – с досадою отвечал тот. – Попик приходил, водой святой прыскал-прыскал, кадиллом кадил, мухобойкой кой-кого приголубил, а энтим хоть бы хны!.. Вот что обидно!

– Попик? – удивился тот. – Мухобойкой? Про такое слышу впервые! Это к вам какой-то неправильный попик приходил!..

– Зато деньги взял правильные! – в сердцах говорил Шоколадов. – Тьфу!..

– Верно! – сказал Борис Наумович. – Тьфу, тьфу на этого попика! Попик с мухобойкой!.. – ехидно и *зубопротезно* улынулся главный врач.

– Тьфу! – сказал Шоколадов.

– Тьфу! – подтвердил Борис Наумович.

Квартиранты меж тем исчезли.

– Ишь, тут растьфукались! – недовольно говорила Макаровна. – Как маленькие, честное слово!

– Освободите тарелки, гости дорогие, – сказала тётка Олюшка. – Сейчас горячее будет.

– И не только на него тьфу! – с угрозой сказал ещё Иван Никифорович.

– А на кого ещё? – спокойно спрашивал Борис Наумович.

– А на всех тех, кто к сраму сему причастен! – обвёл рукою всё собрание Шоколадов.

– Ну, таковых слишком много. Да и вы тоже небось причастны. Раз сидите здесь с нами да выпиваете!..

– И на меня тьфу! – твёрдо говорил Шоколадов. – Но и на остальных тоже!

– Ты что творишь-то тут, Шоколадов?! – в последний раз постаралась его уgomонить Макаровна.

– В колodцы во все ваши плюю! – отвечивал Иван Никифорович с нетрезвою сентенциозностью.

– То есть это вы на меня намекаете, что ли? – удивился Борис Наумович.

– Не намекаю, а прямо говорю, – сказал Шоколадов.

– И что же вы говорите?

– Говорю: тьфу! Вот я что говорю!..

– Значит, вы говорите: тьфу? – переспросил главный врач.

– Тьфу! – сказал Шоколадов. – Тьфу! Тьфу! Тьфу!..

– То есть именно на меня – тьфу?

– Тьфу! – твёрдо сказал Шоколадов.

Тут вдруг снова всё содрогнулось, теперь уж сильнее, чем прежде. Квартира или даже весь дом. Стены зашатались, пол будто подпрыгнул. Бутылки на столе опрокинулись, фужеры попадали. Все за стулья схватились, чтоб самим на полу не оказаться.

– Это что ещё такое? – крикнул Доломяга.

– Что-что? – с досадою отвечал Шоколадов. – Домотрясение!.. Эти небось устроили! – цинически ещё сказал он.

Борис Наумович внезапно захохотал, он-то уж никак не выглядел встревоженным, в отличие от всех прочих. Тут и ещё гости появились, из коридора шагнули на кухню, да и застыли в дверном проёме. Покойные сёстры Плошкины, старые девушки – Аленька и Валенька; как только тряхнуло, так они уцепились за косяки дверные, да и застыли так.

– Аленька!.. – испуганно сказала тётка Олюшка. – Валенька!.. И вы здесь!..

– Сороконожки... сороконожки притюхались!.. – тщётно пробормотала старуха Крапивина.

– Ну, сестрички, – важно сказал Шоколадов. – Почто с того света пожаловали? Молодых поздравить, аль к застолью нашему примкнуть?

– Книга... – прошипела Аленька. – Где книга?

– Где моя книга? – прошипела и Валенька.

– Где моя книга? – прошипела снова Аленька.

Тут она схватилась за что-то (а это были волосы старенькой-престаренькой покойницы, сидевшей у самого края стола) и потянула. Голова у покойницы оторвалась и покатила по полу. Валенька тоже схватила что-то и потянула, но это была клеёнка на столе Ларисы Борисовны. Посыпалась на пол посуда. Мёртвые сестрички казались незрячими. Но цель у них, должно быть, была определённю.

– Дайте им книгу! – крикнул Борис Наумович.

– Какую? – спросила Клавдия Макаровна.

– Любую, – отвечал тот.

Все засуетились. Книги были, в основном, в комнатах, а как туда пройдёшь, когда сестрички эти покойные проход собой загородили? У тётки Олюшки нашлась поваренная книга, старая, довоенная ещё, большого формата.

– Эта пойдёт? – взволнованно вопрошала она.

– Пойдёт, – отвечал Борис Наумович. – Вот ваша книга! – громко и убеждённо сказал он Аленьке и Валеньке.

Аленька первую схватилась за книгу, тут же ощупью книгу отыскала и Валенька, и тоже схватилась за неё с другой стороны.

– Книга... – шепнула одна сестра.

– Моя книга... – шепнула и другая.

Тут они обе потянули книгу, каждая в свою сторону и – хрясь! – та разлетелась пополам.

Прижала Аленька свою половину к груди, да и пошла себе восвояси, будто бы удовлетворённая. Также и Валенька...

– Вот как надо с этими гостями управляться! – спокойно сказал Борис Наумович, по преимуществу, смутьяну Шоколадову.

– Эт-то не все гости! – крикнул тот. – Эт-то отнюдь не все гости! Тут ещё много других!..

– Нас тут опять попрекать будут! – с возмущением говорила Настенькина мать. – Что ж такое!.. Что ни живой – то мразь этакая!..

– Это кто это здесь мразь? – заорал Шоколадов.

– Не надо, – тихо вдруг сказала Настенька. Но её все услышали. Все на мгновение замолчали, и потустороннее слово невесты было очень отчётливым. – Вы нас долго теперь не увидите. Мы с Петей моим в путешествии свадебное уезжаем!..

– И куда, позвольте полюбопытствовать? – вежливо спросил Доломагя.

– За границу? – предположила Лариса Борисовна. – В Испанию?

– В Португалию? – спросила Макаровна.

– В Арабские Эмираты? – спросила одна из покойниц.

– Под землю, – тихо и будто устало отвечала Настенькина мать.

– Под землю, – сказала и Настенька.

– Туда и дорога! – мрачно сказал Шоколадов.

– Амины! – сказал главный врач.

И тут вдруг в третий раз встряхнуло. И этот толчок был самым сильным. Стены ходили ходуном, попадало всё, что висело на них. Казалось, из дома вытрясают его душу – таким был этот

толчок. Все повскакали с мест. Под женихом и невестой пол стал как будто проседать, разверзаться. Как если бы они прямо теперь вознамерились отправиться в своё подземное свадебное путешествие. Да так, впрочем, наверное, и было. Вот стулья жениха и невесты полностью ушли под пол, сами же Петенька и Настенька были при том не то, что спокойны, но как-то обречённо спокойны. С лица Петеньки даже как-то сами собою стряхнулись все его идиотические принадлежности. И сделался он вроде даже хорош собой; правда, кажется, потусторонне, подземно хорош собой. Самая привлекательность его не была уж несколько человеческою. Вот жених и невеста ушли по грудь, вот мгновение только одни их головы возвышались над полом, вот скрылись и головы. Заглянуть же в этот провал, в эту бездну, никто не рещался.

С криками «домотрясение! домотрясение!» гости бросились врассыпную. В основном, конечно, сторонились провала, в коем только что сгнули Петенька с Настенькой, но не все, отнюдь не все. Некоторые покойники с охотой сигали туда. Дым, дух пламенный и клубы пыли валили из бездны.

– Всем по комнатам! И сидеть там! – гаркнул вдруг Борис Наумович, и это было последним, что от него вообще услышали. И это же было руководством к действию. Кое-кто из жильцов собирался бежать из дома, но тут задержался, изменил направление.

– Алёшенька, беги, беги! – крикнула Лариса Борисовна, подталкивая того к выходу.

– А ты?

– Я потом, потом!

– Нет! Мы вместе! Вместе!

– Беги! Скорей! Скорей!..

– А куртка? – крикнул Алёшенька. Куртка его была в комнате Ларисы Борисовны.

– Я сейчас! Я тебе вынесу!

Тут они разбежались в разные стороны. Монстр метался по коридору, мешая разбегающимся гостям.

– Де... де... дефолт! Дефолт! Деноминация!.. Деноминация!.. Кризис!.. Кризис!.. – беспорядочно выкрикивал тот.

Шоколадов бежал по коридору первым, за ним дочь его – Зойка, позади всех уж ковыляла Макаровна. Шоколадов растянулся по дороге, но быстро поднялся, потом растянулась и Макаровна. Долго-долго поднималась она, дочь ей пыталась помочь, и Лариса Борисовна тоже; Иван Никифорович того и не увидел. Тётка Олюшка, взволнованная, со стукающим сердцем, спешила к себе.

Через минуту кухня была уж пуста. Куда делся Борис Наумович, главный врач (да чёрт! чёрт! главный чёртов верховода, а не только главный врач!) и мутные его помощники – не видел никто. Так и закончилась бесславно сия безумная, срамная свадьба.

Домотрясение

«Шишига» с её европейской предусмотрительностью укрывала до поры до времени всё замышляемое от посторонних глаз. Леса были обтянуты синтетическою холстиной, а уж что под холстиной происходило, было известно только лукавому шишигиному персоналу. Работы велись с особенною поспешностью, но всё же едва успели к Петенькиной свадьбе. С благословения Бориса Наумовича начали...

В подвале собралось множество почётных гостей нечистого звания. Щёлкали вспышки. Момент был волнующий. Разрезали ленточку. На кнопку же нажимал технический директор «Шишиги», нарочно по такому случаю выписанный из Голландии (или Германии). Сказал он что-то на своём языке, вроде – сострил, да и нажал своим крючковатым пальцем с гнусным европейским маникюром на огромную красную кнопку на специальном переносном пульте.

Машины дружно загудели, закрутились колёса, зашелестели шкивы, захлопали огромные насосы. Сразу что-то пошло наперекосяк, несмотря на западные технологии. Но результаты по расчистке канала обнаружались почти тотчас. Из глубины, из недр повеяло двуокисью серы, потянуло дымом (впрочем, кондиционеры пока справлялись), огненные сполохи замелькали на потолке. Потом послышались чавканье, хлюпанье, бульканье, гадкие возгласы, паршивые бормотания, мерзкие смешочки, и внезапно из растревоженного подземелия высунулась лохматая головёнка небольшого наглого чёрта.

Чёрт проворно осмотрелся, увидел своих, захихикал, заёрзал, заюлил, выпрыгнул весь. Где тут же был обласкан и привечен его наземными братьями. После высунулся и другой, вот же образовалась и небольшая давка из нечистой братии. Кто-то попытался сигануть и отсюда – туда, то есть вниз (разумеется, из любопытства). Стало понятно, что надо наводить порядок. Таможня, паспортный контроль, визовый режим и тому подобное. Братство и единение подземного и наземного миров – конечно, хорошо (сие событие, пожалуй, поважнее объединения двух Германий выйдет), но неразбериха, отсюда проистекающая, могла оказаться чудовищной.

Немало в тот день по улицам города, по его подворотням шныряло гадкого косматого люда. Отребье хвостатое, рогатое, шерстистое, копытистое – стало наполнять Петербург. Добился своего проклятый Петенькин дядюшка! Интрига его состоялась. А что же наша квартира? О, это самое скверное!

Квартира сотрясалась весь вечер. Давно уж, кажется, дом должен был рухнуть, но каким-то чудом всё же держался. Жильцы разбежались по комнатам. Но не безропотно, отнюдь не безропотно! Лариса Борисовна хотела вынести Алёшеньке куртку. Но... что же такое? Она не смогла даже выйти из комнаты. Не было двери. Комната её вся искривилась, перекосилась, один угол соединился с другим, комната сделалась не прямоугольной, а... впрочем, чёрт её знает, какой она сделалась: трудно описать её форму в точных геометрических выражениях. Нет у геометрии таких выражений.

Лариса Борисовна метнулась к окну. Окно ещё пребывало на месте, женщина выглянула. Там был другой мир. Боровой теперь не существовало, вместо неё зияла безмолвная метафизическая пустошь. Женщина застучала в окно, пустошь взволновалась, некоторые очертания исказились, но всё осталось прежним. Нереальным и нечеловеческим. Женщина задёрнула шпингалет, окно распахнулось.

– Алёшенька! – крикнула несчастная Лариса Борисовна. Но и сама не услышала своего голоса. Воздух сделался вроде жидкого мыла. Пространство же не подчинялось законам оптической перспективы.

Сон, это сон, сказала себе женщина, надо лишь успокоиться, и наутро вернётся всё прежнее, не может мир перевернуться в одну минуту.

Тётка Олюшка добежала до своей комнаты и потом лишь сообразила, что Анна Лукинишна где-то отстала по дороге. Хотела было повернуться за родственницей, помочь ей, поддержать... но не поворотилась. Ибо комната тётки Олюшки... перевернулась. Но не верх дном, нет! Пол стал стеною. Шагнула тётка Олюшка в комнату и мигом оказалась на стене. И буфет стоял на стене, и стол, и кровать, и стулья – всё оказалось на стене. Тётке Олюшке удобно было стоять на стене (стало быть, параллельно прежнему полу), сама гравитация предписывала ей быть в таком положении. Что ж, к этому тоже, наверное, возможно привыкнуть.

Отстала, отстала Анна Лукинишна. Хоть вообще-то – шустрая она старуха. Задержала её во время бегства глупая дамочка. Пристала как банный лист: «Вы не скажете, не скажете, где Федина комната?»

– Что ещё за Федина комната? – спросила Анна Лукинишна.

– Ну... комната Доломяги?

– На что тебе комната Доломяги, милая? – деспотически спросила старуха. (Тут-то ею и утрачена была должная динамика.)

– Очень надо.

– Что тебе от его надо может быть? – совсем уж остановилась Анна Лукинишна.

– Я хотела объяснить ему, чтобы он понял... – замялась мадам.

– Что понять-то он должен?

– Ну, он меня с Вадиком видел, всего только раз, но я хотела сказать ему, что это ничего, с Вадиком раньше было, а теперь мы просто шли, и ничего такого, чтобы он не думал, и вообще мне тот не нравился никогда, а Вадик сказал, что он ему морду набьёт, в смысле, Феде набьёт, но Вадик просто болтает, уж я его знаю, а Федя подумал, что это всерьёз...

– Ну, ты, милая, наговорила, наговорила, – сказала старуха. – А где Федина комната, я и не знаю, я здесь не живу, вот Олькину комнату знаю. Если хочешь, можем вместе зайти, у Митрофановны спросим.

– Если можно, – сказала мадам.

- Можно иль нельзя, я не знаю, – философически отвечала старуха, – а только – давай!..
- Митрофановна! – крикнула в дверь Анна Лукинишна.

Тишина.

- Митрофановна, слышь! – крикнула снова старуха, да стукнула в дверь.
- Не отвечает, – шепнула бывшая Доломягина пассия.
- Олька, оглохла?! – третий раз крикнула старуха и дёрнула ручку.

Дверь отворилась. Комнаты не было. Вместо комнаты была ночь. Звёздная, необозримая, пугающая. Звёзды виднелись повсюду – и вверху, и спереди, и под ногами. Казалось, сделаешь шаг – и тут же провалишься в ночь, в беспредельный сей космос, и будешь лететь и лететь, до скончания веков всё будешь лететь.

- Вот так, – сказала Анна Лукинишна, да осторожно прикрыла дверь. – Комнаты нету.
- Ужас какой, – сказала мадам.
- Что ж, – сказала старуха. – Пошли тогда твоего Федю искать.

Крышечка

Доломяга голову поднял и увидел перед собой Зою, которая была как будто напуганной. На черта ж нужна ему эта соплюшка, эта пигалица? Сколько ей? Пятнадцать, поди? Несовершеннолетняя, значит. Он, конечно, слышал про неё, что и огонь, и воду и медные трубы прошла, но... Словом, лучше держать её на дистанции.

- Я для тебя слишком старый дядька, малявка! Напрасно пришла, – сказал он.
- Я не приходила, – ответила девушка.

Как так не приходила? – подумал про себя Доломяга. Но, пожалуй, что Зоя не врала, тут же заметил художник. Она и не могла прийти – двери не было. Вместо двери был бок пианино. Весь переключенный, вросший в стену. Бок пианино старинного, с изящною ножкой. Далее же инструмент изгибался (и клавиатура его изворачивалась веером) и уходил в совершенную уж темноту. Да, через такую «дверь», пожалуй, что не пройдёшь. Однако же, что произошло? Откуда здесь Зоя? И что стало с его комнатой? И почему он, Доломяга, не помнит, что было час или два назад?

Чёрт, он просто заснул. Когда трясло, когда корёжило, Фёдор Васильевич умудрился заснуть. Русский человек может и конец света проспять при случае. Тут же был не конец света, но тоже что-то знаменательное. Это на него так проклятая свадьба подействовала, да напитки, что там мешались во множестве. Вот он и подустал.

Комната же его... комната была скомканною. Да-да, как бумаги лист, когда его долго в кулаке мнёшь, пытаясь сделать шарик. Коим, к примеру, можно запустить в товарища твоего, при большом легкомыслии с твоей стороны. И тахта, с которой он только что низвергся, тоже была вроде такого вот бумажного шарика. И полки, и стол, и шкаф для одежды, и картонки его разрисованные – всё сделалось скомканным.

Фёдор Васильевич попробовал походить по комнате – ходить было трудно.

- Что-то я осовел, – пробормотал он.
- Наша комната... – сказала Зоя.
- А? – сказал Доломяга.
- Она вроде цветка сделалась, рассеклась на три части!..
- Как это?
- В одной части – папаша, в другой – мать, в третьей – я...
- Вроде цветка? – переспросил Доломяга.
- Ну, или торта разрезанного...
- А ты пиво не пьёшь? – внезапно спросил художник.
- Пью, – так же внезапно ответила Зоя.

Отчего ж Доломяга про пиво спросил? Он помнил, что пиво у него оставалось. Глазами с пристальностью поводил – и тут впрямь он увидел целую пива бутыль. Всё в комнате сделалось скомканным, одно только пиво оставалось незыблемым.

- Ну, так что, – может, по пиву? – потёр Доломяга руками и на Зою взглянул выразительно.
- Давай, дядя Федя, – ответила девушка.

Это уж было кой-что, верный тон оказался вдруг найден. Фёдор Васильевич был собою доволен. Поискал два стакана, нашёл, слишком чисты они не были, он их протёр рукавом от рубашки – стали получше.

Лихо крутанул художник бутылную крышечку, слишком уж лихо. Та соскочила легко, да вот беда – закатилась куда-то под стол. Доломяга заглянул туда с досадою, но не увидел он крышечки.

Зашипело, забулькало пиво. Фёдор Васильевич даже зажмурился. Зоя стакан свой подставила под пиво с готовностью. Если б не тёплое – вообще б цены ему не было.

- Ну... – сказал Доломяга.
- Да.
- Цветок, говоришь?
- Или – торт, – соглашалась она.
- Много бедлама здесь делается, – сказал Доломяга.
- Да, – ответила Зоя.
- За окончанье бедлама, – сказал Доломяга.
- За окончанье, – согласилась с ним девушка.

Выпили.

- Под стол, что ль, закатилась, не видела?
- Под стол, – ответила Зоя.
- Нельзя пиву без крышечки, – сказал Фёдор Васильевич.
- Я слазаю, я посмотрю!..
- Сиди уж, я сам! – отвечивал джентльмен.

– Я видела и мать, и папашу, – говорила девушка, покуда художник нагибался, чтобы получше под стол заглянуть. – И они меня тоже. Мы говорили, но только дотронуться не могли друг до друга – это были три разных пространства. Я хотела выйти, я тянулась, тянулась и уж почти вышла из своего куска торта, как вдруг оказалась здесь у тебя, дядя Федя!..

Доломяга же всё не мог рассмотреть никакой крышечки у себя под столом. Тогда он опустился вовсе уж на карачки, стал заползать под стол, сделал шаг на карачках, другой... и вдруг провалился, Бог знает куда.

Провалился под землю, под почву, Доломяга срывался всё ниже и ниже, и думал, что вовсе убьётся, свернёт себе шею. Но не убился и шею себе не свернул. Крикнул он криком ужасным, которого сам устыдился. Тут и закончилось паденье его.

Очнулся в ночи, очнулся он в ельнике.

Как же он туда угодил?

Доломяга нащупал ногою дорожку средь небольших елей, дорожка же под гору шла. Он пошагал, пошагал себе, куда дорожка вела. Из-под ног его расползались испуганно аспиды, толщиной в шнурок от ботинок. Чёрные аспиды, с парюю оранжевых бусинок у каждого на гадкой головке.

Дорожка та изгибалась, описывая будто бы круг. Над головой Доломяги звёзды блистали, мрачно, обманчиво и беспричинно.

– Кхе!.. – услышал художник.

Доломяга как шёл, так и замер.

И было ещё одно «кхе!», теперь уж с другой стороны.

– Кто здесь? – возопил наш художник.

– Человек ты, аль зверь? – на то отвечивал муж, за елью ближайшей воздвигнувшись.

Принуждённое, нервное в том муже гнездилося. Лоб имел он высок, глаз – лучист, и волос – с блеском меди.

– Человек, человек! – отвечал Доломяга.

– Точно ли человек? – спрашивал и иной муж, оказавшийся за спиной Доломяги.

– Человеком рождён, – обоих заверил художник.

Второй муж был брадат, коренаст, тучен, подвижен.

- Вот, Михаил Александрыч, – тут сей муж говорил. – Он – человек!
- А можно ль верить вообще человеку? – спрашивал первый.
- Человеку вообще верить нельзя, – преклонил голову сумрачный товарищ его.
- То-то же, любезный мой Архип Иваныч! – снова говорил первый.
- Кто же ты, человек? – спрашивал Архип Иванович тут Доломягу.
- Художник, – смутно отвечивал тот.
- Русский художник? – спрашивал первый.
- Русский, какой же ещё!..
- Вот, – говорил Михаил Александрович. – Он – русский художник, и мы русские художники тоже.
- Он – поляк *воробей*^{*}, – быстро добавил второй. – Я – грек Куинджи.
- Я – Доломяга, – сказал тут пришелец. – Звать меня Фёдором. Василия сын.
- Что привело тебя, друг Доломяга, в это мрачное место? – спрашивал Врубель.
- Пиво... и крышечка, – смутившись, отвечал Доломяга. – Закатилась под стол... и вот же я в поисках крышечки...
- Крышечка!.. – развёл руками Куинджи.
- Крышечка!.. – горестно вздохнул поляк воробей.
- Вы не видели крышечку, Михаил Александрович? – спросил тут Куинджи.
- Нет, и вы тоже не видели? – спрашивал Врубель.
- Должно быть, ниже скатилась!
- Ниже, ниже! Ниже катятся крышечки!
- Ниже? – удручился Фёдор Васильевич.
- Ниже, ниже! – твердили Куинджи и Врубель.
- Как же попасть мне туда? – говорил Доломяга.
- Мы проводим тебя, – говорили художники. – Проводим тебя короткой тропой.
- Врубель руками раздвигал ключие ели.
- Где-то здесь, где-то здесь, – бормотал полуслышно.
- А по-моему, дальше, – возражал и Куинджи.
- Тропа, должна отыскаться тропа!..
- Начало её от холма безнадежности, – снова молвил Куинджи.
- Вы, стало быть, здесь обитаете? – спрашивал тех Доломяга. – Давно вы уж умерли...
- Мертвы мы, хотя не забыты. Душою скорбим мы о мёртвых, забытых.
- Так Михаил Александрович молвил.
- В этом лесу бродят души художников, умолкнувших рано, – Куинджи отвечивал. – Презревших, забывших, затоптавших талант. Души поэтов, своё опошливших имя.
- Стоим мы на страже безымянных, бесславных...
- Забытых, затерянных, малоизвестных...
- А ты, друг наш Фёдор, известен?
- Куда там! – рукою махнул Доломяга.
- Так, значит, тебе и вправду сюда!..
- Да нет же, он – гость, – возражал другой провожатый. – Он прибыл в поисках крышечки.
- Поможем, поможем ему отыскать таковую!
- С вершины ночи сыпались звёзды, тропа отыскалась, и трое художников вниз пошагали.
- Важна ль для тебя светотень, друг милый Феодор? – спросил Доломягу грек бородатый Куинджи.
- Безмерно важна, – отвечивал тот.
- Вот! – удовлетворился Куинджи.
- Важны ль для тебя страсть, напряженье? – спрашивал Врубель.
- Даже важней светотени! – на то отвечал Доломяга.
- А узор прихотливый?

^{*} *Wróbel* – воробей (польск.).

– И узор прихотливый!..

– А живость красок важна? – снова грек вопрошал.

– И живость красок!

– Вот! – говорили сии провожатые. – Это – художник!

– А много ль ты времени проводишь в трудах? – спрашивал Врубель.

– Много, – говорил Доломяга. – А если б не пиво, так больше ещё проводил.

– Так пиво мешает тебе? – говорил и Куинджи.

– И пиво, и водка с вином укрепляют меня, – возражал Доломяга.

Тут началась каменная пустошь. Долго-долго петляла тропа среди булыжников. Среди валунов и утёсов. Фёдор Васильевич стал утомляться. Потом они увидели забор и колючую проволоку.

– Где мы? – спросил Доломяга.

– Внимание, – отвечал его провожатый. – Здесь – КПП.

Двое гадких чертей охраняли шлагбаум.

– Кто здесь? – крикнул один, завидев пришедших.

– На незаконное проникновение очень похоже, – вторил другой.

Завыла сирена, заблестал проблесковый огонь.

– Это – художник! – крикнул Куинджи.

– От пива им потеряна крышечка, – подтвердил и товарищ его.

– И вот мы крышечку ищем.

– От пива? – обрадовались охранники-черти. – Тогда всё в порядке. Заходите, друзья!

– А вы не видели ль крышечку? – спрашивал Врубель.

– Нет, мы не видели, – отвечали охранники. – Должно быть, ещё ниже закатилась она.

– Куда нам идти? – снова спрашивал Врубель.

– Идите по этой дороге. Там будет спуск.

Трое художников двинулись дальше. Чёрные тени сгрудились у них на пути. Были тени живыми. Они топтались, стонали, они хватили троих за одежды.

– Я известный, известный московский издатель! – вопил им один. – Грудь моя рвётся от горя!

– А сюда ты за что помещён? – спрашивал Фёдор.

– Печатал, печатал я Ксюшу Собчак, и я издавал Гришковца.

– А ты? – спрашивал Фёдор другого стенающего.

– Я негров нанимал для Донцовой. Платил им копейки!.. Сам был нагл и безбеден.

– Я много придумал разных акуниных! – выкрикивал третий.

– Я химичил с Нацбестом! – восклицал и четвёртый.

– Я Пелевина создал!..

– Я Робски протаскивал!..

– Я печатал дамскую прозу!..

– Я проекты клепал, я выдумывал серии!..

– Я в жюри заседаю, предо мною склонялись!..

– Подлы вы, подлы! – закричал вдруг Куинджи. – Но дайте ж дорогу! Мы крышечку ищем!..

– Расступитесь, ничтожные! – крикнул и Врубель.

Тени отстали. Стенали, содрогались, вопили, вспоминали былое значенье. Художники дальше шагнули. Какое-то время молчали они.

– Я – сын сапожника-грека, я долго был беден, – в сердцах говорил вдруг Куинджи. – Я тёр у Айвазовского краски, но так и не был допущен к холсту. Труден в искусство был путь! Была моя юность прискорбна. А эти!..

– Эти – позор для культуры! – согласился с ним Врубель.

Фёдор Васильевич сделался мрачен.

Вниз от дороги тропа отходила. Недолго думали художники наши: всегда человек готов дорогою низкой идти. Пошли по тропе. Ревело зверьё, шныряли куницы. Пернатые хищники над головами метались.

Вот улицы города увидели они. Они, устало бредущие, покоя не знающие.

Несметные толпы заполнили улицы. Толпы вопящих, орды бесчинных.

– Кто они? – вопрошал Доломяга.

– Читатели скверные, – отвечал тому Врубель. – Глотатели чтива, пожиратели букв.

– Потребители мусора, того, что на устах идиотов, – соглашался Куинджи.

– Здесь нет собственных мнений, здесь ветер владеет умами.

– Единственный бог – Пустота!

– А крышечка? – вопрошал Доломяга.

– И здесь её нет, – отвечал Михаил Александрович.

– Идти ли нам ниже? – спросил Доломяга.

– Мы крышечку ищем – значит, идти! – говорил и Куинджи.

Они шагали по улицам, полным многих чудовищ. Пресмыкался народ пред ничтожным, отчётливо видели трое. Великим пренебрегал. Делались улицы же, кривей и запутанней. Дорога спускалась к реке.

Пошли они вброд. Злобные рыбы таились между камнями.

После же были развалины, и были руины.

– Кто здесь? – вопрошал Доломяга.

– Критики лживые, – отвечали ему.

– Недоразумений творцы!

– А крышечка?

– Крышечки нет!

– И там её нет!

– А ниже? Что ниже? – вскричал Доломяга.

– Журналисты продажные, лжецы телевизора! – отвечал ему Врубель.

– Но сами мы не были там, нам лишь поведали, – говорил и Куинджи.

– А если ниже спуститься?

– Там – ужас, пустыня, там – рабы Интернета!

– Так нам сказали, так нам сказали!..

– Но крышечки нет и в пустыне.

– Да, крышечки никто там не видел!

– А ниже пустыни? – спросил Доломяга.

– Там – нечитатели, там – незрители, неслушатели, словом, люди пустые!

– Сидят они в поле, и поле краёв не имеет.

– А есть ли ещё что-то ниже? – тихо художник спросил. – Чем поле с пустыми людьми?

– Конечно, – так же тихо ему отвечали. – Россия, отечество наше. Оно ниже поля того.

– И можно, спускаясь, дойти до неё, до России? – спросил Доломяга.

– Неизбежно дойдёшь, – говорил и Куинджи.

– Но уж это, конечно, предел? – Фёдор Васильевич молвил.

– Ниже – дом твой, квартира твоя, номер девять, – отвечал тот.

– Боже! – сказал Доломяга.

– Вот твоя крышечка, друг мой, – сказал ему Врубель, оную достав из кармана.

Взял Доломяга знакомую крышечку, посмотрел с удивленьем. Тут его Врубель легонько толкнул, и полетел Фёдор Васильевич кубарем. Через голову, вверх тормашками. Пролетел он пустыню, пролетел он и поле, пролетел и отечество, от края до края, и вот под столом оказался.

С ужасом на художника уставилась Зоя. С ужасом посмотрел на неё Доломяга. Но вот, наконец, торжеством лицо его осветилось: показал ей Фёдор Васильевич крышечку...

– Прости, дядя Федя, – сказала она. – Тебя долго не было, очень долго – я выпила пиво твоё!

– На что теперь пиво? – отвечал тот.

Между тем, далеко-далеко, там, где ночь, где тоска, где все надежды у входа оставлены, двое стояли в лесу, на краю колючего, низкорослого ельника...

– Странны вообще все эти живые, Михаил Александрович, – молвил один.

– Какие-то крышечки ищут, Архип Иванович, – молвил другой. – В то время, когда самим им всем – крышка!..

Finita la commedia

Кажется, именно монстр, свирепо и бесприютно носившийся по всей квартире, впервые обнаружил, что если идти (или бежать) по ней из прихожей до самого дальнего её конца, то сначала, и вправду, окажешься в конце квартиры, там, где туалет, антресоль и пара тёмных чуланов, но потом оттуда парадоксальным образом снова попадёшь в прихожую. Сделав всего шаг-другой дополнительно. Разумеется, он не мог поделиться ни с кем таким своим открытием, до одного открытия иные жильцы доходили потом самостоятельно. Впрочем, ценность «открытия» была невелика: после того, что произошло в квартире, мало кто вообще мог выбраться в коридор. Странное, что-то странное сделалось у них с пространством, перемешалось оно, перепутались отдельные его части.

Нельзя стало просто вот так взять – открыть дверь и выйти из комнаты в коридор. В общем-то, и самих дверей почти нигде не осталось. Иногда в коридор можно было проникнуть каким-то аномальным способом. Например, взобравшись на стремянку и потыкавшись в верхнюю часть стены возле потолка. Тогда всё происходило как-то так само собой: раз! – и ты уже в коридоре! Потом же из коридора вернуться в свою комнату было весьма затруднительно, практически невозможно. Главное же, нельзя было выбраться из квартиры! Уж как ни пробовали, как ни пытались – ничего не выходило.

Коридор квартиры – это был вовсе не один коридор. Но будто несколько наложившихся один на другой. Можно было, например, идти по нему, встретить кого-то, явно идущего тебе навстречу, но и самому его не увидеть, да и он бы тебя при этом тоже не мог узреть. Ну, разве что в некотором как бы тумане и неопределённости и совершенно неосязаемым. Что-то сделалось особенное и с органами чувств.

Вздорною сделалась квартира, ощущал монстр Витя, в ней водрузился сплошной Чубайс и ещё всевозможные недоразумения и неурядицы. Чубайс сотворился каким-то уж вовсе неискоренимым; пред ним даже Черномырдин спасовал, в конце концов. Хотя оба друг друга стояли. Но, в общем, за всем стоял, конечно же, Владимир Вольфович...

Анна Лукинишна и мадам Доломяга слонялись по квартире, будто бы двумя вечными жидовками. Не было нигде им ни прибежища, ни окончания пути. Но вот же как-то раз увидели они в коридоре Ивана Никифоровича.

– Эй! – закричали женщина и старуха. – Мужчина! Мужчина, постойте!

Шоколадов же важно прошествовал мимо них, не обратив на кричащих никакого внимания.

И – странное дело: Шоколадов был лет на двадцать моложе.

Ещё они видели Софию Глебовну, тоже не совсем старую и даже ещё полную сил. Она сидела на кухне и пила чай. Наши женщины пошли в её сторону, с некоторыми призывами, с некоторыми возгласами, но никак не могли подойти до неё; всё как-то так ноги проносили их мимо. Потом София Глебовна, закончив чаепитие, задумчиво и беззвучно удалилась. Вот такие чудеса происходили в девятой квартире.

– Что ж, милая, – сказала, наконец, Анна Лукинишна, когда все попытки коммуникации были исчерпаны, а дверь в комнату Доломяги так и не отыскалась (не говоря уж о выходе из квартиры). – Остаётся только пропадать!..

Пропадать не хотелось.

– Может, ещё поискать? – робко говорила мадам.

– Тебя звать-то как, милая? – спросила ещё старуха.

– Аня, – сказала мадам Доломяга.

– О, так и я – Аня! – отчего-то обрадовалась старуха.

– Замечательно, – грустно говорила мадам Доломяга.

В квартире всё продолжало мешаться.

Комната Шоколадовых будто бы рассеклась на три неравные части. Иван Никифорович трезвым теперь уж, конечно, не был в сей день, и всё ему являлось в некотором, кажется, мареве.

Супруга его была вроде под боком, но в своей части. Отдельной.

Части, части... они представляясь весьма какими-то странными. Особливыми и чрезмерными.

– Спишь, что ль, Шоколадов? – крикнула ему Макаровна. А отчего ж она крикнула? Не рядом была разве? В том то и дело, что была словно бы за версту.

– Чё теперь разговоры разговаривать!.. – буркнул тот.

– Шоколадов, Шоколадов!.. – после кричала ещё Макаровна, но голос её слышался всё тише. Будто бы её относил ветром.

Теперь уж её и почти не было видно.

Хотя она всё равно оставалась под боком.

Зойка, Зойка... Она, за стол держась, носок тянула. Совсем свихнулась девка от своих проклятых танцев. Иван Никифорович поглядел на дочь и тут же плюнул. Тут происходит такое – а она знай себе ногами машет!

Тут снова дом трянуло. А вы что думали, домотрясению конец?

Нет, вовсе не конец домотрясению.

Однако же Ивану Никифоровичу тут понадобилось пописать.

Он на всякий случай поискал какую-нибудь бутылочку, что ли, – вдруг из комнаты будет не выйти!.. Бутылочку не обнаружил, а из комнаты выйти удалось, как ни странно.

Беспорядок, беспорядок; квартира сделалась беспорядочною. В ней были буераки. В ней были кочки и прогалины. В ней был камыш и волжский утёс. В ней прибавилось необитаемого и густонаселённого. Как-то так одновременно. Это тоже возможно.

– Скорей бы, что ль, уж астероид по ним по всем шарахнул! – цинически сказал себе Иван Никифорович. – Вроде того, что динозавров ухайдакал. А теперь бы вот ещё и прямоходящих!..

Да-да, астероид – это хорошо! Астероид, разумеется, человекам необходим! Они заслуживают астероида!

Шоколадов умудрился доползти до уборной. Ничего-ничего, иные вон и на Эверест забираются!.. По дороге встретил... Федотку Строголетова, живого, молодого, в потёртом пиджачишке, такого Федотку, каким он был в начале девяностых... когда Ларису свою убивал.

Так что ж, теперь всё сызнава? Опять – та жизнь, те годы? То безумие? Тот непорядок? Нет-нет, скорее – астероид!.. Скорей – удар, огонь, и мрак, и исступленье! Скорей – конец всему! – так хотел Шоколадов. Того жаждал нетрезвый ум его; впрочем, трезвый жаждал того же.

Смерть теперь была на каждом шагу. Она прописалась в каждом здешнем закоулке, пропитала пол и обои, она квартировала в самом воздухе, она была многолика и разнообразна.

Смерть легитимнее жизни: смерть – закон, жизнь – случайность. Смерть мало кого из себя выпускает, из жизни раньше или позже все вытряхиваются. Впрочем, что – жизнь? Она так слаба, так зыбка, так ненадёжна и призрачна, что о ней и вовсе говорить не стоит. Ну, вот и не станем о ней говорить! В смерти же – основательное, солидное, неумолимое, смерть располагает к грусти, к тоске, к меланхолии, к взвешенным словам, к прерывистым вздохам, смерть располагает к недвусмысленному, к человеческому; жизнь человеческое дискредитирует.

– Федотка! – на всякий случай крикнул Шоколадов.

Федотка же не отвечал. Будто хотел прожить незамеченным.

Уборная оставалась обычною. И даже свет горел. Но не выключался. Он понял: он всегда теперь будет молиться на астероид. На гибель миру несущий небесный камень будет молиться он. Впрочем, разве сейчас мир жив? Да-да, может и нет его уже в числе живых, этого проклятого мира! Гибель сего мира началась с первых вползших в него правил морали, сказал себе Иван Никифорович.

Сделал своё дело Шоколадов, потом дверь открыл, чтобы выйти, и...

Но о нём чуть позже.

Тётка Олюшка... Бедняжка, она теперь жила на стенке. Пожалуй, немного непривычно, но неудобств при том особенных не наблюдалось. Она хотела заняться чем-то для неё обыкновенным. Чтобы не волноваться. А то давление подскочит. Взять ей, что ли, заклеить шеститомник Бунина, разодранный проклятыми сёстрами Плошкиными? Аленькой и Валенькой. Но нет, без переплётчика тут не обойтись! Ах, какие были хорошие книги!

Тут-то тётка Олюшка и заметила у себя Макаровну.

И Макаровна была удивлена. Увидев тётку Олюшку.

Макаровна стояла на полу, а тётка Олюшка – на стенке.

Каждой из них было по-своему удобно.

Часть пространства здесь была от комнаты тётки Олюшки, другая же – от Шоколадовской комнаты.

– Ну, Митрофановна, и чудеса! – сказала Клавдия Макаровна.

– Да, чудеса! – вздохнула тётка Олюшка.

– Я – на полу, а ты – на стенке, – сказала Клавдия Макаровна. – Шоколадову сказать – так не поверит!

– Сейчас всему поверишь, что только не увидишь! – сказала тётка Олюшка.

– Тебя земное притяжение к стенке притягивает, меня – к полу.

– Да, тебя к полу, меня к стенке.

– Давай-ка, Митрофанна, за руки возьмёмся, – предложила Клавдия Макаровна.

Они тянуться стали, одна к другой. Тянуться. Они как будто были рядом, но руки их не соединялись. Сомкнуться не могли их руки. Не могли соприкоснуться. Оставили они тогда бесплодные попытки.

– Нет, не выходит, – сказала тётка Олюшка.

– Никак, – сказала Клавдия Макаровна.

И тут лукавством лицо блеснуло тётки Олюшки.

Взяла она яблоко со стола.

– Лови! – сказала. И бросила Макаровне.

А Макаровна тут – раз! – и поймала.

Вот в каких они были необыкновенных пространствах.

– Эх! – сказала Ольга Митрофановна.

– Эх!.. – сказала Клавдия Макаровна.

С этим-то «эх!» они и стали дальше жить. Иль пропадать... То Митрофановна Макаровне яблочко кинет, то Макаровна Митрофановне – конфетку. Простые маленькие радости бывают у иных людей...

Доломяга же, кажется, окончательно повихнулся, вылезши из-под стола со своею дурацкою крышечкой. Он ничего не говорил, будто вовсе потерял дар речи. Он вытащил ящик с красками, достал все карандаши. Он быстро-быстро стал рисовать, он стал писать красками. Выдавил много разных красок на картонку, бывшую у него палитрой, долго и тщательно мешал краски. Он стал писать, писал везде, на столе и на его ножках, на полу, на случайных картонках, на обложках книг, на стене, на потолке, везде, где находил мало-мальски ровные поверхности в своей скукоженной комнате. Если ровных не находил, малевал на неровных, на гнутых, на выпуклых. Вот вскоре появился ельник, каменистая тропа, полная испуганных чёрных аспидов, поле, развалины города, состоящего прежде из строений самых причудливых, небо, усеянное звёздами, иные из которых поспешно скатывались вниз, появилась дорога, контрольный пункт со слагбаумом, здесь утвердились какие-то невысокие косматые субъекты с короткими рожами и глумливыми ртами, потом была гора, пустыня, река, каменистая пустошь, и везде толпились маленькие жалкие фигурки (тысячи фигурок), в лицах коих было написано множество всего страдальческого, измождённого, отчаянного.

– Что? – беспокойно говорила Зоя. – Федя, что ты?

Но художник на девушку даже не смотрел. Он работал день и ночь, и снова день, потом падал за-мертво от усталости, спал часа два, потом подсказывал, будто в нём распускалась сильная пружина, и снова принимался за работу. Зое приходилось уклоняться, чтобы он ненароком не стал расписывать и её тело, а то Фёдор Васильевич уж несколько раз порывался...

Выйти из комнаты они не могли (вместо двери у них была боковая стенка пианино Ларисы Борисовны). Вскоре у них закончилась пища. Зоя исследовала всякий сантиметр комнаты Фёдора Васильевича, включая и расписанные им стены. И тут случилось чудо: возле плинтуса обнаружилось что-то вроде норы (туда можно было просунуть лишь руку), обнаружился ход в комнату старухи Крапивинной.

Зоя, лёжа на полу, долго-долго шарила за стенкою и, наконец, воскликнула:

– Есть!

И вытащила из «норы» небольшой мешочек пшена.

Следующий поход за добычей был пресечён бдительной старухой. Она давно уже заметила, что

если держать во рту немного вермишели и сосать её, то через двадцать минут та раскисает и делается будто бы варёной. Рис же раскисает через два часа. Это было долго. Крапивина укусила Зою за руку.

– Старая сука! – крикнула девушка.

Зоя объявила старухе войну. Она отыскала у Доломья молоток с железной ручкой и даже топор, и стала колотить в стену, расширяя отверстие. Иногда к работе подключался и Фёдор Васильевич, не очень, кажется, и вникая в смысл выполняемых действий.

– Мы её раскулачим, дядя Федя, – объясняла Зоя. – У неё там много продуктов припрятано, а мы тут должны с голоду помирать.

Доломья бездумно кивал головой и бил топором в стену с остервенением. Потом он бросал работу, и снова расписывал стены и всё, что попадало ему под руку.

Старуха стояла по другую сторону стены и злобно шипела на своих обидчиков.

– В НКВД на вас напишу! – грозила она. – У меня там друг имеется, Иван Вадимычем звать. Капитан. Красавец. Мне завсегда Иван Вадимыч говорит: «Вы, Лидочка, пишите! Вы нам всё пишите! А мы вам за то путёвочку в Гудауту, на целых три недели!..» Я два раза в Гудауте была, а ещё в Мацесте, в Анапе, в Геленджике! В Кавказских Минеральных Водах... В Гудауте, в Гудауте два раза.

– Гудаута! – бормотал Фёдор Васильевич. – Гудаута! Гудаута!..

С этой самой «Гудаутой» на устах он и пробрался в прорубленный им лаз.

Слышался отчаянный и бессильный старухин визг и рык самого Фёдора Васильевича, но поспе всё стихло. Зоя хотела лезть вслед за Доломьгой, но тут появился он сам, весь растрёпанный, окровавленный, страшный.

– Ты сделал это? Феденька, ты сделал это? – спрашивала его Зоя со слезами на глазах. – Милый, милый, ты всё-таки сумел сделать это!..

– Да, – говорил Фёдор Васильевич, протягивая девушке мешочки и коробочки с печеньем, сухарями, засохшими пряниками и мармеладом. Кое-где забрызганные кровью, но кровь можно было и оттереть.

– Господи, Господи, ты сумел, ты сумел!..

– Да, – снова говорил Доломья.

В ту ночь он впервые заснул крепко и глубоко.

– Гудаута... Гудаута... – иногда сквозь сон бормотал он.

Зоя держала его за голову, она любовалась им, она обнимала его. Она дышала с ним одним воздухом.

– Боже, – шептала себе она. – Какой же он сильный, взрослый, крепкий, умный, талантливый, настоящий мужчина! Федя, Федя, Феденька!..

Сделал своё дело Шоколадов, ну, то самое, дверь открыл, чтобы выйти, и... тут Лариса Борисовна голову поднимает и говорит будто бы немного испуганно:

– Что это вы, Иван Никифорович? Я не одета!..

Оказался Шоколадов в комнате у артистки, стоит и смотрит тоже с некоторой растерянностью.

– Ничего, Лариса Борисовна, я и сам не знаю, как это вышло!.. – сказал он.

Да он и сам, собственно, не был при полном параде.

Халат артистка набросила, Иван Никифорович тоже оправился, как мог. Попробовал обратно сунуться – там туалет только, а из туалета другого выхода нет, кроме как к Ларисе Борисовне. Новые чудеса девятой квартиры!..

– Да, – сказал Шоколадов. – Вот, значит, как!..

Смотрит – а комната Ларисы Борисовны вся перекривленная, перекошенная, пианино всё извернулось, будто собралось прыгнуть, а клавиатура, вся изогнутая, одним концом в стену ушла. Одни только басы остались.

Поискали они ещё выхода, теперь уж вдвоём (раньше-то Лариса Борисовна всё одна тщила), но безрезультатно.

– Что ж, – сказала заслуженная артистка. – Присаживайтесь, что ли, Иван Никифорович. Гостем будете.

Присел Шоколадов. На самый кончик.

– Алёшенька!.. – воскликнула Лариса Борисовна. Госпожа Могилова.

– Что? – осторожно спросил Шоколадов.
– Он куртку свою у меня оставил! – тут женщина схватила куртку Алёшеньки и уткнулась лицом в подкладку. Будто бы вдыхая запах. – Я хотела вынести, а тут это началось!..

– Да-да!..

– А он там на улице, он ждёт!.. На улице холодно!.. А потом появились вы.

– Появился я, – эхом говорил Иван Никифорович.

– Хотите амаретто?

– Прекрасно, – сказал Иван Никифорович.

Хозяйка налила себе и ему.

– Вот, – сказал Иван Никифорович. – А я пишу, так сказать...

– Пишете... – сказала женщина.

– Пишу. Такое... ну, в общем, это – перлы.

– Перлы...

Книжечка с перлами у него была с собой. Но он и так помнил многие.

– Страх подобен сове, ибо днем спит, а ночью охотится, – процитировал Шоколадов.

– А я вот, как вы знаете, артистка... бывшая, – сказала женщина.

– Почему – бывшая? Настоящая!

– Оставьте, Иван Никифорович! Давайте не будем обманывать самих себя!

– Или – вот, – сказал Шоколадов: «Художник ходит по земле, а вдохновляется на небесах. От того, разумеется, у него всегда впереди – преисподняя».

– Преисподняя... – сказала женщина. – Может, это и есть ад? Преисподняя? Ад ведь – это всё наше заслуженное, не так ли?

– М-м-м... – сказал Иван Никифорович. – А налей-ка мне, Борисовна, ещё чуть-чуть. Чтоб выпить за знакомство!..

– Алёшенька! Алёшенька!.. – вздохнула женщина. И снова лицом уткнулась в подкладку куртки.

– Хороша твоя микстурка, Борисовна! – сказал ещё Иван Никифорович. – Хотя прежде я все эти сладкие капли уважал не очень...

– Значит, мы это заслужили? – горько говорила женщина. – Навсегда? Навсегда?

– Кто ж знает, чего мы в этой жизни заслужили? – философически говорил на то Шоколадов.

Когда они стали жить вместе – через неделю? Через месяц? Через год? Бог знает. Да и неважно. Иван Никифорович читал ей свои перлы, Лариса Борисовна пела, сопровождая себе одной рукою на басах.

Алёшенька, Алёшенька!.. *Ah! Tutto, tutto fini. Or tutto, tutto fini!*

А вот ещё – «Шишига»... Проклятая «Шишига» исчезла в тот же день, в день Петенькиной свадьбы, как будто и не было «Шишиги» никогда. Дом долго стоял в лесах. Холстиной синтетической затянутых. А на холстине выведено: «Shishigo engineering ltd». Но это – ничего, это к делу не пришлётся! Потом заметили, что объект как будто бы заброшен. Заметили, не охраняет, мол, никто объект. Тогда кусок холстины ночью срезали, для личных надобностей, хороша была холстина. Потом – ещё кусок. Потом же ободрали полностью. И тут увидели: леса стоят... а дома нет. Один туман, один сгущённый воздух вместо дома. Леса... разваливаться стали. Не сразу, но когда-то развалились вовсе. Удивились аномалии: исчезнувшему дому. Учёные с приборами нагрянули, ходили слухи. Заметок пару напечатали. Тем всё и закончилось.

Так много времени прошло. Была война, потом она остановилась. О доме том забыли. Забыли насовсем. Но иногда по Боровой прогуливается человек. Ему лет тридцать, совершенно сед, он ходит с палочкой, хромает, но не слишком. Алёшенька, его почти и не узнать. Побывал он тоже на войне, вернулся с простреленною грудью. Отец его скончался, давно уже. И всё же это – он, глаза его, глаза всё те же!.. На голове его берет. Он сто шагов идёт в один конец и сто шагов идёт обратно.

– Лариса!.. – шепчет. – Лариса! Милая Лариса!..

Олег ДЕМИДОВ

Рассказы

МММ

«...пренеприятное известие: к нам едет ревизор»

Удушающий май, Майне Либе, – наилучшее время для дач.

Так думает и Владимир Викторович: он взял семью в охапку и отвёз под Коломну, оставив мне свою дочь (холить, лелеять и кормить), квартиру (стеречь), цветы (поливать), домашний бар (не трогать!) и кота (обязательно кормить!). Денег не оставил: я же мужик и сам должен найти Условного Мамонта.

Мамонт в сети не шёл – работы не было. Нет, конечно, много было вариантов: в костюме коровы раздавать буклетики, задышаться в пышущем жаром общественном транспорте, перевоза документы из одного конца города в другой, и ещё несколько столь же перспективных работ. Мамонт затаился.

Майне Либе этого не замечала. Мы ходили на строгинский пляж: катера мотались туда-сюда, создавая волны, летали редкие чайки, и на миг, если закрыть глаза, возникало ощущение моря. Мороженое таяло в стаканчиках, и я с удовольствием собирал языком капельки, упавшие на её колени. Она целовалась, будто срывала ягоду с веточки. Губами жевать красную ветвь губ – так, кажется, было?.. Так было, так есть, так будет.

Майне Либе загорала, подставив беспощадному солнцу пузико, – я валялся, зарывшись в песок, и думал о Мамонтах. Копья наточены, ловушки расставлены. Осталось загнать животное!

Осталось найти животное...

Как много этих Эм: Майне Либе, Май и Мамонты.

Проблема решилась сама собой. Звонок из деканата – нужна помощь. Без проблем. Срываю с пляжа – душ – дорога до Ходынки – деканат. Эх, если бы перемещение по городу длилось столь же быстро, как это читается!

В центр проверки качества образования требуются специалисты. Работа сезонная. Помимо того, что нам зачтётся практика, мы ещё и получим за это деньги. Вот тебе и Мамонт! На следующее утро Майне Либе и я уже стоим в очереди на оформление. Студенты педвузов не кичатся лёгким заработком – их тут пруд пруди. Что от нас требовалось на работе, толком понять не удалось. Да это и не так важно: бумажки проверять, за детишками смотреть – так или иначе, а работа – не бей лежачего.

Подошла очередь, заходим в кабинет, и приветливые тётеньки начинают интервью:

– У вас уже есть педагогический опыт?

С чего бы начать? Были пионерки, с которыми вместе пили ром. Была школьница, с которой... много чего было. Был школьник – мы с ними неоднократно выясняли отношения из-за молодой учительницы. Была молодая учительница, но это уже не педагогический опыт.

– О, да! – гордо заявляю я.

Олег Демидов родился в 1989 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского гуманитарного педагогического института. Посещал литературные мастерские Е. Вежлян. Аспирант МГПИ, марингофвед. Дебютировал как прозаик в «Волге» (2012, №7-8).

Майне Либе, знающая обо всём, задорно улыбается. У неё опыта за исключением нескольких месяцев практики ещё нет, но и её непременно возьмут. Вся работа – это следить за тишиной в классе, не давать детям списывать, зачитывать технику заполнения бланков: тут ставим буковки, тут циферки, а здесь пишем нужные слова. Ничего сложного. Оплата? Молодые люди, не задерживаем очередь – смотрите, сколько ещё желающих. За нами полный коридор и очередь, вьющаяся виноградной лозой с пятого на первый этаж. Серьёзная, однако, организация!..

В назначенный день подъезжаем на Нахимовский проспект. Школа от нас прячется на Фруктовой улице – сочное название! – но юные шерлоки быстро выходят на след. Шаг вправо, шаг влево, расстрел воображаемых противников – и вот мы стоим в тени Мамонта.

Входим в святая святых – нас встречают грозные пятнадцатилетки:

– Где сменка?

Они приняли нас за школьников. Выглядим, значит, превосходно: и детишек не пугает моя щетина и строгий взгляд Майне Либе. Я прохожу мимо детей к охраннику:

– Доброе утро!

И называю аббревиатуру нашей конторы. Охранник в ступоре – я расшифровываю абракадабру, и только тогда он срывается с места и, не говоря ни слова, бежит в канцелярию. Оттуда выныривают сразу два колобка и, нацепив дешёвые улыбки, катятся в нашу сторону. Ещё чуть-чуть – и будет страйк, но ровно в полшаге от гостей шары останавливаются.

– Здравствуйте! – скрежещут механизмы в нутрах кулинарных изделий – А мы вас и не ждали. Думали, что всё начнётся только на следующей неделе.

Ну что на это сказать? Ничего. Нечего.

Мы сверяем уроки, предметы и расходимся по кабинетам.

Майне Либе достаётся математика в четвёртом и английский в шестом классе. Под мою безответственность идут девятый и десятый классы с литературой – лучше и быть не может.

Кабинет наполовину пуст или наполовину полон – вот в чём вопрос. Либо полкласса вымерло, либо, что более вероятно, неуспевающих отправили домой. За первой партой сидят отличницы, за ними – подлизы, за теми – жвачные животные непонятного пола: чёлки закрывают лица, грудь отсутствует, зачатки макияжа – налицо.

Ну что ж, начнём?

Раздаю тесты, объясняю, как правильно заполнять бланки – девочки-отличницы с интересом наблюдают за мной, девочки-хулиганочки озорно стреляют глазками, надеясь меня смутить. Но не тут-то было – я стреляю в ответ. Они пунцовеют и задорно хохочут.

На их смех прибегают учительница и грохочет на весь класс:

– Тишина! У нас серьёзная проверка!

И ораторствует в том же духе. Я уже вижу, я могу рассказать о её прошлом, настоящем и будущем: пионерия, комсомол, вожатство в школе, ставка по её неказистому предмету – наверняка химия – и полставки на организацию школьных мероприятий. В актовом зале стонут стены от её гиперклассических спектаклей. Про неё даже песня есть: «Тамара Васильевна – учитель по химии: жизнь не удалась».

Мои наблюдения прерывает эта химичка: она подкатывает ко мне своё шарообразное тело и томно-томно, едва касаясь моего уха, шепчет:

– Всё ведь настолько серьёзно?..

Что ей ответить? Я киваю.

– Вы по специальности...?

– Филолог.

– А я физик.

Чуть дал промашку с предметом, но прочего описания это не умаляет.

– Чудно, – говорю я, только чтобы поддержать разговор, – физики и лирики на страже знаний.

Она ненатурально-силиконово смеётся моей пошлости. Рот-ракушка распахивается так широко, что я могу разглядеть её крошечный жемчуг-язычок. Класс взирает на нас –учительница ошпаривает:

– Уткнулись быстро в тесты!

И вновь лепечет мне свою песенку: трезвонит о тяжёлом положении школы и учителей, звенит по-валдайски о рухнувшей империи. Я в ответ что-то шебуршу. И вот она переходит к главному:

– Может, я помогу им, чем смогу?

Я устало киваю в ответ. Мне от этого ни горячо, ни холодно, а школа не опустится в рейтингах, не потеряет бюджет. Сейчас все так живут – крутятся-выкручиваются, как могут. Я не против.

Счастливая учительница бегаёт по классу и раздаёт подзатыльники вперемешку с ответами. Дети запутались в конец: то ли тесты серьёзные, то ли можно наделать ошибок.

Трепещет звонок – дети сдают работы, а Условная Тамара Васильевна уже скачет ко мне:

– Может, вы разрешите копировать тесты, чтобы мы уже основательно готовились по ним?

– Может.

Она берёт бумаги и вприпрыжку уносится вон. Я звоню Майне Либе и обрисовываю ситуацию. Она сердится. Так нельзя! Ни в коем разе! А если в центре узнают! А если, если, если..!

Бойтся милая. У нас ещё по одному уроку. Я предлагаю ей пойти на уступки, если её об этом попросят. Пересказываю все школьные беды, рассказываю о новых законах, угнетающих учителей, усугубляющих школьное бытие – я слежу за политикой. Майне Либе – я это чувствую – сначала кривится, потом топчется от негодования и страха, после слёзно соглашается. Но всё под мою ответственность. Непремено – только так.

Возвращается учительница – она будет сидеть со мной и на следующем уроке. Улыбка её порхает перелётной птицей: тесты скопированы, тесты будут скопированы. Я сегодня добрый.

Звонок. Заходят дети. Ситуация для определения оптимиста / пессимиста повторяется. Вывод для меня – реалист: класс усечён и точка. Дети расслаживаются. Я опять рассказываю, как правильно заполнять тесты. Учительница опять перетекает из состояния тихой заводи до газообразного состояния, из него – в будто бы обворожительную балзаковскую даму. Чудеснейшие метаморфозы. Осёл Апулея нервно иакает в стороне.

По окончании урока тесты вновь копируются. Я нахожу любимую, беру за руку и спешу увести её из школы. Мамонт загнан. Мамонт будет скоро съеден.

Но не тут-то было.

Мне следовало бы догадаться об этом с самого начала:

Если ружьё висит на стене, к концу пьесы оно обязательно выстрелит. Если разыгрывается «Ревизор», то будьте готовы к последующей гоголевщине.

Два колобка, встретившие нас утром, подхватили сейчас под локотки и потащили в учительскую: там уже заставлен стол водкой, коньяком, конфетами, двумя пышными тортками, мясными нарезками, чаном с душистым пловом и... и мы обнаруживаем два белоснежных конвертика.

Нам шустро налили – мы и не успели опомниться. Первый тост – за детей. Налили опять. За учителей! Только теперь закусили и принялись есть.

Застолье липкого мая. Обстановка напоминает чёртову пирушку, где засиделся старик в поисках граммоты. Но ему-то было легче: перекрестился – и морок кончился. А здесь...

Я и не знаю, почему мне не нравились эти люди. Мне не нравился и я сам. Мёртвые души. Ответ, наверное, крылся в очевидных вещах: не своруй, не соври, что в принципе одно и то же. Сворал – своровал. Своровал – убил.

Но эта формула не применима в русских реалиях. Здесь простейшие цвета имеют сотни оттенков – поди разберись!. Но если поймать общий импульс, если отдавать себе отчёт в малейших деталях, можно жить. Можно жить, но это не оправдание...

Майне Либе, раскрасневшаяся и разомлевшая, уткнулась в моё плечо, не зная, что и делать. Мне хотелось взять её на руки и вынести отсюда, но этикет требовал принятия даров, и мы, античные боги, сидели лицом к лицу, в анфас к учителям и баюкали друг друга взглядом.

С нами за столом сидели три Коробочки, два Свидригайлова, и все громко бубнили какие-то скабрзности. Ещё одна стопка, ещё один тост, ещё десять минут разговоров ни про что – и мы покидаем изъеденное тело Мамонта. Охота удалась! Духи раздобрились и – мы синхронно вскрываем конверты – подарили нам месяц скромной совместной жизни: на завтрак – ладные-шоколадные хлопья с топлёным молоком, на обед – зажаренное мясо, а на ужин – пицца. Раз в неделю можно даже шардонуть бокальчик!

А ведь ещё предвидится и зарплата! Будет ещё одна раздача слонов.
Мрелестноомилие эм: май, Майне Либе и Мамонты... МММ...

Тайный покупатель гороскопов

– Сань, прибери канцелярию!

– А чо я-то?

– А кому ещё? Я дежурю за стойкой, Оля на обеде, Олегу надо осваивать кассу. Так что не нуди и иди.

Санёк в ответ что-то пробурчал, но ушёл наводить порядок. Местный дурачок. Он выполняет в магазине всю чёрную работу: погрузку и разгрузку, наведение порядка и самые глупые заказы – он ищет и, главное, находит(!) «По ком звонят колокола?», написанные Ремаркой, или «Толстого», написанного Карениным.

Мы с Ником стоим за кассой, и он учит меня всем премудростям работы в «Моспечати»: не краснеть, не смущаться и безбожно врать.

– Ваш чек в пакете. Спасибо за покупку! – продемонстрировал он на живом примере.

Его юркие и хитрые глаза блеснули – ещё одна порция наживы. Как только клиенты ушли из магазина, Ник открыл кассу и достал наши кровные. Мы не обманываем покупателей – это принципиально. Если не считать обманом бесцеремонное впаривание хорошей литературы в больших количествах.

Вот вам Ремарк, Хемингуэй и Кортасар. Хотите современки? Вот вам Улицкая, Прилепин, Иванов и Терехов, а из зарубежной литературы – Бегбедер и Уэльбек. Хотите поэзии? Вот Вам весь Серебряный век, вот Губерман, вот Быков. Берите всё! Берите много хорошей литературы, но пробивайте во-о-он на той кассе. Ага, вон там, где смуглый паренёк стоит, зовут его Никитой – обращайтесь, он вам подскажет что-нибудь ещё и оформит скидочку.

Мы брали и добирали своё у владельцев магазина. При ничтожно малой зарплате в десять тысяч мы пахали от зари и до зари, как каторжники. А когда в книжный заявлялась директриса, мы становились узниками «Моспечати». Всё было как в армии: неважно, чем ты занимаешься; главное – хоть что-то делать, а не околачивать груши. Словом, царил полный идиотизм, за который мы и брали свои «премиальные».

«Работать с кассой» я научился быстро. Ставим магнитик между выдвигаемым донцем и самим аппаратом, чтобы не до конца закрывалось. Если нет магнитика, приставляем пальчик и стоим, Олежа, стоим и палим, кабы не вошёл директор. Если всё же намечается палево, закрывая кассу. Чтобы её опять открыть, можешь пробить пакетик.

Ничего сложного на самом деле нет. Стоишь и улыбаешься покупателям, как будто страдаешь какой малахольной болезнью, заговариваешь им зубы: «А знаете, у этого автора недавно вышел ещё один роман! Невозможно хороший! Вы просто обязаны его прочесть!», «А вот этот брелок – подарок от нашего магазина!», «Как много у вас покупок! Не хотите ли оформить дисконтную карту нашего магазина?», «Вы набрали больше пяти книг – и вам полагается скидка!». Как вы понимаете, в ход шли всевозможные ухищрения, чтобы покупатель не потребовал чек.

Если всё же такая оказия случалась, у нас имелось ещё пара приёмчиков. «Да-да, чек в пакете!» – говорить надо нагло и непринуждённо. «Как странно! Мне казалось, что я его уже пробил!»

Давайте-ка, я заново пробую!» – этот вариант не самый лучший, т.к. приходится на самом деле всё пробовать.

Самый лучший способ разобраться с чеком, как меня потом научили, – это во время укладки вания книг в пакет с полной невозмутимостью, заговаривая зубы, нажать на кнопку кассового аппарата, которая проталкивает чековую бумагу – пустой белый листочек. И этот «чек» на глазах у покупателя вложить в книгу или пакет. И всё! И покупатель доволен! Он видел, что потенциально чек имеется.

В такой работе скорей всего растёт не карман, а параноя. Ещё бы, дело-то больно нервное. Кто заметит, сразу же полетишь по статье – и это в лучшем случае! А то и уголовку за хищение на тебя заведут.

Но мы, молодые, жаждем денег сейчас и сразу же. У нас ещё есть чувство собственного достоинства, чтобы не горбатиться за мизер, а получать нормальные деньги. Если их нельзя получить законным путём, это не наши проблемы, – как выразился известный футболист, – это ваши проблемы.

И вот мы стоим за кассой и ждём посетителей. Санёк убирает канцелярию. Оля, пока народа не так много, ушла на обед. Мы ей выделили часть выручки, и она убежала в ближайшую сушилку. Да, т.к. денег у нас много, мы ходим кушать в ближайшие кафе и рестораны. Как вы понимаете, о нашей «Моспечати» ходят легенды!

Оля возвращается в приподнятом настроении. Мы уже хапнули немало на троих – Санёк, естественно, не в теме, – но мы хотим ещё. Ещё и ещё! Оля встаёт третьей на кассу. Хотя их всего две, но это ничуть не мешает. Она будет заговаривать зубы и помогать упаковывать товары.

Сейчас она листает какой-то гляцевый журнал и читает нам гороскопы.

– Олег, у тебя какой знак зодиака? – интересуется она.

– Дева. У нас на курсе всего три пацана, и все три девы.

– О, и я дева! – радуется совпадением Оля. – Сейчас прочту, что у нас намечается.

– А потом и мне прочти, – говорит Ник, пробивая мимо кассы очередной кусок.

– «Дева, – читает Оля. – Деньги сами находят Вас, и единственное, что Вам остаётся – это пришить ещё один карман. Ловите момент!»

Наши преступные лица озаряет мимолётная улыбка.

– Что, и правда так написано? – недоверчиво спрашивает Некит.

– На, прочти.

Он берёт глянец. Правда. Слово в слово. И зачитывает нам свой гороскоп:

– «Лев. Вам благоволит удача. Леди Фортуна дарит Вам своё драгоценное время. А время – это, как известно, деньги».

К кассам подходит запыхавшийся Санёк. Он уже убрал канцелярию и хочет передохнуть. Мы и не против.

– Сань? А, Сань? Какой у тебя знак зодиака? – спрашивает его Оля.

– Ммм... – несвязно мычит он что-то в ответ.

– Не мямли, Сань, – подкалывает его Некит. – Баран что ли? То есть Овен?

– Сам ты баран, – обижается наш товарищ. – Тигр я!

Мы еле сдерживаем смех и, такие гады, продолжаем подкалывать:

– В постели-то ты тигр! – говорит Некит.

– О, да! Много девок уложил? – спрашивает Оля.

Санёк моментально краснеет и опять что-то мямлит в ответ.

– Ладно, скажи уже, кто ты по гороскопу?

– Водолей.

Некит быстренько находит нужный параграф и зачитывает:

– «Водолей. На этой неделе Вам придётся затянуть пояса. Крепитесь, друзья. Это надолго».

И тут-то нас разбирает дикий и животный смех – громко и до слёз мы хохочем. Особенно

заливается Оля. Покупатели недоуменно смотрят в нашу сторону и, наверное, думают, что мы выкурили что-то запрещённое...

Надо сказать, что случаются благие вечера и не без этого!..

Всё было бы хорошо, если бы в один прекрасный день гороскоп не предрёк нам перемены в жизни.

У касс стояла очередь. Все были недовольны тем, как медленно и сонно орудует за прилавком Санёк. Директриса строго-настрого запрещала его подпускать к кассам – он плохо считает, теряет и значительно глупеет. Это было отчасти так, в остальном, конечно, мы приукрасили, чтобы отвести его от наживы.

А в тот день мы остались с ним вдвоём – вот ему и пришлось встать к аппарату. И естественно – у меня не получалось делать деньги в его присутствии.

Но вот мы за какие-то полчаса разделились с очередью, и я его прогнал в зал – наводить порядок в канцелярии. А ко мне уж поспешила женщина в очках с роговой оправой. Она накупила гороскопов – от Павла Глобы, от Тамары Глобы, от Василисы Володиной, и прочую макулатуру.

Сумма выходила изрядная – грех было «не пробить».

– При такой сумме наш магазин дарит вам вот такой чудесный брелок! – улыбаюсь ей своей фирменной отчётливо дебильной улыбкой – «для покупателей» – и вручаю ширпотреб.

– Ой, как мило! – радуется женщина.

– Вам пакетик пробить?

– Да!

И я укладываю купленные гороскопы в пакет и кидаю туда же чек за один жалкий пакетик. Отдаю её покупку и принимаю деньги, которые тут же незаметным жестом фокусника кладу в задний карман джинсов.

Женщина, не отходя от кассы, лезет в пакет и достаёт чек.

– Мужчина, – обращается она ко мне, – а почему вы мне пробили только один пакет?

Выверенная система даёт сбой.

– О! – пытаюсь выкрутиться. – Наверное, машина что-то напутала. Давайте я ещё раз пробью всё.

– Нет-нет-нет! – женщина тарашит на меня удивлёнными глазами. – Так не пойдёт. Зовите менеджера.

И мне ничего не остаётся, как позвать Женю, нашего менеджера. Она в доле, но, если поднимется шумиха, мы договорились отгораживать её – Женя не в теме, всё делали только мы.

Но в этой ситуации Женя бессильна. Вечером приезжает радостная директриса. Оказывается, на рынке услуг появилась и такая – «тайный покупатель». И наша директриса поспешила воспользоваться новинкой. Женщина в очках с роговой оправой – моя нелепая ошибка, – и была тайным покупателем.

Меня долго допрашивали – кто ещё состоит в нашей системе? Я же знаю, Олег, что ты не один. И не пытайся врать мне. Говори, кто. Будешь молчать – я уволю тебя по статье. Ну же! Ну, чёрт возьми!

Уволила, но не по статье. Я никого не сдал и даже отбрехался, мол, неумело работал с кассой и поэтому случился такой косяк. Директриса клюнула на удочку. Но уволила – на всякий пожарный.

В тот вечер, чтобы было не так обидно, я прихватил собой несколько книг и пресловутые гороскопы.

«Дева. Будьте осторожны: Вас попытаются обмануть. Помните, женщины – существа коварные, а умные женщины – ...»

Алексей ПОРВИН

В горах

Опоры железные возводят;
а в далёкой вспышке/восходе
тайным трудом начинаемся мы:
в детей молчим боязнью зимы.

Когда под шагами слишком гулко,
всякий построит мосты, прозорлив:
шелестит ребячья прогулка,
а рядом гаснет горный обрыв.

Пожухлой погодой – что увидим?
Сварка неспешно слепит голоса.
Всё по силам – огненным нитям,
а всё же – оторвётся гроза...

Приладку обереганий к детям –
утаим, в лучах засекретим;
душу к погоде крепить – не впервой,
листвой займёмся новой, живой.

Коснись запястья, чуть-чуть согрей
тело в смятении сентябрей;
у стены картинной галереи
растёт прохлада быстрее.

Политый сыростью низких стен,
холод разветвляется причиной
слова в дождавшейся длинноте,
растёт победой грачиной...

(Что в многоуровневой листве
выбрать, если шелест наивысший
выдохом скрючился в рукаве,
а не шагает над крышей?)

Алексей Порвин родился в 1982 году. Стихи публиковались в журналах «Волга», «Нева», «Дружба народов», «Воздух», «Новая Юность» и др. Автор стихотворных книг «Темнота бела» (М.: Арга-Риск, 2009), «Стихотворения» (М.: Новое Литературное Обозрение, 2011), *Live By Fire (New Zealand: Cold Hub Press, 2011)*. Лауреат премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (2012).

Походку тёмных крикливых стай
в кратком величии убеждай:
выдох, потеплевший рядом с пульсом,
ты – выше всех, не сутулься.

Пространству

Довольно воды и криков –
не для этого летний дождь пошёл:
блаженствуй, себя накликав,
вызвав с неба нужный произвол.

Тепло своевольно смотрит,
прикоснувшись к зазябшему двору:
глядишь, тишиной заморит
ноющую в чувстве мошкару...

Прогонишь хозяйский окрик,
а собаке в питьё – себя – добавь
(комарик в душе так горек,
что тоске – не до *таких* забав).

Усталой собачьей миской
накопи любознательный напев:
огнём с высоты холмистой
свесишься, предметы разглядев.

Лезвийным сверканием январским
понакидано шуршаний на тьму –
и на всей поверхности нарисован
облачный аноним.

Ветра разнородные кусочки
скреплены навек запутанным чем?
Сколько в парке выдано воскрешений –
линиям ледяным...

Лучше прямоу столбов молчащих
из высотных ожиданий изъять,
вправить в говоримое, но прохожий –
ясностью пренебрёг.

Геометрия следов коньковых
восстаёт из одномерности льда,
в логику метельную проникает,
в парковый говорок.

Ливень приветить тетрадью:
пусть дышит в почерк, пронявший нас насквозь;
тепло испаряется ради
всего, что поздним просветом завлеклось.

Слиплись травинки, как волны;
смирны́ под ступнёй пустозвоны –
поля не буйствуют в слове о душе,
о неделимом приречном камыше.

Слиплись листочки, как слоги –
каким дыханьем обмазаны луга?
Макаем поступки в истоки
лучей, которым погода дорога́.

В жестах – подобьем зазора
маячит рассветное *скоро*
– туда последним сомненьем ускользни
от разговорчивой травной плескотни.

За горизонт

Буквы не кончатся в книге:
что пламя? Дрожащая белизна.
Если чудятся тёмные лики,
ими говоримый вечер – знай.

Будет пространство – соблазном:
птичий день расстояньем наглазным
продлился за линию красоты,
за предел рассказанной воды.

Птицы с надетым на зренье
простором, оставшимся до земли,
вновь плутают в зазябшем рефрене
взмахов про свечные фитили –

Только о пламени – биться
всё выдавшим крылом светлолицым:
о гаснущем отсвете на словах –
людям говорит нетварный взмах.

Плотам – спасибо, если подобны
лоскутным, пришиваемым к *ничему* –

годам весёлой кручины сельской,
закатным огонькам предзимы.

Каким гвоздём разорвана зелень?
С изнанки лезет ватная белизна.
Ремонт одежды – еженеделен
(починка фразы – это весна).

Навек неполной мглой прикрываем
прорехи, не дающие говорить:
разбег реки, сквознячок полёта
и крохи безнадежных минут.

Ложась на берега по субботам
заплатками, набрякшими суетой,
плоты подобны недотемнотам
на чувстве, на дыре золотой.

Михаил ДЫНКИН

Скажи: «весна». Добавь: «в зелёный пух...»
Кругом центоны бегают на двух
опухших ножках. В цинковых цитатах
лежат поэты. Плавники Садко
пахтают воздух в Катькином садке.
На подбородке – сахарная вата.

Вполнеба накладная борода.
Прохожие играют в города:
как ни крути, выигрывает Питер.
Атланты, проклиная небеса,
на перекур желают, да коса
Курносой запрокинута в зените.

Двуликий Янус посреди болот;
едва улягусь – он подмётки рвёт,
а то клыки в яремную вонзает.
Бери шинель, Акакий или кто,
катись на дачу в стареньком авто,
покуда не заклинило в Сезаме

на горизонте потайную дверь.
Уже ростки пускает киноварь
на западе. И движется с востока
вся в чешуе сверкающей гроза,
нацеливая молнии в глаза
сползающим трубам водостока.

я ощупывал **нос**
оказалось, что это был **сон**
а где я бы ни **сел**, выростал умозрительный **лес**
и над каждым таким шёл по облаку ангел босой
и махал ему вслед молодой мелкотравчатый бес

это было вчера или не было этого, друг
пасторальные сны

Михаил Дынкин родился в 1966 году в Ленинграде. Картограф. Публиковался в журналах «Знамя», «День и ночь», «Зарубежные записки», «Арион», «Интерпоэзия», «Новый берег».

а затем капитальный ремонт
это внутренний шлак или, может, смертельный недуг...
в карты с бесом сыграл и остался ни с чем, обормот

скачет ветер, ретив, по верхушкам дерев
и дерёт
синеву
у него – в пальцах шляпа с полями под рис
осень, пятясь назад, знает все мои дни наперёд
у реки в две руки
наберёт в рот воды кипарис

и вдруг понимаешь, что дальше всё то же кино и
всё те же артисты и реплики – без вариантов
всё тот же кретин, возомнивший себя режиссёром
берёт сигарету и требует нового дубля

вот крупные планы – ольха на захламленном фоне
голодное солнце лучи запускает в тарелку
плывут облаков клочковатые титры
блондинка
(возможно, брюнетка)
раздвинула ноги, ты входишь
внимательно смотришь: унылая, в общем, шатенка

внимательно смотришь, становишься клерком, подранком
мелькаешь за кадром, за спинами сонных статистов
а что ещё делать? такое смешное кино, блин
разводишь руками, хороший получится дубль

Кино-2

В соседнем доме – вижу, что не желты – скорее сини, если не черны. Щебечут птицы, воздух будто шёлков. По улице скелет идет с кошёлкой, другой скелет досматривает сны в соседнем доме (мы о нём сказали). Купить портвейна, запастись травой и в номера... когда б не повязали; жизнь провалила явки, а экзамен провален ей задолго до того.

Спокойно, Плейшнер – это не гестапо, а пьяный мусор с помповым ружьем, в чужой фуражке и домашних тапках, что означает: лучше по этапу, чем на рожон... Простимся, милый. Рвётся киноплёнка, летит болванка, падает скелет, прижав к груди тряпичного ребёнка. Другой скелет стоит среди обломков. Мы выдуманы. Нас на свете нет.

Кино-3

забегал Тарантино, спрашивал, был ли Дорвард
оба Квентины, отсюда и непорядок
от тюрьмы до могилы путь, говорят, недолог

но бульварного чтива хватит на сто тетрадок
это я к чему? да, собственно, ни к чему я
скоро сам поймёшь, погружая весло с дивана
в чёрную воду Господнего поцелуя
или, скажем так, последнего идеала
все уже стоят – по смыслу и по ранжиру
разевают пасти, в которых сверкают фиксы
провожая в путь почётногo пассажира
уносимого Летою или Стиксом
вниз по теченью, туда, где чужое время
размывает берег родной эпохи
прямо по курсу – Северная Корея
посмотри как желтеет профиль
твоего ЖЖ, пугая взаимных френдов
и бойцы в летательных аппаратах
ледяное небо берут в аренду
над пивными точками невозврата
озаряясь вспышками хэппи-энда

в бочке с порохом растут саламандры
череп Ирода несёт Саломея
в лётном небе космонавт без скафандра
смотрит в зеркало и бороду бреет

чёрный ворон в воронке раскричался
в руль вцепился, а машина ни с места
разобрав родную речь на запчасти
стихотворцы ожидают ареста

в зомбоящике времён мезозоя
топят зайчики бухого Мазая
пляшут ящеры в расшитых камзолах
польку-бабочку на стогнах Рязани

выйдешь из дому босой и в пижаме –
может, вспомнишь на скамье подсудимых
как чужая тебя мать провожала
и **куда** она тебя проводила

и я там был, в кругу всё тех же лиц
мёд-пиво пил, в веселие впадая
выглядывал жених из-за кулис
и обнажала зубы молодая

над шуткою скабрёзной хохоча
звенели гости вилками, ножами
и мощный подбородок скрипача
плыл над эстрадой пьяным дирижаблем

и я там был, но что я там забыл
каналия среди других каналов
мундиром щеголяя голубым
на свадьбе или, может, биеннале

в косоворотке, кепка набекрень –
в иное время, а случалось даже
и в смокинге, который как на клей
на телеса немые посажен

всклоченный, гогочущий до слёз
детина, превратившийся в скотину
а приглядишься – сумрачен, тверёз
и антагонистичен коллективу

диван предпочитая вообще
любой гипотетической пирушке –
с мослами лиц в сомнительном борще
петлём на шее и рукой на пушке

бывало, удалишься на покой
и крышку гроба за собой задраишь –
мёд-пиво разливается рекой
кругом скелеты: «не хандри, товарищ!»

Заир АСИМ

Мой внутренний сад

мой внутренний сад
где растет одно черное дерево
тихо шелестящего стиха
здесь всегда зима
глухие яблоки буквы б
наполненные пустотой
падают на снег бумаги
создавая слабый звук
лопающихся пузырей
в тени молчаливой кроны
я лежу в бесконечном холоде
и греюсь мыслью о тебе

Поверхностное

хочется написать
что-нибудь простое
несущественное
бессмысленное
легко исчезающее
кажется только так
можно передать
очаровательную
обыденность
происходящего

на улице хорошо
пасмурное небо
как перевернутое море
синее и туманное
с застывшими волнами
выпуклых облаков
повсюду развевая
запах осени

разноликие люди
проходят мимо

Заир Асим родился в 1984 году. Публикации в журналах «Знамя», «Новая Юность», «Книголюб», «Звезда Востока». Книга стихов «Осиротевший крик сирени» (2010). Живет в Алматы.

любуясь друг другом
молодые матери
носят детские копии
своих мужчин

Туман меланхолии

Сижу за круглым столиком в баре
и поглядываю в окно, словно в прошлое.
Туман плутает между деревьев –
безымянные, неопознанные стволы
выпячиваются из небытия, как лица во сне.
Дым природы, густое молчание зримого,
повисает в воздухе, медленно движется
и незаметно просачивается к нам в души.
Мы молчим и наблюдаем, как многолюдная
комната заполняется улыбками звуков.
Прозрачная певица сидит на краю стула,
с голой гитарой в обнимку,
будто со своим грудным, плачущим ребенком,
и тонким голосом хватается за мгновение.
Куда она поет – в настоящее или в будущее?
Я доволен. Мне нет никакого дела до счастья.
Женщины, любившие меня, любят других.
Я меланхолик. Я непроницаем, как туман.

Лжесвидетельство теней

прошлой ночью я стоял
на влажном расколоте асфальте
под освещением мутных фонарей
(как это уже бесчисленно раз случилось)
и нетерпеливо ждал тебя
и вдруг заметил что стою
в окружении четырех своих теней
все тени как лепестки ромашки
как черные лучи как ресницы
сходились в меня в точку опоры ног
и каждая раздваивалась как язык змеи
тень отбрасывала другую тень
этот неожиданный вид
поверг меня в молниеносное отчаяние
ибо избыток внешних источников света
отказывает нам в единственности тени
в определенности существования
о какой гармонии тогда может быть речь
я не мог вынести подобного лжесвидетельства теней

и в поисках однозначности и единства
я упал на каменную поверхность
чтобы слиться со своим темным отражением

Ночные часы дождя

снаружи спешат часы дождя
капли стучат по подоконнику
словно маленькие птицы
клюют мое ранимое сердце
мне хорошо в эту бессонную ночь
я в ласковых руках смерти
она нежна со мною как мама
меня больше никто не любит
я довел страсть до предела
который заключается в том
чтобы все уничтожить
я разрушил постороннее счастье
чтобы искать его только внутри
простите мои родные
нам больно было ломать
совместную иллюзию близости
но оно того стоило
я лежу в пьяной темноте
в голове приятная слабость
невозможность чувства –
воздух любой мечты
слушаю ночные часы дождя
поющие мне о том
что время любви бесконечно

Пустота, которая во рту,
вместо тела чувствует и ест.
Голос прячется в мечту.
Взгляд – в кусочки разных мест.

Делать вид, что слушаешь других,
и смотреть, как дымные глаза
любят свои темные круги,
то сказать, о чем хотел молчать.

И ничем не залечить разрыв.
Воздух открывается, как дом.
Силы собираю, чтоб потом
промолчать, о чем хотел сказать.

Пейзаж книги

зимняя книга раскрыта
словно покинутый пейзаж
смотрю в черные буквы
как в лица проходящих людей
бессмысленная толпа чернил

бумажные страницы разносят
свежий запах твоих волос
любовь похожа на чтение
никогда не прикоснуться к автору
невозможно заставить его
заговорить замолчать

одинокие звуки – пустые птицы
летят в небо потолка и исчезают
свет упорно проталкивает
ночную тьму непонимания
так рождается человек
так он умирает

ЗАМОК С МУЗЫКОЙ

Едешь по ней, смотришь в окно на огромные фуры с небритыми и заспанными дальнобойщиками в нестиранных с самого Тамбова или Костромы майках; на суетливые «Фокусы» и «Шнивы», из окошек которых торчат во все стороны перемазанные мороженым и шоколадом дети, толстые кошки, тещи, рассада, оцинкованный профиль для теплиц; на сытые и гладкие «Мерседесы» с такими же седоками; считаешь каждой своей косточкой, каждым мягким местом жены ухабы и рытвины и думаешь – рос здесь когда-то лес или лежало под чистым небом такое же чистое поле, собирали крестьянские девки с парнями грибы с ягодами, или просто с парнями... да мало ли что можно собирать... а потом вдруг приехало начальство из области, а то и из самой Москвы, вперило вдаль свой губернаторский или министерский взгляд и... уехало с секретаршами на пикник, а кто-нибудь помельче, попронырливее уж объяснил, что будем строить дорогу. Распоряжений откуда и куда еще не поступало, но вот-вот непременно поступят, а пока надо засучив рукава строить, строить и строить... или не губернское начальство приезжало, а генерал с преогромным животом, весь в лампадах с ног до головы велел укатать всё, а заодно и всех, к такой-то матери отсюда и до обеда... или не генерал, а какой-нибудь шустрый, как насекомое-паразит, мэр решил заасфальтировать участок километров этак в... да все равно во сколько – лишь бы он доходил до небольшой, в три этажа, каменной дачки, записанной на имя жены или тещи... или не мэр, а просто тракторист решил метнуться в соседнюю деревню за самогоном раз, другой, десятый... – кто ж теперь вспомнит. Потом корпел вечерами над составлением сметы толстощекий заместитель начальника местного ДРСУ вместе с сушеной, точно вобла, бухгалтершей, насквозь пропахшей табаком и духами «Может быть» сорокалетней выдержки. Еще когда было сказано: «Не прилгнувши никакая речь не говорится», но ведь и смета, что речь – без приписок не бывает. Да и как без них? Песку машины где две, там и три надо брату родному на то, чтоб замесить бетон для фундамента, и себе на дорожки в саду... То-то и оно. Брат-то родной, не двоюродный. Ну, а где песок, там и гравий, не говоря о битуме. И начнется стройка... Запьют горькую строительные рабочие, польет их матом, точно проливным дождем, прораб, плюнет, наймет непьющих, трудолюбивых как муравьи и таких же маленьких таджиков, завизжат бензопилы, упадут старые дуплистые сосны и дубы, в которых поколения белок хранили свои орехи и грибы, продаст прораб недорого по случаю напыленный и наколотый на дрова лес... Потом приедут самосвалы с песком, щебенкой и уедут в неизвестном направлении строящегося дачного поселка, потом кое-как закатают в остатки асфальта чудом уцелевшие остатки песка и щебня. Разметку... ее бы непременно нанести, кабы осталась краска. И ведь она была – целых четыре или две бочки! Ну, одна-то была точно. Должно быть, закатилась куда-нибудь вслед за щебенкой. Снова приедет большое начальство, перережет ленточку и снова укатит на пикник с секретаршами, а мы поедем по этой дороге, которая смолоду стара, как черепаха Тортилла, и также покрыта морщинами да трещинами. За окном будут мелькать придорожные шашлычные с пережаренными до углей свиными шашлыками, пельменные с кавказской и японской домашней кухней дешево; старухи сутками напролет будут

Михаил Бару родился в 1958 году в Киеве. Окончил Российский химико-технологический университет в Москве. Химик и инженер, кандидат технических наук. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 1999 года. Автор нескольких книг стихов и прозы, в том числе «Обещастье» (2005), «Следы птиц» (2007), «Один человек» (2008), «Цветы на обоях» (2009), «Записки понаехавшего, или Похвальное слово Москве» (2010), «Тридцать третье марта, или Провинциальные записки» (2011), «Дамская визжалъ» (2011). Составитель первой российской антологии хайку и трехстиший «Сквозь тишину» (2006). Живет в Москве.

каменно сидеть у ведер с яблоками и трехлитровых банок с клюквой или лисичками; ненасытные гаишники в придорожных кустах каждый день будут иметь с русских, любящих быструю езду, такой кусок масла, который встал бы у них поперек... Впрочем, гаишники так толсты, что у них вдоль и быть не может, а только поперек. Понесутся мимо заброшенные деревни с заброшенными стариками, заброшенными собаками и кошками, которые, в отличие от детей, давно сбежавших в город, остались; развалины церквей, заросшие растрепанными кустами черемухи и бузины; настырно будут лезть в глаза огромные рекламные щиты с жизнерадостными до тошноты лицами начальников всех мастей и депутатов, настойчиво зовущих в светлое будущее; проедет по пыльной обочине из ниоткуда в никуда скрипучий дед на скрипучем, еще советском, велосипеде с мешком картошки, перекинутым через раму... Дорога взберется на желтый от цветущей сурепки холм, на вершине которого будет подпирать васильковое, в мелких кудряшках облаков небо гнутой и ржавый знак «Колхоз верный ... уть», потом спустится, пробежит по мосту, под которым спрячется в зарослях ивняка, точно девушка от смущения, крошечная речушка с непонятым, оставшимся от вятичей или древлян названием, потом снова пойдет вверх, все выше и... Куда бежишь ты? Хотя б намеки... Молчит. Петляет. Уходит от ответа. Может, его и вовсе нет. Да и так ли он нужен, этот ответ...

Макарьев

Если ехать в Макарьев из Костромы или из Кинешмы, то, начиная с села Островского, дорога представляет собой... все, что угодно, кроме, собственно, дороги. Обочины, по которым водители объезжают ямы, рытвины и колдобины на проезжей части, становятся шире самой проезжей части. Машины становятся похожими на петляющих зайцев, которых догоняет свора борзых, а слова, которые во время езды произносятся в сердцах водители, становятся междометиями и восклицаниями такого свойства, которые я не решусь воспроизвести. Впрочем, водители их произносят и тогда, когда выходят из своих машин, чтобы заменить пробитое колесо или погнутый диск. Будь я предпринимателем – организовал бы вдоль дороги продажу резиновых боксерских кап для проезжающих, чтобы они могли п-п-предохранить свои з-з-зубы от выб-б-бивания при тряс-с-ске. Само собой, объяснений такому положению дел есть множество: это и многовековое отсутствие денег в казне, и неурожай, и несусветная цена асфальта, завозимого то ли из Калифорнии, то ли из Австралии, и ужасный климат, и комары-убийцы, пьющие кровь из дорожных рабочих распивочно и на вынос, и огромные болота...

Кстати, о болотах. В Макарьевском районе находятся два уникальных болота – Дудинское и Томенское. Это очень древние болота – им по тринадцать тысяч лет каждому. На них растет столько клюквы, сколько не растет во всей остальной Костромской области. Если, конечно, умудриться всю ее собрать. Клюква отборная, крупная. Мало кто знает, что тринадцать тысяч лет назад, когда с экологией дела обстояли не в пример лучше, клюква родилась там такой, что стволы деревьев, на которых она росла, достигали десяти и даже пятнадцати метров в высоту. Диаметр кроны клюквенного дерева доходил до пяти метров! В руку помещалось при сборе не больше одной ягоды. Правда, была она в те времена гораздо кислее. В эпоху раннего средневековья в отдаленных уголках макарьевских болот еще росла эта удивительная клюква и ее собирали местные жители, сызмальства привыкшие к большим дозам клюквенной кислоты. В Кирпатьевской летописи описан удивительный случай, произошедший с отрядом конницы татарского хана Улу-Махмета, грабившего села и деревни в тех местах, где впоследствии вырос город Макарьев. Жители одной из деревень подсыпали в овес татарским лошадям местную клюкву. Через малый промежуток времени у лошадей так свело скулы, что они не только скакать, но даже и стоять в стойлах спокойно не могли. Двое суток их отпаивали водой. Еще и половина в строй не вернулась из-за повышенной кислотности и даже язвы желудков.

Впрочем, всё это преданья старины глубокой, которым не всегда можно верить. Теперь, во времена мелкой клюквы, можно лишь вспоминать о том, каким был старинный Макарьев, как по Унже день и ночь сплавляли лес, как шумела под стенами Макарьево-Унженского монастыря огромная ярмарка, как на главной площади города стояла под вывеской «Мыс Доброй Надежды» «гостиница

с номерами», как хозяин самого лучшего в городе трактира купец Чумаков собственноручно открывал дверь своего заведения и, увидев какого-нибудь чумакого лесосплавщика или сапожного подмастерья, направлял указательный палец на порог и уважительно предлагал: «А не пойдете ли Вы вон-с!»

Дома, в которых были гостиница и трактир, стоят и по сей день, но ни гостиницы, ни трактира в них нет. Даже о мысе Доброй Надежды теперь мало кто помнит.

Неподалеку от бывшего мыса Доброй Надежды стоит здание Макарьевского краеведческого музея. Двести десять лет стоит. Сотрудница музея рассказывала мне, что наняли они какого-то пропойцу задешево подлатать прохудившееся за два века кровельное железо. Денег у музея больших нет, как нет и малых, и потому приходится обращаться к тем, кто готов задешево. Да и никто в здравом и трезвом уме и твердой памяти не стал бы вставать на худую, точно решето, крышу. Тем не менее, работа была сделана, и самую аварийную часть крыши заменили. Когда же старое железо сбрасывали с высоты второго этажа на землю, то оно до земли не долетело – рассыпалось в воздухе.

Здание музея было построено как административное – в нем находилось казначейство, жил на втором этаже в казенной квартире полицмейстер с семьей, а в подвале был сводчатый каземат для арестованных с двойными железными решетками на окнах. Он и сейчас там есть. И решетки на окнах так крепки, что хоть сейчас сажай туда кого хочешь. Директор музея спит и видит, как устроить в этом каземате экспозицию музея, но... денег пока хватает только на опилки. Самые обычные древесные опилки, которыми в подвалах музея зимой засыпают трубы отопления, чтобы те не замерзли и не полопались. Отопление в Макарьеве печное. Дровяное и угольное. Во всем городе. Зимой, в мороз, Макарьев, с его сотнями дымов из сотен печных труб представляет собой красивое зрелище. Если, конечно, смотреть на него со стороны. Власти, само собой, обещали провести в город газ, но этому обещанию уже четыре года, а оно все еще как новенькое. Черт его знает, как так получилось, что от Сибири до Западной Европы путь оказался короче, чем до Макарьева. Может, карты были неверные, может что-то напутали при прокладке газовой трубы, а может... поэтому макарьевцы голодают за кого угодно, кроме. Даже за коммунистов, от которых пользы тоже, как от... Но памятник вождю мирового пролетариата нет-нет да и покрасят. Даже и цветы кладут к его подножию. Так, наверное, древние славяне, уже принявшие христианство, все еще хранили на всякий пожарный случай где-нибудь в дальнем углу сарая или темном овраге деревянного Перуна или Дажьдбога и хоть изредка, но обмазывали на всякий случай идолов кровью ягненка или обливали пивом.

Между прочим, и макарьевского Ленина пришлось недавно обмазывать. Какой-то местный житель прикрепил Ильичу шестой палец на протянутую ладонь правой руки. Даже и гадать не стану, зачем он это сделал. Причин, по которым у нас могут приделать палец какому угодно памятнику, такое множество, что аршином общим его не измерить. Тем более Ильичу. Скажем спасибо, что на ладонь. Палец ампутировали, а заодно и поврежденную руку заменили на новую. Обмазали новым гипсом старый.

Что же до музея, то он раньше помещался в надвратной церкви монастыря. Хорошо там было музею. Не потому что залов было больше или условия лучше, а потому что рядом с этим храмом на территории монастыря большевики построили городскую баню. Разобрали на кирпичи часть монастырской стены и построили. По субботам множество макарьевцев семьями, с детишками приходили мыться в эту баню. Баню, надо сказать, небольшую, а потому с большой очередью. И пока взрослые стояли в этой очереди, детишки бегали в музей. Часто и родителей за собой тащили. Для этих-то детей, не говоря о родителях, музей всегда работал по субботам. Теперь он в отдельном здании неподалеку. Метров пятьсот от старого, сразу за монастырской стеной. Только бани рядом с ним нету. Старую тоже закрыли. Посетителей в музее... Вот и получается, что баня была культурообразующим предприятием Макарьева. Вместе с музеем, конечно. Биолог сказал бы, что с музеем у бани были симбиотические отношения.

Вообще с культурной жизнью в Макарьеве не очень. Даже вездесущий Петросян сюда не приезжает. Не говоря о Киркорове. Был в городском соборе кинотеатр, но его перевели в неприкосновенный для этого универмаг. Смотреть кино в универмаг макарьевцы ходить не любят. У них кино ассоциируется с храмом. Нельзя сказать, чтобы и в храмы они... В известном когда-то на всю Рос-

сию Макарьево-Унженском монастыре, кроме нескольких монахинь, неустанно прибирающихся во дворе и обихаживающих цветники, никого не видать. Паломники и туристы здесь редкие гости. Теплоходы с ними доходят только до Макарьево-Желтоводского монастыря на Волге, тоже основанного преподобным Макарием. В Унжу теплоходы не заходят. До середины прошлого века река еще не так сильно обмелела, не была замусорена многолетним лесосплавом, и по ней можно было пройти в начале навигации аж до самого Кологрива, а летом уж всяко разню до Макарьева. Кто ж теперь станет чистить Унжу ради туристов...

По узкому ходу в толстой стене заброшенного Троицкого собора пробрался я на хоры, а потом по еще более узкому ходу, скорее даже лазу, с огромным трудом, точно Винни Пух, возвращающийся из гостей у Кролика, протиснулся на крышу, с которой открылась мне весенняя разлившаяся Унжа, бесконечные леса на противоположном берегу и невидимый в этих лесах леспромхоз «Комсомольский». Когда-то там кипела жизнь и, кроме большой зарплаты, давали пайковую тушенку, сгущенное молоко, шпроты и даже сгущенное какао. Теперь не кипит. Даже не теплится. Словно в одночасье исчезла тушенка со шпротами, а за ними пропала и зарплата. Люди ждали, ждали... и стали охотиться на птицу, зверей, ловить рыбу, собирать грибы и ягоды. Не все, конечно. Многие, чтобы скрасить ожидание, запили.

На территории монастыря находилось кладбище, на котором хоронили уважаемых и именитых макарьевских граждан. Не одну сотню лет хоронили. Разорили макарьевцы кладбище и растащили надгробия для хозяйственных нужд. На Юрьевецкой улице стоит известный всему городу дом, у которого фундамент состоит из этих надгробных плит. В доме уже давно никто не живет. Владелец его спился. Облюбовала дом макарьевская шпана. Время от времени у этого дома и внутри его грабят, избивают и, по словам музейного экскурсовода, могут и зарезать.

Кстати о преступниках. Тот же самый экскурсовод, понизив голос, рассказал, что люди авторитетные запрещают проживать в городе нашим соотечественникам из южных федеральных округов. Не соотечественникам из не наших южных округов – тоже. В районе можно, а в городе – ни-ни. И действительно, за время прогулки по городу я не увидел ни одного и не встретил ни шашлычных, ни чебуречных, ни шаурмы, ни кафе с кавказской кухней, а только одну-единственную блинную. Не было и давно привычных для москвичей таджиков*, бесконечно метущих улицы и прибирающих мусор. Зато была прямо под стенами монастыря мусорная свалка. Самое удивительное, что ближайшие к этой свалке дома находятся далеко внизу, под горой, на которой стоит монастырь. На эту гору и просто так нелегко взобраться, а уж тащить на себе еще и мусор... Не единожды монахини и сотрудники музея приводили на место этой свалки городские власти, не единожды власти разводили руками и не единожды говорили, что денег на уборку мусора нет. Подозреваю я, что другие люди приводили их и в другие места, и по другим поводам, но результат был тот же.

В одном из залов краеведческого музея нашел я старинную детскую книжку с названием «Занимательные путешествия по комнате», написанную каким-то ученым немцем по немецкой фамилии Вагнер. С немецкой педантичностью там были описаны даже комнатные мухи. В конце главы, посвященной мухам, вычитал я вот что: «Даже пленник в заточении может рассеять свое одиночество мухой, потому как это подвижное насекомое может нам надоесть, окружая нас своими многочисленными товарищами, в такой же степени она может к нам привыкнуть, и одинокая муха, которая у нас зимует, может сделаться подругой ребенка». Как это отвратительно, – подумал я. Что за ужасные немецкие придумки! Да никогда в жизни нормальный ребенок... И тут вдруг представился мне Макарьев одиноким ребенком, брошенный всеми, без друзей, подруг, и я подумал, что хорошо бы ему найти хоть муху, чтобы перезимовать.

Кологрив

В Макарьево, в краеведческом музее, я спросил у экскурсовода:

– Как дорога на Кологрив? Неужто такая же истерзанная, как от Костромы до Макарьева?

* Один раз какой-то предприниматель все же завез какое-то количество трудолюбивых жителей Таджикистана в Макарьево, но это был первый и последний раз.

– Гораздо хуже, – ответила она. И, чуть помолчав, добавила: – Хуже не бывает.

Признаться, я не поверил. Зря. Экскурсовод мой не только не обманул, но даже и приуменьшил масштаб стихийного бедствия. Полторы сотни километров от Макарьева до Кологрива ехали мы без малого пять часов со средней скоростью чуть более трех десятков километров в час. Даже огромные фуры старались объехать дорогу по мягкой обочине и, случалось, сползали в заболоченные кюветы. Напоминали они при этом убитых динозавров наоборот – огромная туша уже валяется в кювете без признаков жизни, а кабина-голова еще вращает колесами и пытается выкарабкаться*.

По обеим сторонам дороги тянулись деревни с серыми и черными, часто полуразвалившимися домами и крошечными банями. Никто не ходил по деревенским улицам, не кричал, не мычал, не лаял. Никто не предлагал на продажу молоко, старую картошку для посадки, банки с деревенскими соленьями и вареньями, а если бы и предлагал, то купить было бы некому. Дачники и туристы по этой дороге ездят редко. Голосовавшая у дороги местная жительница, которую мы подвезли до райцентра Мантурово, сказала, что и земля, и дома здесь дешевые. Множество домов и вовсе пустует – жить некому. В их деревне остались одни старухи и они с мужем. Им ехать некуда – они бежали в эту глушь из Ташкента. Завели скотину, стали предлагать свое молоко в деревне, но... старушки предпочитают покупать молоко в картонных пакетах, которые привозит к ним в деревню автолавка.

– Блины покупают замороженные! Понимаете?! В голове это у нас не укладывается, – изумленно говорила она и при этом почему-то крутила пальцем у виска.

По ее словам выходило, что на деньги, которые просят за обычную двухкомнатную московскую квартиру, можно в этих краях деревеньку прикупить. И даже не самую плохую. С крестьянами... то есть с оставшимися старухами, тоже, если с умом подойти, договориться можно. Барщину, конечно, старухам не потянуть, но необременительный оброк в виде какого-нибудь малинового варенья, соленых огурцов, сушеных белых грибов, вязаных носков... Ты им за это разноцветных таблеток от головы, живота, склероза, мазей от ревматизма, от расширения вен и болей в суставах, зубов вставных... Одну из старух взял бы в ключницы – учитывать все эти многочисленные припасы. Ключница завела бы большую амбарную книгу и, надев очки и послушавив на всякий случай кончик гелевой авторучки, крупными буквами вписывала бы в графу «огурцы» или «варенье» новые поступления.

– Батюшка барин, – шамкала бы она...

Тут наша машина подскочила на какой-то особенно большой дорожной кочке, меня крепко потрянуло, и я проснулся – мы подъезжали к Кологриву.

Зачем люди едут в Кологрив... Лет четыреста или больше тому назад в эти места ехали татары и черемисы все пожечь, разграбить, полонить и быстро ускакать обратно. Потом ехали лесоторговцы, чиновники, фельдъегеря, ревизоры, курьеры – тридцать пять тысяч одних курьеров. Никак не меньше этого числа, потому, что в восемнадцатом веке, в царствование Петра Второго кологривский воевода, капитан Иван Рогозин, самовольно перенес город на несколько десятков верст выше по течению Унжи. Еще и на другой берег. Тогда было переносить города легко – построил на новом месте канцелярию, винный погреб, питейный дом, тюрьму, соляной амбар, несколько домов для солдат – вот и весь перенос. Воевода действовал из лучших побуждений – новое место было удобнее со всех сторон. Тут тебе и заливные луга, и близость к Новому Вятскому тракту. Правительствующий Сенат, однако, повелел воеводе немедленно вернуть город туда, откуда он был взят. Это что же за мода такая – переносить города без разрешения начальства? Какой пример из такого самоуправления может произойти? Ежели капитан переносит город, то что перенесет полковник, не говоря о генерале? Губернию?! Иван Рогозин же на получаемые им предписания отвечал уклончиво и город не переносил. Началась русская служебная переписка – бессмысленная и беспощадная. В кибитках и верхом скакали в Кологрив и обратно курьеры с приказами и ревизоры с проверками. Вязли в осенней и весенней грязи лошади, рвались построжки, опрокидывались кибитки, ревизоры, удавившись в грязь лицом, били ямщиков кулаком в ухо, ямщики пели свои заунывные песни, кричали

* В кологривском музее, на витрине под стеклом хранится книга о визите Александра Первого в Кологрив. Он был там проездом по пути из Вятки в Вологду. Среди прочего, в этой книге написано: «Государь во время своего путешествия по Кологривскому уезду, был весьма доволен устройством дорог и селений. Избушки, устроенные в лесах, для отдохновения народу, во время поправления дорог, заслужили одобрение Монарха».

«Эй, залетные!» и просили на водку. Скрипели перья, писались бесчисленные приказы и отношения. Папки с перепиской пухли так, что не хватало длины тесемок для их завязывания. Президенты сенатских коллегий топтали ногами и кричали на канцелярских, канцелярские, в свою очередь, кричали и топали ногами на коллежских регистраторов, а уж те без предисловий лезли кулаком в ухо подьячим, написавшим в приказе «Ваше благородие» вместо «Ваше высокоблагородие». Подьячие вздыхали, пили водку и переписывали приказы с теми же ошибками.

Ровно полвека длилась эта переписка. Петра Второго сменила Анна Иоанновна, Анну Иоанновну – Анна Леопольдовна, Анну Леопольдовну... Приехавший в Кологрив при Екатерине Алексеевне очередной сенатский посланец секунд-майор Панфилов увидел, что старый Кологрив окончательно захирел, и переносить город обратно не имеет ровно никакого смысла. Об этом очевидном факте он писать в столицу не стал, а сел на лошадь и ускакал докладывать лично. После его отъезда поток курьеров стал мелеть, превратился в тоненький ручеек, а в скором времени и вовсе прекратился. Дорога на Кологрив стала обычной уездной дорогой, по которой медленно ехали крестьянские телеги, шла скотина, и время от времени не вдоль, но поперек переходили ее волки, рыси да медведи. С тех пор телег, крестьян и скотины в местных краях сильно поубавилось, но следы волков с медведями...

Я ехал в Кологрив не по казенной надобности, но по собственной охоте, которая, как известно, пуще неволи. В апреле прилетают на заливные луга у Кологрива стаи гусей из Голландии. В пойме Унжи они приходят в себя после утомительного перелета, отъедаются и улетают дальше в Арктику выводить птенцов и ставить их на крыло. Небо, невообразимой голубизны и высоты, разбитое на сверкающие осколки черными клиньями гусиных стай... машины с московскими номерами на мосту через Унжу, сосредоточенные мужики, увешанные фотоаппаратами с такими огромными телескопическими объективами, что через них можно увидеть не только самих гусей, но и Голландию, из которой они прилетели.

Мало кто знает, что еще несколько сот лет назад, в те времена, когда нас было меньше, а птиц больше, сюда прилетали не только гуси, но и аисты. И не просто аисты, а те, которые приносят детей. Воздух был чище, опасности по пути столкнуться с железными летательными аппаратами никакой, а потому младенцы, которые тогда были здоровее и закаленнее, легко переносили дальние перелеты. Вот тогда гусиная стоянка имела куда как более оживленный вид: тысячи младенцев агукуют, аисты, возвращаясь после кормежки и разыскивая своих детей, галдят страшно, испачканные вороха пеленок валяются по всему лугу.

Петр Первый, узнав, что аисты прилетают из его любимой Голландии, хотел перенаправить поток младенцев в окрестности новой столицы, однако договориться с аистами оказалось не так просто, как с собственными подданными. Постановили ограничиться созданием заповедника и даже подготовили указ, но царь уже утратил к этому интерес, и решение о заповеднике было принято лишь в наши дни.

Надо сказать, что немногочисленные местные жители детей у аистов не крали. Любой крестьянин и крестьянка знали, что аисты приносят детей только в редкие счастливые семьи. Разве можно украсть счастье... Обычные, не очень счастливые и просто бедные люди находят своих ребятешек в капусте. Потому-то и капустные щи для нас сакральное блюдо. В старину после крещения младенца на праздничный стол всегда ставился чугунок со щами из свежей или квашеной, смотря по сезону, капусты. Ну, а девочкам советуют есть капусту для чего? То-то и оно...

Кстати сказать, в начале девятнадцатого века уроженец Кологрива Федор Толстой, по прозвищу «Американец», путешествуя в составе экспедиции Крузенштерна, выяснил, что сирены Гавайских островов находят своих детей в морской капусте. Впрочем, рассказ об этих, без сомнения, интереснейших исследованиях выходит далеко за рамки моего повествования.

Раз уж речь зашла о существах необычных, то стоит упомянуть и о редчайших у нас, в средней полосе, ручейных русалках, обитающих в уникальном биосферном заповеднике «Кологривский лес». Эти крошечные существа, размером с канарейку или синицу, живут по берегам лесных ручьев. В отличие от своих крупных, всем известных речных и морских русалок, ручейные не живородящи – они откладывают яйца подобно птицам. У ручейных русалок нет самцов – они гермафродиты и размножаются последовательным оплодотворением. Одна из особей играет роль самца, а другая

самки. Яйца свои не высиживают, а подбрасывают в гнезда водоплавающих птиц. Вылупившаяся русалка не выкидывает другие яйца из гнезда, а наоборот – быстро улепетывает в первый попавшийся ручей или даже большую лужу. У русалок-мальков есть рудиментарные нижние конечности по обеим сторонам хвоста. Как только малек добирается до воды – эти рудименты у него отпадают. Питаются они лягушачьей икрой, водомерками и даже некрупными стрекозами. Ручейные русалки не поют, подобно своим речным и морским сестрам, но щебечут. Пение их довольно мелодично, на всякие рулады они куда как способнее канареек, а тем более щеглов. В старину, когда ручейные русалки обитали не только в заповедниках, их часто содержали в домах охотники и рыболовы. Вот только содержать в одном доме русалку и певчую птицу никак было невозможно. Русалки начинали ревновать хозяина к птице, чахли, переставали петь и умирали. Известен случай, когда русалка приревновала хозяина к его жене и до тех пор, пока жена...

Тем временем, мы въехали в Кологрив. Слева у дороги за черным от времени деревянным забором лежало длинное, по-видимому, складское здание из белого кирпича с наполовину заколоченными окнами. На фронтоне этого склада было выложено красным кирпичом по белому «Планы партии – планы народа!». И правда. Все так оно и есть: и партия у нас осталась та же самая, хоть и поменяла несколько раз вывеску, и планы народа как были – так и остались планами.

В местном продуктовом магазинчике возле эмалированного лотка, на котором были навалены куски колбасы самых разных сортов, сучала продавщица. На вопрос: «Как жизнь?» она, ни секунды не задумываясь, ответила: «Плохо», а случайно зашедший в этот момент пенсионер, которого я не спрашивал ни о чем, даже закричал: «Проститутки!» Кого старик обозвал проститутками, я уточнять не стал, но он мне сразу сообщил размер своей пенсии, чтобы было понятно, о ком идет речь. Рассказал старик и о том, что научился класть печки, чтобы не помереть с голоду, что работы в городе нет, что мужики, работающие на лесопилках, получают по десять или двенадцать тысяч. Это считается хорошей зарплатой. Очень хорошая зарплата в тридцать тысяч бывает у мужиков на лесоповале. Вот только лесоповал бывает всего два месяца в году. Потому и разъезжаются мужики кто куда в поисках работы. Кому сруб поставят, кому забор починят. Топор здесь умеет держать в руках почти каждый.

После слов о заборах и топорах я намеревался рассказать о том, каким городом был Кологрив раньше – в те времена, когда на две с небольшим тысячи горожан было в нем две гимназии, приходское училище, книжный склад, два десятка народных библиотек, частный кинематограф, самодеятельный театр, сельскохозяйственное училище, на опытных делянках которого росли виноград и лимоны, земская больница, первый уездный музей в Костромской губернии... но не расскажу. Что толку жалеть о том... Короче говоря – наше прошлое изучать, конечно, стоит, а расчесывать – нет.

Кологривский краеведческий музей, один из лучших в области, выглядит внушительно. Даже слишком внушительно для крошечного городка с населением в три с половиной тысячи душ. Построил его когда-то для своих собственных нужд, по образцу увиденного в Эстонии замка, местный купец-миллионер. Тогда миллионеры еще жили в Кологриве. Вообще, практически все достойные упоминания здания в городе построены до известных событий семнадцатого года прошлого века. Эти здания, построенные купцами-лесопромышленниками и местными помещиками, не только достойны упоминания – их невозможно забыть, поскольку в них и по сей день квартирует городская власть, банк и прочие государственные учреждения. За последние сто лет Кологрив не разросся, не прибавилось в нем новых районов, не понаехали в него жители не только соседних городов, но даже деревень его родного Кологривского района. Да и как им понаехать, если... В 1889 году в уезде проживало сто тысяч человек. В нынешнем году проживает не в десять, но в двадцать четыре раза меньше. Как раз по два человека на квадратный километр района. Вот как Сибирь расширила свои границы.

Но вернемся к музею. Купец Макаров, его построивший, завещал после своей смерти передать здание под городской железнодорожный вокзал, если через Кологрив пройдет железная дорога. Она взяла и не прошла. И по сей день проходит мимо. Уроженец Кологрива академик живописи Ладыженский, имя которого носит музей, завещал ему свою коллекцию картин, оружия, фарфора, музыкальных инструментов, ковров и даже африканских щитов, которые, кстати, постоянно съежи-

ваются от холода зимой, когда температура за окнами достигает минус тридцати пяти.

Прошлой весной в Кологриве прошла с успехом ночь музеев. Вернее музея, поскольку в Кологриве он один. Конечно, кологривский музей не Эрмитаж, не Третьяковка, и удивить жителей города, которые знают все залы музея как облупленные*, довольно трудно. Тем не менее...

В музее царила полная темнота. Посетители сбились в кучку и каждый светил перед собой принесенным из дому фонариком. Разыгрывалось представление на историческую тему «Прием в пионеры». В неверном свете китайских фонариков, посреди зала, увешанного картинами русских и итальянских художников, посреди японских статуэток из слоновой кости, посреди маленького городка, расположенного в глухом, медвежьем углу кологривской тайги, принимали в пионеры. Вразнобой, запинаясь и ошибаясь при чтении с листа, повторяли: «вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...»

...а мог бы быть вокзал. В залах, где висят картины и стоят вазы, толпился бы народ у билетных касс. В станционном буфете торговали бы холодными резиновыми беляшами и поили очень растворимым кофе со вкусом теплой воды коричневого цвета. Возле входа в вокзал у забитой мусором урны рылась бы в объедках тощая блохастая собака, и толстый полицейский задумчиво ковырял в носу антенной своей рации. Из репродукторов голос диктора сипел бы: «Скорый поезд Кологрив – Москва отправляется через пять минут. Просьба провожающим вытереть слезы – они горю не помогут».

Александров

Во Владимирской области есть город Александров, через который протекает речка Серая, а через речку мост, а на перила этого моста молодожены вешают замки. Мало кто знает, что каждое полнолуние из угловой башни стоящего неподалеку монастыря прилетает на мост черный дятел и долбит клювом в замки, пытаясь их открыть. Ежели какой откроет – та семья и распадется. Еще только дятел начинает долбить, а уж в доме все не слава Богу – или муж приходит под утро с совещания и к стене отворачивается, или жена уходит чай пить с ночевкой к подруге. Уж что только ни делали – и гоняли этого дятла, и замки ядом смазывали, и даже бойницы в башне заколачивали досками. Ничего не помогает – прилетает, хоть тресни. И откуда он знает, какие замки долбить – уму непостижимо. Единственное средство – не ходить на совещания и не пить чай, но на такие жертвы не всякие муж и жена готовы пойти. Зато если на замок сядет воробей или сорока и даже сточат об него клювы, то это просто к щекотке. Больше ни к чему.

Южа

Еду в метро на работу. Читаю книжку о городе Юже и ее окрестностях. У книжки есть подзаголовок «Записки православного краеведа». На «Серпуховской» подсаживается ко мне старичок. Долго шевелит губами, изучая обложку моей книги. Вдруг указывает сморщенным, как высохший стручок гороха, пальцем на подзаголовок и строго говорит, вернее кричит мне в ухо, стараясь перекричать шум метро: «Я вам так скажу – никакая религия не в силах заставить людей думать о душе. Никакая, я вам говорю! Только партия...» Он потом еще какое-то время раскрывал рот, но машинист включил пятую скорость, и я только и смог с трудом разобрать, что соседу моему восемьдесят лет и он коренной... или молочный... На следующей станции старичок вышел.

* Они действительно облупленные, эти залы. Им давно требуется ремонт. И не только ремонт. Рассматривая чайный гарднеровский сервис в одном из залов на втором этаже, я почувствовал... как бы это сказать деликатней... запах отхожего места. Экскурсовод мне объяснил – в здании до сих пор нет водопровода. То есть совсем. И воды нет никакой. Водопровод, конечно, обещали провести, как и газ в город, но пока его нет. Поэтому туалет представляет собой обычное деревенское отхожее место, с той лишь разницей, что в деревне оно находится поодаль от дома, где-нибудь в зарослях крапивы и лопухов на краю участка, а здесь внутри дома на втором этаже. Аккурат рядом с витриной, в которой стоит чайный сервис.

Это было то, что раньше называлось прологом. Теперь будет предисловие. Я ехал в в Южу в промозглых декабрьских сумерках и вспоминал, как лет десять назад жаркой августовской ночью прилетел в Калифорнию, в город Сан-Диего. Жить и работать. Встречал меня в аэропорту сотрудник той фирмы, в которой я собирался работать. Он приехал в Сан-Диего года за два или за три до меня. Его так распирало от гордости за новую родину, что он с порога объявил мне: ты приехал в лучшую на свете страну, в самый лучший и богатый штат этой страны и в самый приятный для жизни город этого штата. Понимаешь ли ты, как тебе повезло? Тот человек приехал с Украины, из городка, где по улицам бродили голодные как собаки куры, которые могли заклевать насмерть любого зазевавшегося. Его можно было если не понять, то простить. Прошло десять лет. Жизнь сделала не только полный поворот, но и переворот тоже. И вот я ехал в совершенно обратную сторону – в Ивановскую область. В одну из самых бедных областей России, в один из самых бедных городков этой области – Южу. Я чувствовал себя человеком, который после того, как забрался на Эверест, спускается в батискафе в Марианскую впадину. Батискаф изрядно трясло – мне даже показалось, что дорога выложена стиральными досками. По такой дороге хорошо сено перевозить – выехал с копной, а к пункту назначения приехал уже с брикетом. Утруска...

Всем известно, что название города Южа происходит от финно-угорского «юзга» – болото, топь. И действительно – в Южском районе огромное количество болот. Однако мало кто знает, что первое поселение в этих местах задолго до муромы и меря, племени которых, в свою очередь, вытеснили древние славяне, было основано болотными кикиморами. Теперь от них остались лишь воспоминания и найденные археологами многочисленные костяные коклюшки, на которых кикиморы пряли свою пряжу. Да еще редко-редко можно услышать вой, который издает рой малолетних кикимор, когда вылетает в печную трубу. Вымирают кикиморы. Только ли они...

Известен Южский край и своими прекрасными озерами, которых в районе около сотни. Эти озера еще в допетровскую эпоху были густо населены русалками. Не речными – худыми плоскими и мускулистыми от постоянной борьбы с течением, а озерными – округлыми, полными, с приятно волнующим воду хвостами и всем остальным ничуть не менее волнующим. Озерные русалки, как рассказывают многочисленные рыболовы, еще и поют гораздо мелодичнее речных. К сожалению, многочисленные рыболовы и грибники, текстильная фабрика, узкоколейная железная дорога, торфоразработки... Какие там русалки... Одно название осталось. Встречаются, правда, голоса у южанок такого волшебного тембра, что просто отдай все, да и мало будет. И еще. Интимное. Раньше, во времена прабабушек и бабушек, по редким серебристым чешуйкам на ногах у местных жительниц можно было определить... но они их упорно брили из поколения в поколение, и теперь этого нет даже на ощупь.

Теперь, когда от текстильной фабрики и узкоколейной железной дороги остались одни рыболовы с грибниками... Но не будем забегать вперед.

...Я здесь родилась в шестьдесят первом году. У нас тогда все было. И железная дорога. Хоть и узкоколейка, но дорога. С тепловозами, вагончиками и настоящим вокзалом. До самой Балахны можно было доехать. Свой кирпич был. Три кирпичных завода с кольцевыми печами! Сейчас там поле. Возле Южи месторождение глины есть. Паровозик по узкоколейке возил с завода кирпичи прямо на стройки. Литейный цех работал. Все батареи в домах были свои. Птицефабрика была. Куриными потрохами собак кормили! Трехлитровая банка треснутых яиц стоила рубль. Да что яйца – у нас свой аэропорт был! Садись на кукурузник и через двадцать минут в Иваново. Билет в автобус до Иваново стоил полтора рубля, а на самолет – два. По праздникам нас, детей, над городом на этом кукурузнике и кружили. Разноцветные парашютисты с неба сыпались как конфетти, и мы круги нарезали. Тогда и облаков в небе было меньше. Лимонаду – море. Но даже не это запомнилось больше всего. Гоняли нас с этого аэродрома, чтобы к самолетам не лезли. Правильно делали, кстати. Мы в траве прятались и лежали как партизаны. Провожали взлетающие самолеты. И вот это ощущение... ветер в лицо тугой-тугой, глаза слезятся ... До сих пор помню. Я потом уже поняла, что это называется счастье. Но потом, когда наступила перестройка. И люди так... ну до такой степени все пропало, включая деньги, что... сама видела, как гроб с покойником везли на мотоцикле с коляской. Не было денег на катафалк...

После того, как мурома и меря ушли, а что не ушли, то растворили в себе славяне, начались однообразные средневековые будни. На Южских землях возникало то одно княжество, то другое,

то оба враждовали, то разделялись на уделы, а то приходили татаро-монголы, и всем без исключения наступал переучет. Были князья Стародубские, были Ряполовские, были Ромодановские и были Пожарские. Именно в Южский удел, в деревню Мугреево-Никольское, где князь Дмитрий Пожарский залечивал раны, полученные в боях с поляками, пришла делегация от нижегородского купца Козьмы Минина с просьбой возглавить народное ополчение. После Пожарских село Южа с окрестностями меняло владельцев как перчатки. То владел им некто Григорий Карамышев, потомок татарского рода, то, после его смерти, сам Иван Грозный, то царский брат князь Владимир Старицкий, то воевода князь Воротынский, то дворянин Толмачев, то боярин Плещеев, то петровский фельдмаршал князь Репнин, то Опочинины, то Нарышкины... а южские болота так и оставались болотами. Пахотной земли – кот наплакал, да и была она худородной. Мало того, что у нас в России, как в окошко ни глянь – так все время не май месяц, так еще и земля...

...рыдала, когда меня распределили не домой, в Южу, а в Муром. Это уж я по распределению мужа сюда приехала. Мы – первые молодые специалисты-врачи, которым жилья уже не давали, а дали комнату в казарме, которую построил для рабочих еще текстильный фабрикант Балин больше ста лет назад. Туалет там был, да и сейчас есть, общий, а стенки кабинок до потолка не доставали. Зайдешь в него... Это вам, извиняюсь, не туалет на Курском вокзале, где все приезжие. Тут сначала со всеми по-здоровайся, а уж потом... Через четыре года мой городской муж сказал – будем строить свой дом. Как подали заявление на участок под строительство дома – так нас тут же нас сняли с очереди на квартиру. Два года стройки... Дорого нам этот дом обошелся – мужу пришлось уйти из медицины, но я еще работала на полставки доктором в садике. Зарплату задерживали по четыре, по пять месяцев. Из-за непрерывной инфляции к моменту получения от этой самой зарплаты не оставалось практически ничего. В девяносто пятом году мы занялись аптечным делом. Построили сами аптеку. Мне пришлось получить еще одно образование в Петербурге – фармацевтическое. Это уже все платно. И потом еще одна интернатура в Ярославле. Через полгода вышел указ о том, что хозяин не обязан иметь высшее фарм. образование. Можно использовать наемный труд...

И стали южане заниматься торговлей. В девятнадцатом веке весь северо-восток Владимирской губернии занимался торговлей мелким товаром вразнос и вразвоз. И вот эти самые коробейники, ходившие по деревням, селам и городам с коробами товара, назывались офени. Теперь об офенях помнят только историки и краеведы, а уж о том, что у них был свой собственный язык... Зря не помним. Уж одно-то слово из этого языка мы употребляем почти каждый день. Это слово – лох. Означало оно... да ничего обидного и не означало. Мужик. Просто мужик. То есть лох, говоря нашим нынешним, бразильским языком. Взваливали офени на плечи короба с ситцем, галантерейным товаром, лубочными картинками, книжками, купленными оптом подешевле на ярмарках, и... «Ой, полна, полна моя коробушка, есть и ситцы, и парча. Пожалей, моя зазнобушка, молодецкого плеча!» На самом деле, могли и не пожалеть. Могли и короб на голову по пояс натянуть – уж больно хитры были офени. Плутовали при торговле как дышали. Потому и в одну деревню старались два раза не приходиться.

И среди офеней были богатые и бедные. Состоятельный офеня мог иметь даже нескольких приказчиков, которые разъезжали по губерниям и торговали. Бедному же офене все приходилось делать самому. Поди походи месяцами от деревни до деревни в слякоть, дождь и жару – ноги-то, чай, не казенные. Хитрые офени и тут изворачивались. Известна история одного южского офени, который нанял за одно питание без прожivanja нескольких собак и кошек для разноски товара. Ну, да это дело не очень хитрое. Хитрое было в том, что попалась ему одна способная на разные штуки дворняга, которую он обучил продавать ежам булавки! Южские ежи из-за того, что часто пьют болотную воду, насыщенную метаном, рано лысеют. А ежу, спрашивается, что за жизнь без булавок? Лысый еж и мерзнет сильнее, и блохи его кусают чаще, а уж про перхоть и говорить нечего. Через много лет услышал эту удивительную историю Корней Чуковский и... Вот только поменял он для рифмы собаку по кличке Степан на двух козявок. Ну, и чтоб детей не расстраивать описанием больных лысых ежей, написал, что те-то «хохотать все не могут перестать». Какой там смех – слезы одни.

...уже вовсю была перестройка. Я как раз начальником был на предприятии, которое занималось переработкой древесины. Лес мы заготавливали. Каждое утро ни свет ни заря набежма в автобус и

на участок. Как-то раз мы работаем, а шофер в автобусе включил радио на всю катушку. Слышим – в Москве какая-то война. Все побросали инструмент и столпились в автобусе. Я им говорю – вы что, мужики. Хорош слушать этот концерт по радио! Нас-то это каким боком касается? Никаким. Пора лес валить. По радио есть не дадут. Кое-как разобрали инструмент и за работу. На следующий день сели в автобус и поехали на работу. Радио как включили... Мужики опять зачесали в затылках. Что делать-то? Работать, говорю, мужики. Это их там московские дела. Нам надо семьи кормить. На третий день уже и радио не слушали – работали как обычно...

Во второй половине позапрошлого века Южу с окрестностями приобрел у Нарышкиных богатый помещик из соседних Вязников – Иван Александрович Протасьев. Предводитель вязниковского дворянства и член московского Английского клуба, Протасьев мог бы ловить рыбу на озерах, стрелять на болотах бекасов и дупелей и пить настойку на отборной клюкве, растущей в южских лесах. Вместо этого он осушил в центре болото под названием Юзга, превратив его в озеро Вазаль, и на берегу нового озера выстроил трехэтажный корпус бумагопрядильной фабрики на шестнадцать тысяч веретен. С тех самых пор южанки и стали ткачихами.

...сначала ткачихой работала, как все. Сразу после школы пошла на фабрику. Кукол делала с детства. Жили мы небогато. У меня в детстве подружка была, и ей из Таллинна родственники присылали красивые платья и бусы. Уж как мне хотелось таких бус... Подсмотрела в «Юном технике» как делают бусы те, у которых вместо денег журнал «Юный техник», и сама сделала их из бумаги. Покрасила в красный цвет и лаком покрыла – получились лучше настоящих. Жизнь заставила – и платья стала шить. Потом, когда появились собственные дети, стала шить кукол для них. Однажды зашла вот сюда, в детско-юношеский центр, показать этих кукол, да так и осталась на восемнадцать лет. Зачино отучилась в Кинешме, в педагогическом колледже. У меня семьдесят детей учится кукол шить. Еще и дошкольники есть, и по выходным взрослые ходят в воскресный клуб любителей кукол. Детишки некоторые как из школы выйдут – сразу сюда и бегут. Чаем их напою с печеньем – и начинаем вместе кукол делать. Бывает, спать под утро ложусь. Проблемы у нас с фурнитурой. Представляешь одно, а на полке, в шифоньере, другое... Раньше нам государство давало денег, хоть и мало, на тесьму, на пуговицы, на булавы. Последний год перестало. Что из дому дети принесут, что взрослые, а что приходится из своих денег покупать. Получаю я здесь... смешно до слез сказать – четыре шестьсот. Как раз минималка. Я и цветочной рассадой торговала у нас на рынке, и в Плес, в гостевой дом варила варенье и огурцы закрывала. Держала гусей и свиней. В соседний Палех пригласили – на дне села у них выступить. Дай, думаю, хоть копеечку заработаю. У меня есть костюм избушки на курьих ножках. Здоровая такая картонная раскрашенная коробка с окошечком. Я ее на себя надеваю, а на ноги сапоги с накладками. Вроде как ноги куриные. В окошечке сетка, а за сеткой я говорю. Что говорит избушка на курьих ножках, если день села оплачивает «Единая Россия»? То и говорит. Ходила и кричала «Вступайте в Единую Россию», «Быть беспартийным некрасиво». Дети за мной толпами бегали.

Этим летом сама колодец копала. Самой колодец копать... Зато мы устроили фестиваль кукол Ивановской области. Сами придумали и сами устроили. Гости приехали из Иванова, из Шуи. Всё сами – государство нам ничего не дало. Ни копейки. Люди приехали, их чаем надо напоить? Пошли по предпринимателям. Кто два батона колбасы дал, кто шесть бутылок минералки. И на том спасибо.

Мы разных кукол делаем: у нас и Алла Пугачева, и Курочка Ряба – все есть. Выступаем с ними в детских садах, в школах. К нам приезжают сельские дети. Для них тоже выступаем. В детский дом ездили тут недалеко, представляли. По русским сказкам ветераны любят представления смотреть. У нас был спектакль про то, как лиса за kota замуж выходила. Так они все с куклами перифотграфировались в обнимку. С каждой. Некоторых кукол отдаем детям для выступления в детский сад – у них есть свой кукольный театр. На продажу, считай, что и не делаем. Дети на продажу делать не любят. И я не люблю. Ты в нее всю душу вложишь, а потом иди, продавай чужим людям... Изворачиваемся. Пойдем, проведем спектакль где-нибудь, соберем по десять рублей за билет у кого есть и купим себе фурнитур. У нас в студии все бесплатное для детей. Только дошкольники платят по пятьдесят рублей.

Уехать отсюда? И мыслей таких нет. Южу я люблю. В прошлом году решила парк городской восстановить. Подбила народ. Взяла рассадку, которую сама вырастила, привезла на велосипеде в парк

и стала клумбы восстанавливать. Администрации стыдно стало, и они тогда детскую площадку отремонтировали. В планах у меня еще театр теней организовать...

А вообще я так скажу – от всякого худа есть добро. Вот, чтобы выжить, организовала агентство досуга. «Золотая рыбка» называется. Хожу на детские дни рождения, свадьбы, юбилеи. Сама пишу сценарии и стихи праздников. Еще от центра занятости на шофера учусь. Я б и на парикмахера выучилась – ходила бы бабушек по домам стричь. Тоже заработок. Теплицу новую купила бы для рассады, и времени для всего этого вагон. Лучшие два. И студию кукольную не брошу, нет. Куда я без детей, и они куда... Кто на такую зарплату к ним придет? Никто к ним придет...

За семь лет до своей смерти помещик Протасьев продал и южскую фабрику, и восемь с половиной тысяч десятин леса шуйскому купцу, торговцу бумажной пряжей, миткалем и ситцами Асигкриту Яковлевичу Балину. К семнадцатому году шестнадцать тысяч веретен Протасьева превратились в сто с лишним тысяч. Южа превратилась в центр Южской волости. Пустырь на противоположном берегу озера Вазаль превратился в большой рабочий поселок с больницей, училищем мужским и женским, богадельней для престарелых и неспособных к труду рабочих, санаторием, родильным приютом, Народным домом, театром и электростанцией. И еще было построено четыре сотни отдельных домиков для рабочих с правом собственности. Революция в Южу приходить не хотела. Никто ее там не ждал. Но даже и после того, как пришла, Василий Асигкритович Балин еще несколько лет управлял фабрикой по просьбе рабочих. И только после того, как он подготовил себе смену, его сняли с должности, выгнали из дому и даже реабилитировали в конце тридцатых. Правда, по-смертно. Дом, а вернее резной деревянный терем, построенный еще в 1889 году, в котором жило семейство Балиных, в двадцать восьмом году отдали под детский сад.

...сейчас у нас четыре группы, а было шесть. Ясельные и детсадовские. Всего восемьдесят детей. В девяностые годы детей почти не было и сады закрывались. Как фабрика прекратила работы – так и мы стали рушиться. Перед тем, как все на фабрике развалилось, мы затеяли небольшой ремонт. Фабрика поскребла по сусекам и выделила нам небольшое количество досок, цемента, извести. Я по ночам здесь их охраняла, эти доски. На сторожей надежды не было – или заснут, или сами вынесут и пропьют. Однажды сию ночь у себя в кабинете и слышу – скамейки детские ножками топаят. Выглянула в коридор – тихо стоят, не шевелятся. Только я обратно к себе в кабинет, а они... Или вот еще в одной комнате, где раньше у Балиных бассейн был, а потом все зацементировали и пол положили, вроде как тихо плескался кто-то. Я туда тоже пошла. Даже и свет не включала. Меня все спрашивают – почему вы в коридорах никогда свет не включаете? Тридцать с лишним лет здесь работаю. Ну, зачем, спрашивается, мне его включать? Утром прихожу раньше всех, к половине седьмого. Надо живой угодок покормить. Но сразу в дом не вхожу. Дверь открою, поклонюсь и скажу ему: «Здравствуй мой хозяйин-батьюшка», а уж потом иду кормить попугая Кешу.

Этот барабан самодельный. Вы на него не смотрите. Нам денег на новые игрушки дают, но не так, чтобы на все, а барабан сделать из железной кофейной или чайной банки проще простого. Две дырочки проковырял, веревочку протянул и давай, стучи, пока у воспитателя уши не отвалятся.

Сейчас дети разные приходят. Проблемных много. Потом что родителей тоже много проблемных. Пьют родители. Но мы устроили кукольный театр. Все своими руками делали. Выпускники мои помогли. Знаете, не каждый ребенок может выйти на сцену. Стесняются дети. За ширмой им легче. У нас теперь хит сезона – «Курочка Ряба». Когда премьера – яблоку негде в зале упасть. Нам бы еще второе пианино для музыкальной комнаты, а то одно по нашим коридорам из комнаты в комнату тащить – так и последнего недолго лишиться. В прошлом году у нас были очень талантливые артисты. Ну, просто очень. Так ведь выросли и ушли в школу! Что с ними поделаешь... Выездных спектаклей у нас нет. Нам выезжать не на чем. Артисты у нас маленькие – не дойдут. Только вот пешком доведем их до ближайшего перекрестка, чтобы обучить правилам дорожного движения. Еще и сфотографировать этот поход надо. По новым правилам надо обязательно все сфотографировать – иначе нам инспектор не поверит.

Да вы посмотрите – какие у нас туалеты! Роскошные туалеты. И как воспитатель детей по горшкам рассадит – так с ними здесь сидит, не уходит. И поет с ними, и в ладоши хлопает. Надо их развивать, а как же. Каждые полтора-два часа и высаживаем с песнями. Ко мне тут на практику

две девушки приезжали из Шуйского педучилища. Покрутились недели две, поглядели, да и сбежали на спокойные места чай пить. Их-то понять можно. Работа у нас тяжелая. Я не знаю, в котором часу отсюда ухожу. Как все сделаю – так и не ухожу...

В 1910 году на средства Балиных в Юже был построен Народный дом, а в нем библиотека, миллиардная, буфет и театр со зрительным залом на тысячу мест. Строили по последнему слову тогдашней техники. Механизмы были как в самой Маринке. Такими же и остались через сто с лишним лет.

...колосниковые механизмы у нас такие же. Грузы тяжеленные. Отдельные товарищи умудрялись у нас пропивать их. В цветмет относили. Костюмов у нас много. Есть еще столетней давности костюм царя. Хоть сейчас облачайся и на трон. Но уж больно маленькие тогда все были. Такой костюм вроде нашего театрального бюджета – одно место прикроешь, а другое оголишь. Мы сейчас ставим спектакль к юбилею народного ополчения Минина и Пожарского. Вот и считайте – одни сапоги стоят больше тысячи рублей. Нам двенадцать пар надо. Это только обуться, а денег на кафтаны уже не хватает. Еще и бороды нужны. Хоть самим их отращивай. Раньше нам городские портные шили костюмы. Да и сами артисты тоже шили. С этого года всё. Можно сказать, что зашились. Средств нет.

Артистов искать просто – выйду на улицу да любого остановлю. Есть, конечно, и те, кто откачивается, но больше тех, кто с удовольствием. К примеру, мадам Грицацуеву я нашла у нас на рынке. Пирожками она торговала. Я только рот открыла, чтобы спросить, а она уже согласная была на все. Такая мощь у нее, такая фактура! Пирожки на репетиции нам приносила. К бармену однажды подошла – у него такие усы... Так и просятся на сцену. Он как узнал, что я его в театр зову – вздохнул и говорит: «Как долго я вас ждал...» Или вот еще у нас был талант один. Правда, очень любил выпить. Ему досталась роль инженера Шукина. Пришел на премьерный спектакль хоть и заранее, но уже хорош. Очень хорош. Мы его сразу раздели, чтоб ему голым сидеть на сцене и усадили за кулисами на чемодан ждать. Он и заснул. Время подходит – я его давай будить, а он мычит, и хоть убей его, не просыпается. Вот уж и третий звонок прозвенел... Изловчилась я и ногой из под него чемодан-то и вышибла. Встрепенулся мой Шукин и, не приходя в сознание, на сцену побежал. Я даже смотреть не стала. Убежала подальше от позора. Через пять минут слышу гром аплодисментов и крики «Браво!». Вот как сыграл. Талант не пропьешь! Одна женищина-Снегурочка в зале сидела – она с этим артистом ходила по домам как с Дедом Морозом. Так даже она, его хорошая знакомая, подумала, что он в трезвом виде играет. Да что Шукин... У меня однажды Элиза Дулитл чуть спектакль не сорвала. Совершенно трезвая, даже и не думайте. Прибежала тогда, когда я уже успокоительное пила. Кричу ей криком – где ж ты была-то?! Козу она, оказывается, доила. Это вам не в пробке застрять.

У нас по положению должна быть одна премьера в год. Больше не получается. Да и спектаклей немного. Обычно на премьеру приходят все, кто хочет. Зал большой – все помещаемся. На второй спектакль приходят те, кому понравилось, а на третий... Но мы играем не ради премьеры – ради репетиций. Вот где удовольствие.

Я в Иваново училась, а потом в Москве. Уже тогда знала, что хочу работать дома, в Юже. В Москве театральных режиссеров и без меня хватает. Здесь я нужна. У нас тут тоже артисты есть не хуже столичных. Был в нашем театре такой артист по фамилии Поросенков – он он справа на фотографии. Так его во МХАТ звали без экзаменов. Отказался. Кого бы он там играл... Здесь его все знали. И не только знали, но и любили! Чтобы такое в московском театре...

Нас осталось здесь человек шесть, руководителей студий и кружков. Зарплата у нас две восемьсот, но поскольку такого не бывает, то государство нам доплачивает до минималки, до четырех с половиной. Чем мы мешаем главе нашей администрации – ума не приложу. Ну, сократит она нас – какая прибыль городу от этого будет? Тридцать тысяч в месяц? И этого не наберется. Черт с ней. Пусть сокращает. Все равно не перестанем сюда ходить. Хоть на общественных началах, но все равно будем. Вот смотрите – роддом она наш сократила. Езжайте в Иваново рожать. И морг сократила – за этим делом надо ехать в Шую. Ну, раз не родиться и не помереть – так хоть дайте в театр сходить тем, кто еще здесь живет! Уж и депутаты ей наши говорили – куда ж мы без своего театра и дома культуры? Мы в него больше ста лет уже ходим. Ничего, отвечает. В Иваново поедете, если такая охота. А как же дети, спрашиваем? И детей с собой берите...

В храме во имя Св. апостола Асигкрита, что рядом с Народным Домом, сумрачно, зябко и пусто. Лишь две строгих старушки прибирают огарки свечей и так строго посматривают по сторонам, что даже святые на иконах отводят в сторону глаза. Батюшка молодой, с застенчивой улыбкой, с румянцем на щеках. Рассказывает сначала о храме, о прихожанах, о воскресной школе, и вдруг о том, что никак не может залогиниться в «Твиттере». «В контакте» он уже есть, а вот в «Твиттере» никак! Сокрушается, что вирусов нахватал много. Надо бы установить на компьютер антивирус Касперского...

Дом, в котором помещается южский архивный отдел – самый обычный двухэтажный, из потемневшего от времени красного кирпича. Лет сто ему или сто пятьдесят, или... у таких домов возраст никто не высчитывает – панельные они что ли, чтоб о возрасте беспокоиться? Ну, а если кто и полюбопытствует, то ему ответят – еще лет сто простоит, а то и сто пятьдесят. Ничего ему не делается. Над крыльцом южского архивного отдела написано большими темными буквами «АРХИВЪ», между рамами вставлены затейливые решетки, за решетками висят светлые шторы, а за шторами...

...неуютно было в архиве. Вроде и документы лежат старые и ветхие, и пыль архивная есть, и даже архивные мухи все как одна пенсионного возраста, а неуютно. Как-то раз прочла я в журнале «Отечественные архивы» про то, что в Вене при архиве создан салон. Прочла и подумала: «Чем мы хуже Вены?» Тут дело было даже не в архивной обстановке. Мне хотелось, чтобы люди, которые отдали нам самое дорогое – старые фотографии, ордена, документы – не чувствовали себя брошенными. Оно ведь как получается – человек нам все отдал, а мы ему: «Ну, все, спасибо. Иди, помирай. У нас тут дел полно». И дверь за ним закрываем.

Решили мы делать презентации этих личных фондов. Пригласить людей к себе. Дала нам администрация четыре лавки, чтобы людей рассадить. Глава района нам на свои личные средства купил три стола крутых. Мы у него еще шторы выпросили. Местный депутат дал денег на рамки для картин. Свои дал, не государственные. Потом уж сами насобирали старых венских стульев у южан. Вдвоем их и реставрировали вот этими женскими руками. Мы вообще всю мебель в салоне сами в порядок приводили – в свои обеденные перерывы и после работы. Из одного сельского Дома культуры притащили пианино списанное. Они себе новое купили, а нам это отдали. Мы из него грязь всю вычистили, пригласили настройщика из Шуи. Теперь к нам на презентации приходит пианист и скрипач из детской школы искусств. Диван старинный из Хотимля привезли. Считай, дрова были, а не диван. Нам его один наш местный предприниматель помогал везти. Всю дорогу нас упрасивал выкинуть его. «Я, – говорит, – вам новый, кожаный кулю, только выбросьте эту рухлядь. Не позорьтесь». Вон он какой теперь красавец стоит. Весь зеленым бархатом сияет.

Однажды проводили презентацию бывшего секретаря райкома КПСС. Приходили люди, которые с ним работали. До самой ночи вспоминали жизнь.

Мы ведь не только фонды представляем. К нам приходят и поэты. У нас такие поэты – Рубальская с ними рядом не стояла! Их книжки печатает издательский дом Николаевых. Он у семьи Николаевых и правда, дом. Деревенский. Они в нем и живут и стихи печатают. Николаев сам раньше заведовал типографией в Фурманове, а как вышел на пенсию, стал вместе с женой стихи местных поэтов печатать. Можно сказать, для удовольствия. Техника у них там никакая. Компьютер да принтер самый простой. Сами наберут, напечатают и сами сошьют. Бумагу им поэты приносят. У николаевских изданий даже и надпечатано, что они не для продажи. Семья у Николаевых многодетная. На жизнь он зарабатывает печником, а жена соцработником. Изданием стихов не заработаешь даже на полку, на которую можно зубы положить.

Взять, к примеру, меня. Я многодетная мать. Средств у меня ни столько, ни полстолька, ни даже четверть столько..., но если бы я была богатой, то построила бы Дом творчества. Нам как воздух нужна картинная галерея. У нас столько художников и поэтов...

Фабрика Балиных стоит на берегу озера Вазаль огромная и пустая, точно брошенный и запущенный храм, из которого ушли навсегда прихожане. Привидений здесь нет – это ведь фабрика, а не средневековый замок. Говорят что по ночам, если изо всех сил прислушаться к гулкой и пыльной тишине, можно услышать тихое согласное жужжание десятков тысяч веретен, которые когда-то... Но это, конечно, не каждую ночь. Только в полнолуние.

*...приехала к нам в седьмом или восьмом году корреспондентка из «Известий». Всё она плохое вы-
ноживала. Разруху ей подавай. Видно заказ такой был – на разруху. С чего уж она взяла, что у нас
на клумбах картошка растет – ума не приложу. Все пытала меня – где эти клумбы. Ух, как я разо-
злилась! Решила я ей Южу показать. В Народный дом ее повела и в музей театра. Подходим мы к
Народному дому, а возле него клумба с желтыми цветочками. Корреспондентша на нее глазом так и
косит. Не вытерпела и спрашивает у меня:*

– Скажите честно – это у вас не картошка растет?

Я ей говорю:

*– Да вы хоть раз в жизни видели, как картошка-то цветет? У нее цветы белые! У синеглазки –
синие. Далась вам эта картошка!*

Она помолчала полминутки и снова домогается:

– Так может это желтоглазка?

*Удивительное дело – человек никогда в жизни не видел растущей картошки, а в голове такие за-
росли картофельной ботвы...**

В Юже нет ни одной улицы, названной в честь Балиных, ни одного переулка. Ни гимназия, ими построенная, ни больница, ни богадельня, в которой теперь детская музыкальная школа, ни Народный дом, переименованный в Дом Культуры, не носят имени ни Асигкрита Яковлевича, ни его сыновей. Только на холме, сразу за детским садом «Радуга», в котором когда-то жила семья Балиных, стоит сосновая роща, которую южане называют «Балинским лесом». Сосны там огромные – корабельные. Нашить бы к ним парусов и... «Куда ж нам плыть?»

Кинешма

В Кинешме, в плавучей гостинице «Мирная пристань» по утрам в комнату набивается множе-
ство водяных солнечных зайчиков. Водяные солнечные зайчики не в пример подвижнее сухопут-
ных увальней, которые еле ползают, точно черепахи или улитки. Водяные ни минуты не сидят на
месте – только что он щекотал тебе кончик носа и грел щеку – и вот уже греет другую, и не тебе. Или
вовсе не щеку. И при этом не перестает щекотать. Начнешь его ловить и где только не поймаешь...

** Писал я, писал и вдруг подумал – нехорошо будет, если в рассказе о Юже не будет имен и фамилий людей, расска-
зававших мне о своем городе. И даже тех, кто не рассказывал, а кого упоминали в своих рассказах южане. К примеру,
столы для архивного салона подарил глава администрации южского района Владимир Каленов, а деньги на рамки для
картин дал депутат Владимир Мальцев. О них мне рассказали две феи южского архива и создательницы архивного са-
лона Венера Кулдышева и Стелла Киселева. Они не урожденные южанки. Одна приехала в Южу из Башкирии, а другая
из Азербайджана. Обе красивы южной красотой. Однажды в Суздале на краеведческих чтениях, посвященных князю
Пожарскому, их спросили:*

– Откуда вы?

– Мы южанки, – гордо ответили Венера и Стелла.

– Что южанки – понятно по вашему виду, но Пожарские чтения вам зачем?

Они не обижаются – смеются. Еще и поют в русском народном хоре.

*О детской кукольной студии «Сюрприз» рассказала ее руководитель Эльвира Бокова. Мне показалось, что она может
шить куклу даже из воздуха, если ей дать иголку и воздушнораздувательные нитки. Рассказывала о народном Южском
театре его режиссер Лена Артемьева. По детскому садику «Радуга» водила Нина Валентиновна Макеева, а познакомили
меня с ней и со всеми героями рассказа о Юже врачи Ирина и Владимир Крюковские. Они же и рассказали о своем
Южском житье-бытье.*

*И вот еще что. Может, и не стоило об этом говорить, но раз уж я решил упомянуть всех, то исключений делать не будем
не только для хороших людей, но и... Короче говоря, ту самую известинскую корреспондентку, которая искала в Юже
клумбы, засаженные картошкой, зовут Людмила Бутузова. Должно быть, она сей момент икнула. Или даже на нее на-
пала страшная икота. Кто ж ей виноват? Сама виновата.*

Одоев

Если подъезжать к Одоеву со стороны Белева, то как раз будет мостик через речку Маловель. Что-то есть библейское в этом названии. Маловель... Маловель... – младшая сестра Иезавели. Не красивая и добрая, тайно обожавшая мужа своей ужасной сестры – безвольного Ахава... или не в названии, а в этих осенних холмах с гефсиманскими яблоневыми садами и рощами из тонких прощальных белых золотых березовых свечей, в синем зеленом малиновом небе, в уходящей в него дороге, по обочинам которой никуда не торопясь бредут серые колченогие телеграфные столбы.

Раз уж зашла речь о яблоках. Одоевская антоновка – всем антоновкам антоновка. Каждому одоевцу доподлинно известно, что пастилу из нее подавали к столу самого Ивана Грозного... или эта пастила упомянута отдельной строкой в завещании Ивана Калиты... или она была изображена на гербе князей Одоевских, где ее держит в клюве черный орел с золотой короной на голове... или она выпала, когда орел разговаривал с лисицей...

Перед самым въездом в город... Тут надо признаться, что Одоев не город, а «рабочий поселок городского типа». Был он городом пятьсот с лишним лет, а при большевиках перестал. Мало того, еще и переименовали они его в оно – Одоево. Через тридцать лет мужской пол Одоеву, убрав в окончание женскую букву «о», вернули, но беадож поселок остался. А от большевиков остался при въезде в Одоев памятник первой районной коммуне «Красная заря». Стоит чуть в стороне от дороги на белом постаменте крашенный серебрянкой коммунар с косой и коммунарка с такими же серебряными граблями. Смотрят они на проезжающих с такой неизъяснимой грустью и печалью, что догадайся скульптор сунуть в руки коммунару кепку, а не косу – в нее бы, ей-богу, подавали.

Такие грустные глаза я видел только у гипсового динозавра в краеведческом музее Одоева. Он стоял за стеклом в первом зале и олицетворял собой мезозойскую эру. Если бы у крокодила Гены и был пращур – то это тот самый Одоевский дипломат. У такого и день рождения бывает раз в сто лет. Зато у молодого экскурсовода Кости, потомственного одоевца в четвертом поколении, глаза были веселые. И румянец во всю щеку. И эспаньолка. С детства он ходил в этот музей. Отлучился на пять лет, чтобы закончить факультет искусств и гуманитарных наук Тульского педагогического университета, и вернулся. Теперь в музее на испытательном сроке. Надеется, что примут его на постоянную работу. Зарплата у него... а еще он подрабатывает дворником. – Чем чужой человек будет подметать музейный двор – так уж я сам каждый уголок... На круг выходит тысяч семь, не меньше. – И это все? – спросил я его. – Не все, – отвечал Костя. Еще он пишет стихи и играет в народном театре. Ставят они современную пьесу. Ему досталась роль человека, которого заставляет лгать жена. – Подкалблучника? – Нет, – почему-то смутился Костя. – Просто человека сложной судьбы.

Про народный театр надо сказать особо. Про него и про духовой оркестр. Это два душеобразующих предприятия Одоева. Театру без малого сто семьдесят лет. Сначала он был дворянским, благотворительным, а с восемнадцатого года стал народным. Менялись императоры, народовольцы бросали бомбы, мы проиграли войну в Крыму, проиграли еще одну японцам, рухнула империя, проиграли сами себе гражданскую, выиграли отечественную, полетели в космос, победили сами себя, рухнула еще одна империя... и это все при неярком, почти домашнем свете огней рампы Одоевского народного театра. Еще и под музыку духового оркестра, организованного одоевцами в двенадцатом году при пожарной части. Тут надо бы воскликнуть что-то патриотическое, вроде «никогда не победе того народа...», но я не патриот. Патриот – он как муж. Любит родину по расписанию и в строго отведенных для этого местах – на митингах, в Думе, в телевизоре. Это его работа – родину любить. И уж он ее так любит... и этак... Впрочем, я, кажется, увлекся. Вернемся в краеведческий музей. Там стоит древняя канадская фисгармония. Костя энергически понажимал на ней педали и попытался взять несколько аккордов, но фисгармония так жалобно застонала, что он закрыл крышку и, бросив «Я сейчас», исчез за какой-то потайной дверкой. Через полминуты Костя поднес к моему уху свой мобильный телефон со словами: «Послушайте – там у меня записан концерт Дэвида Боуи. Вот в этом месте играет фисгармония. Слышите?» Я представил себе, как сто лет назад какой-нибудь телеграфист передовых либеральных взглядов или преподаватель географии в женской Одоевской

гимназии* играет на фисгармонии и поет приятным баритоном: «Над Канадой небо синее...», и на словах «Не спеши любовью оплакать...» крупная слеза величиной с виноградину падает из черноты бархатного глаза одоевской купеческой дочери или молодой гувернантки в чашку с остывшим чаем... Да что вы привязались ко мне со своим Городничким?! Напишет он эту песню, напишет. Чуть позже. Лет через пятьдесят.

Кстати, о купечестве. В позапрошлом веке в Одоеве был самый его расцвет. Торговали хлебом, пенькой, скотом и пиленным лесом. На миллион рублей золотом тянул суммарный годовой оборот одоевских купцов. По реке Упе шли баржи с товарами. Не знаю – была ли тогда вода в Упе мокрее, но вот судоходной она в те времена была**. В базарные и праздничные дни в городе устраивались кулачные бои (в будние дни могли набить морду без театральных представлений) и на ипподроме – рысистые бега. Представлял я себе бега, ипподром, театр и духовой оркестр в поселке городского типа, представлял... так и не представил. А ведь когда-то Одоев был и вовсе столичным городом. С четырнадцатого по шестнадцатый век Одоев – центр удельного княжества. У него и герб есть, утвержденный Екатериной Великой, – черный одноглавый орел в красном поле держит золотой крест. А теперь попробуйте под таким гербом подписать «рабочий поселок Одоев». Рука не поднимается? Да тут от обиды не только рука не поднимется...

Само собой, не все было в старом Одоеве замечательным. Взять, к примеру, грязь на улицах. Она тогда была гораздо грязнее (как и вода, которая была мокрее). Весной и осенью в городе появлялись такие огромные лужи, что некоторые из них были судоходны. Местные жители продавали проезжающим за умеренную мзду весла, а маленьким детям матроски. Ну, а кареты тех, кто побогаче, тянули бурлаки. Не секрет, что именно Одоев послужил прототипом Удоева в знаменитом романе Ильфа и Петрова. Надо сказать, что одоевцы нисколько не обиделись, а даже наоборот, обрадовались такой неожиданной известности. На народные деньги был сооружен памятник, представлявший собой гипсовую трибуну, в которой выступал Остап Бендер, приветствуя жителей Удоева. По самой трибуне, выкрашенной белой масляной краской, золотыми буквами шла надпись: «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!» Гипсовый Остап протягивал к одоевцам руку, в которой была зажата его знаменитая милицмейская фуражка с гербом города Киева. Сам памятник был небольшим, в некотором роде даже переносным. Одоевцы поставили его на берегу одной из своих огромных луж, как раз напротив дома, где заседали местные власти. Последним, однако, не понравился указующий перст Остапа Ибрагимовича и намеки на разгильдяйство с бездорожьем. Памятник решено было убрать. На следующее утро пришли рабочие... и тут оказалось, что памятник стоит уже в совершенно другом месте, на берегу другой огромной лужи... и так семь раз. В конце концов властям надоели ролевые игры с памятником, и они при помощи правоохранительного органа, одоевского милицейского сержанта, фамилия которого не сохранилась, изловили памятник, отобрали у него трибуну с надписью, фуражку заменили на кепку, отполировали голову и намертво прикрепили статую к постаменту, установленному на центральной площади Одоева. Так он и стоит там – обычный Ильич... с тщательно спрятанной в усы хитрой улыбкой великого комбинатора.

Но я опять забрел далеко в сторону от музейных экспонатов. В Одоевском музее все работает: и фисгармония, и старинный граммофон, и огромные напольные часы. Не работает только ажурная чугунная скамейка. В том смысле не работает, что лучше на нее не садиться, поскольку одной ноги у нее нет. Когда ее нашли в селе Ивицы Одоевского района, она и вовсе вросла в землю наполовину. В этом селе была усадьба дедушки Софьи Андреевны Берс. Она туда часто приезжала, прежде чем стать графиней Толстой. Лев Николаевич тоже приезжал. Одоевские краеведы, как минимум, два зуба дают, что сидя именно на этой скамейке великий писатель сделал предложение Софье Андре-

* Женская гимназия в Одоеве (как и уездное училище для мальчиков), была первой в Тульской губернии. Оно, конечно, гимназия не космодром. Ничего особенного, но ведь жило тогда в Одоеве раза в три меньше народу, чем в наше время, а ведь в нем и в начале двадцать первого века всего шесть тысяч жителей. Да и где вы теперь найдете современную школу с колоннами и античным фронтоном...

** Положим, судоходной-то реку можно и сейчас сделать, но как упросить стерлядь, судака и раков вернуться в Упу – ума не приложу.

евне. Понятное дело, что до решающего объяснения сиживали они не раз и не два на этой скамеечке. Вокруг скамейки росли пышные кусты сирени... в которых пряталась младшая сестра Сони – Таня. Стоило только голове Сони склониться на плечо Льва Николаевича, как из кустов раздавался насмешливый голос Тани:

– А-а-а... вы целуетесь? Хорошо же! Я скажу мамаше.

Как-то раз за обедом, когда подали вафли, она вдруг захихикала, подмигнула одним глазом и спросила у Толстого:

– Сказать? А?

Лев Николаевич страшно покраснел и зажевал вместо вафли салфетку. Соня вскочила из-за стола и убежала в другую комнату.

Сколько конфет, зеркалац и лент перетаскали ей Лев Николаевич и Соня, чтобы та не рассказывала ничего родителям... Однажды Толстой пришел на свидание с косой и попросту скосил всю сирень вокруг скамейки. Софья Андреевна вспоминала много лет спустя, что именно с тех самых пор Толстой приобрел привычку косить. Сначала вокруг себя, а потом и вообще босиком. Что же до лент и конфет, то их не стало сразу же, как только Толстой получил согласие Сониных родителей на брак.

Даже на черно-белой свадебной фотографии Толстых видно, какое у Тани Берс малиновое ухо.

На выезде из Одоева стоят заледеневшие на осеннем ветру мужчина и женщина с мешками антоновских яблок. Полсотни рублей за ведро. Возле Тулы, у торговков, стоящих на обочине московской трассы, такое же ведро с яблоками стоит в пять раз дороже. В Москве их днем с огнем... Не говоря о пастиле... Нет, не то. Не пастилой едимой жив Одоев. Еще и вареньями разными, повидлом, джемом, конфитюром – и вообще работает в Одоеве целый консервный завод. И второй, на котором выпускают такое сливочное масло... Ну не подают его к столу Ивана Грозного, не подают. Так и с Грозным у нас тоже, мягко говоря, неувязка... И опять не то. На самом деле, я хотел сказать, что в следующем году Одоевскому духовому оркестру будет сто лет, а театру – сто семьдесят. А еще в Одоеве есть детская школа искусств, которой тоже почти сто лет. И музей глиняной игрушки. В какую, спрашивается, Москву, можно ото всего этого уехать? Хоть бы и в надежде протереться к царскому столу. Вот одоевцы и пригибаются там, где родились. Среди этих осенних холмов с гефсиманскими яблоневыми садами и рощами из тонких прощальных белых золотых березовых свечей, посреди синего зеленого малинового неба и уходящей в него дороге.

Белев

От Одоева до Белева сорок три километра сплошного Левитана. Едешь по картине из левого угла в правый, а в углу, возле позолоченной листьями берез и осин рамы, на высоком берегу Оки стоит Белев. Белев стоит здесь так давно, что и самой Москве может сказать: «Вас здесь не стояло».

В Белевском музее есть, помимо обязательных бивней и зубов мамонта, еще и его ребро. Раньше, до войны, вместо этих зубов и ребер были коллекции картин, старинного фарфора, гобеленов... В сорок первом, когда танки Гудериана подошли к городу, стали вывозить... партийные архивы, а музей подожгли, чтобы не доставался врагу. Пока горел музей, местные жители... не вернули потом ничего. То есть совсем. В семидесятых годах при пожаре дома в одной из деревень Белевского района за обгоревшей печкой нашли два свернутых в трубочку портрета двух Екатерин – Первой и Великой. Эти портреты писал Павел Васильевич Жуковский – основатель первого Белевского краеведческого музея, носившего его имя. Отец Павла Васильевича – Василий Андреевич, известный нам всем с шестого класса средней школы, родился в Белевском уезде, таком богатом на бивни и ребра мамонтов, славянофилов братьев Киреевских, белевские кружева, просветителя и ученого Василия Левшина, написавшего самый первый русский научно-фантастический роман о полете на Луну, белевскую яблочную пастилу, которой коломенская пастила недостойна целовать даже упаковку, поэтессу Зинаиду Гиппиус и удивительную белевскую бруснику, растущую на болоте, оставшемся после таяния ледника. Сейчас мне скажут: «Знаем-знаем мы эту бруснику. Такой развесистой не видано больше нигде». Неправда ваша. Уникальна белевская брусника тем, что, в отличие от

обычной ярославской или костромской, или даже архангельской, она бродит как виноград. Палеонтологи еще в конце позапрошлого века описывали найденные на территории уезда скелеты пьяных мамонтов с заплетающимися бивнями. Местные жители, начиная еще с кроманьонцев и вятичей, употребляли забродившую бруснику в качестве ритуального блюда, а уж к тому времени, как в эти места пришли древние славяне, научились курить из нее крепкое вино. Секрет этого напитка строго охранялся местными жителями. Бывало, Жуковский приедет осенью после отпуска из Белева в Петербург – и сейчас же к Пушкину со штофом, а то и с четвертью. Пушкин, большой галломан, называл этот напиток «Бель ирель», утверждая, что «Бель» здесь – сокращенное от «Белев». Как Александр Сергеевич ни упрашивал Василия Андреевича поделиться секретом приготовления... А вот секрет знаменитой белевской яблочной пастилы хоть и известен всем, но получается она такой как надо только в Белеве. От того ли это, что белевская антоновка самая душистая из всех антоновок, растущих у нас, или от ласковых рук белевских мастериц, которые и сами такие крепкие и сочные антоновки... Теперь-то делают пастилу из одной антоновки, а раньше, в позапрошлом веке, на овощесушильном заводе купца Прохорова по специальному заказу на слой яблочной пастилы накладывали слой грушевой, на слой грушевой – слой ягодной, на ягодную снова яблочную и везли продавать в разные города России, Европы и Америки. И на царском столе белевская пастила тоже не выглядела бедной родственницей. Дома, в Белеве, ели ее по праздникам. Вносили белоснежную от сахарной пудры пастилу на тонком фарфоровом блюде с цветочным или ягодным орнаментом, к ней подавали сверкающий, огнедышащий баташевский самовар с медалями и кузнецовским чайничком наверху, выходили к чаю земские врачи в пенсне, учителя гимназий в вицмундирах, железнодорожные и заводские инженеры в форменных тужурках, дамы в платьях с ажурными воротничками и манжетами из белевских кружев, и начинались долгие разговоры о том, как ужасно и темно наше настоящее, и горячие споры о том, каким будет светлое будущее... Написавши это, я вдруг вспомнил, что на одном из сайтов, посвященных белевской жизни, я видел статью под названием «Жопа Тульской области находится в Белеве». Там же прочел, что теперь в городе и районе полтора десятка школ, из них дюжина – сельские. Последние понемногу закрывают – нет учеников. Ровно полтора века назад в Белеве и уезде было шестьдесят две школы. Тут, как говорится, низдең абзац и с новой строки.

Музейный экскурсовод, влюбленная в Белев и его историю женщина, бежавшая сюда из Баку двадцать с лишним лет назад, рассказала, что через Белев проезжал Пушкин. Белевичи заслуженно гордятся фразой Пушкина из «Путешествия в Арзрум»: «Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел». Сначала я посмеялся про себя, а потом подумал позавидовал Белеву. Через него проезжал Пушкин. Любого спроси – хотел бы он проезда через себя Пушкина? Да кто б отказался-то? Хорошо бы еще и вместе с Гоголем. Николай Васильевич, кстати, тоже проезжал через Белев. Ну, может и не через Белев, а рядом, но то, что белевский театр первый из провинциальных театров России поставил «Ревизора» – факт совершенно неоспоримый. Теперь в Белеве не ставят «Ревизора», а зря. При нынешнем положении дел его хоть через день запрещай к постановке. Но вообще Белев мало изменился за последние несколько сотен лет – те же добротные купеческие каменные дома, те же храмы, та же Ока... только все обещавшее донельзя. Даже и Ока умудрилась обмелеть. С храмами тоже получилось... Впрочем, так получилось не в одном Белеве, в который я ехал по картине Левитана, а приехал в картину Максимова «Все в прошлом», только с помятым и закопченным самоваром, надтреснутой фарфоровой чашкой с облезшей позолотой, а серебряную ложечку и вовсе кто-то...

Во дворе музея, на большой земляной куче, поросшей травой, увидел я старинный чугунный якорь в человеческий рост, который нашли на территории белевского торгового порта. Это, собственно, все, что от этого порта и осталось. А от старого довоенного музея остались лосиные рога с начищенной медной табличкой под ними, на которой выгравировано «Шишкино 1884 г.». Висят на стене в одном из залов напротив чучел ржанки и дрозда.

Что же до белевской яблочной пастилы, то она и вправду хороша. Тает во рту. Нежная, сладкая, с тонкой кислинкой. Поцелуй, а не пастила. Язык еще потом долго не может успокоиться и все облизывает губы, облизывает... Такую пастилу надо подавать на тонком фарфоровом блюде с цветочным или ягодным орнаментом... есть молча и мечтать о том, что хорошо бы принести с чердака самовар,

отрихтовать и начистить его до блеска, подклеить отколотый край чашки и тому, кто умыкнул серебряную ложечку, отрихтовать и начистить... Нет, конечно, можно вместо всего этого вести долгие разговоры о том, как ужасно и темно наше настоящее, и горячо спорить о том, каким будет светлое будущее... Но лучше отрихтовать и начистить. По крайней мере, чай будет пить приятнее.

Павлово на Оке

На втором этаже Павловского ресторана «Династия» в общей зале, в том самом месте, где у Гоголя висит картина, на которой «изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал», висит копия картины Перова «Охотники на привале». Копия как копия. Масляная. Вот только у крайнего левого охотника лицо, как можно заметить, не свое, но Никиты Михалкова. Масляное... Что-то патриотическое или самодержавное или дворянское он этим лицом рассказывает. Ну, а руки разводит, как самый настоящий охотник, – то ли показывает величину предлинных страусовых перьев на своем дворянском гербе, то ли размах крыльев белого орла на нем же, то ли пересказывает свой фильм – такой прекрасный, какого зритель, верно, никогда и не видывал. Фильм этот Михалков снимал как раз в Павловском районе и в процессе съемок изволил отобедать или отужинать в «Династии».

Ну, а для тех, у кого лицо Никиты нашего, Сергеича, хоть и писанное маслом, вызывает вместо аппетита процесс совершенно противоположный, есть и другой зал – под названием «Романтический». Зал, впрочем, как зал, на три столика, но стоят в нем две клетки с канарейками, до разведения которых павловчане большие охотники. Даже москвичи признают, что по чистоте и затейливости песен павловские канарейки уступают только московск... По правде говоря, ответ на этот вопрос сильно зависит от того, где его задавать – в столице или в Павлове. Не раз и не два павловские канароводы со своими питомцами брали и золотые, и серебряные медали на всероссийских конкурсах. Канароводством в Павлове занимаются еще с восемнадцатого века. Опытный павловский канаровод различает на слух до двух с половиной сотен канареечных напевов. Это, я вам скажу, не только в обоих ушах, но и во всей голове не укладывается. Особенно ценятся так называемые «овсянчные» напевы, когда кенар подражает пению овсянки. Для чистоты этого напева требуется кормить птицу только овсяной кашей из муки самого тонкого помола с самого рождения. Овес для этих целей настоящий канаровод собирает на поле сам. Даже и речи нет, чтобы кормить будущего солиста химической овсянкой из пакетиков. У настоящего солиста после овсянчных напевов в песне есть и синичковые. Во время обучения кенара этим коленам надо прикармливать его салом. Само собой, домашнего приготовления, а не магазинным. Процесс обучения длительный, кропотливый, и на него могут уйти годы, а потому нетерпеливые канароводы, которых презрительно называют «канареечниками», не радеющие о славе павловских канареек, кормят своих питомцев овсяной кашей с салом, чтобы ускорить процесс обучения. Нечего и говорить, что ничего хорошего из этого не выходит.

Надо сказать, что в Павлове канароводство дело семейное и даже династическое. Высшая каста павловских канароводов, среди которых представители буквально пяти-шести семей и вовсе разговаривает между собой на канарском языке, когда обсуждает, к примеру, новые, еще никем не слыханные напевы своих питомцев перед тем, как их везти на конкурс в столицу. Со стороны может показаться, что щебечут люди по-птичьи, а что щебечут... Канарскому языку, однако, научиться негде. Ежели наградил тебя Бог слухом – навести все свои уши, сколько у тебя их есть, и слушай денно и ночью трели канареек. Как начнешь различать хоть сотню напевов – так, считай, что начальную школу ты закончил. Понимать кое-что сможешь, а через десяток-другой лет, глядишь, с тобой и начнут разговаривать на канарском языке как с равным.

Мало кто знает, что в позапрошлом веке композитор Даргомыжский, которого ушлый московский извозчик вез с московского Николаевского вокзала на Казанский через Павлово на Оке, был так впечатлен пением павловских канареек, что даже написал концерт для двух канареек с оркестром ля мажор и арию павловского кенара для второго действия своей знаменитой оперы «Русалка». Самое удивительное то, что канарейки свои партии выучили и с блеском их исполнили в Большом театре на бенефисе Даргомыжского, но, увы, всего по одному разу. Сразу же после премьеры

ры начались ужасные интриги завистливых московских канароводов, в «Московских ведомостях» была напечатана разгромная рецензия какого-то шелкопера, и удивительным солистам пришлось ехать домой в Павлово без должного признания их музыкальных заслуг.

Кстати, о признании заслуг. Медали на конкурсах принято давать только владельцам птиц, но не им самим. И тут павловцы москвичей перешеголяли. Каждой птичке изготовили они по крошечной медальке – золотой, серебряной или бронзовой, и повесили на цепочке, а цепочку ту замкнули на замочек, а ключик от того замочка... Ну, вот я уж чувствую, что не верите вы мне. Начиная с цепочки и не верите. Скажи я сейчас, что на медальках тех выбито и название конкурса, и год и место, в котором он проходил – так и вовсе про меня такое подумаете... Зря не верите. Вот вы пойдите в Павловский исторический музей, поднимитесь там по красивой лестнице на второй этаж да загляните в окуляр микроскопа на одной из витрин, и когда увидите замок весом в девять сотых грамма, пристегнутый к угольному ушку – вот тогда и не верьте сколько хотите. Там еще на замочке надпись выбита «Павлово» и фамилия мастера «Куликов». Буквы соответственные – каждая высотой в одну десятую миллиметра. И ажурный ключик, как ему и полагается, в замок вставлен. На такое произведение искусства и смотреть-то вспотеешь от изумления, а уж делать...

Да что замок! Куликов даже изготовил механическую титановую блоху и ее... нет, не подковал, а обул в золотые лапоточки. Блоха та, между прочим, заводная и стоит у микроскопической наковалыни. Заведешь насекомое ключиком, и начнет оно бить серебряным молотком по наковальне. Не просто так бьет, а кует подкову. Нет такого тульского мастера, который при виде этой блохи не схватился бы за сердце. Да и всю историю о Левше в Павлове рассказывают с присказкой. Прежде чем за работу приняться, не очень уверенные в себе туляки попросили павловских кустарей аглицкую блоху на цепь посадить, чтобы сподручнее было ее подковывать.

– Цепь – это проще простого, – отвечали кустари и к цепи выковали замочек, которым ее пристегнули к ошейнику.

Хотите верьте, а хотите нет, но по части замков павловским мастерам равных нет. Изготовили они и Царь-замок весом в полцентнера, и даже замок-гигант весом в триста шестьдесят килограммов, который заказал им ресторан «Династия» для своих интерьеров. Стоит он там на первом этаже. На такой замок не то что из Москвы, а из Лондона не грех приехать полюбоваться. Замок, как и все павловские замки, действующий. Хочешь – открывай, но учти, что дужка у него пудовая. Это она еще и пустотелая внутри, чтобы не надорваться открываючи.

Что же до замочков, то их еще в девятнадцатом веке мастер Хворов без всякого мелкоскопа делал из серебра таких размеров, что из одного грамма металла выходило шесть замков. Павловские модники и сердцееды составляли из таких замков цепи длиной до полуметра. У каждого замочка был свой ключик. Одержит очередную победу сердцеед – и сейчас же еще один замочек к своей цепочке прибавит. Как увидит павловская купчиха такого франта с длинной цепью из замочков – так немедля дочь свою за руку берет покрепче, а которая и наоборот, подбоченится и так вздрогнет округлыми полными плечами под шалью, расшитой диковинными цветами, что лепестки на этих цветах осыплются. Многие павловские замки и точно были устроены как женщины – имелись в них ложные, недействующие скважины. Настоящие же скрывались за потайными пластинами, открыть которые можно было, нажав на замаскированную потайную кнопку. Теперь уж таких замков с ложными скважинами и потайными кнопками не делают, а вот устройство женщин с тех самых пор... Ну, да эта тема не только выходит за рамки моего рассказа, но и вообще не помещается ни в какие рамки.

Были замки с музыкой, замки-самолеты, замки-утюги и замки-сердечки. Рассказывают, что один скупой купец заказал себе какой-то особенный замок и не заплатил за него всей суммы. Ровно через месяц после покупки перестал замок открываться, а еще через неделю дом этого купца и все обнесли. Но к замку и мастеру, его изготовившему, это не имеет, конечно, никакого отношения.

Павловцы не всегда делали замки. Уже в семнадцатом веке славилось Павлово своими оружейниками. И такие делали они пищали и фузеи, такие штуцеры и пистолеты, такими накладками из серебра и слоновой кости их украшали, что не только английским и немецким мастерам, но даже и тульским нисколько не уступали. Потом, при Петре, когда семь лучших павловских мастеров-оружейников были вывезены на государственные оружейные заводы, производство оружия захирело,

и стали делать замки, ложки и вилки, ножи, пилы и даже ножницы. В селе Тумботино, что возле Павлово, как раз и делали ножницы на любой вкус – от ножниц по металлу до маникюрных. В Павловском музее под стеклом лежит одна удивительная пара портновских ножниц. На затейливые ручки с завитушками не смотрите – не в них секрет. Секрет в том, что как ни мало заказчик даст ткани на брюки, костюм или пальто – при ее раскрое этими удивительными ножницами всегда остается хоть и небольшой, но излишек. Еще одни штаны из этого излишка, понятное дело, не сошьешь, но картуз получался всегда. Особым спросом такие умные ножницы пользовались в Москве, у портных, скорняков и картузников из Зарядья. Так бы их и продолжали делать, если бы один портной с Пятницкой улицы, который шил новую форму городским тамошней полицейской части... Следствие по этому делу зашло так далеко, что приехало в Тумботино. Производство этого вида ножниц было прекращено на корню, все тумботинские ножницы, которые смогли изъять у портных, изъяли, мастера усадили в Павлово делать вилки и ложки, а единственные ножницы, проходившие по делу как вещественное доказательство, увезли в Москву и заперли в полицейском музее на Петровке. В Павловском музее оставили лишь муляж. Говорят, что уже при советской власти один московский закройщик имел такие ножницы и даже называли его имя, отчество и фамилию – Антон Семенович Шпак. Смею вас уверить, что это всё не заслуживающие доверия сплетни завистников. Все, что нашёл этот человек, к тому же стоматолог, а вовсе не закройщик, – он нашёл непосильным трудом.

Но вернемся в Павлово... Нет, сначала бросим взгляд еще на один музейный экспонат, мимо которого невозможно пройти. Лежат на витрине в Павловском музее красивейшие ножницы для срезания цветов. Представляете ли вы, что такое ножницы для срезания цветов? Вы, которые покупаете их срезанными в ларьке у метро. Для того, чтобы взять в руку такие ножницы, нужно сначала надеть платье с узким шелковым лифом, у которого глубокий вырез обшит рюшами, а юбка у бедер подхвачена бантами, укутать плечи кружевной накидкой, надеть перчатки, чтобы не уколоть пальцы шипами роз, и в левую руку взять китайский с изящной бамбуковой ручкой зонтик от солнца. И уже после всего этого можно в правую руку взять ножницы для срезания цветов и медленно идти... нет, плыть в сад, чтобы возле зарослей жасмина вдруг охнуть, выронить из рук зонтик, ножницы и пролепетать прерывающимся шепотом:

– Мишель, ну я же вас просила, я умоляла вас больше не приходите сюда! Нас могут увидеть. Муж вот-вот должен вернуться из министерства... Отпустите же мою руку! Вы делаете мне больно, гадкий, несносный мальчик...

Ну, а ножницы потом подберет прислуга, срежет розы и поставит их в хрустальную вазу на обеденном столе.

Все. Выйдем наконец из музея на улицы Павлово. Центр города представляет собой довольно жалкое зрелище – добротные купеческие особняки перемежаются современными постройками без лица и характера. К старинным особнякам пристраивают лавочки, мансардные этажи на манер скворечников, в оконные проемы, обрамленные резными старинными наличниками, вставляют белые пластиковые стеклопакеты и всё обвешивают сверху донизу рекламой. Что-то разрушается при полном безразличии городских властей, а что-то уже и вовсе снесено. Напоминает все это челюсть пенсионера – тут тебе и несколько своих, еще вполне крепких зубов, тут коронки стальные, тут металлокерамические, тут мост, а тут и вовсе голая розовая десна.

В красивейшем краснокирпичном с каменной резьбой доме, в котором теперь помещается ресторан «Русь», лет сто с лишним назад жил купец Щеткин. Была у Щеткина любимая дочь, Галина. Дочери не повезло – она неудачно вышла замуж. Муж ее оказался непутевым и гулящим. Щеткин денег не пожалел и сумел-таки развести дочь с мужем, что в те времена было не так-то просто. Мало того, бывшему мужу суд запретил жениться в течение шести лет. Разозленный решением суда муж, которого звали Семен, нанял местную пожарную команду, чтобы каждый вечер горластые пожарные под окнами дома Щеткина кричали «Ах, Галина, ах, малина. Не живет Семен с Галиной!». И они кричали так громко, что и через столько лет эта история не забылась.

Другой павловский купец по фамилии Карачистов привез в Павлово из Турции саженцы лимона. Было это полтора века назад, и с тех пор павловцы не устали выращивать лимоны у себя на

подоконниках. Нет в России более заядлых лимоноводов, чем павловцы. Может быть, потому, что лимоны своим цветом напоминают им о канарейках?

Опытные лимоноводы выращивают плоды в бутылках. Подставят под завязь бутылку – и давай в ней растить преогромный лимон. До полутора килограммов живого веса могут вырастить. Ну, а потом заливают этот лимон водкой, настаивают сколько положено и подают к столу. В Павлово в магазинах вы почти не встретите лимонов – ими если и торгуют, то только для приезжих.

Мало кто знает, что детская считалка «стакан, лимон – выйди вон» придумана в Павлово. То есть не придумана, а приобрела свой законченный вид. В исходном-то варианте в ней был только стакан и сразу вон, но разве приличный человек уйдет сразу после первого стакана, не закусив хотя бы лимоном?

Однако самое главное предназначение лимонного дерева, о котором вам и не скажут, – смотреть сквозь его цветы и листья на улицу зимой. На улице в эту пору такой мороз, что даже тучи в своих толстых шубах из снежного каракуля поеживаются, дует студёный ветер с Оки, солнца не видать третью неделю подряд, редкие прохожие идут, путаясь в полах длинных пальто и шуб, а дома тепло, рассыпается серебряным колокольчиком канарейка в клетке, на кухне закипает и тонко посвистывает чайник, изумрудное крыжовенное варенье положено в хрустальную розетку, и на белой ска-терти рядом с ней сияет серебряная, павловской работы, еще бабушкина ложечка, и в окне, на ветке лимонного дерева светятся и пахнут четыре выращенных собственными руками солнца.

Как тут не поставить памятник Павловскому лимону, который вместе и лимон, и уют, и Павлово, и Ока, и всё остальное, чего словами не выразить, как ни старайся? Его и поставили несколько лет назад на одной из центральных площадей города. Красивый памятник. Если потерять один из четырех бронзовых лимонов на памятнике, то у вас всегда будет счастье в личной жизни. Если другой – то в семейной. Если третий – будете постоянно иметь кислый вкус во рту. Так как памятник еще очень молод – не все еще твердо знают, какой лимон тереть, и поэтому на всякий случай трут все четыре. От этого некоторые счастливые люди ходят с таким кислым лицом... Впрочем, умные, те, которые знают, какие плоды тереть, тоже ходят с кислым. На всякий случай.

И еще. В Павлово делают автобусы. Те самые, с детства знакомые всем «пазики». На этих авто-бусах ездит, немилосердно трясясь на ухабах и кляня власти за плохие дороги, нестоличная Россия из райцентра в область, из села в деревню, из деревни в город. Та самая Россия, которая и замок с музыкой сделает, и блоху подкует, и канарейку научит так петь, что век будешь слушать, а не заслу-шаешься, и которая смотрит через цветы и листья в заметенное снегом окошко, в котором только и есть солнца, что лимон, выращенный своими руками*.

Ворсма

Снаружи Ворсму не увидеть. То есть можно увидеть самый обычный маленький городок с пыльной центральной площадью, на которой стоит большой, грубо отесанный, серый камень на сером постаменте и с выбитой на нем надписью «Ворсма. Год основания 1588». На этой же площа-ди, возле ворот завода Медико-инструментального оборудования имени Ленина под ветками елок

* Вот, собственно, и все, что хотел сказать о Павлово на Оке. Вернее, почти все.

Ночевали мы в палаточном лагере, километрах в пяти выше Павлово по течению Оки. Место такой красоты, что кабы его с безмятежной рекой, золотистыми облаками и высокими дубами над крутым обрывом заключить в большую зо-лоченую раму, то под такой картиной и сам Левитан не отказался бы поставить подпись. Ближе к ночи, однако, из-за поворота реки появились два надувных катамарана и лодка с туристами-однодневками. На одном из катамаранов был поднят красный флаг, а на другом «полуандреевский», потому что на белом полотнище была всего одна голубая полоса. Туристы с гиканьем и свистом высадились на противоположный песчаный берег, поставили палатки, разожгли костер и до четырех утра бегали по берегу, хохотали женским хохотом, зазывно кричали «Антон – пидарас!» и снова хохотали с неистовой силой. После того, как они, наконец, утихли, прилетели вороны, разорвали мусорный пакет и стали шумно выяснять – кому принадлежат остатки тушенки в банке. Когда вороны улетели, на другом берегу заработала драга. Перед железным домиком драгоманов суетился мужичок, который никак не мог развести костер и кричал на всю, еще сонную, округу «Ты будешь у меня, сука, гореть или нет?»

прячется и сам Ильич, выкрашенный золотой краской. По всему видать, что красили его не раз и краски не жалели – пальцы на ленинских руках почти срослись. Еще лет триста ежегодной покраски – и голова вождя мирового пролетариата превратится в золотой шар. На этой же площади у ворот рынка сидят бабки, торгующие малиной и смородиной в пластмассовых ведерках из-под майонеза.

И все. И никаких тебе зданий в стиле ампир, купеческих особняков с башенками и лепниной по карнизам, никаких не только конных, но и пеших памятников уроженцам Ворсмы, которые прославили город далеко за его пределами. Да и как им быть, когда здесь и дворян-то никогда не было, кроме владельцев Ворсмы князей Черкасских, а потом графов Шереметьевых, которые и обрелись, понятное дело, не в этих местах, а в столицах. Одно время, сразу после Смуты, владел Ворсмой и угодами вокруг нее Козьма Минин... Он, конечно, прославил... но не Ворсму. Ворсму он вместе с царским воеводой Алябьевым воевал.

Четыреста с небольшим лет назад, в декабре, отряды крестьян и ремесленников села Ворсмы вместе с окрестной мордвой и черемисами дали бой частям народного ополчения Минина и войскам Алябьева. Уж так получилось, что Ворсма была по другую сторону окопов, которых тогда еще не рыли. Поставила Ворсма на Лжедмитрия и проиграла. Село после битвы сожгли, а «крестьяне многие посечены, остальные все разорены и развоены», как писал об этих событиях царю князь Черкасский. Ну, а какие еще, спрашивается, у крестьян могли быть варианты? Или завоеваны или развоены. И беспрерывно разорены. Кстати, «посечены» здесь надо понимать не как «высечены». Розги были для мирных времен. Для военных – мечи, сабли и ножи. Те самые мечи, ножи и сабли, которыми Ворсма и прославилась.

Земли вокруг села были плохими. Глина да суглинок. Еще и болото на болоте. Так что пожалованные Минину за заслуги угоды точнее было бы назвать неудобьями. Зато в болотах были залежи железной руды. Это, конечно, не нефть и не газ. Болотную руду по трубам в Европу не погонишь. Да и с трубами тогда были проблемы...

Через восемь лет битвы при Ворсме народный герой Минин умер, не оставив наследников, и все его пожалованные земли снова были забраны в царскую казну. Князь Черкасский, которому, в свою очередь, эти земли перешли из царской казны, правдами и неправдами переманил мастеров-оружейников, кузнецов и мыловаров из близлежащего Гороховца. Вопрос с Европой отпал сам собой. Из железа стали ковать топоры, косы, подковы, гвозди, ножи-медорезки, ножи для резки кож, ножи рыбацкие, ножи судовые, ножи складные... Через какое-то время к ножам добавились солдатские и офицерские шпаги, кавалерийские сабли, палаши, штыки, кинжалы...

Лет через пять или шесть после войны с Бонапартом открылась в Ворсме небольшая фабрика по изготовлению перочинных ножей. В те времена ими действительно чинили перья. Организовал ее крепостной графа Шереметьева Иван Гаврилович Завьялов. Начал он, правда, с хитрости. Поначалу клеймил свои ножи английским клеймом. Это потом у него будут такие ножи, что сам император пожалует ему пять тысяч рублей и кафтан с золотыми позументами, а наградами всероссийских и международных выставок можно будет сундук набить, а первое время он выдавал себя за «Иностранца Василия Федорова». Можно было бы, конечно, эти слова из песни выкинуть, но тогда это была бы ненастоящая песня.

Вместе с перочинными ножами, топорами и холодным оружием в Ворсме еще в первой половине семнадцатого века стали делать инструменты для военно-полевой хирургии: «пилы, чем кость перетирать, клещи да шуруп, чем пульки вынимать, клещи, чем пальцы отнимать». Судя по названиям, это были инструменты универсальные: хочешь – лечи, а хочешь – пытай. Выпускал на своей фабрике медицинские инструменты и Завьялов. И так успешно выпускал, что уже в советское время Медико-инструментальный завод имени Ленина* был главным скальпелей начальник и зажимов командир в масштабе всей страны. Он и сейчас работает. Хоть и ходил по краю скальпеля в конце девяностых. Выкарабкались. Уж каких только инструментов не делают на заводе – и для хирургов, и для стоматологов, и даже для ветеринаров. Случается делать и особенные. Давным-давно, к какому-то из многочисленных юбилеев Буденного, изготовили на заводе подарочный ветеринар-

* Под такой фамилией тогда жили многие предприятия, а не только фабрика Завьялова.

ный набор для лечения лошадей. На всех скальпелях, зубных рашпилях и даже огромном шприце для осеменения коров* был гравирован портрет маршала верхом на его любимом жеребце. Семен Михайлович любил на досуге побыть коновалом. Однажды он решил охолостить Ворошилова, чтобы тот был более спокойным и быстрее набирал вес, и подкрался к нему с большим остроконечным ветеринарным скальпелем... Или взять детский хирургический набор. Его школы брали нарасхват. Очередь была на два квартала вперед, а через полгода вдруг стали отказываться. Как пошла волна операций на кошках, хомячках и морских свинках...

Ножи и медицинские инструменты стали тульскими самоварами, муромскими калачами и ижевскими автоматами Ворсмы. К тому моменту, когда Советский Союз приказал долго жить, в Ворсме на заводе «Октябрь» производилось девяносто процентов советских ножей. Если перевести на штуки, то получится миллион. Кто из нас в детстве не мечтал о перочинном ножике? У меня был самый простенький – с одним лезвием и черными пластмассовыми накладками на ручке. Свою первую рогатку я выстругал ножиком, сделанным в Ворсме. Я клятвенно обещал родителям дома не строгать ничего. Ни стул, ни стол, ни тумбочку из-под приемника. Я и не строгал. Только хотел украсить свой письменный стол резьбой по дереву... В доисторические советские времена моего детства нельзя было купить швейцарский китайский ножик со множеством лезвий, крошечными ножничками и штопором, а простой из Ворсмы – можно. У моего друга Вовки в ножике было два лезвия, шило и штопор! Я чувствовал себя ущербнее Вовки на целое лезвие, шило и штопор. Наверное, я бы умер от зависти, если бы увидел нож «Свинка» в музее Павлово, который изготовил ворсменский мастер Ананьев. Он состоит из ста предметов. Тут тебе и хирургические, и парикмахерские, и слесарные, и даже ветеринарные инструменты. И нож-то небольшой. В руке помещается. Хочешь сверли им, а хочешь ногти стриги или операцию делай. Можешь ветеринарную. Ну, а как операция завершится – открой штопором бутылку и радуйся, что все обошлось.

Оказалось, что из ножей можно изготовить и герб Советского Союза, и башню Кремля, и орден Красной Звезды, и автомобиль «Победа», и паровоз, и самолет, и мавзолей Ленина. Зачем, спрашивается, мавзолей и орден из ножей? За тем же, зачем и Моцарт написал не одну симфонию, а сорок девять. У кого под руками нотный стан, а у кого слесарный верстак.

Все эти удивительные ножевые макеты украшают витрины Павловского исторического музея. Подлежащее в этом предложении – глагол «украшают». В самой Ворсме музея нет. Он был раньше, но теперь его нет. В середине девяностых музей еще был. Квартировал в церкви. Там и отопления не было. Хранитель его работал... да просто так он работал. Как сказал бы Марк Твен, он родился в то время, когда слова «энтузиаст» и «дурак» не были синонимами. Короче говоря, он работал, работал и умер. После его смерти музей попросту разворовали. Даже не разворовали, а разгромили. Сбили замок и устроили в музее разгром. Чучело лося, к примеру, поставили в городском парке, на одной из аллей. Идут люди с работы, а работали тогда еще поспенно, проходят через парк, в котором освещения не было, и тут из темноты высовывается им навстречу морда лося. Месяц стоял, пока не убрали. Выкинули, наверное. Вот монеты из коллекции музея в парке никто не находил. Городскую администрацию все это мало волновало. Музей в церкви был. Церковь теперь восстановили, а вот музей...

Не восстановили и завод «Октябрь», который выпускал все эти тьмы и тьмы ножей. Распался завод, как и Советский Союз, на несколько предприятий. Есть и те, кто ушел в кустари-надомники. Производство теперь напоминает само себя лет сто пятьдесят или двести назад – развозит по домам стальные заготовки хозяин какого-нибудь крошечного предприятия, а потом собирает готовые изделия. Может, оно и к лучшему. Хороший нож – товар штучный. При его изготовлении, как и при написании стихов, компания не нужна.

В маленьком магазинчике от какого-то еще более маленького предприятия по изготовлению ножей, куда я приехал по объявлениям на углах улиц «ножи 300 м», «ножи 100 м» и «ножи 50 м», было две витрины. Одна из них историческая – на ней были фотографии столетней давности, с

* Шприц для осеменения коров попал туда по ошибке. Приемщица ОТК не досмотрела. Да и не мудро, когда шприцы отличаются только маркировкой. Но Буденный не расстроился, а даже обрадовался шприцу. Семен Михайлович любил на досуге осеменять. Однажды он подкрался к Ворошилову...

которых на меня смотрели бравые мужчины с лихо закрученными вверх усами. На самодельных подставках из оргстекла лежали старые ножи советских времен. На маленьких бумажных этикетках были написаны от руки названия ножей, место, где их изготовили, и иногда фамилия мастера. Тут же лежало две или три ножевых заготовки, и тоже с пояснительной бумажкой. Наверное, это был самый маленький музей из всех, которые мне когда-либо приходилось видеть. На противоположной витрине лежало то, что можно было приобрести. Приветливая женщина брала в руки какой-нибудь нож с витрины, легко резала им бумагу и говорила, а вернее завораживала покупателей непонятными, но волшебными словами вроде «шестьдесят за тринадцать» или «у восемь», или понятным и оттого еще более волшебным словом «дамаск». При слове «дамаск» у мужских покупателей расправлялись плечи и рука тянулась подкрутить несуществующие усы. На столе, выкрашенном голубой краской, стоял внушительного вида прибор для определения твердости стали по шкале Роквелла. Прибору было много лет, его, по всей видимости, совсем недавно выкрасили такой же голубой краской, как и прилавок. Краски, надо сказать, не пожалели и закрасили... Ну и закрасили. Зато смотрелось очень внушительно.

– Это наш Роквелл, – гордо сказала мне продавщица.

– А что, – спрашиваю, – встречаются недоверчивые клиенты, требующие определения твердости клинка по Роквеллу?

– Да нет, – засмушалась она. – Хозяин велел поставить прямо на прилавке, чтоб видели.

Хорошие у них ножи, острые. Те, у которых двойная ручная ковка, заточки хватает месяца на два, а то и три. Клеймо не английское – свое.

Любим

В Любим из Москвы надо ехать по трассе «Холмогоры» до Ярославля, а потом, за Волгой, направо километров сто с небольшим. Сначала едешь час стоишь в пробке, пытаешься выехать из столыцы, потом еще час медленно ползешь мимо кучек шумных строительных гастарбайтеров, мимо синих от холода проституток, которым в придорожных кустах устраивают смотрины клиенты, мимо красножиги гаишников, мимо бесконечных забегаловок, заправок, супермаркетов, шиномонтажей...

Как закончится бесконечная Москва – так начнется обычная осенняя дорога с придорожной картошкой и яблоками в пластиковых ведрах, грибами в корзинках и клюквой в трехлитровых банках. Осень – самое время для торговли. Теперь даже мышь норовит продать втридорога проезжающему москвичу стащенный из дому колбасный хвостик. Жители деревень возле Ростова и Переславля вяжут для туристов в красивые косы преогромный египетский фиолетовый лук, белый израильский чеснок и продают его как свой, вскормленный экологически чистым коровьим навозом и вспоенный ключевой водой. Впрочем, все это до Ярославля. За Волгой, по дороге от Ярославля до Любима, все эти сувенирные овощи продавать перестают, поскольку туристы туда заезжают редко, а местным жителям продать даже зубчик чеснока, не говоря о целой челюсти, практически невозможно. Тем более под рассказ о коровьем навозе.

Любим – городок маленький. Самый маленький в Ярославской области. Я бы, конечно, мог написать, что из-за его маленького роста Ярославль Любим балует, тетешкает и дает больше денег на карманные расходы вроде коммунальных, дорожных... но не напишу. Потому как не балует и не дает. Кабы так было, то Любим все четыре с половиной сотни лет, со дня своего основания, только и делал бы, что баловался. Какое там...

Основали Любим по приказу Ивана Грозного для защиты местного населения от набегов казанских татар. По одной, самой скучной версии, название города происходит от мужского имени Любим, а по другой, менее скучной и менее правдоподобной, потому что Иван Васильевич любил потешить себя соколиной охотой в здешних местах. Ну и что, что к моменту основания Любима Грозному было всего восемь лет. Может, он потом приезжал охотиться. Или хотел приехать и даже велел Малюте Скуратову подготовить любимого царского сокола к охоте, но тут случился очередной боярский заговор, или надо было выбирать новую жену потому, что кончилась старая, и при-

шлось вместо охоты рубить головы, жениться и при этом умудриться не перепутать одно с другим. Осталась только записка царя Малюте, где он велит взять с собой на охоту на всякий случай походную дыбу... да и записка, собственно говоря, не осталась – в нее завернули то ли щучью голову с хреном, то ли заячьи почки верченые, а потом и вовсе бросили в печку.

Такая же история приключилась и с памятником Лермонтову, который одно время стоял на центральной площади города вместо памятника Сталину. По одной из скучных правдоподобных версий, его поставили потому, что на складе памятников в Любиме был только Лермонтов, а по другой... Сначала хотели поставить памятник Пушкину, поскольку он написал «Я верю: я любим; для сердца нужно верить», но поскольку Александра Сергеевича в любимских закромах не было, а был Михаил Юрьевич, то поставили его за строчку «И ненавидим мы и любим мы случайно». Теперь и Лермонтова убрали, а на месте памятника устроили фонтан за строчку Корнея Чуковского «В фонтане, и в бане, всегда и везде – вечная слава воде!». Как сказал мне директор местного историко-краеведческого музея Виктор Валентинович Гурин: «По факту от Сталина осталось мокрое место».

Вообще любимцы обожают* памятники. Одно время ужас как хотели поставить памятник Ивану Грозному. Как-никак, а именно по его указу основали город. Еще и потому, что при нем был порядок. У нас всегда должен быть памятник тому, при ком был порядок. Обычно за его установку больше всего ратуют те, кто не жил при этом порядке. Как любил говорить один американский президент, «Я заметил, что все сторонники абортгов – это люди, которые уже успели родиться». Короче говоря – любимские власти в своем стремлении установить памятник Ивану Васильевичу дошли до того, что написали даже письмо Церетели, и тот мгновенно... Не успел. Церковь, у которой были давние счеты с Грозным, стала возражать, да и власти, считавшие, что порядок в России как раз при них... Но памятник все равно поставили. Вырезал его из дерева местный художник и поставил в городском парке среди крашенных серебрянкой рабочего с кирпичом и крестьянки с платочком. На памятнике, понятное дело, чтобы не дразнить гусей, не написано кому он, но по соколу на руке, охотничьему рожку в другой и курчавой бороде в третьей и ребенок догадается, что это не кто иной как...

С другой стороны, тягу** любимцев к Грозному можно понять – царь для них мало того что подписал указ об основании города, так еще и отправил в Любим в ссылку плененного во время Ливонской войны магистра Ливонского Ордена Вильгельма Фюрстенберга. Тот там прожил всю оставшуюся жизнь и писал брату, что только дурак будет думать о возвращении домой, к ливонкам, вместо того, чтобы жить припеваючи среди любимок. Именно в связи с Фюрстенбергом Любим был в первый раз упомянут в исторической литературе. Кабы не магистр – пришлось бы Любиму ждать второго упоминания, которое случилось уже в девятнадцатом веке и не в исторической, а в художественной литературе – в романе Мельникова-Печерского «На горах».

Теперь уж никто и не помнит, что любимцы наряду с французами и татарами в конце позапрошлого века держали всю трактирную торговлю в Петербурге. Самые ловкие трактирные половые были выходцами из любимского уезда из деревни Закобякино. Рассказывают, что в тамошних семьях даже жена, подавая приехавшему в отпуск мужу к обеду самые обычные щи и кашу, никогда не забывала положить рядом с тарелкой счет, в который незаметно могла вписать и лишнюю рюмку водки, и хлопок по, и щипок за.

Так уж получилось, что о Любиме многое приходится рассказывать, опираясь на легенды и предания. Не дошло до наших дней ни летописей, ни указов, ни каких-нибудь накладных или счетов-фактур, по которым можно было бы доподлинно установить, что проходил через Любим, к примеру, путь из варяг в греки или Наполеон, спасаясь от дубины народной войны... Кстати, о Наполеоне. Гурин рассказывал мне, что его предшественник на посту директора краеведческого музея, Арий Федорович Железняков, рассказывал, что ему рассказывали о часах Наполеона, которые то ли нашли у кого-то из жителей Любима, то ли потеряли, то ли снова нашли, но уж потом окончательно

* Я бы написал «любить», но получится тавтология. Любящим любимцам в этом смысле не позавидуешь. Они всегда вынуждены гореть от страсти, обожать, сходить с ума, чтобы не повторяться, к примеру, в школьных сочинениях и письмах.

** См. предыдущее примечание

потеряли. О часах этих знал весь город, и существование их никем из любимцев не подвергалось сомнению. Часы эти были не ручные, как можно было бы предполагать, учитывая обстоятельства походной жизни императора, а напольные, и Бонапарт их то ли потерял, то ли у него отбили партизаны при переправе через Березину. Один из этих партизан, по фамилии Шубин, был уроженцем Любима. Рассказывали и о том, что часы, привезенные Наполеоном из Египта в качестве трофея, весили центнер и были украшены с одной стороны медным ангелом, а с другой коленопреклоненным рабом, держащим в руке факел. Доходило до того, что называли даже имена ангела и раба. По-настоящему дело, что музей спал и видел выкупить оставшиеся части этих часов у потомков партизана, но власти в лице тогдашнего секретаря райкома денег не дали, и часы, мгновенно выкупленные оказавшимися тут же в кустах москвичами, пропали навсегда.

Увы, любой серьезный исследователь-бонапартист скажет вам, что никаких трофейных часов Наполеон из Египта не привозил*, но то, что они у него имелись и то, что они были напольными, – чистая правда. Часы, изготовленные знаменитым французским часовщиком Антуаном Лораном Курвуазье, император возил за собой во всех своих походах, поскольку они ему всегда показывали точное парижское время. Необычным был циферблат этих часов – вместо цифр у него были буквы. К примеру, вместо цифры три стояла буква «М», а вместо цифры шесть – «В». Буквы эти означали места наполеоновских побед: Маренго и Ваграм. Девяти часам соответствовал Аустерлиц. Букву «Б» вместо цифры двенадцать личный художник императора Жан-Батист Изабе начал рисовать ранним августовским утром тысяча восемьсот двенадцатого года у села Бородино под грохот канонады сотен французских пушек.

Не прошло и трех месяцев, как буква «Б», означавшая к тому времени уже Березину, а не Бородино, вместе с часами и частью французского обоза была отбита отрядом генерал-лейтенанта Чаплица. Часы достались прапорщику Владимирского драгунского полка Илье Шубину**. Достались ненадолго – буквально на полчаса, по истечении которых контратака французов заставила его бросить часы и взяться за палаш. Но за это время Илья успел рассмотреть в центре циферблата и на стрелках вензель императора. Под пулями долго думать некогда – он оторвал, хоть и не без труда, стрелки часов и сунул их в карман. Потом, спустя многие годы, он и сам не мог объяснить своего поступка. На что были ему эти нужны стрелки с буквой «N»... Еще и ладонь поранил до крови, когда отдирали их от часов. Так они и лежали у него дома, погнутые и позеленевшие от времени, в самом дальнем ящике бюро, завернутые в четвертушку бумаги, на которой он записал для памяти историю этих стрелок.

Тут надо бы сказать, что прошло еще два или три десятка лет, в течение которых Илья Васильевич вышел в отставку в чине поручика, уехал в Любим, к сорока годам женился, у него родился сын Василий Ильич, который вопреки родительской воле женился по невероятной, неземной любви на купеческой дочери, от которой родилась у него дочь Анна Васильевна, которая... Этого всего мы говорить не станем, а сразу начнем с того самого места, как Аня нашла в бумагах покойного дедушки две погнутые и позеленевшие от времени стрелки, завернутые в четвертушку истертой на сгибах бумаги, и отнесла их своему соседу, изобретателю и механику-самоучке Павлу Михайловичу Любимову, о котором непременно надо рассказать особо.

Павел Михайлович был владельцем сразу двух мастерских: часовой и по ремонту швейных машинок «Зингер». Кроме часов и швейных машинок, Любимов чинил велосипеды, самовары, примусы и вообще все, что состояло из более чем двух гаек или винтов. Павел Михайлович любил технику, и она отвечала ему взаимностью. Земляки его даже утверждали, что кабы имел он дудочку, вроде той, которая была у известного жителя Гаммельна, то мог бы увести и утопить в протекающих через Любим речках Обноре или Уче все швейные машинки, все часы и все велосипеды, не говоря о примусах. Первым любимским фотографом и владельцем фотоателье тоже был Павел Михайлович. Любимов был и первым городским автомобилистом. Не в том смысле, что первым купил самодви-

* Как с возмущением писала Жозефина Богарне свекрови: «Из Египта, мама, ваш сын не привез ничего стоящего, кроме кучки сувенирных папирусов, сувенирной же гипсовой копии Розеттского камня и наряда бедуина».

** И не партизан вовсе.

жущий экипаж, а в том, что первый в Любиме сам его собрал. Взял самый обычный тарантас, снабдил его двигателем, рулевым управлением и с грохотом, в клубах пыли, сопровождаемый радостными криками мальчишек, кудахтаньем кур, шараханьем во все стороны испуганных лошадей и проклятиями едущих на этих лошадях обывателей помчался по тихим и сонным улицам Любима. Недолго, правда, мчался. Обыватели пригрозили ему судом за нервные срывы у лошадей, в результате которых они, то есть обыватели, падали в придорожные канавы и кудахтали там наперебой с напуганными курами. С обывателями всегда так. Вместо того, чтобы благоустроить придорожные канавы и приспособить их для собственного падения... Не нашло понимания у любимцев и еще одно выдающееся изобретение Павла Михайловича – рюмка-непроливайка, уникальные чертежи которой теперь сохранились только в архиве государственного патентного института.

Здесь мы опять пропустим пять или восемь лет, и сразу расскажем о башенных часах, изготовленных Павлом Михайловичем по своим собственным чертежам с помощью любимских кузнецов. Эти самые часы установили на колокольне Троицкой церкви ровно за пять лет до наступления прошлого века. Горожане восхищались строгим черным циферблатом, стройными золотистыми стрелками и римскими цифрами, но мало кто знал... Да никто и не знал, кроме самого Павла Михайловича и его любимого кота Афанасия, который присутствовал при том, как изобретатель кузнечным молотом заковал навсегда маленькие стрелки часов императора французов в огромные и нагретые докрасна стрелки башенных часов.

Девятнадцать лет часы исправно служили городу. Еще и каждые четверть часа радовали мелодичным звоном небольших колоколов. С началом германской что-то в них сломалось. Само собой, что их хотели починить, но шла война, средств на это не было, а через три года остановились не только часы на колокольне Троицкой церкви, но и всё время, которое у нас было и которым мы пользовались не одну сотню лет, остановилось навсегда, и началось новое. В двадцатом году умер Павел Михайлович. Стрелки на часах как застыли в положении без двенадцати минут двенадцать – так и простояли в нем ни много ни мало, а три десятка лет. Через тридцать лет шла другая война и тоже германская, и тоже не было денег, и некому было чинить не только часы, но и обветшавшую колокольню. Заколотили кровельным железом циферблат и забыли о часах навсегда на сорок лет. Потом, когда стали восстанавливать Троицкую церковь и колокольню, решили часы, а вернее то, что от них осталось, разобрать и перенести в Любимский краеведческий музей. Черный циферблат к тому времени пришел в совершенную негодность – выцвел почти до белого и насквозь проржавел. Ни стрелок, ни большей части цифр на нем не было. Зато от стрелок, простоявших на одном месте тридцать с лишним лет, остались две длинные черные тени. Я бы с удовольствием написал, что циферблат или хотя бы та часть его, на которой остались тени стрелок, украшает экспозицию музея, но... пропал старый циферблат. Может, увезли его в пункт приема цветных металлов, а может просто бросили истлевать на какую-нибудь свалку.

Тут надо бы написать, что когда-нибудь часы на колокольне восстановят, и они снова будут радовать любимцев своим мелодичным боем каждые четверть часа. Даже и не думайте сомневаться – восстановят. Правда, механизм, скорее всего, будет электронным. Так и дешевле, и практичнее. Циферблат скопируют, а стрелки... Новые стрелки от старых не отличите. По крайней мере, по виду.

Вы спросите меня – откуда же стало известно про секрет стрелок любимских городских часов, если кроме самого Павла Михайловича... Про кота Афанасия, поди, забыли?

Но вернемся в музей. Арий Федорович Железняков, автор легенды о часах Наполеона и партизане Шубине, все тринадцать лет своего директорства страстно любил* музей и его экспонаты и как всякий влюбленный совершал безумства. Желая «сделать как лучше», Железняков некоторые экспонаты покрасил серебрянкой. Улучшил таким манером внешний вид гири шестнадцатого века, механизма башенных часов и еще десятка экспонатов. Однажды Арий Федорович нашел где-то старую обгорелую бочку с медным краником. Может и не просто старую, а старинную. Судя по крану, ей полвека, не меньше. Железняков утверждал, что бочка времен Грозного и чудом уцелела при одном из первых любимских пожаров. Он даже выцарапал на ней дату «1547», чтобы... Сейчас мне скажут,

* И сейчас любит, хоть он давно уже на пенсии и ему, участнику Парада Победы, почти девяносто лет.

что это уж ни в какие ворота не лезет. Какой 1547 год?! Ну, да... Не лезет. Хорошо какой-нибудь Москве или Петербургу, у которых в каждом, даже в самом маленьком музее, даже в его запасниках, даже на самой дальней полке интересных экспонатов столько, сколько их нет во всем Любиме. И никогда не было. Вот и крутись тут, выкручивайся... Придут к тебе на экскурсию, а ты им покажешь набор старинных виниловых пластинок с песнями Юрия Антонова и лапти, которые плели крестьяне Любимского уезда. Почешешь в затылке, почешешь и такого наплетешь...*

На самом деле, в любимском музее много интересных экспонатов. Взять хотя бы огромный макет любимской средневековой крепости, который нынешний директор сделал своими руками. Два года делал. Это был титанический труд. Вообще Виктор Валентинович музей свой и его экспонаты любит никак не меньше Ария Федоровича, но это уже другая любовь. Гурин любит и умеет реставрировать старинную мебель – стулья, диван и кабинетный рояль позапрошлого века. Не все, правда, удается реставрировать. Взять, к примеру, допотопный дубовый письменный стол, крытый зеленым сукном. В самом центре этого сукна образовалась дыра. Оно бы и ничего страшного, если бы можно было взять и дырявое сукно выбросить, а взамен положить новое, но именно зеленого сукна в Любим не завезли. Да хоть бы и завезли – денег на его покупку у музея все равно нет. Пришлось директору распечатать несколько страниц из письма Ивана Аксакова к родителям, где он пишет о своем недолгом пребывании в Любиме и выложить их в художественном беспорядке на стол, аккуратно поверх дыры в сукне. Еще и польза от этого – посетитель нет-нет, да и возьмет почитать письмо, думая, что это оригинал.

Нет, за реставрацию он не получает ни копейки. Любимский музей маленький, и по штату ему не положено иметь реставрационных мастерских. Любимскому музею и сам-то штат положен крошечный: директор, хранитель фондов, уборщица и два сторожа. Хранителем фондов у Гурина работает собственная жена, бывший учитель химии и биологии. Да и сам Гурин тоже бывший учитель – только географии. На попечении супруги не только фонды музея, но и многочисленные горшки с цветами и кактусами, которыми уставлены все подоконники в музейных залах. От этих цветов и кактусов в музее по-домашнему уютно. Местами музей напоминает лавку древностей, в которой соседствуют коллекция советских значков, ржавая американская картофелечистка, мясорубка двадцатых годов с клеймом неведомого «Патрубтреста», пластмассовые модели пионеров в натуральную величину, похожие на Фантомасов, арифмометр, мобильный телефон «Сименс», такой древний, что на нем еще есть кнопка с ятем, ржавая каска и мундир немецкого солдата... Кстати, о мундире. С него школьники обычно срезают на память пуговицы. Директор уж устал их пришивать. Честно говоря, он давно пришивает к мундиру самые обычные металлические пуговицы, купленные в галантерейном отделе любимского универмага. На всем мундире осталась только одна настоящая немецко-фашистская пуговица, но о месте, в котором она пришита, Гурин не говорит никому.

Среди экспонатов любимской лавки древностей есть удивительные. Лежит перед входом в музей огромная, весом в тонну, не меньше, ржавая турбина. Когда-то она вырабатывала электрический ток вместе с еще двумя такими же. Потом перестала вырабатывать. Потом решили турбины сдать на металлолом, но городское начальство, не забывающее ни на минуту о музее, одну из турбин приказало привезти на самосвале к его дверям.

– Пусть будет экспонатом, – сказала начальство, когда директор музея позвонил ему с целью узнать, какого... эта железная... загроаживает вход.

– Да что мне делать-то с ней?! – в отчаянии спросил Гурин.

– Как что? – удивленно отвечало начальство. – Ошкурь и покрась.

На самом деле, есть в любимском музее и настоящие экспонаты вроде боевого топора и кольчуги шестнадцатого века, которая хранилась в сундуке у одного любимца с незапамятных времен, есть столетняя перфорированная картонная пластинка с гимном «Боже царя храни» для старинного органчика, есть сам органчик, есть деревянная Баба Яга, открывающая беззубый рот, если ее потрясти

* Я ходил по музею, слушал, как Гурин, смущаясь, рассказывал мне сказку о бочке, о часах Наполеона, и думал: почему мне так симпатичен Арий Федорович? Наверное потому, что рыбак рыбака... Но в этом я себе, конечно, так и не признался.

за правую руку, есть, наконец, то, без чего вообще невозможен ни один провинциальный музей в России – бивень мамонта и его бедренная кость. И это не все...

Когда я вышел из музея, то на улице Октябрьской, той самой, на которой стоит здание музея, шел дождь. Бесконечный, как лента Мебиуса. В мокром и голом городском скверике на центральной площади стояли мокрые гипсовые скульптуры мужчины в шапке-ушанке и с огромным кирпичом в левой руке; устремленной вдаль женщины, напряженно высматривающей из нашего серого настоящего светлое прошлое, деревянного охотника, который закрывался деревянным соколом от дождя, и маленького деревянного ежика на старом пне. От сырости на ежике выросли серые с белой каймой грибы. Мокрые серые дома, выкрашенные в зеленую, белую и желтую краски, медленно окружали площадь, и на их окнах не было написано ничего хорошего.

Вдруг представилась мне первомайская демонстрация в Любиме лет этак тридцать или сорок назад. Солнце светит, клейкие листочки на березах и липах пахнут оглушительно, разноцветные шарики наполнены хмельным весенним и просто хмельным воздухом, у детей маленькие красные флажки с нарисованной золотой звездой и кремлевской башней. Сводная колонна трудящихся идет навстречу салату оливье, газированной воде «Буратино» и «Столичной водке» мимо деревянной, сколоченной к празднику трибуны, на которой стоит городское и районное начальство и громко говорит в мегафон, который тогда был просто мегафон с маленькой буквы и не имел никакого отношения к мегафону с большой:

– Любимцы и любимки! Выше знамя социалистического соревнования!

Ни соревнования, ни знамени мне не жаль совсем, но ради того, чтобы услышать, как тебя с трибуны называют любимцем или любимкой, стоит вернуть прошлое*. Пусть на час, не более, но вернуть обязательно.

Торжок

Хотите – верьте, а хотите – нет, но до начала девятнадцатого века Торжок не существовал. То есть он, конечно, существовал еще с одна тысяча сто тридцать девятого года прописью, в том смысле, что летописью, и назывался то Торг, то Новый Торг, то Торжец, и его регулярно, с упорством, достойным лучшего применения, жгли, грабили и снова жгли то новгородцы, то тверитяне, то москвичи, то монголо-татары, то поляки, и с таким же упорством восстанавливали новоторы, но... все равно не существовал, поскольку, кроме самих его жителей и вышеперечисленных грабителей, о нем мало кто знал. Появился Торжок только тогда, когда через него проехал из Москвы в Петербург и обратно Александр Сергеевич Пушкин и отведаль в придорожной гостинице у Дарьи Евдокимовны Пожарской ее знаменитых пожарских котлет – этих тульских пряников Торжка и его же градообразующих предприятий. Двадцать раз пришлось Пушкину проехать через город и даже посвятить ему – Торжок есть.

* Современный Любим в прошлое уже не вернется, как ни мечтай. На любимском дворе двадцать первый век. И пусть этот двор еще не весь асфальтирован, но в нем уже есть домики политических партий и в этих домиках идет политическая жизнь. Даже кипит. Ну, может и не кипит, но булькает точно. Взять, к примеру, отделение партии либеральных демократов в составе одного местного либерального демократа, который время от времени ездит в Ярославль, берет там пачку листовок с призывами вроде «Россия для русских» и везет их в Любим, чтобы разнести по разным присутственным местам вроде почты, телеграфа, бани и продуктовых магазинов. Либеральных демократов не любят местные единороссы, которые считают, что Россия для... Короче говоря, не важно для кого, но тому, кто соберет все листовки жириновцев из присутственных мест и передаст законному представителю партии Единая Россия для полного и беспощадного уничтожения, будет выплачено денежное вознаграждение. Небось, представили себе, как местные мальчишки бегают по Любиму и собирают эти листовки? Еще и вырывают их друг у друга, чтобы заработать лишний рубль на мороженое? Не отпирайтесь. Представили. Увы, все проще и скучнее. Мальчишкам не достается ни копейки. Тот самый либеральный демократ, который в Ярославле получил деньги за распространение листовок, не распаковывая пачки, несет их... и получает деньги еще раз. В этом месте должна быть мораль, но ее нет. Я не Крылов, чтобы мораль выводить. Тем более что у меня не басня, а быль.

О пожарских котлетах надо рассказать отдельно от мух. История их создания, если верить краеведам, уходит в глубь веков. Сначала они утверждали, что рецепт котлет принадлежит если и не самому князю Пожарскому, то уж точно его повару. Потом оказалось, что в те далекие времена на Руси мухи уже были, а котлет еще не было, и пришлось признать, что Дарья Евдокимовна сама придумала этот рецепт. В конечном итоге уgomонились на том, что ее предки по отцовской линии происходили от крепостных крестьян князя Пожарского. Едва утихли споры, как разыскались новые документы, неопровержимо свидетельствующие о том, что рецептом котлет расплатился с хозяйкой гостиницы проезжий француз. То ли шерамыжник издержался так, что не смог заплатить за ночлег и обед, то ли проиграл рецепт в карты – неизвестно. Говорят, что в бумагах покойной Пожарской наследники отыскали даже пиковую даму, на рубашке которой был записан рецепт, но она оказалась крапленой. Все это, конечно, совершенные враки, поскольку Дарья Евдокимовна была девицей, и не только с заезжим французом, но даже и с кастрированным котом своим Василием в карты играла в подкидного дурака исключительно на шелбаны, а не на рецепты котлет.

Тем не менее, кое-кто утверждал, что рецепт, проигранный французом, был и вовсе рецептом киевских котлет, но в начале девятнадцатого века Киев от Торжка был так далеко, что поверить в бузину в огороде еще можно, а в киевского дядьку и тем более француза... Космополиты договаривались даже до того, что пожарские котлеты генеалогически восходят к французским де-волям, но им (не котлетам, а космополитам) повезло – времена тогда были уже оттепельные и потому дело прикрыли, не доведя до кулинарной экспертизы, сославшись на ее невозможность ввиду отсутствия куриного мяса, яиц, сливочного масла и панировочных сухарей у следствия.

Кстати сказать, мало кто знает, что в советское время пожарские котлеты были побратимами киевских котлет, и в тридцатых годах даже шла речь о том, чтобы поместить их изображения, вышитые золотыми и серебряными нитями, вместо шести голубей на герб Торжка. Нынче об этом никто и не вспоминает ни с той, ни с другой стороны. Спроси теперь новотора, а пуще новоторку, о киевских котлетах, так тотчас услышишь, что и свинину в них добавляют, и сало вместо сливочного масла, и даже куриные косточки в них чуть ли не собачьи. К столетней годовщине смерти великого поэта новоторы решили поставить Пушкину памятник. Учítывая тот факт, что проезжал Александр Сергеевич через Торжок не два, не пять, а целых двадцать раз, памятник должен был быть, как минимум, конным. На конный Москва разрешения не дала из самой обычной зависти, а вовсе не потому, что конных памятников поэтам не бывает. Тогда решили изваять поэта за бронзовым двухтумбовым столом красного дерева с рукописью романа «Евгений Онегин» в левой руке и вилкой с наколотой пожарской котлетой в правой. Пока согласовывали проект, пока выбывали финансирование... В семьдесят третьем году от бронзового стола, рукописи, котлеты и вилки осталась только курчавая голова на скромном постаменте, которую и установили на площади Пушкина. Памятника пожарским котлетам нет до сих пор. Не то чтобы паре котлет на тарелке с картофельным пюре и кружочками соленых огурцов по краю, но даже и одной на вилке. Что же до гостиницы Дарьи Евдокимовны Пожарской, из окна которой Пушкин рассматривал на соседнем доме вывеску «Евгений Онегин – булочных и портновских дел мастер», то она и вовсе сгорела. Гостиницу, само собой, планируется восстановить, но обоев в цветочек, которыми были оклеена комната поэта, увы, уж не вернуть.

– Что за беда? – спросит нечувствительный к таким мелочам наш современник. Найдутся и другие обои в цветочек. Туристы все равно ничего не заметят. Им хоть обои с кактусами наклеят. Да то беда, что именно цветочкам на тех, допожарных, обоях Александр Сергеевич, как выяснили пушкиноведы, посвятил знаменитое стихотворение «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я...», в котором, как подсчитали ученые, одной только нежности содержится больше, чем в ста поцелуях в губы, двухстах в руку, трехстах воздушных и в целой тысяче элегических вздохов. Первоначально оно называлось «Цветам на обоях». Ходили слухи, что через год после пожара на одном из западных аукционов выставлялся обрывок обоев в цветочек с автографом великого поэта, но за такие деньги... Кинулись к Вексельбергу, но тот и слушать не стал. И дорого, сказал, и вообще... обои какие-то... Вот кабы Пушкин расписался на яйце Фаберже...

Было бы несправедливо и даже обидно ограничить рассказ о Торжке котлетами, хоть бы и такими вкусными, как пожарские, да Пушкиным. Между прочим, Александр Сергеевич в Торжке не

только котлетами баловался, а еще и покупал вышитые золотом пояса, кошельки, перчатки и другую кожгалантерею Наталье Николаевне и женам своих друзей. Однажды жене Вяземского подарил такой красивый пояс, что Петр Андреевич Александру Сергеевичу... Тут надо отступить лет на семьсот или даже восемьсот назад. Уже в то время в Торжке монахи начали вышивать золотом и серебром. Вышивкой украшали и ткани, и сафьян, из которого делали знаменитые на всю Россию сапоги, которые и были пожарскими котлетами Торжка в древние допушкинские времена. Если во время экскурсии по Торжку экскурсовод вам не пропоет «Привези мне из Торжка два сафьянных сапожка», то это не абориген, а черт знает откуда понаехавший или даже дешевая китайская подделка под экскурсовода. Одно время в Торжке успешно работали несколько заводов по производству сафьяна, который, как известно, выделывают из козлиной кожи. Не знаю – почему они прекратили свою деятельность... Козлов, вроде, меньше не стало...

Что же касается золотошвейного дела, то оно, к счастью, и сейчас в Торжке процветает в прямом и переносном смысле этого глагола. В музее золотошвейной фабрики вам покажут небесной красоты вышитые цветы и с такими мельчайшими подробностями вышитых в натуральную величину пчелок, к которым пальцами лучше не прикасаться – ужалят. Говорят, что сам император Наполеон еще в те поры, когда он делал вид, что дружит с Россией, просил у Павла Первого хотя бы одну золотошвейку из Торжка, чтобы вышить ему золотых пчел на личном гербе и мантии. Павел Петрович к просьбе отнесся благосклонно, но выполнить ее не успел, а уж его сыну было не до насекомых. Может, и зря не послал. Нет-нет, да и ужали ли бы Бонапарта вышитые русскими руками пчелы.

Мало кто знает, что лучше всех умеют расшивать тюбетейки золотом не в Ташкенте, не в Бухаре и Самарканде, а именно в Торжке. Во времена Советского Союза к золотошвейкам из Торжка даже приезжали узбекские товарищам перенимать опыт. Узбекские товарищи тогда подумали – что мы будем глаз портить, палец колоть, тонкая золотая нитка в иголка вдевать... Надо будет начальству – возьмет человека, даст ему мешок киш-миш золотой, мешок киш-миш черный, урюк, дыня даст и пошлет его в Торжок, и он привезет из него тюбетейка золотой красный синий бархатный красивый всем членам ЦК, всем секретарям областным и даже некоторым районным... Что узбекские товарищи думают теперь – в Торжке не знают. Да и товарищи ли они теперь... Только и остались на память фабрике с десятком расшитых золотом красных синих и черных бархатных тюбетеек, которые пылятся под стеклом в музее.

В углу одного из залов музея приметил я красивое панно под названием «Путешествие из Москвы в Петербург». Четыре мастерицы четыре месяца вышивали эту работу. По дороге из Москвы в Петербург через Торжок под небом, на котором вышиты тридцать три богатыря, Черномор, царевна Лебедь, Шемаханская царица и Золотой Петушок, скачут три серебряные лошади, запряженные в три золотые кареты с тремя золотыми ямщиками на золотых облучках, а в самой средней из них сидит наше все и сочиняет, сочиняет, сочиняет... И все это вышитое изобилие, все эти золотые и серебряные цветы по обочинам дороги, все эти птички исполнены с таким тонким вкусом, с таким барочным изяществом, точно это не просто картина, а вышитые стихи поют под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди...

Спустимся, однако, с расшитых золотом небес на нашу землю. не расшитую золотыми цветами. Десять лет назад, в преддверии полувекового юбилея человека с одинаковыми именем и отчеством решило губернское начальство подарить ему это удивительное панно, но... вдруг присмотрелось к нему повнимательнее и обомлело от ужаса. Даже от ужаса-ужаса. Пушкин катил из Москвы в Петербург!

– Ну, и? – скажет неискушенный читатель. – В чем, собственно, если не ужас-ужас, то хотя бы ужас?

Ужас-ужас в том, что направление из Москвы в Петербург могло стать как бы намеком как бы на возвращение как бы домой самого... Порулил, мол, пора и честь... Да за такую честь губернское начальство могли не только вычесть, но и поделить на ноль не взирая ни на какие правила арифметики! Начальство утерло холодный пот со лба, поменяло мокрые штаны и приказало срочно изготовить новое панно, на котором кареты катили бы не слева направо из Москвы в Петербург, а справа налево – из Петербурга в Москву. И название не забыть поменять на радищевское! Четыре мастери-

цы вздохнули, взяли в руки четыре сорок четыре иглы... Кабы я был редактор многолетней истории российского холуйства, то непременно втиснул бы в один из томов фотографии этих двух панно. Как раз между историями о солдатах, красящих пожухлую осеннюю траву в изумрудно-зеленый цвет и дорожных рабочих, кладущих асфальт аккурат перед проездом машины императора. Впрочем, эти панно хорошо бы вписались и после главы о подарках лучшему другу физкультурников.

Кстати, о лучшем друге. На его портрет, вышитый одной из сотрудниц фабрики, я сначала и внимания не обратил. Теперь можно какой угодно портрет где угодно повесить, и ничего тебе за это не будет. Портрет как портрет. Я таких портретов в провинциальных музеях видел множество. Оказалось, что таких, да не таких. Вышила лучшего друга физкультурников эта верующая в него женщина в сорок седьмом году тайно, в порыве страсти. И всю свою жизнь прятала портрет у себя дома. Сначала потому, что вышла его без разрешения соответствующих органов, точно иконописец без благословения, потом потому, что, как выяснилось, лучший друг погубил столько физкультурников... потом потому, что привыкла его прятать. Наконец не выдержала и сдала портрет в музей. Представляю себе, как она вернулась в тот день домой из музея, опустошенная своим поступком, обвела взглядом стены комнаты в коммунальной квартире и вдруг понял, что у нее не осталось на память от Сталина даже светлого пятна на обоях – только старое крепдешинное платье, в которое она заворачивала портрет, прежде чем упрятать его в пыльный фанерный чемодан под кроватью.

Рядом с партизанским портретом генералиссимуса висит на стене огромное знамя красного бархата, на котором вышито «Торжокская золотошвейная фабрика имени 8 марта», а под знаменем стоят валторны, трубы и барабан единственного на всю Россию женского духового оркестра. Торжокский женский духовой оркестр золотошвеек мог порвать шаблон кому угодно. Как Тузик грелку. На всех демонстрациях они шли первыми и виртуозно вышивали такие мелодии... Они играли даже в городском саду, где, как известно, еще указом Ивана Грозного предписано играть только оркестрам усатых пожарных в сверкающих медных касках. Справедливости ради надо сказать, что не одними произведениями искусства и подарками большим начальникам живы торжокские золотошвейки. Есть и у них то, что называется куском хлеба, – погоны, звезды на них и эмблемы. Понятное дело, что лейтенантам с капитанами звездочки на погонах никто золотой канителью не вышивает – как их потом вместе с погонами в стакан с водкой засунешь при обмывании, а вот генеральские звезды... Генеральских звезд у нас теперь столько, что хватит на то, чтобы заполнить небо хоть бы и в столичном планетарии. Впрочем, звезды они и в Африке звезды. Ничего в них интересного нет. Другое дело эмблемы. Тут каждый начальник, приняв командование над вверенным ему родом войск, норовит внести свой вклад в развитие отечественной геральдики. Взять, к примеру, таможенную полицию. Давным-давно, еще во времена первого и последнего президента, заказали они себе сто пятьсот комплектов нашивок с эмблемами своей службы. Эмблему себе придумали вроде медицинской – змея с раскрытой пастью над открытым карманом. То ли карман на эмблеме получился слишком мал, то ли вышли его не золотыми, как было уговорено, а серебряными нитями и закрытым вместо открытого, то ли решили поменять эмблему, то ли начальство у них сменилось, наполнив свой карман, но так и остались эти погоны на складах фабрики. Теперь их выдают посетителям в качестве билетов. Или это были эмблемы не таможенной, а налоговой полиции... Или не эмблемы...

И последнее о золотошвейках. Кукольный театр «Петрушка» при историко-этнографическом музее Торжка показывает для детей красочные, точно вышитые золотошвейками, спектакли в таких же красочных волшебных комнатах, затканых нитяной паутиной, уставленных старинными сундуками и диванами. В комнаты эти ведут необычайной красоты двери, расписанные руководителем театра, бывшей золотошвейкой... На самом деле я о другом. Просто не знаю с чего начать... Короче говоря, кроме детских спектаклей театр ставит взрослые. Действующие лица там те же самые, что и в детских спектаклях, но действуют у них, как я понял, не только лица. Ну и слова соответствующие вроде «без хорошей жены опускаются штаны». Цены вполне умеренные. По восемьдесят рублей с носа. Приводишь с собою не меньше девяти друзей. Или платишь восемьсот рублей и смотришь представление сам с собою. Нет, это все... бесспорно современно. Да и Петрушка, как известно, тот еще охальник. К тому же надо зарабатывать, надо зарабатывать, надо зарабатывать... Нет, это все

ханжество. Дремучее. Побывай, к примеру, проездом через Торжок, на таком представлении Пушкин – хохотал бы до слез. Уж он-то точно был не ханжа. Про Анну Петровну Керн такое писал в письме к Соболевскому... Ее, кстати, похоронили в окрестностях Торжка. Умерла она в Москве, но похоронить себя завещала в деревне Прямухино, рядом с могилой мужа. Это, без малого, сорок верст от Торжка. В город ее свинцовый гроб довели и повезли дальше, но пошли проливные осенние дожди, и проселочную дорогу размывло. Так и похоронили на придорожном сельском погосте у деревни Прутня.

Экскурсоводы говорят, что к ее могиле ходят просить любви вечной. Признаться, всем этим рассказам экскурсоводов веры мало. Что за вздор, ей-Богу. Вы лучше прочтите предмету вашей страсти хотя бы раз «Я помню чудное мгновенье...», а потом каждый год повторяйте это в течение хотя бы десяти, а лучше двадцати лет – и вечная любовь вам обеспечена. Если вы, конечно, и сами собираетесь любить вечно.

P.S. Что же до фильма «Закройщик из Торжка», то снимали его вовсе не в Торжке, а во Ржеве и в Москве. Так что о нем и говорить нечего.

P.P.S. После визита в Торжок дня не проходило, чтобы я не вспоминал о пожарских котлетах. Хотелось их сделать самому, но, как и у всякого химика, у меня просто руки чесались что-нибудь изменить в рецепте их приготовления. Замыслил я пожарские котлеты, отличные тем, что в них монополия куриного мяса заменяется тройственным союзом мяса куриных ног, филе индейки и утиных грудок в равном соотношении. Кроме того, в фарш для котлет добавил рубленой зелени – укропа и петрушки. Не потому, чтобы я очень любил зелень, а потому, что мне нравится разноцветное. Все остальное почти ничем не отличается от общеизвестного рецепта. Да, еще взял жену. В процессе приготовления всегда должен быть под рукой человек, которому ты можешь сказать: «Промой мне глаз – в него попал фарш» или «я же тебя предупреждал, что подгорит» или «делай как хочешь, а я умываю руки». И потом – должен же кто-то отвечать, если не получится, или хвалить тебя, если наоборот. И вообще – ~~попробовал бы я ее не взять~~. Что вам сказать о котлетах... Представьте себе обычную девушку – и девушку, умеющую готовить, играть на рояле и петь романсы. Вот так отличаются стандартные пожарские котлеты от тех, что приготовили мы. Они ровно в три раза нежнее, в четыре раза изысканнее обычных и на пятьдесят пять процентов быстрее тают на языке. У жены, к примеру, язык раза в два меньше моего, а котлета на ее языке растаяла так быстро, что я еще не успел доесть вторую, как она уже расправилась с первой. И еще один важный момент. Заранее поставьте на стол рядом с тарелкой полную рюмку зубровки, иначе опомнитесь только тогда, когда уже котлеты и след простынет на тарелке. Очень хороша к пожарским котлетам «Тверская горькая». Я ее привез из Торжка и вспомнил о ней только сейчас, когда котлет...

Музей-усадьба Д.И. Менделеева в деревне Боблово

На самом деле, никакой усадьбы Менделеева нет. Ее спалили дотла революционные крестьяне в девятнадцатом году. Остался только небольшой одноэтажный, терпеливо ждущий капитального ремонта дом профессора Ильина, с которым Дмитрий Иванович вскладчину покупал Боблово. Перед домом растет старая-престарая липа, по нижним веткам которой крадучись ходит неученый кот, безуспешно пытающийся поймать галок, сидящих на верхних ветках. В этот самый дом и снесли уцелевшие от пожара менделеевской усадьбы вещи в восемьдесят седьмом году. Ну, не то, чтобы снесли даром, а продали потомки революционно настроенных крестьян, упорно ссылаясь на слепожарный указ московского генерал-губернатора Ростопчина от восьмисот двенадцатого года о том, что «все вещи, откуда бы они взяты ни были, являются неотъемлемой собственностью того, кто в данный момент ими владеет». Среди прочего, был приобретен музеем знаменитый диван, на котором Менделееву во сне привиделась Периодическая Система Элементов имени его самого.

Молва приписывала этому дивану чудодейственные свойства. Ходили даже слухи, что в девяностых годах приезжал в Боблово тогдашний президент Российской Академии Наук, чтобы хоть полчаса поспать на диване, в надежде, что приснится ему – где найти денег для подведомственной ему организации. Как бы не так. Не только не приснилось, но даже и заснуть не мог. Так и провертелся все полчаса. Или приснилось ему, где, но не то «где», на которое он рассчитывал... Или это был не президент Академии, а министр культуры... Впрочем, результат, как всем нам известно, был тот же. Говорят, что кусочек обивки дивана из того места, на котором лежала голова великого ученого, аккуратно вплетен в кресло, стоящее так высоко... Впрочем, результат, как всем нам известно... Может, от того, что не тем местом к нему прикладываются.

Под стеклом в отдельной витрине стоят две знаменитых склянки – одна для воды, а другая для спирта, которыми Менделеев отмерял эти два реагента перед соединением. На самом деле, это не оригинальные немецкие склянки, которыми пользовался великий ученый, а их копии, изготовленные еще в советское время Клинским заводом лабораторного стекла. Честно говоря, вода и спирт, если их отмерять этими ущербными в прямом и переносном смысле изделиями, вообще не соединяются. Если еще честнее, то и к продукту соединения воды со спиртом Дмитрий Иванович не имел никакого отношения. Теперь об этом стараются не вспоминать, а при жизни великого ученого окружающие и вовсе изводили его насмешками и намеками на водочную тему. Особенно измучили его бобловские крестьяне. Придут, бывало, к крыльцу усадьбы, поставят на землю ведро, а то и два, с водой, снимут шапки и давай канючить:

– Батюшка-барин, соедини ты их ради Христа. Воды, вишь, мы тебе принесли. Хороша водичка-то. Ключевая, студеная. Ты только добавь в нее, сколько нужно этого... ну, этого самого... которого сам знаешь...

Год Менделеев убеждал их в том, что никакого спирта у него нет и не было, другой убеждал, а на третьем понял, что плетью обуха не перешибешь, плюнул и стал гнать отличного качества спирт из ржи, что росла на его поле. Когда его дочь, Люба, выходила замуж за Александра Блока, то на праздничных столах в бобловском доме, в большом количестве, в хрустальных графинах... Но это уж та самая история, которую не любят рассказывать экскурсоводы в расположенном неподалеку бобловском музее в деревне Шахматово.

Впрочем, зять Дмитрий Иванович, несмотря ни на что, любил. Он даже предпринял попытку систематизировать его стихи и свел их в большую таблицу, вроде периодической. По расчетам Менделеева, в одной из пустых клеток в левом нижнем углу через несколько лет должна была появиться поэма под названием «Десять» или «Одиннадцать». Великий химик смог даже предсказать приблизительное количество глав... Увы, все эти выкладки были только в черновиках и то ли хранятся теперь в Петербурге, в мемориальном кабинете Менделеева, то ли сгорели в девятнадцатом году.

Говоря красиво, ветер от бобловского Шахматово так и дует во все щели оконных рам усадьбы Боблово. На одно слово о Менделееве у нашего экскурсовода приходилось, как минимум, два стихотворения Блока, которые он с чувством декламировал. Уже в самом конце своего рассказа он спросил:

– Достаточно ли у вас терпения, чтобы прослушать еще одно стихотворение Александра Александровича?

– Нет, недостаточно! – громко прошептал мальчик лет семи или восьми и, испугавшись сказанного, тут же выбежал из зала. И я, хоть и не произнес ни слова, вышел вслед за ним.

В старинном парке, окружающем усадьбу, в снегу были прокопаны глубокие траншеи-тропинки, по которым можно дойти до места, откуда открывается вид на близлежащие холмы, поля и леса. Где-то в этих лесах, в нескольких километрах от Боблово, прячется деревня Тараканово с полуразрушенной церковью. Рядом с церковью, в которой венчалась дочь великого химика и внук профессора ботаники, стоит бронзовый памятник Любви Менделеевой и Александру Блоку. К памятнику приезжают свадебные кортежи с молодоженами, мечтающими, как писала одна популярная газета, о долгой совместной жизни. Интересно, приезжали бы они, если бы рядом с фигурами Менделеевой и Блока стояла третья – Андрея Белого?

Дмитрий ФИЛИППОВ

ГАЛЕРНАЯ УЛИЦА

Рассказ

Если вы никогда не проходили Галерную улицу от начала до конца, ныряя под арку между Сенатом и Синодом, легким шагом пробуя на ощупь неровный булыжник мостовой, если не чувствовали себя одуроченным, упираясь в срез Ново-Адмиралтейского канала, где так чинно, так с достоинством обрывает свой ход старейшая улица, если не вдыхали вместе с запахом ветреной Невы промасленную копоть льняных канатов, въевшуюся в эти дворы до скончания века, – вам никогда не понять тонкой, искренней и неизбывной зачарованности друг другом Лидочки Аргушиной и Петра Резанцева.

Это не история любви и не история болезни. Напрасно читатель будет искать совпадения в именах; нет никаких аллюзий в фамилиях молодых людей. А если бы и были, что с того? Истинное чувство нельзя записать, бумага его не вынесет, чернила отравят ядом. Волшебное таинство страсти, нежности, гулких совпадений и глухоты сможет рассказать только Галерная улица – место лебединого счастья и смертельной усталости. Читатель, пройди ее от начала и до конца.

Первый раз они могли увидеть друг друга на станции «Ладожское озеро» холодным майским днем 1942 года. Шарады мироздания. Принцип не встречи. Судьба вывихнула плечо и столкнула их вместе пятилетними детьми, осоловевшими от зимних месяцев блокады. Она посадила их на Финляндском вокзале в один вагон, отмечая давку, крики дерущихся за место пассажиров, протиснув сквозь тюки, узлы и чемоданы. Судьба не забыла поцеловать их на прощание синими губами умерших бабушек, спаяла каждого кольцом материнских рук, укутала в ворах свитеров и жакетов. Она на секунду отвернулась в Осиновце перед погрузкой, и вот Петрушу вместе с потоком женщин и детей медленно поглощает пузатое чрево военного катера. Он вертит головой из стороны в сторону, пытаясь угадать источник тонкого запаха лаванды, такого неожиданного и пьянящего, а Лидочка сидит на берегу и громко читает по слогам: «ВИЛ-САН-ДИ».

– Мама, мы на этом корабле поплывем?

Мама молчит. Смотрит прямо перед собой и кусает бледную губу.

Так устроено, что мир целен, огромен и нерушим, а жизнь в этом мире соткана из совпадений, неверных решений, счастливых случайностей. Человеческая душа что перышко, коснувшееся наковальни за мгновение до...

Аргушины вернулись в Ленинград в феврале сорок пятого, навсегда покинув горький, узкоглазый, гремящий железом Челябинск. Им повезло. Маленькая комната коммунальной квартиры в доме двенадцать по Красной улице оказалась еще не занятой. Голая, без мебели, с выбитой дверью. Облупленная позолота былых радостей. Плесневелый запах запустения. Новые соседи. На месте безумной, впавшей в старческий маразм Анастасии Филипповны шуплый и быстрый, похожий на лисенка, гражданин Буравко Кирилл Моисеевич. Жесткие рыжие волосы и южно-русский говорок. Рекомендовался по-старинному, с прищелкиванием несуществующего каблука.

Дмитрий Филиппов родился в 1982 году в городе Кириши Ленинградской области. Закончил филологический факультет Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Работал педагогом-организатором, грузчиком, продавцом, подсобным рабочим, монтажником вентиляции. Служил в армии на территории Чеченской республики. Печатался в журналах «Знамя», «Север». В «Волге» публиковалась повесть «Билет в Катманду» (2012, №11-12). Лонг-лист премии «Дебют» (2012). Сборник прозы «Три времени одиночества» (СПб: Геликон Плюс, 2011). Живет в Санкт-Петербурге.

И все в его внешности было прозрачным, несуществующим. От самой Анастасии Филипповны осталась только едкий запах кошек. Пять, шесть, семь, восемь... Ее комната была кусочком Египта в холодной Северной Пальмире. Безумная, пугливая, дряхлая старуха, верно, даже не заметила, как их съели в первую же голодную зиму. Тот кошачий суп помог дотянуть до весны.

На месте семьи Бобровых две серые молчаливые мышки. Кондукторши или регулировщицы. Устроительницы нового мира. Старший Бобров сгинул в боях под Москвой. Его жена Катерина, дородная, румяная, как спелое яблоко, была расстреляна за людоедство.

Мать Лидочки сквозь слезы заставила себя улыбнуться:

– Ну вот, одуванчик, мы дома.

– Мне здесь не нравится.

– А мы товарищу Сталину напишем, и он во всем разберется.

– Обещаешь?

– Обещаю!

В дверном проеме мелькнула беспокойная рыжая голова.

Потянулись дни, один сумрачней другого. Коммунальная жизнь – это особый настой из завистливых взглядов, графика уборки коридора, кухни и туалета, из сальных слезен и равнодушных глаз. Сплав разнополярных миров: так гной рассасывается в разбухшей десне и все никак не может рассосаться.

Улица, как и город, не в силах поменять имя, данное ей при рождении. Меняется топоним. Но остаются дома, остается душа и тончайшая аура; отшлифованный веками бульжничок помнит каждое колесо, каждый сапог, он омыт кровью, плевками и потом миллионов сгинувших в яме истории. Дома княгини Тянищевой, графини Праскевич-Эриванской и Воронцовой-Дашковой хранят бесчисленные тайны, слышат смех и плач предыдущих поколений, помнят гневный крик и предсмертный шепот. Право впитывать и запоминать дано им городом и небесами. Галерная улица, ставшая Красной в октябре 1918 года, не испугалась чужеродного имени. Какое ей дело до стукача Буравко и двух худосочных лимитчиц? Их можно потерпеть, как дворовая сука, готовая оценить, терпит надоедливых блох.

С осени Лидочка пошла в школу. Ее определили в двести тридцать девятую, что на Адмиралтейской набережной. В этом же здании находилась и мужская школа, и после занятий она украдкой наблюдала за мальчишками: коротко стриженные, в синей форме военного образца, тощие и ленивые, они поголовно курили, редко улыбались и уверенно вписывались в окружающий мир.

Человеческая судьба, в отличие от истории, имеет сослагательное наклонение. Если бы Вера Ивановна Резанцева не вдохнула вместе с колючим, сырым воздухом Североморска воспаленные легкие, если бы не провалялась в липком бреде лишние месяцы, если бы не погиб во время бомбежки управдом Никипелов, то Петя с матерью вселились бы в прежнюю комнату на углу Красной улицы и переулка Леонова. Но к лету сорок пятого она уже была занята. Новые жильцы – милые интеллигенты, наверное, хорошие люди – не могли и не хотели войти в положение. Паточные улыбки, медвежий развод руками, убийственное «вот справка, все по закону»... И ладно бы только это! Их соседи Долгушины, Кривицкие, Сомовы, оставшиеся в живых, успевшие вовремя вернуться после эвакуации, смотрели на мать и ребенка как на чужих, незаконно вторгшихся в священное квартирное пространство, незаконно воскресших из небытия военных лет. Три поганые ночи Резанцевы спали на полу в коридоре, ели сухие макароны и униженно просили разрешения сходить за малую нужду. На четвертые сутки бюрократический аппарат отрыгнул их в каморку на Фарфоровской.

Атмосферу окраины тех послеинфарктных лет не выдохнуть из простуженных легких. Россыпь разрушенных скверов, грязных дворов, бараков, пивнушек, детских домов; пьяные заводчане, гопота, визгливые бабы; обноски, стоптанные сапоги, воровские кепки, пиджаки с чужого плеча; и над всем этим непроходимая грязь; и крохотные ростки возрождения в этой мешанине окраинного перегиба. Фарфоровская... Место не жизни, но пребывания для потерявшихся в действительности, для перешедших точку невозврата, – пусть до дна пьют горькую брагу человеческой серости.

Пыльный двор. Ребятыня гоняет тугой тряпичный узел. Ворота – ржавые ведра. Петя выходит из подъезда, непозволительно громко скрипит деревянная дверь. Игра останавливается. Двенадцать пар глаз угрюмо изучают новичка. Взмах ноги – импровизированный мяч летит в сторону Петруши, пролетает в метре от головы, бьется о дверь подъезда и падает к его ногам.

– Чего встал, как хер в ступе? Мяч подай...

Всегда нужно знать, что ты прав. А если не знаешь этого, то обязательно провалишься в собственный страх. Подлее этого нет ничего на свете. Петя легко подталкивает мяч ногой. Сердце уже знает, что ничего хорошего не случится, но испуганная улыбка продолжает еще на что-то надеяться...

Еще один хлесткий удар, мяч попадает Петруше в лицо.

– Руками подай, недоумок!

Петя наклоняется, поднимает плотный тряпичный комок (рваные гимнастерки, рубахи, мешковина), но не успевает выпрямиться в полный рос. Подлетает длинный желтолицый волчонок, хлестко бьет по ногам, по коленному сгибу и валит на землю. Две-три секунды – и его пинают всей стаей, по-детски жестоко и бездумно.

Новый мяч – Петя Резанцев – не катится и не подпрыгивает. С ним неинтересно играть. Новый мяч скулит в стороне, утирает сопли и кровь из разбитого носа. Ему не нравится быть мячом.

Уже через два года десятилетний мальчик будет сладко курить махорку, плевать сквозь зубы, лихо материться и бить без раздумий; будет легко расковыривать гвоздем прилпатненности материнскую тоску; будет вариться в кипятке ленинградского дна, как яйцо, превращаясь из жидкой массы в крутой субстрат.

К шестнадцати годам Петя окончил ремесленное училище и устроился токарем на завод «Экономайзер». С утра до вечера шесть дней в неделю он стоял у станка, зачарованно вытачивал конусные детали. Движение каретки по направляющим станины вводило в металлический транс, а горячая стальная стружка ломко хрустела в руках и вкусно пахла.

Во время перекуров подросток прибывался ко взрослым мужикам, с открытым ртом слушал байки о войне, тюрьме и сивушном быте рабочего люда. Кто с кем спит и кто берет взятки, секретарши и начальники, машинистки и укладчицы, грузчики, токари, разнорабочие... Завод был сложнейшим механизмом, каждая деталь которого находилась на своем месте. Видимая стихийность на деле оказывалась строго упорядоченным процессом. У этого чудища не было имени, прозвища или названия, но крепко спаянное муравьиное братство вдыхало жизнь в скрежещущий стальной организм.

Завод никогда не спал. Строительство нового мира высасывало все соки из людей, но – вот странность! – народ с радостью приносил себя в жертву во имя идеи светлого будущего. Время выжигало в душах тавро: серп и молот; время выделяло избранных, пережевывало и сплевывало расходный материал; но жить было радостно, сопричастность великой цели списывала все грехи и укрепляла веру в будущее. Ведь человеку всегда нужно во что-то верить!

В конце апреля в одну из ночных смен Петя снял мутное стекло, прикрывающее доску почета в токарном цехе, и разрисовал угольком фотографии ударников труда. Ташевский, Елтышев, Тишин, Семипятницкий... Петя давился от едкого хохота и рисовал им кошачьи усы, дымящуюся трубку, рога. Глумливый уголек не щадил никого. И не важно, плохие они были люди или хорошие, волна чистого озорства все списывала, все прощала.

Утром на заводе началась паника. К обеду приехали особысты, начались допросы. Допрашивали старательно, с кнутом и пряником, облили холодным потом всю ночную смену. Вызывали и Петра, но что возьмешь с курносого пацана. Никто на него не подумал. Доску почета сняли. Так бы и вышел он сухим из воды, если бы сам умел выверять длину своего языка. Кто-то наступал, а Петя всерьез испугался. В первые дни марта он подался в бега. На восток, за Урал, все дальше и дальше. А на следующий день на завод приняли новую учетчицу. Потухли в токарном цехе пары масла и железа – их заменил запах лаванды. Так состоялась их вторая не встреча.

Через два дня умрет тиран, невинную историю с доской почета забудут, начнется новая эпоха.

Лидочка продолжала трудиться на заводе, после работы ходила в вечернюю школу, ночами

рисовала грифельным карандашом бесчисленные портреты рабочих людей. Внезапно проснувшаяся страсть к рисованию вычерчивала ее тонкую, чистую, беспокойную натуру. Петр уезжал все дальше и дальше, в самую глушь великой страны. Валил лес, шоферил, токарничал, иногда подворовывал. Жирная жизнь сочилась меж пальцев, утекали дни и недели как вода, вдалеке остались северный город, завод и Галерная улица.

И с этого момента закрутилось колесо незначительных совпадений, связывающих двух людей тончайшей нитью, простых и ясных, как божий день, исключительных, чья эфирная природа не ограничена рамками места, времени и расстояния. Метафизика предопределенности заявила о своих правах и больше ни на секунду не выпускала из виду Лидочку и Петра.

Когда молодой парень, затерянный в линиях недостроенной магистрали «Тайшет – Лена», напрягая мускулы, выравнивал ломом стальной рельс, когда дрожали ноги и тошнило от дикой усталости, тогда Лидочка в летнем Ленинграде, бодрая и свежая, как ягненок на выпасе, ощущала вдруг вялую сонливость во всем теле. Невидимая рука мазала ей веки медом, мысли густели, становились тяжелыми и неповоротливыми, громоздясь в сознании клейким комом. И хотелось скорее добраться до дома и упасть без сил на кровать.

Когда Петр в хмельном вечернем бараке наливался яростью и хватался за нож, сметая со стола кружки, бутылки, затертые жирные карты, тогда Лидочка внезапно просыпалась среди ночи и взволнованно замирала, прислушиваясь к собственному сердцу. В такие ночи необъяснимая тревога не давала ей заснуть до утра.

Когда взрослеющий мужчина маялся поутру, не в силах усмирить естественный бунт плоти, то и белокурая девушка испытывала прилив сладкой неги внизу живота. Щеки ее наливались краской, а глаза улыбочиво блестели, и ей хотелось творить глупости, отдавая себя всему светлomu чистому миру, принимая от него незамутненный поток природной страсти.

А еще были сны. Их души уносились в параллельный мир без ландшафта, без привязки к действительности, и не было на всем белом свете ничего, кроме двух незнакомых и самых родных людей. Тончайшая связь друг с другом определялась интуицией, и для подтверждения ее истинности не требовалось никаких доказательств. Иррациональность любви. И в этих снах становилось совершенно ясно, что если они никогда не найдут друг друга, то жизнь будет прожита зря, впустую пролетят годы; да и сама жизнь дана им свыше с единственной целью – встретиться, отыскать, стать единым целым, продолжить себя в этом единении... и обрести истинное бессмертие.

В этих снах Петра неотступно преследовал запах лаванды – легчайший аромат ее волос, а Лидочка с головой тонула в полных ведрах его серых, внимательных глаз. Утром окружающий мир разрывал на лоскутья таинственную ткань сна, в воспоминаниях оставались только куцые обрывки, неясные образы, но щемящая тоска в сердце не позволяла забыть их окончательно, а запах лаванды и серые глаза прорывались из предсонья и намертво застыли в глубинах памяти.

Через три года после их второй не встречи Лидочка поступила в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. Ее приняли в мастерскую станковой живописи на курс к бездарю Моисееву. С утра до вечера она штриховала грифельным карандашом бесчисленные кувшины, вазы, чашки, салатницы... Это называлась «набить руку». Но, несмотря на обыденность и убийственную поденщину учебы, Лидочка каждый раз испытывала необъяснимый трепет, входя в огромное старинное здание на берегу Невы. Уже не Академия художеств. Уже ушли в лучший мир Петров-Водкин и Савинов, Бродский и Абугов, доживал последние месяцы Рудольф Френц. Еще не гремел на весь мир Филонов Павел Николаевич. Но дух чистого искусства не выветривался по приказу рабочего и колхозницы. Великое таинство творчества пронизывало насквозь толстенные стены и хрупкие стекла окон, божественным ветром гуляло по длинным коридорам, залетая в мастерские, чуланы и подсобные помещения. И Лидочка дышала этим ветром, жадно глотала его вместе с запахом масляных и темперных красок и никак не могла насытиться.

С однокурсниками она почти не общалась. Их настроения, образ мыслей, их чаяния, надежды и волнения казались Лидочке не то чтобы глупыми – просто непонятными. Словно она прилетела с забытого созвездия самой далекой галактики, окунулась в земную жизнь, переняла обычаи и повадки, выучила язык, но думать как земляне так и не научилась. Единственная подруга – кра-

савица Рита – одна из немногих, казалось, понимала эту фатальную оторванность от мира. Они допоздна оставались в мастерской, в тишине, взявшись за руки, бродили по гулким коридорам, испуганно вздрагивали от каждого шороха и нитками молчания плели во влажной темноте общую тайну человеческого притяжения.

Риту постоянно окружали мужчины. Как пчелы в патоке, они вязли своими лапками в пламенном вареве ее сексуальности. Ей было достаточно полувзгляда, улыбки или поворота головы, чтобы намертво подцепить на крючок любого. И вот уже испарялась самонадеянность, сжималось сердце, и очередной экземпляр трепыхался на иголке и падал в коллекцию неосторожных мотыльков. Такую несуетливую элегантность не приобрести – это что-то врожденное, подаренное самой природой.

Наоборот, Лидочкой молодые люди не интересовались. Да и она, по своей исключительной чистоте, совершенно не знала, что с ними делать. Открытая жизни и творчеству, с тихой улыбкой и восторженным взглядом, Лидочка каждую секунду силилась преодолеть земное тяготение, мечтала взмыть в небо и улететь в иную реальность. В этом не было ханжества. Только чудовищная несовместимость прогулок под луной, нежных прикосновений, кипящих слов – и толстых мясистых губ Васи Кондратьева, ухмылочек Хрусталева, перхотистых волос Ивана Ивановича Каца.

Один поклонник все-таки был. Юноша с таким же горящим, как у Лидочки, взором. Он с собачьей тоской встречал ее у дверей института, старался ненароком пересечься в коридорах, напряженно сглатывал слюну и никак не решался подойти. И у них действительно мог бы случиться роман, если бы Лидочка была внимательнее.

Но вся внимательность расплылась под пристальным взглядом серых глаз. Метафизикой непознанного они просачивались сквозь тонкие стенки сна и впитывались душой, как дождевая вода в иссушенную солнцем почву.

Первую женщину Петр познал в двадцать лет. В тот день уже с самого утра дурная маята кровью прихлынула к ятрам, туманила сознание и песком скрипела на зубах. Бригадир отправил его в деревеньку Наволок за молоком. Два километра от железной дороги по выжженному солнцем глинозему. Петр крутил баранку новенького ЗИЛа. По пояс голый, ноющий от духоты в раскаленной кабине, потный, загорелый и мускулистый, парень был похож на греческого бога, если бы того вдруг скинули с Олимпа и заставили топить углем прометееву кочегарку. Хотелось с головою зарыться в снег, хватать его сведенными челюстями и слушать, слушать, как чистый холод шипит и плавится под жаром крепкого организма.

Он притормозил у знакомого двора, ловко выпрыгнул из кабины, решительными движениями раскрыв борт, выволоч звенящие бидоны.

– Эй, хозяева! Живые?

– Не ори, чай не дома.

Из окна, упираясь руками в грубо сбитые наличники, высунулась крепкая, дородная девка. Навалившись сочной грудью на подоконник, она улыбалась с хищным прищуром, присматривалась.

– Хозяйка по ягоду ушла, – выдала девка. – Тебе чаво?

Это «чаво» вышло у нее томным придыхом, как будто слово, касаясь кисельных губ, напиталось вмиг сладостью и загадкой.

– За молоком приехал.

– Строители, что ль?

– Ага, строители-устроители.

– Ну, заходи.

Ступив во двор, закрыв за собой плетеную калитку, молодой парень погрузился в полуявь-полусон. Жужжали слепни над головой, солнце безжалостно облизывало плечи наждачной бумагой. Петр шел мимо дровника, мимо разросшихся огородов; в нос бил запах навоза, слежавшегося сена, сухой земли. Но это все было подспудным и недействительным, существовавшим на окраине реальности. Смысл имела только ладная, крутобедрая девушка, вышагивающая впереди земляной, тяжелой, пьянящей походкой. Дочка Велеса. Созревшая корова.

Зайдя в сарай, она первым делом налила полную крынку холодного молока.

– Пей, что ли. Умаялся...

Она говорила все с тем же прищуром, словно пробуя молодого парня на зубок, а Петр жадно припал к крынке, огромными глотками втягивая в себя живительную влагу. Молоко плескалось через край, стекая тонкими струйками по подбородку, шее, груди, заливаясь в тонкую прогалину мускулистого живота. Парень насилу оторвался, облизнул молочные губы, шумно выдохнул.

– Благостно?

– Душу перышком пощекотали, – Петр широко улыбнулся и поймал встречную улыбку.

– Бидоны давай, строитель.

Девушка наклонялась, брала полные ведра молока, неторопливо переливала их в бидон, а Петр не мог оторвать глаз от ее крепкого стана, от огромных, налитых соком, грудей. И все всклокочило внутри организм. Не владея собой, он шагнул ей навстречу, крепко сжал бедра и прижался к девушке низом живота, не желая сдерживать разлившееся по жилам электричество. А та не оттолкнула, не вырвалась, а только тяжело задышала и стала подбирать руками подол широкой юбки...

Засыпая вечером в бараке, Петр вспоминал свое мужское взросление с чувством противной сытости, как будто за обедом набил желудок абы чем. Легкая усталость в ногах, пустота в животе и ощущение сброшенного груза во всем теле. Но не было чистоты и успокоения. Заснул он тревожно, всю ночь ворочался и несколько раз просыпался от духоты. Под утро на него обрушился запах лаванды. Он резко открыл глаза и на мгновение задохнулся от фиолетовой свежести. Как будто исчез душный барак, как будто ангелы вознесли кровать Петра на вершину горы, и льдистый, сладкий воздух наполнил прокуренную грудь. И сразу же взрезала сердце острая тоска по не обретенному.

С каждым прожитым днем зудела под кожей неудовлетворенность ходом вещей. Била под дых невесомость бытия, хотелось придать вес прожитым годам, нарастить на их прозрачный скелет живую плоть, пустить по венам успокоение. Дело было не в отсутствии видимого смысла, – что-то более глубокое изъедало душу. А может быть, все вместе: божественная предопределенность, родовой зов земли, тяга к покою и тихому счастью, сны и глубинная память, – все это подпитывало неутомимую настырность эфирного червяка. С каждым днем борозды в душе становились все глубже, ходы – извилистей, пока в один прекрасный момент не произошел надлом. А после такого оставаться на месте – смерти подобно.

В один из дней Петр просто собрал свои вещи и, не дожидаясь расчета, покинул бригаду. Добираясь на перекладных через все необъятную, нехоженую, небритую Родину, молодой мужчина с радостью прислушивался к самому себе: чутье подсказывало, что все было сделано правильно, что где-то его ждут, только его одного, и нечего переписывать небесную вязь. Как дикарь доисторического века, он шел на запах. И не было вернее проводника.

Он вернулся в родной город в марте 1961 года. Народ северной столицы сходил с ума, пытаясь достать радиоприемник «Ленинград», запущенный в серийное производство; в очередях еще обсуждали миниатюры Марсея Марсо, показанные великим мимом под открытым небом; никому еще не известный Владимир Высоцкий писал в эти дни свою первую песню. Это был другой мир, волшебный, незнакомый. Мир сказочных совпадений и таинственных интонаций. Казалось, люди разговаривают здесь на другом языке. Слова те же, но смысл рассеивается и ускользает.

А город уже дышал ранней весной, уже пригревало мартовское солнце, заставляя людей растегивать нарастающую драповые пальто, уже улыбалась подтаявшими лужами Галерная улица. О, она готовилась разрушить принцип не встречи, столкнуть нос к носу созданных друг для друга, доказать теорему первого взгляда.

Через месяц скончается автор «Каменного пояса», а Юрий Гагарин взламывает мистический код эпохи. Через месяц встретятся Петр и Лидия.

Случилось так, что мама Лидочки вытирала пыль со стола и небрежным движением закинула под диван крышку от тюбика с краской. Лидя писала дипломную картину, и через неделю ей понадобилась именно «петербургская серая», но краска к тому времени безнадежно засохла, превратившись в тягучую желеобразную массу. Нужно было бежать в мастерскую института.

Петр крепко напился на дне рождения товарища и заночевал у него дома, на Васильевском острове. Он проснулся с тяжелой головой, злой, помятый, не уверенный в самом себе с единственным желанием – оказаться дома, смыть с себя присохший пот и пьяные восторги ночи. И только чтобы проветрить голову, он вышел прогуляться вдоль набережной.

Девушка быстро нашла нужную краску, но задержалась, – никак не могла закрыть дверь в мастерскую. Хлипкий замок проворачивался впустую, сточенный временем ключ не мог уловить нужный зазор, зацепиться за шестеренку, и Лидочке пришлось спуститься вниз, просить вахтера подняться вместе с ней на второй этаж и закрыть дверь в мастерской. Этого времени как раз хватило, чтобы Петр вышел на набережную Лейтенанта Шмидта и повернул налево, к одноименному мосту.

На город упал вязкий свет.

Как в замедленном фильме, Лидочка выбегает из института, сжимая в руках тубик с краской, и перебегает дорогу. Машины расступаются, пропуская такую яркую невесомость, а девушка уже молотит каблучками по мосту. Черная река под ногами дышит тиной и холодом. Хмурый сероглазый парень смотрит прямо перед собой. Ему осталось пройти метров двадцать до моста.

Лида внезапно останавливается на втором пролете, подходит к ограде, всматривается в стальную решетку. Ряд ажурных секций между прозрачными стойками, орнамент в виде трезубца Нептуна с пальметкой, с двух сторон фантастические гипокамы с хвостами, вплетенными в растительную фигурную вязь. Но это все не то, она не поэтому остановилась... А почему?

Девушка рассеянно проводит рукой по лицу, пытается отогнать невидимый морок. Вдалеке золотится шпиль Петропавловской крепости, чуть дальше синее небо над площадью Революции – в тон куполам снесенного собора. Лидочка никогда не видела Троице-Петровский собор, его снесли до ее рождения, но... Нет, дело не в соборе. А что еще?

Она вертит головой из стороны в сторону. Отчего-то учащенно бьется сердце, и колкая вата проникает в ноги. Хочется подогнуть колени, сесть на теплый асфальт и громко смеяться... Отчего?

Петр уже у моста. Смотрит прямо перед собой. Ждет, когда загорится зеленый и светофор пропустит его... Становится труднее дышать, но это все похмелье, это пройдет. Зеленый. Он переходит дорогу, грузная духота хватается за горло сухими лапами, выступает пот на лбу, висках и пояснице... Ноги наливаются жидким цементом, непреодолимая сила вмагнитила Петра в гранитный угол между мостом и набережной, каждый шаг – с болью, усилием, он почти физически завяз в ярком свете апрельского дня. Но продолжает упрямо смотреть вперед и идти. Шаг. Другой. Еще один. Становится легче, легче...

Улыбка расскла тонкие губы Лидочки, чистый хмель закипел в глазах. Это все весна? Это апрель сговорился с городом? Отчего так щемит сердце? Отчего так летать хочется?.. Со стороны порта раздался скрипящий протяжный гул. Девушка вздрогнула и на мгновение пришла в себя. Удивленно посмотрела на тубик краски в руке, словно это «петербургский серый» во всем виноват.

Петр тяжело и угрюмо подходил к гранитным сфинксам. Молодые люди в очередной раз удалялись друг от друга, забыв о судьбе, забыв о предназначении, о таинстве снов. Упрямый чертик мироздания выворачивал алгебру любви наизнанку.

И в этот момент подул ветер.

Галерная улица, беременная весенним воздухом, выплеснула из своего чрева единый хлесткий порыв, прогнала его над крышами домов набережной Красного Флота, выстегнула мост Лейтенанта Шмидта и, неся благовую весть, волшебной дугой разгромила сфинксов на бредущем полете. Петр задохнулся от запаха лаванды. Он ловил его горстями, хватал ртом, как выброшенная на берег рыба, и удивленно вертел головой. Эта невозможная горная свежесть разорвала легкие, раздвинула ребра и в единый миг-шелчок свела с ума. Он увидел ее: виновницу, любимую, судьбу, свою нежность, счастье и грусть, потаенную надежду, лебедушку, – девушку из своих снов. Вот так вот просто увидел ее живую, из плоти и крови, стоящую посередине моста, увлеченно вглядывающуюся вдаль. В голове пронеслись бесчисленные ночные бдения, вахты, грубый лошадиный труд, мама (еще живая, еще улыбчивая), собутельники, карты, шальные бляды, реки вина и километры папиросного дыма, сладкий крепкий чай, крыжовник (что-то совсем из детства), другие картинки вихрастого прошлого. И вся эта жизнь вдруг показалась мелкой, лишенной цели и смысла, раз-

менной монетой, медным пятакон на счастье, который и потерять не жалко... Если бы не девушка из сна, единственная, лаванда, путеводная звезда.

Как во сне, Петр развернулся и, летя по воздуху, оказался рядом. Предстал похмельный, простой, счастливый. Тяжело дышал, не знал что делать, улыбаться, молчать, падать на колеи, обнимать, говорить или плакать? Лидочка нахмурилась на долю секунды, но тут же узнала эти серые глаза в окоме густых ресниц – колодцы терпкой, густой браги. Сны обросли мясом и смыслом, превращаясь из мутной зыби в реальность. И у девушки так же пропали слова и мысли, рассеялись, расплылись над городом, оголяя в душе уже ничем не прикрытое огромное чувство.

– Извините, я собственно... Познакомиться!

Как пошло! Как грубо и пошло прозвучали слова, чью косность даже не надо было угадывать, но девушка не заметила. Да и не должна была заметить, ибо была уже не со стороны глаз, а внутри их, в самой таинственной глубине. Только легкий румянец лизнул щеки.

– Лидия.

– Петя.

Слов мучительно недоставало, потому что сказанное глазами опережало все возможные фразы и зачины. Все главное уже было высмотрено, высосано из зрачков, впитано сердцем, возвращено ответным взглядом. О чем тут говорить? Но ведь надо, надо...

– Хотите, я угощу вас пивом? – мужчина сглотнул и улыбнулся.

– Хочу. А это вкусно?

– Как сказать... Вы не пробовали?

– Нет, знаете, иногда вино, шампанское...

– Это как шампанское. Тоже с пузырьками такими...

Они дошли до площади Труда, Петр растолкал очередь у привозной, желтого цвета бочки, вернулся довольный, с двумя пузатыми кружками наперевес.

– Угощайтесь!

Лидочка обмакнула губы в густую пену, удивленно фыркнула, обросла белыми пузырьчатыми усами.

– Нет, не так. Смотрите, – Петр резким грудным выдохом сдул пену с краев стеклянной кружки, с удовольствием сделал три глубоких глотка, белозубо улыбнулся. – Теперь вы...

Они пили разбавленное пиво в городе-герое Ленинграде весной 1961 года, улыбались друг другу, умеренно шутили, наслаждались теплым днем, солнцем, счастьем – сплавом, утверждающим право на любовь невероятной прочности. И если сказать, что чудес не бывает, значит солгать, грубо и цинично солгать. Галерная улица шурилась раскрытыми форточками, она была рядом, за спиной, присматривала за влюбленными, оберегала их от бестактного слова, неосторожного взгляда. Но парень и девушка не замечали этого мудрого материнского взора. Поглощенные друг другом, не наблюдающие часов, они пили пиво и громко разговаривали, как дети. Читатель, ты ведь замечал, что дети разговаривают ясно и громко: не ссутуленные жизнью, разделяющие добро и зло без условностей, верящие в чистоту мира. За детьми приглядывает Бог, за влюбленными – Галерная улица.

– А кем вы работаете? – спросила девушка с легким прищуром.

– Шоферю помаленьку.

– Это неправильно! – Лида строго нахмурилась.

– Ну... работу не выбирают.

– Нет, помаленьку – неправильно. Надо говорить понемногу.

Они улыбнулись.

– А можно я буду помаленьку говорить? Так сподручнее как-то.

– Вам – можно, – легкий румянец вычертил острые девичьи скулы.

– А вы работаете?

– Нет, что вы, – Лидочка замахала рукой, как будто парень произнес смешную неловкость, – я еще учусь. Заканчиваю институт. Буду живописцем. Вот, – она протянула руку, раскрыла ладонь, предъявляя «петербургскую серую» как паспорт, с гордостью и смущением.

– Ну вы... Вообще!

Разрыв каст. Принцесса и пастух. Слуга и госпожа. Но разве это имело хоть какое-то значение в этот ясный, солнечный, искренний и живой апрельский день?

Весна пахла лавандой, и конечно только это породило необратимость, невозможность сопротивления, импульс, который не прогнозируется в сердце, дыхании и моторике рук. Петр шагнул навстречу, вплотную к девушке, обнял ее за плечи и сказал – шепнул – выдохнул:

– Пойдем гулять со мной. Вот сейчас пойдем, будем бродить всю ночь. Даже не думай бояться. Я никогда не сделаю тебе ничего плохого. Я буду защищать тебя всю жизнь. Я буду любить тебя всю жизнь. Буду рядом, никогда не оставлю. Утром ты будешь готовить мне завтрак, вечером – ждать с работы. А я буду лететь на всех парах. И так каждый день. До скончания века. Я тебя нашел и не отпущу. Потому что жизнь моя без тебя папиросы не стоит. Куска картошки не стоит. Вообще ничего. Ноль. Очень хорошо сейчас подумай и скажи раз и навсегда, ты согласна?

Всхлипнула пролетающая чайка, девушка зажмурилась от густоты счастья, напряглась грудь, бесповоротно покраснели щеки. Губы онемели, не в силах разомкнуться, но пришла на помощь Галерная улица. Втискиваясь меж временем и пространством, улица шепнула женским голом:

– Да!

Мир не взорвался. Дрогнул, пошатнулся, но устоял. На площади Труда парень обнимал девушку, зарывшись лицом в ее светлые волосы. Воздух звенел от любви. Время в спешном порядке выстраивало новую систему координат, растягивая застывшие мгновения.

– Я только домой схожу, краску оставлю.

– Ты далеко живешь?

– Нет, рядом, – Лидочка махнула рукой в сторону улицы. – В моем доме жил Салтыков-Щедрин. Знаешь?

– Конечно! Летчик, герой!..

– Вроде того, – она засмеялась. – Подожди меня здесь. Я быстро.

Лидочка летела по улице, как ласточка в потоках теплого воздуха: все выше, выше, выше... Дурацкая улыбка на лице, сияющие глаза, небывалая легкость в каждом движении – все так необычно, целый мир изменился в одночасье, стал иным. И ей в этом обновленном мире хотелось жить взахлеб, разбрасывать счастье горстями, чтобы всех оделить, чтобы каждому хватило сполна. Ведь его так много в душе и мире, так пусть же никто не будет обделен! Потому что счастье – это единственное, что имеет смысл, ради чего вообще стоит жить. Но это открытие не расскажешь словами, не покажешь на пальцах; оно должно обрушиться на человека, и тогда он уверует в любовь, иные миры, бога и черта – во что угодно! Ибо когда счастлив – так сладко верить. Ибо счастье никогда не бывает много или мало – всегда в самый раз, всегда четко и емко, до унции. И нет в мире ничего веселее!

Петр переминался с ноги на ногу, смолил сигарету одну за одной – все так же: и улыбка, и румянец, и блеск в глазах. Мучительно тянулись минуты. Вдруг пересохло в горле и захотелось еще пива. Он купил, начал пить неторопливыми глотками.

Лидочка выскочила на проезжую часть и, поравнявшись с Леонтьевским переулком, не замедляя бега, зажмурилась от яркого, бывшего в глаза солнца... Лакированная, как резиновая калоша, «Победа» вылетела на полной скорости, шибанула серебристой решеткой в женское бедро, визгливо затормозила, расписываясь копотью шин на гладких булыжниках.

Лидочка подломилась.

Лидочка врзалась головой в лобовое стекло, еще слыша, как хрустят шейные позвонки.

Потом ее тело отбросило на дорогу.

Перекрутило несколько раз.

Треснули ребра, распарывая легкие.

Хрупкий затылок, с налета ткнувшийся в поребрик, отскочил от камня, как кусок пенопласта.

Девушка еще минуту хрипела, выплескивая с воздухом кровавистые брызги.

За мгновение до покоя Лидочка увидела любящие серые глаза. Смогла улыбнуться.

Так и умерла, с улыбкой на губах.

Петр ждал до вечера и напился в хлам. Еще до утра пьяно шатался по городу, бессмысленно заглядывая в окна, урюмо матерясь сквозь зубы. Город стыдливо отводил глаза.

Они увиделись еще один раз...

Через три дня Лидочку хоронили. Гроб уже вынесли на улицу, испуганно толпились соседи, плакала Рита, шумно сморкаясь в носовой платок. Мать Лидочки смотрела в пустоту и тихо улыбалась сама себе. И только старческие пальцы, морщинистые и узловатые, раздирали кожу на руках.

Подъехал расхлябанный, плохо подрессоренный ЗИЛ, дребезжа железом, остановился возле дома, из кабины вышел злой сероглазый водитель, раскрыл борт.

И вдруг он завертел головой, удивленно всматриваясь в лица, дома, жадно задышал, втягивая воздух ноздрями, ловя знакомый, еле слышный горный запах...

Мир рассыпался, как карточный домик, на этот раз окончательно.

Петр орал, отбиваясь от множества ошарашенных рук, расталкивал людей локтями. В стороне валялась крышка гроба, а парень обнимал, прижимал к груди мертвое, бесчувственное тело, пытаясь оживить его своим жаром, покрывал лицо девушки поцелуями, измазывая желтой тягучей слюной, впиваясь в губы в слепом порыве вдохнуть жизнь; он выл, катался по земле, его отбрасывали в сторону, а он снова лез к гробу, избитый в кровь, и никто, никто не мог ничего понять.

Тело девушки вывалилось, его вталкивали обратно в гроб, уже не пытаясь уложить ровно и красиво, упала на колени мать, избивая булыжник костлявым кулаком, ошпарено визжала Рита; Петр ползал, избитый до полусмерти, тянулся к любимой из последних сил, грязно матерился разбухшими губами. Белое платье покойницы измаралось в его крови.

И он бы вырвался в очередной раз и выгашил бы ее из гроба, и увез бы с собой – воскресить, любить, сойти с ума, – но по голове саданули тяжелым, свет затуманился, действительность поблекла.

Лидочка лежала в гробу, руки разбросаны, платье задралось, испачкалось, локоны светлых волос растрепались по всему лицу. Но она улыбалась, улыбалась...

Прошли года и сменились эпохи. Для человека целая жизнь, для улицы – лишь мгновение. В доме княгини Праскевич-Эриванской офис «Газпрома». Мордатые парни на входе стоят в черных костюмах, охраняют покой... Кого угодно, но только не улицы. В доме Лидочки открыли продуктовый магазин.

Но иногда по вечерам у этого дома можно встретить старика с палкой. Он еле ходит, часто останавливается на месте, подолгу думает о своем. О чем он думает? О чем, черт возьми, он думает? О судьбе, которая имеет сослагательное наклонение? О любви, которая есть и которая не бывает счастливой? О прошлом и настоящем этого проклятого города? Воспоминания роятся в больших глазах, но старик никогда не плачет, только дышит в особые моменты часто и глубоко, втягивает ноздрями сырой петербургский воздух. Петербургский серый.

Время нас бьет, но всегда понарошку, не желая намеренного зла, словно пробуя на прочность. Так ребенок ломает игрушку или разоряет птичье гнездо: а что из этого выйдет?.. Я не знаю, что из этого выйдет. И никто не знает. И люди из века в век обречены попадаться в одну и ту же ловушку. Чтобы верить. Чтобы любить. Чтобы хоть что-то в этом паршивом мире наполнилось смыслом. Хоть на капельку. Хоть на миг.

А что улица? Недоглядела. Промажулась. Не справилась. Но для нее это не смертельно. Для нее вообще нет ничего смертельного и непоправимого. Так ломается жизнь. Так творится история.

И ведь дураку ясно, что это никогда не закончится. До самой смерти сухой старик обречен бродить по Галерной улице, останавливаться, замирать, потом продолжать движение. Изо дня в день. Из года в год. До скончания века.

Читатель, когда выветрится запах лаванды с последнего камня на окраине Галерной улицы, тогда и я поставлю точку в своем рассказе

Сергей СОЛОВЬЕВ

АННА

Рассказ

Пусть они все отойдут. Один за другим, не насытив ни глаз, ни ухо. Рассказа не будет. Ни действия, ни сюжета. Я помогу тебе провести черту твоих тонких, не обращенных к ним губ. А кто ты без речи? Никто. И я без нее едва не теряю тебя из виду. Без нее и без прошвы твоих умолчаний. Не прошвы, не между, а в стороне. Но так, что не скажешь в какой. Потому что повсюду она. И оттуда доносится голос.

И эти, с внимательным ртом, пусть отойдут, не будет.

Помнишь, две черные тени, летящие по волнам, а птицы в небе, но видишь не птиц, а их отраженья, их танец беззвучный, схлест на разрыв. Не внизу отраженья – вверху. И не вверху. Веретено сторон. Но и тишь такая, что слышно каждый волос воды. И речь не то чтобы совпадает с миром, но как-то схватывается на скорости, входя в эту мнимую неподвижность, когда, сама себя удерживая на весу, не просыпается, то есть не сыпется на дорогу, не настаивает на своем имени, не застит свет, потому что сама становится светом, возвращая себе свою волновую природу, и уже не касается губ, развплощая их с тем безумием чуткости, которое нас уводило всё дальше от того, что они называют общением, прежде чем косо скользнуть во тьму.

Как могли бы общаться люди. Если б не кол внутри, вокруг которого наматывают круги, если б не эта веревка речи.

Да и общего – что? Даже не между двумя. Общего что с собой?

Пусть и эти уйдут, последние, тонкачи.

Он стоит у окна; ни моря, ни гор – всё заволочено пеленой. Дождь моросит – подслеповатый, беленький, керосиновый. И ни души за окном. Даже пса, который стоял третьего дня под рябиной, дымясь как обугленная скамья, нет. Неделя уже. Неделя, как она здесь.

Он позвал ее, как всегда неожиданно. И она, выходя из ванной, с полотенцем на голове, прижимая телефонную трубку к уху, другой рукой уже складывала вещи в маленький рюкзак. И он, прикрывая глаза, видел по ту сторону земли, как она это делала. Как мало кто. С той световой скоростью, когда кажется, что мир замер, что движения в нем не существует. Больше того: с опереженьем времени, будто оно течет вспять. Так легки ее жесты, так кратки, точны. И – без мышцы рассудка, как в полусне. Он подумал о времени, о том, что, похоже, оно возникает от тренья, от шарканья, мусора нерадивых движений, от сора в зазорах, от нечистот. А она движется на той частоте – чистоте, где мир почти совпадает с собой, дышит.

О чем идет речь? О сенсорной акустике, о даре вниманья к перемещениям незримого – начиная с себя? Не настаивать на своей жизни, не греметь кастрюлей ее поперек земли.

Набросила рюкзачок и наутро была уже здесь. Была. В дверь позвонила. И – как? – когда тоньше, чем тонко. Не рвется, а – что? Не дается? Как волос, сечется? Вздохнула, взглянула, еще у окна потоптались и разошлись.

Сергей Соловьёв родился в 1959 году в Киеве, окончил филологический факультет Черновицкого университета, учился живописи в киевской Академии Художеств. Автор 12 книг, последняя из них «Адамов мост» (М: Русский Гулливер, 2013). Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Урал» и др. В «Волге» опубликованы роман «Индийские мотивы» (2010, №5-6), повесть «Барка» (2012, №5-6).

Кажется, будто лишь двое их в этом тумане у моря. Он у окна, и она у окна – другого. Одна, в тишине, в темно-синем пальтишке с надвинутым на глаза капюшоном. Свеча догорает.

Тонкие бесцветные губы, маленькие серо-голубые глаза, высокий объемный лоб, светло-землистые волосы – жиденьких безотрадных земель, до плеча. Жиденьких, безотрадных, под северным небом. Крупная нежная голова. Болезненно крупная, с глубокой акустикой. Краснодеревщики, почему-то казалось, маленькие сосредоточенные краснодеревщики с карандашом за ухом поднимаются там по бесконечным лестницам на высокие леса, так казалось. И еще – светлый сумрак, струящийся сверху, и сладковатый дурманящий запах реликтовых пород простора и чистоты. Хрупкий горчащий свет. И эта тихая несуетная голова чуть опущена, прикрывая неприметную шею, будто ее и нет. А ниже – что? Тело? Видимо, тело. Видимость, без примет. Легкие плавнички ладоней. И ступней.

То есть в образе ее было всё, или почти всё, чтобы, вздохнув, обойти ее стороной.

Нет, не в образе, в том-то и дело, а в чертах, в очевидных ее, карандашных чертах. А образ был – даже не сквозь них, и не поверх, а вне этих черт. И даже не образ, а – как бы теснящее ее на обочину, не принимающее в расчет ее силы или желанья, – ее самоё, какое-то трудное преломление ее существа. Свеченье. Болезненно трудное, скрытное и неприкрытое одновременно. Свечение раны. И будто она – эта рана, но одновременно и та, которая терпит ее.

А что она (или он) из себя представляет? Расхожий такой вопрос. Без мысли о разнице между тем, кто он/она есть, кем являются и что представляют. И это особенно остро в ее случае. Ее, этой обочинки жизни, готовой и еще подвинуться, только б не обременить собой. И всякий раз с побуждением, опережающим обстоятельство. И в то же время льнущую к миру, мол, я такая же, как он, как они, что я могу – могла бы – жить, быть...

Он помнит, как здесь же, в этом поселке, они были в гостях у местного калиостро, стол ломился, уточка-мама в кухоньке чистила корзины грибов, накошенных на перевале, и вносила сковороду за сковородой, под водочку, под тысячу и одну уже наступившую ночь, хотя, когда он шел к себе, покачиваясь в узких, вывернутых из суставов переулках, еще не стемнело, еще слезился мутноватый воздух над крышами с налишей на них ветошью, как у тех маслят. Ему казалось, что он идет с ней, они разговаривают, и когда входят в дом, продолжают говорить, и когда лег в кровать, продолжают, и только за миг до того как уснул, вдруг понял, что нет ее рядом. А потом, очнувшись среди ночи, звонил в ту грибную избу, пытаюсь выяснить, где она, куда, когда. И долго так говорил, путаясь, голова клонилась, и постепенно до него начало доходить, что он давно уже смотрит на ее маленькие белеющие из-под одеяла пятки. И всё еще продолжая разговор, осторожно скользил взглядом к ее лицу – лицу старухи, той, из Вия, и одновременно – панночки. Пол-лица – в лунном свете – панночки, а другая – в тени – старухи. И чуть приоткрытые в улыбке губы.

Счастье мое, говорит она, как горошина в трехлитровой банке перекачивается. Кому говорит? Куда? И печенце выуживает из хрустящей пачки и, надкусывая, замирает, глядя в окно, и такая обида горячая, безотчетная в ее лице, такая отчаянная неприкрытость – всего и во все края, всего, с чем ей не сладить, и ест со слезами, не замечая их, и проглотить не может.

Слишком долго ее несло от берега. А ей всё кажется – вот он, ведь доносятся ж голоса. Слишком долго, как и его, с детства. Только разница в том, что его несло по волнам, искрящимся солнцем, а ее – по безлунным рвам. И этот ребенок в ней, брошенный, пишет ему на клочке оберточном: «Я хочу быть твоей женой я хочу быть твоей женой хочу быть твоей я хочу быть», впритык к краю, и больше нет на этом бумажном обрывке места. Записка на столе, ночь, а ее всё нет, и бог весть когда вернется, в какой жизни.

К тому времени, когда они встретились, ей было двадцать пять, она заканчивала Художественный институт и уже двенадцатый год посещала школу йоги. В школе было три уровня, она составляла четвертый, в единственном числе. Учитель проводил зимы в Индии. Ей он давно уже сказал, что учить ее нечему, у нее бы учиться – да некому.

Она занималась в дальнем углу зала, одна, у маленького окна. Там одна, и за окном – тоже. Вдруг подумал, что она как вериги носила жизнь. Или спиной читала как приговор?

Несравненной была она красоты. То есть вне сравнений. Но тогда уж и красотой это не назовешь.

Туман облапывает стекло. Телефон на полу, в углу. И у нее – в углу, в полутьме, белый. У Шекспира, если прикрыть рукой следующую реплику, гадая, всегда ошибешься. А с ней – как птицы летят над морем, а слова – лишь тени их на воде.

Рядом с ней мир людского пошиба коробил. Коробил словесной возней, стадным смыслом, борьбой за свое выживание, за выживание из жизни не своего. Слава богу, что только доступного не своего.

Нет, не ангелом была она. Такое в ней колотье было между верхом и низом, не приведи боже. Всё рвалось в ней, а она шла в тишине, поверх себя, и ничего не могла в этой жизни, и йога ее ничего не могла, но и они ничего не могли, там, внизу.

А сейчас что она делает? Сидит в сумрачном склепе остывшего дома, на руки дышит? И туман за окном, как бельё висит.

Вот так втягиваешься – в людей, в огни, в день-ночь, в желтый, зеленый, в тепло-горячо-холодно, в землю.

Он спускается к морю, проходит мимо ее дома, обглоданного туманом, лежащего на боку с припавшими к земле окнами. Мокрые голые деревья в саду опутаны белыми нитями, как на пальцах передавая их друг другу. Ему кажется, он видит ее – вдали, на пустынной набережной: туман то открывает ее, отползая от моря, то снова скрывает. Ни берега нет, ни поселка, ни гор. Керосиновый радужный моросит меж тем, что есть, и тем, чего нет.

Он садится на гальку, глядя на море с серебристо-чешуйчатой дорожкой, вспоминая, как они когда-то плыли на лодке к тем двум скалам в полумиле от берега. На них тогда гнездились чайки, их было так много, что они сплошь покрывали скалы, и когда птицы вдруг и разом взлетали, это было похоже на взметнувшуюся от порыва ветра юбку... Они вошли уже в сумрачный створ между этими двумя темными скалами со вздернутым над ними подолом. И он вдруг увидел в воде птенца, изо всех сил гребущего к расщелине в скале, над ним кружила крупная чайка и с налета кидалась на него, выхватывая из этого, уже полуживого детеныша очередной кусок плоти. Непонятно, как он еще умудрялся перебирать лапами: уцелела лишь голова, стелящаяся по воде и лапы, а от тела остался лишь перьевого чехол, – эта кровавая тряпочка и тянулась за головой. Он почему-то подумал, что эта чайка, добивавшая его, – может быть, мать или отец детеныша, а весь птичий амфитеатр, сидевший на уступах скалы, наблюдает происходящее на сцене. И этот птенец, выскобленный изнутри, всё еще греб, перебирая лапами в метре от камня и никак не приближаясь к нему. И они, на лодке, всё никак не могли приблизиться, гребли, не сходя с места. Потому что – кто мы ему, он думал, – этому миру, с нашим уставом? Кто мы ему, сторонящемуся нас отведенной головой с этим холодным чаечным взглядом?

Возвращаясь, он еще постоял у лунатично зацветшей яблони, глядя ее ветку в бусинах влаги. Зацвела, на пороге зимы. Не такой уж и взрослый, улыбнулся он, этот мир, если с ним происходят такие отлучки ума. Или эта березка в прозрачной сорочке, едва не вбежавшая в море, дрожит, прикрывая руками лицо... Откуда? Из-под какого венца?

Там, где время стоит во хмелю. В кривоногом поселке о трех головах – обольщенья, вины и забвенья.

Разнузданность – вот ее слово, которое она говорила ему, хотя и с улыбкой, но ножевой. Обида стояла за этим и ревность. Ревность к тому, что ему так легко давалась эта безоглядная вовлеченность в мир. А ей каждый шаг здесь с такой болью дается, как по иглокам идет.

Воплощенье ее прошибало, как пот. Даже лишь мысль о нем. И попробуй пойми, в чем тут дело. Целомудрие? Да, но как тогда быть той, второй в ней, которую под мужчин швыряла, как под колеса?

Или эти приступы ее неуверенности в себе. В себе – которой? Она ведь до встречи с ним и «привет» не могла выговорить, входя. В любой из домов входя. Почему? Что ж здесь трудного?

В голове не укладывалось. Но ведь сказать – это значит войти. В дом, в жизнь, то есть ее, жизни, руку пожать. И видя, с какой легкостью снуют эти людские руки, она обмирала.

Для Боженьки я чищу зубы, для Боженьки, – говорит.

И вдруг, под одеялом, уткнувшись ему в шею, шепчет: «Ты дал мне жизнь, ты... приоупускал меня в нее... есть в этом какое-то тоскливое безумие, будто ты жил, жил, по-разному внимательно, и вдруг умер, ты ведь и говоришь так, как я живу, – всё вместе и всё разное, спасибо тебе за это счастье с листьями, летящими за твоим окном, за это чувство... – И совсем еле слышно, в подушку: – ...любви».

Кожа у нее без единого пятнышка – ни шрамов, ни родинок, ни следа человеческой жизни. Будто необитаема. Смугловатое ладное тело. Небольшая грудь с приподнятыми вершинами. Круглые бедра плавно нисходят к маленьким легким ступням. Движенья бесшумны.

Эрос ее обладал каким-то странным свойством, окрашивая ее, как погода окрашивает местность, саму по себе нейтральную. И прямота, как слепящий свет в лицо. Это обескураживало, отталкивало, но с той же силой влекло.

В одну из первых их встреч они забрели в разговоре куда-то очень далеко, и вдруг увидели себя на заснеженной остановке у подъехавшего автобуса. Вошла, дверь закрылась, прильнула к щели и тихо сказала: «Трахнул бы ты меня, может и легче б стало. Обоим». И уехала.

А потом была долгая жизнь с ней, и близость – с той чуткостью, когда время не успевало их даже коснуться.

Смотрит на телефон в углу на полу. Не звонит она. И он не решается. Дни, туман. Стоит у окна. Сон ее вспомнил. Где-то здесь, она говорит, неподалеку, в горах, над виноградником. Камнепад, говорит, и летят, говорит, эти камни прямо в лицо мне, и вдруг замирают в воздухе у самых глаз, и я вижу, как на них проступает мое лицо, – проступило, и уносятся за спину. Один за другим. Одна за другой. И я не могу повернуть голову, обернуться – куда же они уносятся? Не могу, понимаешь?

На спине лежит. На верхней дороге. Перенесли на обочину. Уже не дышит. Глаза открыты. Смотрит. Люди. Снуют в тумане. Проступают и исчезают. Один за другим.

Сергей КАЛАШНИКОВ

Високосные звезды

Свет ложится на свет, но темнеет внутри,
и заполнено время межзвездное мраком.
На грядущее небо опять посмотри,
где слеза проступает сквозь гул зодиака.
Тень ложится на тень: только холод и лед,
и у мальчика долго ресницы дрожали.
Упадут навсегда, если Муза не врет,
на бумагу слова и огонь – на скрижали.
Время близко уже, но возможно ль молчать,
если вновь помышляет о смерти природа
и на лоб ниспадает упрямая прядь
на исходе какого-то вечного года?!
О, прозрачного края тревожный изгиб!
Претыкается зренью о облак бродячий.
Мы могли бы с тобою, могли бы, могли б,
но ненастна отчизна – случилось иначе.
Свет ложится на тени, а тени на свет:
новолунье змеи или полночь дракона.
Отзвенят високосные звезды в ответ
перед тем, как сорваться совсем с небосклона.
Листопад не продлится: окончен разбег,
наполняются черной испариной реки.
И кружит иудейский остуженный снег,
и целует, целует – в горячие веки.

26-27.11.2012

Последний бой

Мы выносим под бой барабанный на сборе дружины
окровавленных предков знамена под медной трубой
и не знаем еще, что звенящая эта пружина,
словно мяч волейбольный, взлетающий над головой,

кем-то пущена в ход – как мечты о хребтах Кандагара,
детский ужас про то, как японцы сжигали Лазо,
как большая страна не ждала на рассвете удара –
словно кросс на физ-ре и «Анчар» на уроке ИЗО.

Сергей Калашников родился в 1973 году. Публиковался в журналах «Звезда», «Волга», «Отчий край», альманахе «Раритет». Автор «Филологического романа» (Волгоград, 2006), книги стихотворений «Тритон» (Волгоград, 2008), книги рецензий «Текущая словесность» (Волгоград, 2008). Живет в Волгограде.

Мы мечтаем красиво погибнуть, медаль «За отвагу»
чтоб посмертно вручили, – Матросовым легши на ствол,
заградив командира, приказ выполняя «Ни шагу»,
как в кино про войну, чтоб легла похоронка на стол.

Конкурс песни и строя, волнение победных парадов;
чтоб разведчиком стать и пожертвовать можно собой,
чтоб героя нашла через многие годы награда –
только солнце стояло слепящее над головой.

Мы пока что сидим и болтаем ногами на партах,
изучаем права крепостные и свойства свинца.
Но уже на границах встают в полный рост лангобарды,
Фортинбрас выступает, чтоб нам отомстить за отца;

но уже распахнулись незрячие звезды над нами
и повсюду встает беспросветная орочья речь.
Мы не знаем еще, мы еще не уверены сами,
что спасти предстоит и от смерти собой уберечь.

Но слепой и безногий уже ветеран на баяне
нам «Катюшу» сыграл – и растерзано сердце в ответ!
Как в последнем бою умирал капитан на экране,
ты ответишь за всё – пионер, октябренок, поэт!

09.01.2013

Как пахнут на каждом углу мандарины
и льется с прилавка ожившая ртуть
шаров новогодних! петарды, витрины,
гирлянды – и хочется лечь и заснуть,
заснуть и проснуться, как стрелки на взводе, –
и дрогнет ресница прозрачной слезой,
чтоб вновь прикипеть к одинокой природе
и очи обрызгать густой бирюзой.

Мой день ослепительный, полдень незрячий,
хрустящие льдинки и инея сверк! –
дыши, задыхайся дыханьем горячим,
пока этот внутренний свет не померк!
пока изумительно длятся длинноты
порханья снежинок в кипящем луче!
Я тоже не знаю, откуда и кто ты,
но тихая радость лежит на плече,

но стекла цветут лепестками мороза,
и псы спешают по ранним следам,

скрипучим и свежим, как первая проза, –
а прозу четвертую я не отдам!
Как пахнут бессмертьем смолистые сосны!
И плачет, и плачет топор лесника
от счастья, что хвойные иглы и звезды
еще никого не пронзили – пока.

10.01.2013

И горечи накипь, и чайная копоть,
настольная лампа да горсть табака.
Ночные просветы не в силах заштопать
на нитку живую уже облака.

Звезда соберет с волостей недоимки
и черные реки покроются льдом,
покуда посуда справляет поминки
и тускло звенит неизвестно по ком.

И жалко, и больно, и месяц напрасный
и год високосный над нами встает.
Заснувшие осы сухи и прекрасны,
случайно в оконный попал переплет

скончавшимся летом. Молчания ради
я комкаю дым и пытаюсь дышать,
но что-то уже изменилось во взгляде
твоем, обращаемом памятью вспять.

И падает время тяжелой подковой,
и словно слова не находятся те,
и длится, и длится январь бестолковый,
и вещи тоскуют в густой пустоте.

А мы все сидим, не находим ответа
и греем, что было, в холодной горсти.
Мы не сохранили для вечности это,
не уберегли, не сказали «прости».

11.01.2013

Сапоги сторожей застучат торопясь,
чтобы эхо вернуть коридору.
Это, Ваше Сиятельство, смертная казнь
поднимается медленно в гору.

Это мертвые звезды над нами стоят,
злые сосны склонились недобро;
и конвой опускает измученный взгляд,
Енисей подступает под ребра.

Сочини мне такую прощальную песнь,
чтобы Вологда гулко рыдала,
а потом зеркала от лица занавесь:
ты, наверное, тоже устала.

И пощады не ждет от себя пистолет –
просто время настало другое:
по этапу уходит в бессмертье поэт,
и на музе – белье гробовое.

Так играй же, играй на гребенке своей
в обвинительный час под Читую –
с окончательной правдой пугливых огней,
со смертельной твоей прямою.

16.01.2013

Родина и любовь

I

Только время назначит себе подлеца,
чтоб держава держалась на выгнутых пальцах:
мутный снег застилал половину лица
и поля вышивали крестами на пяльцах.
Был кремирован утренник в школе: пары
расплескало свое ядовитое детство.
Неужели отныне хранят топоры
милосердье и плахи стоят по соседству?!
Но отливом хмельного граненого дна
содержанье свое обнажает бессмертье:
в монументах любви бронзовеет страна
и кремлевские звезды хранятся в конверте.
Колокольчик звенит, как последний дурак,
и судья назначает отступникам милость.
Почему же отечества дымом никак –
роковая ошибка! – уже не случилось
надышаться в свои скороспелые дни?!
Громыхала посуда с успехом на ужин.
Но когда за рекой промерзали огни,
ты надолго их светом остался контужен.

II

Обреченный простор, безнадежная гладь,
если вдруг с непогодой случилась измена –
потому что она привыкает опять
за моря уходить, как царевна Елена.
Только этим и живы: роскошная мгла
да созвездий слепых просяные посева.
Козерог упирается в накипь стекла,
угрожает луна целомудрию Девы.
Нерушима граница меж сердцем и тьмой,
но предчувствуют сроки набухшие почки.
Помяни мое слово, небесный конвой,
запятые отринув и гордые точки.
До чего домовины твои хороши:
что ни день, то для тела былая обнова!
Даже если случится бессмертье души,
то отточено лезвие месяца злого.
Прирастает к земле позвоночник вещей
и надежная кровь причащает посуду.
Ничего, что не спал, ничего, что о ней
я не думал и думал, что больше не буду.

III

Расстоянье ухода: отложена соль
на заснеженных улицах сердца и мрака.
Эшелоны разлуки предчувствуют боль
и бездомный бурьян на краю буерака.
Прогадаешь на метрах до близкой беды,
словно чашки разбились, но выжили блюдца.
Сколько раз в полыньях освященной воды
я уехать хотел и уже не вернуться!
Сколько раз я мечтал, что в дороге умру –
на руках, от руки или просто от скуки!
Мне мирволят пока тополя поутру
и прокуренных легких тревожные звуки.
Что ямщицкой тоской не с тобой поделюсь –
сколько раз! – и надежда моя не сбывалась
на апрельскую поросль и полую грусть
опрокинутых луж – ничего не осталось.
Только речь заводила еще до весны
арестантские песни и с почтой острожной
целовала последнюю ветку сосны
и к губам подносила твое бездорожье.

18.02.2013 – 20.02.2013

Андрей РЯБОЙ

Смерть светофоров

Души светофоров –
хрустальные птицы,
наполненные радугой,
цветов в которой хватит на всех –
птицы, вместо тени отбрасывающие
радужные солнечные зайчики.

Семена и личинки
трепещут в своей недосказанности.
Души светофоров проникают в них,
чтобы открыть им путь –

тогда семена и личинки мгновение переливаются
радужным светом
тревожно,
словно маячки пожарного автомобиля:

теперь семена готовы дать ростки,
личинки – прорасти крылышками и лапками.

«Чёрный квадрат», у которого, как известно, нет ни единого прямого угла

Покачивая мордочкой, в окошко
подвальное выглядывает кошка.
Идёт старик (топ-топ, пылит дорожка):
«Я с ней согласен: лучше мордочкой качать,
чем чернозём во рту дымящемся кричать
(переводя на ваш язык кошачий:
листва открытая не ждёт рукопожатий)».

.....
.....

Деревья над двором вздымают плети,
где на качелях наперегонки смеются дети.
Старик скрипит костями – этот скрип

овладевает постепенно всей округой.
И кажется, что миг – и заискрит
старик, как напряжённый провод. Но под грубой
он аркой скрылся из виду, – теперь
остался только скрип, зубовный скрежет –
им пропиталось всё: скрежещет дверь,
скрипят качели... По стеклу как будто режет
старик косноязычно и скрипуче в немоту:
«Меня ещё Петрарк жевал во рту...»

Эпитафия

Лоскутный город. Близ пятиэтажек
осина угодила летним днём
в петлю бечёвки с сохнувшим бельём.
Иуда отомщён. Зловеще пенье пташек.

Николай ГРАНКИН

переменная облачность
то блеснёт, то погаснет
купол церквушки

первый снег
обсуждают дворники
вчерашние новости

Николай Гранкин родился в 1964 году в Туапсе. Живет в Краснодаре, работает на заводе. Призёр и дипломант 4-го и 5-го Международного конкурса хайку на русском языке. Печатался в журналах «Поэзия» и «Микролит», а также в альманахе IV Международного конкурса хайку 2011 «РОССИНКИ IV».

Три стихотворения

пасмурный день
у старушки на шляпке
красный цветок

Юлия ЕЛИНА

Немота твоя ночует за кадыком.
Срыгиваешь под утро горькую и сухую –
В подязычной ямке лениво ворочаешь языком
И глотаешь, смакуешь её, тоскуя
По воркующей речи, сочащейся сквозь гортань,
Огибающей мир вещей, обнажающей суть явлений.
Оставайся живым или даже бессмертным стань.
Там, за кромкой луча, есть нетающий след олений.
И не сразу отступит зима перед словом «свет».
И стоит, подмерзая, вода серебром в копытце.
Возле неба полощется – «смерти нет»,
Значит, ничего с твоей единственной не случится.

Shoah

Не приведи
в шеренге «на шестерых»
в холодные «душевые»
молча идти.
Живые
оставят телесный жмых.

Не приведи
рабочим зондеркоманд
ежедневно
стирая пепел с опухших век
обернуться назад:
«Кто
человек?»

Родилась в 1978 году на Камчатке. Закончила исторический факультет Тобольского государственного педагогического института. В настоящее время журналист-фрилансер. Печаталась в журналах «День и Ночь», «Новая Реальность». Лауреат межрегионального поэтического фестиваля литературных объединений и свободных авторов «Глубина-2011», лонг-лист Кубка Мира по русской поэзии (Рига, 2012). Живет в Тобольске.

Не приведи
покупая паспорт
фамилию, имя, адрес,
ретушировать память.
Прокручивать
старый фильм,
очерчивать
белый абрис.

Ухо Бога открыто меж верхних опор моста.
Припади к перилам грудью и животом,
Глубоко вдохни, потом под эхо подставь
Боль и отчаяние, усиленные мостом.

Так стоишь, не зная, о чём попросить Творца.
Маячишь внизу, мелким зудишь жучком.
Люди глухи к тебе? Тогда начинай с конца.
Мост. Закат. Заходи за край и лети ничком.

Нет, не так. Оторви от нёба язык, размыкай уста.
Выше только Бог, бликами в очах Его – фонари.
Снова делай вдох и прямее, прямее встань,
Говори теперь, говори как есть, говори...

Ольга АНИКИНА

Занырну в метро на Маросейке.
Пёстрый флайер выброшу у входа.
На потёртом мраморе подземки
трещины и тёмные разводы.

Светят лампы вымученно-тускло,
клонит в сон, но я уже привыкла
двигаться среди других корпускул,
в разных фазах волнового цикла.

Ольга Аникина родилась в Новосибирске. В 1999 г. окончила Новосибирский медицинский институт, кандидат медицинских наук. С 2008 г. живёт и работает врачом в Москве, с 2012 г. – в Сергиевом Посаде. Публиковалась в периодике, в сетевых журналах «Подлинник», «Русский переплёт», в журналах «Невский альманах», «Бег», «Контрабанда», «Сибирские огни», в детском журнале «Кукумбер». Студентка Литературного института им. Горького, семинар поэзии Г.И. Седых. Автор трёх поэтических сборников.

Выдох-вдох, приливы и отливы,
жалобное эхо саксофона...
И гляжу я, как неторопливо,
где-то в самой глубине платформы,

над толпой, негаданно-нежданно,
медленным течением колеблем,
проплывает профиль Манделштама,
к чьей-то шее кое-как прилеплен.

Март

Низложенный, обречённый, полуживой,
лёд бросается с крыши вниз головой.
Перекрывая tromбами водосток,
Оземь летит зима за куском кусок

Катится, острыми гранями грохоча,
и из земли торчит как фрагмент плеча
или ноги, от голени до бедра –
мраморный лом, вкрапления серебра.

Это весна, разве это весна, враньё.
Здесь не моё столетье, не мой район.
Хруст под ногами. Серый имперский хлам.
Грохот колонн, расколотых пополам.

Мы живём случайными дарами,
птичьим кормом, духом не святым,
памятью, простёртой над дворами,
тягую к тире и запятым,
письмами «туда» и «ниоткуда»,
окнами на палевый восток...

Склеенная старая посуда.
Черепки.
Осколки.
И песок.

Борис БЕЛКИН

Из цикла «Метафизика»

Кричала плакала трава
Стальной машиной угрозима
И деток прятала родимых
Пригнув пониже голова

Поверх безжалостное сило
Одето в маек и трусов
Катило страшное косило
Ничьих не слыша голосов

Собрать вещей пойти в пустыню
Где на закате воздух синий
Где скарабей гремя забралом
Ликует над верблюжьим калом

Зачем земному тяготенью
Луну заставить так страдать?
Затем чтоб Господа хотенье
Возможно было наблюдать

Две массы друг на друга множа
На расстоянья подела
Он и звезду заставить может
Вокруг вращаться корабля

Борис Белкин родился в Свердловске в 1953 году, рос в г. Ангарске. Служил во внутренних войсках МВД. Окончил Московский физико-технический институт. С 1992 года жил в Израиле, Канаде, в настоящее время живет в г. Ньюарке (Калифорния, США). Публиковался в журнале «Волга» (№11-12, 2010).

Евгения РИЦ

ЕСТЬ СВЕТ

Юрий Соломко. Школа радости: Первая книга стихов. – М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2013. – 56 с. – (Серия «Поколение», вып. 37).

Истории, которые рассказывает Юрий Соломко, о прошлом и настоящем – настоящем настоящим. О детстве и чуть меньше – о юности. Хотя количественно, может, о юности и не меньше, но в детстве волшебства больше, оттого и о нём больше, и его больше. Детство – вообще самая большая часть жизни, потому что время-то всё быстрее и быстрее бежит. Самое удивительное, что Юрию Соломко удаётся не просто рассказывать о своём детстве и детстве вообще, но и как-то просто физиологически возвращать туда читателя. Такое ощущение у меня оставалось и от стихов Дины Гатиной, но та кружит-кружит, то ли ворожба, то ли психоанализ, а Соломко не церемонится, бьёт в лоб.

*Там, подпрыгнув, я мог зависать
в воздухе...*

*Иногда, и самому не слишком-то верится –
но сомневаюсь недолго: «Это же было Там!
А значит, было.*

Понимаете, у меня было то же самое. И даже в школе уже, в первом классе, когда гуляла по школьным коридорам во время обогнувшей меня физкультуры. Мне никто не верил и не верит, я сама себе не верю, да я и забыла уже, а вот – вспомнила. Ну да, ну да, сколько везу в том ребёнке...

Юность как день сегодняшний, конечно, менее лучезарна. Именно потому, что у автора она – настоящее настоящее. А вот поживёт с моё-то, позабудет правдычку, сразу вспомнит, как тогда хорошо было. Собственно, автору-герою книги и сейчас неплохо – «Школа радости» же. Его «Идиот» – собрат по диагнозу не Лёве Мышкину, а персонажам Триера, и тем веселее, тем беззащитнее.

Интересует собственный идиотизм. Другие идиоты вызывают интерес, если мы совпадаем.

Временами попадаютя – настолько идиоты – что они интереснее тех, с которыми совпадаю.

Наблюдая таких – неистово хлопаю в ладоши, гримасничаю, показываю на них пальцем.

Беру от них лучшее. Жду встреч с им подобными.

Земля не оскудеет идиотами – и с этой фразой я согласен.

Но кто сказал, что это плохо?

Но всё-таки чаще повседневность – это именно повседневность, полная событий, абсолютна пустая. Полая – сжимай в горсти, а отпустишь, она и разожмётся. Один из самых ярких символов книги – «мысленная пробежка». Герой подумывает заняться спортом, но дела заставляют отложить исполнение благого намерения на следующий сезон – весна, лето, осень, зима, в новом году обязательно.

*два дня не выходил из квартиры
три – не отвечал на звонки
четыре – не был на реке
бегать правда так и не стал
так и бегаю вокруг дома мысленно
горячую ещё не дали
(так что спасибо –
какая уж тут ванна!)
восстановился на учёбе
пришёл октябрь
хотя я больше люблю июль*

Этот текст напомнил мне поразившую меня работу Александра Юликова «Календарь» (если честно, напоминание шло в обратном порядке – современного поэта я прочитала раньше, чем рассмотрела художника 70-х). Концептуалист Юликов разделил лист на 361 квадратик – почти год, и каждый прожитый день помечал, в зависимости от того, как он прошёл, нулём, плюсом или минусом. Нулей, кажется, оказалось больше всего. Что тут комментировать? Вот наша жизнь, как говорится. Вот наша жизнь как говорится.

*где стоит студенческий хрупкий быт,
нерушим и нежен, как дом господень.*

Но спустя малое совсем время картинка на экране делается куда сложнее. Нет, состоит она из ясных и вполне земных элементов: вода, неподвижная или протекающая под низкими ветвями, много прочного воздуха, немного городов и людей. Обильные встречные поезда. Долгие медитативные планы. Но что-то в структуре кадра становится хрупким и очень тревожным:

*будто разрисованное стекло –
держишь и не дышишь: не расколоть бы.
а иначе все, что цвело, жило
обрастет чернильной латинской плотью,
ускользнет, как ветер по волосам,
желтое, зеленое, голубое...
говорят про добрые чудеса –
мне не надо добрых. сойдет любое.*

Делается страшновато. Всё-таки злое чудо страшнее злого не-чуда. Со вторым как-то легче бороться. То есть идея понятна: чтобы выйти из сугубо книжного, написанного мира, необходимо сделать нечто весьма необычное. Но выход ведь никогда не бывает в пустоту, он непременно куда-то приведет! Только куда? Зритель фильма отмахивает картину на несколько минут назад (в это же время читатель книги перелистывает обратно некоторое количество страниц) и вдруг обнаруживает, что

*снег похож на чистую марлю и проколот
сухой травой,
ветер жжется, и звездно, и ты стоишь
с запрокинутой головой.*

И вот это физическое ощущение исключает возможность самообмана. Это не зритель выбрал фильм. Это фильм выбрал зрителя. Автор (он же режиссёр) пригласил читателя стать участником действия. И приглашение это не подразумевало отказа. Происходит своего рода коммуникационный каприз: автор заманивает наблюдателя в свой мир, чтобы сообщить этому самому наблюдателю нечто важное. Уж слишком мир, куда попал расслабленный зритель фильма, похож на тщательно проработанный миф. Похож, например, своей тотальностью. В данном контексте термин «то-

тальность» не содержит отрицательных коннотаций: качественный миф обязан быть тотальным. Тут, скорее, упрёк автору будет ровно противоположным – мир немножко пересоздан: чуть многовато деталей, чуть избыточна материя стиха. Попавшему сюда остаётся почти инвариантная тропка, ведущая к точке, задуманной поэтом.

Нет, созданная реальность не страшнее нашего повседневного бытия, это не Зазеркалье и тем более не потусторонний мир, хотя, например, почему лирический герой жаждет именно мёртвой воды? И вот эти почти анаграмматические повторы, так напоминающие ветер и зачины сказок – они для чего? Мир «Сестры Монгольфье», по мере знакомства с ним, становится к мифу всё ближе и ближе:

*это будет недобрая сказка, но лучше
правды, чего ты морищишься*

Тем более, обещано пришедшему сюда весьма многое и серьёзное:

*... ты увидишь то, что известно
бессонным стражам:
как сплетаются корни в подземной мгле
как сплетаются корни в подземной мгле
как сплетаются корни в подземной мгле
остальное неважно.*

Зритель (он же читатель) капитулирует. Опасливо, но с любопытством. Бежать из жутковатого и притягательного континуума стихов Екатерины Перченковой совсем не хочется. Уж очень интересно, чем здесь всё продолжится. Вот кто придёт рассказывать нам о корнях и сути? Ожидаешь великана или, например, северного ветра. А появляется вдруг совершенно неожиданный лирический герой, вернее – героиня. И она оказывается единственным несочинённым жителем этого мира. Нет, мир совсем не пластмассовый, он подлинный, и героиня подлинная. Только подлинность их совершенно различна. Окружение сурово и бестрепетно, а обитающий здесь человек, он... Ну, вот каков он:

*ты любишь меня как маленькую.
слабый чай
наливаешь в чашку с цветочком,
подсовываешь конфету,*

*и целуешь в лоб, и в одиннадцать
гашишь свет.
разобью твою чортову чашку, скажу,
нечаянно.
и как ни споткнусь – все нежность,
и как ни заплачу – жалость.
а я не маленькая совсем, меня
четырежды звали замуж,
и я ни разу ни за кого не вышла.
мое сердце трижды разбито и
склеено трижды,
погляди у меня внутри, там давно
все выжгло.
а ты любишь меня как маленькую,
как лапочку,
и поэтому я все время хожу на цыпочках*

Вот так. Продуманно выстроенный интеллектуальный фильм оборачивается вдруг подростковой драмой. Разочарование? Кажется, нет. Драма-то эта по-прежнему разыгрывается в мире, где рамка считывания реальности чуть сдвинута. Просто, в обыденной сущности, где

*таня собирается на танцы,
прячет в сумку ножик и коньяк,*

там любая попытка серьёзного разговора о сути вещей может оказаться совершенно бессмысленной. Кстати, отмечу неслучайность выбора имён для персонажей «Сестры Монгольфье». Вот Таня из этого текста стала Таней не только из соображений созвучия с предстоящими танцами. В другом стихотворении другая Таня оказывается куда ближе к тайне, пребывая, однако, «по эту сторону». Получается, Таня это урезанная такая тайна, несвершившаяся. Возможно, пока несвершившаяся.

Впрочем, магия имён – лишь одна из мелких составляющих убедительно построенного собственного космоса. А отдельный космос в рамках авторской поэтики абсолютно необходим. Ну, правда, не о чем ведь разговаривать,

*если совы то, чем они кажутся.
если люди то, чем они кажутся.
если все на свете – то чем оно кажется...
боже мой.*

Смотрим пристально: эта маленькая девочка, недовольная конфеткой и погашением света, – она разве с автором соотносится? А точно не с нами? Разве это не нам мироздание раз за разом подносит слабый (на наш вкус) чай и

преждевременно (опять-таки на наш вкус) гасит свет? И вот об этом говорить вправду очень интересно. Только разговор будет свершаться на созданной автором территории, отделённой незримым экраном.

Специально попасть туда извне, наверное, не получится. Нужно чуть изошрённое приглашение:

Провалился в прорубь считай крещён

Пусть не интимный механизм волшебства, но последовательность заклинаний, его создающих, примерно таковы: читатель соотносит себя с адресатом обращения, едущим в поезде. Спустя какое-то время адресат этот оказывает персонажем мира, созданного автором, далее тот, второй, будто бы «настоящий» обитатель этой книги пытается вступить в безответную коммуникацию с человеком, странным образом посетившим эту реальность, умиляет пришедшего своей инфантильностью и беспомощностью, а потом вдруг делается неотделим от зрителя, а стало быть, и от читателя. Аккуратно так всё осуществляя: каждый вроде бы остался самим собой, а в то же время стал богаче на частичку Духа.

То есть разговор-то предполагается о вещах, важных нам, здешним. Но чтобы поговорить о них спокойно и хорошо, надо выйти в иную реальность. Мы вслед за автором вышли. Вроде бы мало чего изменилось: коммуникация не сделалась более возможной; в диалоге остаётся много непонятого. Однако наиболее мешающие и наносные моменты, не имеющие отношения к действительно важному, вдруг исчезли, оказались заменены интересными, хоть и небезопасными сущностями. И сущности эти помогают. Или мешают. Но так или иначе – влияют, как и положено в мифе. А создать собственный работающий миф ведь мало у кого получается. Мифы создают редко, мифы создают долго. И процесс их создания крайне увлекателен и динамичен.

Это они позже застывают, делаясь рутинной и подлежа разрушению. Миф же Екатерины Перченковой совсем ещё молод и, может быть, не слишком совершенен. За его развитием и кристаллизацией мы будем с интересом наблюдать. Если, конечно, автор не пожелает иного. Нам ведь не дано знать, с какой по счёту попытки удаются лучшие из миров?

Виктор ИВАНІВ

ПЕТЛИ ШАРФА

Сергей Соколовский. Гипноглиф. – М.: Книжное обозрение, Арго-Риск, 2012. – 152 с. – (Серия «Малая проза»).

Оглядываясь назад, хотя не стоит оглядываться, иначе тень может исчезнуть или окаменеть, можно найти шатучий асфальт квадратного города и солнечную тень своих ботинок в выпадающем один раз в жизни воспоминании. А если двигаться спиной вперед – есть во многих городах такие люди, в том числе и в нашем, кажется, был, особенно на светофорах было это можно наблюдать, и не раз, – то можно увидеть бездонную тень Квадратного города. Для этого не обязательно прыгать в колодец двора, пытаясь вызубрить стихи Ходасевича. В Квадратном городе есть уголки, милые сердцу, о которых говорится, что в них действительно находится постоянство вчерашнего дня. Подождать, когда наступит вчера, поется в песне Тома Вейтса. Ты должен подождать, когда наступит вчера, а, глядь, оно и не ушло никогда со двора.

Есть книги, которые написаны еще до вашего поступления в этот свет или в ПТУ, или после отбытия путешественников в мир иной, – книги, которые сбываются в жизни, отдельные фрагменты которых быстро сходят в памяти на нет, и которые повторяешь. И здесь речь идет не о дефрагментации диска и не о мгновенной архивации новой жизни, с которой все началось. Книги, которые сбываются. Если мы не будем знать о них ничего, то не стоит читать вообще. Тогда ничего не сбудется, семнадцать, четырнадцать лет не исполнятся, паспорт не выдадут, и не будет путешествия к «Запискам исподлюбья», и не будет поступления в ПТУ. Тогда ничего не будет. А так, вы скажете, что и не было ничего с вами.

Это размышление о книге Сергея Соколовского «Гипноглиф». Это одна из книг, которая извлечена словно бы из прошедшего сорокалетия, что, казалось бы, прошло с ее появления. И, несмотря на заглавие, и даже изображенный на обложке предмет, сам «гипноглиф» – прибор, украденный из некоего «института математики»: палочка, с восемью или четырьмя

шариками, – назначение этой книги: превращать сновидения и их пересказывать, модулировать частотность совпадений, падений, прибытий и отходов ко сну. Ко сну на Улице Вязов ли или к цветным полароидам, или к кинолентам – которые еще раньше так со щелчком рвались в кинотеатрах – сейчас забытых, где остались одни сторожа. Грубо говоря, эта книга извлечена сейчас как одна забытая деталь от сломанного прибора. Или как сам столовый прибор, извлеченный из комода, который давно выбросили. Это извлечение из «суммы обстоятельств» – в них две-три бездонные комнаты, в которых стояло как водка в стакане время, а потом упало, треснуло пополам. В первой части книги – фрагменты разговоров двух героев – Снегознова и Казубова – это не антиподы, не дьявольские двойники, а документальные хронометражки о вступлении в ПТУ, об отбытии Ипполита Солженицына в красную стену, в красную пустыню.

Это отложенный на сто лет памфлет. Памфлет – это оскорбление. Нет, я не хочу никого оскорбить, просто рассказываю, чтобы не ходить в библиотеку (если не ходите), и не заниматься подробным и тотальным диктантом, комментарием, который раскрывает нам забытые слова прошедшей эпохи, пока жив еще Михаил Сергеевич Горбачев, а Рональд Рейган почему-то уже умер. Чтобы не резало слух комментаторов, нужно отметить одну яркую черту этого памфлета, который неизмеримо и ястребино нов, и напоминает с того света всякому читающему, например, о разрушении гостиницы Россия и других событиях в ярких заголовках несуществующих больше газет, что он, читающий, состоит из тела и мяса, и он сейчас, здесь и сейчас, когда читает, оказывается предметом памфлета, он оказывается нечистой совестью, он оказывается в самых причудливых и гибельных местах, в овощной лавочке, на бойне, не сходя с места.

Эта книга – оскорбление тем, кто будет рождаться, возрождаться и вырождаться – привет от тех, кто сломан пополам, как майские прутья кустарника. От тех, кто смотрит назад, ходит вспять, попадает под машину или берет ее в аренду покататься в курортном городке за умеренную плату и по летним скидкам. Для

тех, кто хочет быть добрым самаритянином, всех обманув. Потому что пока по гладкой поверхности стола сползает книжка Ахматовой, по гладкой поверхности курортного городка, где стелется реальность, и при поступлении в ПТУ, когда тренер по кунг-фу стирает трико, из недомолвок и оттяжек подслушанных когда-то кем-то разговоров Вам навстречу (и в этом и есть оскорбление личности) несется «Камаз Шатова» – так называется короткий рассказ Сергея Соколовского, а герой фильма «Мужчина и Женщина» Трентиный на самом деле несется ему навстречу на взятом напрокат, а вернее, угнанном авто, сбив двух-трех пешеходов, и врубается в этот Камаз.

В этом оскорблении нет ничего личного, как и в открытии затертых архивов, в червильном комментарии и пляске на могилах. Открытие, которое сделаете вы сами, прочитав эту книгу, навсегда поставит вас в ситуацию острого риска, как в фильме «Астерикс и Обеликс мертвы». Эта книга открывается с двух сторон, с начала и с конца (это только круглосуточные магазины, психбольницы и тюрьмы ежесекундно закрываются, за летние скидки и столетние ливни). А эта книга остается открытой. Вообще – не стоит читать, не следует знать, потому что под надписью опасная «ЗОНА ВОРОТ», где происходит смена дня и ночи, все тот же СОН НАОБОРОТ подземного небесного города, где пустые ноги чувствуют теплые ласковые тени, и их качает ветер как ковыльную траву, а руки, ломающие прутья решетки, сочатся невидимой кровью, но скоро распяты на вашей оторванной голове, дорогая моя статуя Лотовой жены, тень сбежавшейся Эвридики в фильме Ничто.

Борис КУТЕНКОВ

НЕ НАРУШАЯ ТИШИНЫ

Владимир Беляев. Именуемые стороны: Стихи и диалоги. – М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2013. – 84 с. – (Поэтическая серия «Русского Гулливера»).

Владимира Беляева я впервые увидел на Форуме молодых писателей в Липках в 2011

году. Запомнилась его резкость, готовность с полемическим жаром отстаивать убеждения в пылу семинарских баталий; это же качество отчасти удивило: неужели человек считает своё мнение столь непоколебимым? Подумалось вместе с тем, что вот – цельная личность, которая не пойдёт на уступки законам поэтического цеха, иногда побуждающим к излишнему соглашательству там, где «не надо подходить к чужим столам и отзываться, если окликают». (Впрочем, уже тогда было ясно, что кажающаяся самоуверенность – оборотная сторона сомнений.) Потом у меня в руках случайно очутилась его подборка, и стихи показались особенными даже на фоне разнообразия современной поэзии, в какой-то степени подтвердив мои догадки по поводу «полюсности» творческой натуры. С тех пор автор прошёл некоторый путь по ступеням успеха: две подборки в «Знамени», шорт-лист премии «Дебют», выступления – и вот, наконец, книга, названная в издательской аннотации первой (вероятно, именно с неё действительно стоит вести отсчёт творческого пути автора; впрочем, то, что многие поэты стесняются своих «преданных» сборников – характерное и, наверно, нормальное свойство этапов становления). Беляева публично называют «одним из лучших молодых поэтов России», а голос его – в той же аннотации – «голосом поэта, который уже превзошёл любые начинания, который уже существует как неотъемлемая часть современной литературы и русскоязычной литературы вообще»; есть тут причины и для гордости, и, быть может, – для чёткого осознания максимальной планки.

И сейчас для меня остаётся всё ещё не вполне выясненным, в чём секрет интонации стихов Беляева, делающей их стихами для соучастия, а не только для филологического исследования. В основе этой интонации – постоянные сомнения, настойчивое вопрошание, иными словами – поиск истины, возможный только через постоянный спор с самим собой – или с конкретизированным адресатом, что часто синонимично здесь: «... я сам, – то есть то, что спорит со мной». Подзаголовок книги – «Стихи и диалоги» – может поначалу вызвать недоуменные вопросы: разве диалоги – не стихи? Или поэзия – не бесконечный диа-

лог с временем и пространством? Но тут эти определения скорее тождественны: диалог для Беляева – обособленный жанр, неотделимый от лирической формы как таковой. Чужое слово – порой выделенное в тексте прямой речью, порой в форме отрывков, фрагментов, реплик из детства – набегают внезапно, как рябь по воде, переплетаясь с речью авторской в плотном и неразрывном узле припоминания. Вот – реплика-замечание («Мальчик мой, не забывай и не пой / эти песни с перрона»), реплика-совет, причудливо контаминированная с собственным взглядом в прошлое («Прежде чем что-то сказать, Вовочка, – / обязательно посмотри назад»); вот – характерная синтаксическая абберрация, появляющаяся в курсивированной материнской речи и как бы ассоциирующаяся с особенностями детского языка, – так, что голос ребёнка-рассказчика поневоле сливается с голосом памяти:

*зла на свете не бывает –
спи, никто тебя не съест.
зла на свете не бывает,
да не всем хватает мест.*

*вот и мы с тобой воюем,
спорим – кто кого вскормил.
вот и мальчик тень свою
дверью в тамбур прищемил.*

Сборник, начинающийся со стихотворения о «мальчике юродивом» (случайно ли – соименнике автора?), задающем неудобные вопросы учительнице, и завершающийся историей о сыне, «приходившем на елку в дом офицеров», всей своей структурой претендует на биографическую цельность, – неотделимую от трудностей поиска жизненного пути. Слово прямая дорога делает внезапный зигзаг, неожиданное искривление – на уровне ритмического сбоя, прихотливого кульбита синтаксической конструкции, внезапно врывающейся чужой речи. Но «искривление» – и на уровне условно-биографической линии, когда честный рассказ «о себе» избирает удобную и естественную форму «затруднённого движения». Шершавый язык, чуть прихрамывающая походка стиха; как пишет в предисловии Валерий Шубинский, «... иные его строфы кажутся чуть ли не корявыми, пока не произ-

несёшь стихотворение. Тогда всё становится на свои места». Искажение, внезапный перебив эмоции, ритма, – словно естественная необходимость для поэтического мира Беляева, противостоящего гладкописи в любом её проявлении. Кажется, что необходимость возникает не только в беспорядке, но и – в расстановке хаоса по местам, по нужным полочкам. В случае с Беляевым чувствуется почти физическое усилие «выпрямления» дороги – и обязательность её неровности. Оттого и так мучительно порой воспринимается, что

*...даже поставить на место
ничего. всё – то.*

«Тяжело, тяжело», «тяжело говорить» и, наконец, «дышо тяжело»... Дыхание стиха прерывисто (и тут как нельзя более уместны слова Ходасевича об Анненском, царскосельском «гении места», – пожалуй, из классических аналогов наибольшая взаимосвязь ощущается именно с ним: «Когда читаешь его стихи, то, кажется, чувствуешь, как человек прислушивается к ритму своего сердца: не рванулось бы сразу, не сорвалось бы. Вот откуда и ритмы стихов Анненского, их внезапные замедления и ускорения, их резкие перебои. Это – стихи задыхающегося человека»). Прерывисто и движение – в том числе и на уровне поэтапного следования к финалу, выраженного в хронологической драматургии сборника: книга так и построена, словно пошагово, – двенадцать циклов, в каждом – четыре стихотворения, описывающие определённый период и составляющие взаимодополняющий квартет. Вместе эти циклы образуют цельный сюжет с препинаниями и остановками (интересно, что и автор предисловия, Валерий Шубинский, упоминающий в литературной и топографической генеалогии Беляева в том числе и Анненского, пытается вывести определённую сюжетно-биографическую хронологию из чётко выверенного составления сборника, тоже «расставить по местам» вехи жизни героя). И поневоле становишься соучастником этого мира ночных вагонных страхов, детских подслушанных разговоров, «инвалидов в темноте», страха «крушения дома» – всего, мешающего нормальному, спокойному течению.

*как будто вдвоём. что скажешь,
уловка-полёвка.
погаснет, вот только пройдем,
фонарь-остановка.
вот только погаснет – пройдем.*

Действительность показана сбивчиво, фрагментарно, в обрывках сомнений, неопределённо-личных предложениях, опущенных логических и сюжетных звеньях: «музыку включили...», «играли себе, собирали цветы...». Разговор – словно бы спросонья: слова «навязчиво друг друга навещают», чтобы не разойтись, не расступиться, – зная, что всё равно разойдутся на осколки, фрагменты. Беляева можно, наверное, назвать самым полифоничным из современных поэтов, и это проявляется во всём – от композиции сборника до отдельного слова: «уловка-полёвка», «молния-кабель», «шанхайка-грунтовка», «музыка-музыка»... Слово, «слыша себя», с усилием ищет себе пару, – радуя слух обаянием внутренней рифмы, создавая ощущение переключившейся структуры стихотворения – с помощью рефрена, частого рифмования целых строк, анаграмматических конструкций («Сонные домики, – скажешь, – и невесом. / Донные сомики – это возможность слез») и тавтологий («пограничник границ»). Всё вместе «работает» не только на мелодическую насыщенность стихов, но и на создание целостного полифоничного пространства – постоянного эха, биения сердечного ритма, ауканья, – помогая образованию интимного, герметичного локуса, где постоянно идёт поиск «второго». И, в конечном счёте, – заставляя внимать стилю поэта в его органичности и живорожденности.

В противовес этому поиску-«прощупыванию» гармонии – именно в «человеческих» определениях, кажется, звучит нота неуверенности: «дева пречистая» или «говорящий ад», «сиротка или бог»... Этой интонацией сомнения и скрепляются «в создании одном прекрасного разрозненные части»; сомнение – в правильности собственной траектории с постоянными «или-или», когда можно «иначе прочесть» и «не разглядеть полёт мяча». «Вот так повернись – падает свет», «имени не разобрав»... Прерогатива постоянства и цельности в мире Беляева отдаётся «полым веществен-

ностям» (выражение Шубинского): «что огонь идёт – огню верю», «чтобы, скажем, эта боль в колене – / и была моя последняя дорога».

Если продолжать тему аллюзий, – герой Беляева неудержимо напоминает то персонажей из Достоевского своей бесконечной диалогичностью, полудетским вопрошанием, то героя «Чевенгура» с его намерением «пожить в смерти и вернуться» («...вот умру, говорю им, – спрячусь в мутной воде, как жук-плавунец...»). (К слову, беляевский вопрос «хорошо ли мне как человеку?» – вполне в платоновском духе). Своя, индивидуальная, философия родства и связи с корнями, которые, кажется, только и являются залогом стабильности и уверенности, порой отсылает к натурметафизике в духе Тарковского (вот аллюзия сразу к двум его стихотворениям – «Я учился траве, раскрывая тетрадь...» и «Я ветвь меньшая от ствола России...»):

*пониманье как смерть приходило ко мне.
я ложился в траву, безымянный.
голова подключалась к земле,
становилась легкой и пьяной.*

Но стихи – отнюдь не «безымянны»: их необщее выражение, стилистический и психологический пульс узнаваемы безошибочно. И всё-таки поэзия Беляева, при всей адресованности конкретных стихотворений, как целое обращается не столько к человеку, сколько, по Мандельштаму, «к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усумнившись в себе», – и ведёт диалог с неназванным собеседником, «вызывая к жизни другую реальность». И именно поэтому эта реальность – поэтическая. Говоря словами самого Беляева: «Поэзия возникает, когда человек чувствует, что тишина красива, но нарушает ее, не вступая в конфликт с собственной совестью»*. На мой взгляд – это одно из лучших определений за последнее время. В добавление к нему остаётся лишь поделить субъективным ощущением: как же не хватало в поэзии до Беляева именно такой ноты – тихого голоса совести.

* Владимир Беляев: «Страшнее быть равнодушным...» / Беседовал Вячеслав Кочнов // Вече Санкт-Петербурга. – 2008. – 16 января (Цит. по: <http://vechespb.ru/content/view/88/>).

Следить за дальнейшими изменениями модуляций этого голоса – интригующе интересно. И хочется в ответ – слушать, не нарушая тишины.

Александр КУЗЬМЕНКОВ

ОДИНОКИЙ ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА

Сергей Слепухин. Послесвечение: Книга стихов. – Екатеринбург: Евдокия, 2012. – 80 с.

*«И свидетельства, Боже, нет высшего в мире,
Что достоинство смертного мы отстоим...»*

Бодлер

I

Все мы едва ли не от молодых ногтей помним стих из Евангелия от Иоанна: «Свет и во тьме светит, и тьма не объяла его». Однако со временем новозаветная аксиома становится труднодоказуемой теоремой. Благоую улыбку евангелиста застит горькая усмешка царя Соломона: «И это пройдет». Уж простите за трюизм, но каждый из нас обречен терять: время и деньги, надежды и чувства, любимых и близких, веру и убеждения... Рано или поздно настает час самой страшной утраты: человек теряет самого себя. Свеча догорает, остается лишь багровая точка на конце чадающего фитиля. Сколько бы она ни тлела, агония света всегда тянется мучительно долго: секунда равна году, час – вечности. В дурной бесконечности вымороченного доживания человек становится сродни кьеркегоровскому Несчастнейшему: «Его жизнь не знает никакого покоя и лишена всякого содержания... Одинокий, на самого себя покинутый, стоит он в безмерном мире, и у него нет настоящего, где бы он мог почтить, ни прошлого, по которому он бы мог тосковать, так как его прошлое еще не настало, как нет и будущего, на которое он мог бы надеяться, ибо его будущее уже прошло. И перед ним – один лишь безмерный мир, как это Ты, с которым он в разладе».

Новая книга Сергея Слепухина трактует как раз об этом. О свете, объёме и раздавленном тьмой:

*Нам на лысины с неба текла шампань,
А теперь всё выжжено добела.*

*Кто-то Божьи свечи в такую рань
Потушил, ушел... Ну и все дела.*

(«Ты раскрыл глаза: был и крив и пьян...»)

II

Несколько лет назад я сравнивал эволюцию Слепухина-лирика с дантовскими странствиями по кругам Ада. Элегический «Осенний покров» был тождествен Лимбу, чьи обитатели, праведные античные философы, не ведают геенны огненной. Следующие книги – скорбная «Парезия» и яростная «Задержка дыхания» – неумолимо уводили вниз. Последний сборник был напитан невыносимой платоновской френезией – божественной иступленностью, которая способна взломать стены безвыходного. Казалось, катарсис неизбежен, – вот-вот, и герой покинет преисподнюю духовно преображенным: «Чист и достоин посетить светила». Однако катарсиса не случилось. За девятым адским кругом невзначай обнаружился десятый, где нет ни пламени, ни льда, а есть пустота. Этот мир лишен признаков, но полон призраков: мумии снов, лексика из бестолкового словаря и прочий никчемный мусор, который остается после суетного и тщетного пребывания на земле...

*сладкий душок формалина йода
дожиточный воздух в пробитой груди
схорони в тесной матке мать природа
паровоз отчаливай труба не дуди
внутри умерших тел по тёмным ступенькам
на три этажа мимо ржавых часов
вечностей шмыгнула летка-енька
гирьки жизни прожитой в ладонях весов*

(«ранним утром когда классовая мировая...»)

По формальным признакам можно диагностировать смерть. Однако посмертного покоя нет, вместо него есть Totentanz, глубоко изученный Слепухиным. Фигуры плюсквам-перфекта в мерзком хороводе ни живы, ни мертвы, – в средневековой Европе таких называли «транзи». Герой судорожно цепляется за любое подобие опоры, но фантомы предательски ускользают из пальцев. В десятый адский круг допущена лишь нежить. В этом статусе пребывают все здешние обитатели – от бывших до Господа:

Улица
усталых стареющих женщин.
Растерянные, толкаясь,
бредут куда-то, вечернее стадо.

(«Незаполненность»)

В свечном дыму темнеет позолота,
В оплывших пятнах замкнут и коварен
Господь, лицо в тени скрывает
И обещает счастье – умереть.

<...>

Что скажешь мне, и дашь ли утешенье,
Отец, учитель?.. Полно, самозванец!

(«В свечном дыму темнеет позолота...»)

Сущности исковерканы до неузнаваемости. Ангелы окольцованы и мертвы, Всевышний щеголяет рыжим клоунским париком, тело возлюбленной напоминает обвисшую парусину. В межумочном мире десятого круга возможно лишь единственное душевное состояние – ламентация на разрыв аорты:

Плачет дитя у бездны,
без глаз, без век,
на пороге безумия,
back to black*.

(«Back to black»)

Однако прав был Беккет: он плачет – значит, он жив. Впрочем, это было известно и до него. Ибо сказано: «Блаженны плачущие». Богословы трактуют этот фрагмент Нагорной проповеди однозначно: плач есть путь к утешению, путь горького опыта и нравственной зрелости. Интонация стиха закономерно меняется, рыдания стихают, и надрыв сменяется сдержанной скорбью:

Продвигаясь вперед, распадается время,
Скрюченный серый дымок над окурком.
Мешковатые небеса, усталые люди...
Я не хочу быть послесвеченьем!

(«В гаснущих сумерках – поддельные люди...»)

Попытка найти музыкальный аналог прочитанному неизбежно приведет нас к мессе си минор Баха, точнее – к первой ее части «Kugle eleison»: та же трансформация безутешной и бесполезной мольбы в непреклонное мужество

* Back to black (англ.) – В первозданный мрак (прим. автора – А. К.).

обреченности. Иного не дано: продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Единственное, что в человеческих силах, – принять неизбежность достойно...

III

Барочная эстетика Баха служит превосходной иллюстрацией ко всему «Послесвеченью».

Взять хоть смысловую наполненность книги. Основа барочного искусства есть антитеза. Скажем, драматургическая основа мессы си минор – контраст хора и соло. Но контраст в эпоху барокко стал не только основным принципом стилиобразования, но и фундаментом мировоззрения. В свое время музыковед М. Лобанова писала: «По самой сути барочное мышление антитетично». Картина мира в эту эпоху строилась на противопоставлениях света и тьмы, добра и зла, порока и добродетели. Слепухин расширяет реестр противоположностей до бесконечности: «жизнь – смерть», «мужчина – женщина», «Бог – Сатана»...

Стих, перегруженный противоречиями, не выдерживает напряжения, ломается, косноязычит, возвращаясь к силлабической ритмике:

Средь тварей, что ползают в прахе,
человек несчастнее всех,
Время через него перекатывается,
возвращается, исчезает,
Молитвы очищают воздух,
но не достигают вех,
А то, что мы, корни, отмерли,
Дерево – не замечает.
(«В келье»)

И это вполне узнаваемо и опять-таки сопоставимо с барочной музыкой, с ладотональной неустойчивостью «Kugle eleison». Ж.Ж. Руссо писал в «Музыкальном словаре»: «Барочная музыка это такая, в которой гармония неясна, затемнена модуляциями и диссонансами, пение жесткое и малоестественное, интонация трудная и движение стесненное». Сказанное легко применить к ритмическому рисунку «Послесвеченья». Эксперименты Слепухина с силлабикой, дольниками и верлибром – всего лишь поиск формы, адекватной содержанию: когда в груди не хватает воздуха, а горло перекручено рыданиями, трудно ждать классических размеров и безупречной ритмики.

IV

Чуть выше я говорил о цепочке слепухинских контрастов. Однако главный антитезис, на котором зиждется пафос сборника, – противоречие чуждой, навязанной извне пустоты и внутренней наполненности лирического героя. Нравственная дилемма такова: отказ от самого себя, тление, пляска в хороводе транзи – или беспощадная борьба за свое лицо, за лучшее в себе. Жизнь в полную силу покупается дорогой ценой, но это нужно, – если не желаешь стать чадающим фитилем. И пока одинокий голос человека упрямо повторяет «Я не хочу быть послесвеченьем», – есть надежда, что не все потеряно...

Наталья ЧЕРНЫХ

ПОТОМУ ЧТО ВЕРУЮ:

о новой книге Николая Байтова

Николай Байтов. Ангел-Вор: Повесть и рассказы. – М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (Серрафим: православная художественная литература).

Имя Николая Байтова вышло наружу ещё в 80-х из эстетского московского полуподполья и с тех пор возникает то здесь, то там – публикациями, упоминаниями в списках выступающих, побывавших, получивших премии. Профильная, сухоощавая фигура покажется – и снова исчезает, как исчезает тень при солнце. Но эта тень – светлая. Бывают ли светлые тени? Перформанс с именем «Байтов» уверяет: да.

Байтов парадоксален. Он поэт – и он прозаик; волна и камень, лёд и пламень. Он православный (не просто так, а с православными корнями), и он перформансист. Эти его перформансы граничат с кощунствами, но при этом он уже много лет сторожит храм, ведёт довольно аскетичную и малопонятную для литератора жизнь. Это искренне верующий человек, что опять – не сочетается с игровым сознанием, выраженным в его произведениях. Храм – и рискованный «Эпсилон-салон». Восемьдесятые, ставшие надгробным памятником многим писателям – и двадцать первый век, перекопанный культурой. Байтов спокойно вы-

держал рискованный скачок, кажется, даже не поправив очки.

«Когда в 1986 году, после двенадцатилетнего совершенного уныния, я вдруг поступил в церковные сторожа, тогда-то наконец мои болезненные стилистические изыски сменились здоровыми, нормальными фабульными».

«Ангел-вор» – название вполне в духе Байтова. Человек с прихода, молодой папаша с новым крестом или какая матушка из православных СМИ не поймут. Хотя постоит. Открываю книгу – а там всё о том же: о жажде человека быть святым, о помощи Божией, о людях и о Христе. Который никогда не смеялся, но улыбается. Едва ли не как сам Байтов. Это, конечно, наваждение: свят, свят, свят... Автор смотрит со стороны, не вмешивается в странную плотную жизнь, возникшую внутри книги, кажется, не по его воле. Однако читателю передаётся – как автор переживает, как в полном смысле болеет за своих героев. Героев? Шахматные фигурки, силуэты в компьютерной игре? Нет, это люди, и Байтов уверяет читателя, что – именно люди. Народ. Оглядываюсь в страхе: куда спрятаться от этого беззаботного, эхом летающего голоса. «Старицу я сейчас назвал условно, чтобы не было потом никаких... Я не знаю, как относиться к Колиному заявлению насчёт настоящего, а потому привёл это заявление лишь для связи повествования, никакой не беря на себя ответственности за его соответствие реальности» («Про Колю Киселёва»).

...Священник обретает сына и брата в сопернике юности, которого хотел убить («Ильин день»). Человек переживает промысел Божий... как ведро холодной воды. Это невыносимо, от воздуха Бога можно задохнуться. Воздух Бога настолько плотен для человека – создания изнеженного и, как показывает Байтов, ленивого, – что дыхание Создателя порой воспринимается не как ласковое дуновение, а как – погружение в ледяную воду. В смерть. И тогда всё происходящее даже таким крепким в вере людям, как старец Гавриил и отец Иоанн, алтарник Коля Киселёв, – кажется «идиотским» и дьявольским... Но это не так.

Книга Байтова о любви. Было бы странно, если бы она была о чём-то другом. Искать в этих рассказах какой-то странной «правды» об алчных вороватых попах и упрямых матушках

было бы глупо. Мнение – в святоотеческом понимании, раздражённая мысль – появляется, проходит мимо читателя, именно мимо и – исчезает. Перед той самой улыбкой. Христа?

«Женщина, ходившая на собрания религиозно-философского общества, знавшая Бердяева и Розанова... в двадцатом году вместе с моим дедушкой – Студенческое христианское движение в Москве... член мечовской общины... потом активная «непоминающая», ссылки, духовная дочь владыки Афанасия Сахарова, потом лагерь – десять лет, двадцать лет...

Ночью я плакал, видя остановившееся время посреди голого, вытоптанного двора с нечищеным нужником и ржавой водопроводной колонкой, кур, копающихся на солнцепёке, запутавшееся время и мою тётю Валю, одичавшую там от пьяного мужа и идиотов-детей».

В этих рассказах нет того, что как-то названо было «церковно-криминальное чтиво» (какое тут чтиво? однако читается легко!). Зато есть сюжет рассказа, именно рассказа – мастерство удивительное! знает Байтов, когда съест паузу, а когда вытянуть её, как орбит без сахара! – сюжет небольшого произведения, в конце которого длится и длится извечная запятая. Это русская проза, почти тургеневские «Записки охотника» – «Записки сторожа храма». Если бы Нилус фиксировал не чудеса и предания, а только моменты ежедневной жизни, у него вышло бы нечто подобное. Хотя методы Нилуса у Байтова есть.

«Здесь был ветер. Одинаковые круглые облака без числа толпились в небе, мельчая к горизонту, но почти не двигались. Солнце, плывя в одной из синих ям, ярко освещало ветреную окрестность. Приближалась Троица...» – здесь гуляли и Шмелёв, и тот же Нилус, и... Тургенев, его тучки как стадо... Или вот это: «Тут сразу пошла в гору улица – душная и дремотная, с глухими заборами, массивными воротами. Высокие, старого кирпича, цоколи домов росли из земли вплотную к мостовой. В верхних деревянных этажах цветы культурно томились в окнах – между стеклом и тюлевой занавесочкой. А мостовая была когда-то – бульжная – но её затянуло истолчённым в пыль песком и разбило потоками, низвергающимися здесь в каждый дождь».

Рисунок повествования Байтова – символический, это притча. Что, например, читатель

усмотрит вот в этой сцене из титульного для книги рассказа «Ангел-вор»:

«Два почему-то ключа – разных – на стальном колечке. Один от шкафа – открыл... – а другой? В шкафу – книги, бумаги, письма... беспорядок изрядный... старые календари, фотографии, отдельные номера ЖМП на английском... И вижу, подсунута под этот ворох шкатулочка. Второй ключ – как раз от неё... Открыл... И что, ты думаешь, я там увидел?

– Толстые пачки денег битком, – предположил я, не задумываясь.

– Ты совершенно прав, – немедленно подтвердил Леонид и покивал, покивал головой, выпятив нижнюю губу, как бы выпуская длинное беззвучное «пффф!»»

Корыстолюбие попа? Трогательную заботу христиан о храме как о месте, где можно видеть друг друга и собираться без страха? Выдумку рассказчика? Автор и его герой, рассказывающий эту историю, видят – Божественную Руку, до времени защищающую человека от его собственной смерти. Даже путём... удаления сумки и следующих потом скорбей: доноса, разбирательства с настоятелем и прочего.

Байтов невероятно точен в описании деталей. Показывает, несомненно, восьмидесятые, самое начало девяностых. Сама помню, как исповедовали под лестницей в семинарии (особенно трогательно – на Пасху, на фоне библейских сюжетов). Любои, кто был и видел – может заново пережить и приезд в тогдашний Загорск, и холод нетопленного храма, который вдруг вознамерился восстановить русский нувориш, и душную тесноту человеческой надежды на спасение, разверзающуюся как полынья среди этой книги. Но от холода воды спасения перехватывает дыхание – может, потому и душно?

«Мистическое, духовное событие он хотел профанировать, перевести его в бытовую плоскость, и меня толкал туда же. А там, конечно, – что говорить, – там проекция этого события совершенно искажённая, это ясно... Нет, ну, это, конечно, такая проверочка на вшивость, что будь здоров!... Я не знаю, каким только отшельникам посылалось что-либо подобное. Не думаю, чтобы мне по заслугам: это так, авансом: улыбка такая, привет от Господа. Но я вечно буду Бога благодарить, что Он мне

это устроил, да ещё дал силы и разум через всё пройти без запинки...»

Встретить такое понимание событий у нынешних прихожан почти невозможно. Этот монолог Леонида – тоже свидетельство времени... и веры. Простой веры, от живота своего – то есть от самого сокровенного.

О юродстве в искусстве, а особенно в современной литературе, написано чрезвычайно много, так что не стоит повторяться. В юродивые современному художнику попасть очень просто – надо только иметь адвоката и двух-трёх присяжных рецензентов. Тогда можно выползти на солею храма, перевернуть крест и спеть что-нибудь волчьим голосом. Или зашить себе рот. Или ещё что. Но ко Христу, к Его улыбке это отношения не имеет. Так случилось. Христос, накануне Крестной Своей Пасхи, выгонял торговцев из храма – но не был клоуном у фарисеев. Байтов, как некоторые художники неофициальной культуры, пробует путь юродства – но при этом остаётся трепетное живое чувство, сообщающее всему повествованию веселье (веселие!). Этот невероятно трудный и опасный опыт был у Ивана Бурихина, (отчасти) у Бориса Констриктора и Д. А. Пригова.

Отличительная особенность большого художника – как мне видится после энного количества лет писания о чужих произведениях – желание к тому, что видит. Самовыражение – конечно, важно, но оно само собою как-то отступает на второй план. Им может держаться всё, но оно не решает дела. Самовыражение может быть катализатором, может быть фундаментом. Но в целом произведение растёт из древнего (съесть плод с древа) любопытства, тяги к увиденному, любования – тут даже желание обладать меркнет. Всё это есть у Байтова. Он буквально медитирует на своих героев: как они едят, что едят (постный ужин отца Иоанна, пиво посланного за краскою художника). В этих немного затянутых описаниях чувствуется школа лучшей европейской прозы послевоенного времени.

«Ангел-вор» может полюбить читателям самого разного уровня. Но вовсе не потому, что вполне оценят его достоинства. Такова судьба действительно талантливой литературы. Она бессильна и перед популярностью, и перед забвением. Есть в медиабизнесе такое

слово – сливать. Сливают моделей, актёров, рекламные ролики, фильмы, театральные постановки, клубы, рестораны, события. Книга Байтова, без особенного восторга принятая близким ему литературным сообществом, несомненно, будет слита (частично; полностью – не выйдет). Но будет и прочитана. Тираж хороший – десять тысяч экземпляров. Однако если вы прочитаете эту книгу, вы увидите, что это – уникальное явление в современной литературе, достойное восхищения. Мне не страшно заканчивать так пресно, – а как иначе можно было бы закончить рассказ о прекрасной книге? Только таким вот унылым мычанием, – хотя бы потому что сама не написала ничего подобного.

*

Что касается моего личного отношения к прозе Байтова, то я долгое время её не видела. Ну есть. Ну кто-то ценит. А мне зачем? «Ангел» не то чтобы переубедил меня. Он примирил меня, ещё раз, в который раз – и без Христа это было бы невозможно – с тем абсурдом, в котором надо жить, и завтра – тоже... Но уже немного веселее.

Сергей ТРУНЁВ

РОССИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
СПАСЕНИЯ НЕТ

**Точки: Современный рассказ / Семинар
А.В. Воронцова. – М.: Издательство «Спорт
и Культура – 2000», 2013. – 128 с., ил.**

Перед нами сборник рассказов учеников ни много ни мало Высших литературных курсов Литинститута имени М. Горького (руководитель семинара прозы А.В. Воронцов). Честно говоря, я не обладаю информацией о том, кто из известных ныне прозаиков успешно заканчивал эти курсы в прошлом и насколько обучение (если таковое имело место быть) повлияло на авторскую манеру письма. С точки зрения руководителя семинара, перед нами имена, способные обновить дряхлеющую когорту современных российских классиков, и если этого не произойдет, отечественную литературу постигнет незавидная участь всех великих мировых литератур: французской, не-

мецкой, английской. И так, перспектива намечена: литература на грани впадения в глубокую кому, и только семинаристы Андрея Воронцова способны ее реанимировать.

Если разделять апокалипсические настроения мэтра, то перспектива в целом безрадостна. Однако здесь возникает вопрос: а есть ли какое-то лицо у всеобщего литературного кризиса? Есть ли совокупность черт, которые могли бы его более или менее четко обрисовать? Согласно мнению господина Воронцова, если обновления имен не происходит, то «на смену старым мастерам приходят бойкие на перо дельцы, и литература становится просто частью развлекательного бизнеса». Ну, «бойкие на перо» – это, на мой взгляд, не плохо. Если они могут еще и продать свои творения – так это совсем хорошо. А что, захотелось государственных дотаций? Тихой совписовской кормушки, позволяющей политкорректным графоманам безбедно существовать за пазухой государства?

Так, вероятно, этому требованию вполне отвечает работа в Литинституте. На каком основании я так решил? На основании слов самого Андрея Воронцова. Во-первых, он убежден, что культивирующиеся в указанном учебном заведении и на курсах «эстетические и творческие принципы не претерпели значительных изменений по сравнению с традициями, заложенными в нашей литературе Пушкиным». Прожив не один десяток лет в этой стране, я прекрасно осознаю, что пресловутая опора на традицию (т.е. опять-таки различные варианты политкорректного реализма) постулируется лишь тогда, когда какая-либо группа творческих людей хочет сделаться опорой власти. Классика у нас, к сожалению, является матерью графомании, а Пушкин – тем богом, который своим присутствием способен освятить самое бездарное произведение. Дай бог (Пушкин), чтобы в текстах представителей «новых имен» изменилась хотя бы лексика, хотя тенденция такова, что мы с нашим рвением к традиции можем и на старославянский перейти. Во-вторых, в конце концов мэтр оговаривается, дескать: «Да, огнюдь не все выпускники «Лита» и ВЛК хорошо пишут, но, как правило, суждение о литературе имеют профессиональное». Позвольте, это уже фактически обвинение в профнепригодности! По

моему глубочайшему убеждению, писатель должен уметь писать (не думаю, что открываю здесь что-то новое), в то время как иметь профессиональное суждение о литературе должен литературный критик. Кстати, возникает ощущение профнепригодности и самого мэтра, не назвавшего ни одного имени современных западных авторов, кроме Патрика Зюскинда...

Далее по тексту Воронцов кратко описывает достоинства прозы каждого из вошедших в сборник авторов, и я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы последовать его примеру.

Первым представлено творчество Дмитрия Шостака, рассказы которого произвели впечатление странной смеси бытовухи, фантастики и невнятной доморощенной философии, на кою испокон была сильна отечественная литература. Помимо данного сборника, Дмитрий публиковался в сетевых журналах, и здесь также любопытны два момента. Во-первых, сразу обращает на себя внимание качество публикаций учеников Высших литературных курсов. За редким исключением это либо малоизвестные и, видимо, малотиражные издания, однако наиболее широко их творчество представлено во всемирной помойке Интернета.

Во-вторых, привнесение фантастического измерения в суровые российские реалии («остранение») кажется довольно характерным для семинаристов приемом, о чем позволю себе еще немного поговорить. Вот, например, Екатерина Осорина также демонстрирует способность переносить повествование в далекое будущее. В конце даже оказывается, что главная героиня уже пять лет как погибла в автострофе, и теперь она лишь «инфоснимок и пара дорогих микросхем». Помимо сетевых изданий, Екатерина публиковалась в журнале «Смена» и в составе сборника «Путь мастерства».

Нина Кромина предпочитает оставаться в рамках унылого деревенского реализма, точнее, того, что городскому жителю кажется деревенским реализмом. Результат – неловкие попытки имитации народного слога, от которых за три версты веет художественной литературой, равно как тем, что автор «родилась и живет в Москве». В списке публикаций значатся уже упомянутый сборник «Путь мастерства», а также журналы «Простор» и «Вологодская литература».

Рассказы Гюльнар Мыздриковой оставили довольно смутные впечатления, хотя публикации Гюльнар выгодно отличаются от остальных. На мой взгляд, правда, не стоило вносить в список изданий газеты «Правда» и «Труд», но на вкус и особенно цвет, как известно, пристрастия строго индивидуальны.

Алексей Конгарт (Смирнов) написал рассказ про тяжелую работу снайпера. Литературные публикации не указаны.

Людмила Комарова произвела неизгладимое впечатление рассказом о женщине, у которой в голове была пробка. А также о другой женщине, у которой изо рта высыпались мертвые птицы. Публиковалась в сборнике «Путь мастерства», что при таком полете фантазии неудивительно.

Елена Яблонская написала рассказ про трудную работу поэтов и писателей, один из которых, как потом оказалось, пребывал в «коме, перешедшей в летаргический сон». Этот текст я понял с третьего раза и очень собой горжусь. Публикации у Елены есть, но их описание не страдает конкретикой, а потому судить о качестве возможно лишь на уровне догадок.

Далее следует местами неплохой (прорыв!) текст Евгении Сафоновой. Публиковалась в «Литературной газете».

Прочитав список публикаций Алисы Анцеливич, я узнал о том, что в мире существует «Общеписательская литературная газета». Дайте две!

Мне непонятны мотивы, по которым ряду с рассказами в сборнике присутствует отрывок из повести Анны Чезгановой. Автору это, в общем-то, ничего не дает, поскольку оценивать целое по его части – это все равно, что слепым ощупывать слона и делать выводы о том, как он выглядит.

В стилистике Марии Ундрицовой показалось что-то не вполне русскоязычное. То ли Набоков где-то рядом витал, то ли преподавание иностранных языков сказалось. Публиковалась в Интернете.

Мария Иванова также порадовала стилем, но здесь заметно, скорее, влияние упомянутых выше советских газет, нежели учеба в аспиран-

туре Высшей школы перевода МГУ (это из до-сье предыдущего автора). Вот так, например, могла начинаться статья на второй странице «Правды»: «Есть в Сибири на Ангаре город Братск. Город тружеников, романтиков, искателей приключений». Как в детство окунулся, ей-богу. Это, конечно, не Пушкиным заложенная традиция, но тоже солидная, не один десяток лет старательно оберегаемая на уровне государства, законсервированная как реликтовая тайга.

Валентина Хохлова написала про детей. Публикации не указаны.

Ветеран труда и многодетная мать Зоя Донгак в напечатанном отрывке из повести со знанием дела описала трудные роды. На общем фоне довольно крепко, местами даже колоритно. В списке публикаций отчего-то указаны сборники стихов.

Жанна Варнавская описала свои сложные отношения с богом. Список публикаций внушительен, но большая часть изданий мне неизвестна.

Антонина Спиридонова создала новый жанр: «рассказ-феерия».

Наконец, два рассказа Натальи Ивановой оставили довольно приятное впечатление. Никакого выпендрежа, довольно плотные, полные интересных наблюдений. Вот, например, детское: «Корова была опасным рогатым чудовищем, и тем страшнее было, что это чудовище не всемогуще. Позже пришла сказка “Крошечка-Хаврошечка” и ощущение ужаса. И я долго верила, что косточки коровы можно закопать, и на этом месте вырастет яблоня». Вот, собственно, и все.

И кажется, что российская литература, вопреки надеждам и упованиям Андрея Воронцова, продолжает скорбно двигаться по тому же пути, что и европейская. По меньшей мере, со стороны Высших литературных курсов спасительных сенсаций, увы, не наблюдается. А что касается самого мэтра, так, на мой взгляд, просто некрасиво выдавать ученический междусобойчик за эпохальное явление отечественной культуры.

Иван КОЗЛОВ

ДОМ ИСКУССТВ

Название – это перевод термина «артхаус». Диковатый термин, но за неимением лучшего прижившийся в великом и могучем. Сегодня поговорим о трех фильмах, которые затрагивают три главных вектора нашей жизни – любовь, войну и рекламу. Затрагивают, причем, по-разному: один тактично прикасается к плечу, другой панибратски треплет по щеке, третий сочувственно гладит по загривку.

«Последняя искра жизни» (реж. Алекс де ла Иглесиа)

С хорошими режиссерами (а испанец Алекс де ла Иглесиа – хороший режиссер, вспомним хотя бы его недавнюю «Печальную балладу для трубы» и ранние «Пердиту Дурангу» и «Убийства в Оксфорде») иногда случаются странные вещи. Их начинают одолевать комплексы, которым позавидовал бы традиционный русский интеллигент XIX века. Хочется быть ближе к зрителю. Просвещать. Сеять разумное и далее по списку. Так хочется, что начинаешь с мазохистским наслаждением наступать на горло собственной песне – одна из самых сложных асан хатха-йоги.

Итак, рекламщик Роберто (Хосе Мота), безуспешно пытающийся найти работу, едет по местам «боевой славы» – в отель, где проводил с женой медовый месяц. Но отеля нет, археологи раскопали там античный амфитеатр и вот-вот откроют музей. Заблудившись в строительных лесах, наш герой падает с высоты, да еще и головой на железный штырь.

Далее действие суживается до формата классицизма с его клаустрофобическим единством времени, места и действия. Мэр городка и музейщики, проводившие в этот момент экскурсию для журналистов, заинтересованы в том, чтобы как можно скорее убрать жертву инцидента с места происшествия, но фактура травмы не позволяет передвигать еще живое тело ни на миллиметр. Журналисты, конечно, бросаются на добычу как воронье, и тут начинается самое интересное.

Если до этого момента фильм развивался как «черная комедия», то теперь действие судорожно мечется между мелодрамой и «абличительной» трагедией. Герой – рекламщик-профессионал, и он понимает, что настал его звездный час. Он сейчас на всех телеканалах, его осаждают агенты, добиваясь эксклюзива на интервью.

Но добродетельная жена Роберто (Сальма Хайек) не хочет отдавать на съедение масс-медиа последние часы любимого. Так что целый час мы будем наблюдать, как герой пытается выкружить лишние сто тысяч евро, доведя гонорар до миллиона, а его благоверная эти попытки явочным порядком пресекает, пинками разгоняя охочих до сенсации журналистов.

Самое ужасное в этой части фильма – диалоги. Вместо того чтобы обсудить влияние идей Ламетри на антропологию Гурджиева, или о чем там обычно говорят нормальные люди перед смертью, герои начинают исторгать предсказуемые кинобанальности вроде «Ты был самым лучшим отцом», или что-то наподобие. Вообще, когда европейцы пытаются переиграть «Голливуд для простого народа» на своем поле, получается на редкость удручающее зрелище. Слюни и сопли текут водопадом, явно зашкаливая разумный предел.

Ударная сцена фильма: герой помер, интервью записано (но не для телеканалов, а на память), безнравственный продюсер на выходе из музея ждет вдову, ставя на ее дороге чемоданчик с миллионом евро. Сальма Хайек чуть замедляет ход, вынимает кассету и снова кладет ее в карман, гордо пнув при этом чемодан. Думаю, что эта концовка расколола испанское общество...

«Метеора» (реж. Спирос Статулопулос)

Этот фильм о любви монахов Теодороса и Урании позиционировался как скандальный – еще бы, на нашем-то российском пространстве, которое в последние годы сотрясали клерикальные катаклизмы, – но лента оказалась на удивление целомудренной и смиренной. Самое шокирующее в фильме – голые колени и высокие чулки героини, которые видны из-под задранной рясы во время первых объятий героев.

Второй фильм грека Спироса Статулопулоса, жившего в Колумбии, – камерное повествование о чувстве и долге, разворачивающееся на фоне умопомрачительных красот одного из островов архипелага с горными монастырями. Фигура монаха напоминает формой горные пики, а на отвесном утесе начинают проступать черты человеческого лица.

Особую остроту – не действию даже, оно минимально, а звуковому ряду – придает то обстоятельство, что Урания – русского происхождения. Теодорос спрашивает, как звучат по-русски некоторые слова, и они несколько раз повторяют, как заклинание: «отчаяние, море, свобода».

Это даже не фильм, а видеомедитация – ритмичное постукивание деревянных колотушек, подъем и спуск на вершину горы «лифта» из прочных сеток, столбы света сквозь дыры в пещере, солнечные зайчики, которые пускают с горы на гору застекленной иконой, анимация в стиле иконописи...

«Ведьма войны» (реж. Ким Нгуен)

Фильм канадского режиссера Кима Нгуена, снятый в Конго, рассказывает о судьбе 12-летней Комоны, которая была вынуждена – под дулом автомата – убить своих родителей и присоединиться к отряду повстанцев.

Это мог быть фильм об ужасах войны, да еще в жестокой Африке. О трудностях взросления подростка в невероятных для «белого человека» условиях. О «пылающем континенте» – уже которое десятилетие.

Все это в фильме есть, но в фоновом режиме. Общая атмосфера – какая-то тревожно-отрешенная, люди там, действительно, готовы ко всему, и это их обычная жизнь. Но она какая-то странная. Повстанцы время от времени припадают к какому-то психоактивному растению и под этим делом идут в бой. У героини активизируются паранормальные способности – она видит души убитых. Направление отступления отряда выясняется с помощью колдуна, который для нахождения стратегического вектора рекогносцировки впадает в транс и подкидывает ритуальные камешки. «Очень дорого» – это значит, отдать какой-то магический предмет за белого петуха (он нужен альбиносу-колдуну для женитьбы на героине, а все уверяют его, что белых петухов не бывает, для тамошних широт это уникальное существо).

В общем, это уникальное кино – о детях и, как ни странно, для детей. Главную роль в нем исполнила непрофессиональная актриса Рашель Мванза, это ее первый фильм. За который она получила Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля (лучшая женская роль), отметим еще, что эта лента была номинирована на Оскар.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 19 июня 2013 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
<http://magazines.russ.ru/volga/>

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.